

ВАСИЛЬ КУЧЕР



УСТИМ
КАРМАЛЮК



ВАСИЛЬ КУЧЕР

УСТИМ
КАРМАЛЮК

РОМАН

•

*Авторизованный перевод с украинского
Е. Россельс*



МОСКВА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1983

С(Укр)2
К 95

Вступительная статья
М. Зарудного

Художник
Н. Воробьев

Кучер В.
К 95 Устим Кармалюк. Роман. Пер. с укр. Е. Рос-
сельс. / Вступ. статья М. Зарудного; Худож.
Н. Воробьев. М.: Худож. лит., 1983. — 479 с.

В историческом романе «Устим Кармалюк» украинского писа-
теля Василя Кучера (1911—1967) рассказывается об антикрепостни-
ческом крестьянском движении на Правобережной Украине в
1813—1835 годах, о народном вожаке Устиме Кармалюке.

К 4702590200-287 103-83
028(01)-83

С(Укр) 2
ББК 84Ук7

ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ БРОСАТЬ ЯКОРЯ...

Это был один из самых печальных дней апреля 1967 года — мы хоронили прекрасного писателя, нашего друга — Василя Кучера, так безвременно ушедшего от нас. Вскоре на могиле появился памятник. Серый камень запечатлел мужественные черты доброго лица крестьянского сына на фоне окаменевших волн. Боевые побратимы Василя Кучера — моряки-черноморцы, отдавая последнюю высокую почесть офицеру флота, — привезли на могилу тяжелый якорь морского сторожевика, и он лег на грунт, соединив навечно образ писателя с морем и родной землей.

А еще недавно, совсем недавно мы ходили с ним весенними тропинками Ирпенского леса, и Василий Степанович рассказывал о последних главах (своего последнего романа) «Мы не спим на розах». Он никогда не говорил, что чувствует себя плохо, только иногда замечал, улыбаясь:

— Еще не время бросать якоря...

Он не любил тихих гаваней, этот беспокойный Василь Кучер — писатель-коммунист, пришедший в литературу по зову сердца. Свою литературную деятельность он начал, работая в районной газете г. Свири (1931), потом сотрудничал в газетах и журналах Киева и Харькова, где проявился его незаурядный талант публициста. Василь Кучер всегда оставался публицистом, считая этот жанр острым оружием писателя в борьбе за утверждение высоких идеалов нашей партии, ленинской правды жизни. В статье «Образ, мысль, слово» (1958) он писал: «...литературный очерк как жанр всегда помогает писателю чувствовать пульс народной жизни, всегда быть в гуще событий, происходящих в стране... Я не оставляю очерк, работая в этом жанре непрерывно. Он для меня также дорог, как роман, повесть или рассказ».

В тридцатых годах Василь Кучер, тогда еще двадцатилетний писатель, опубликовал много очерков, рассказов. С каким-то невероятным упоением он ходил по селам, стройкам, писал о первых колхозах и пятилетке, организовывал избы-читальни и драматические

кружки в глухих селах, не страшась ни кулацких обреза, ни подметных писем-угроз. Эти годы были большой жизненной школой для молодого писателя. Он успел закончить военную авиационную школу в Харькове, потом учился в университете — в предвоенные годы он постарался «спрессовать» время для себя, взять от него все для пополнения своих знаний, повышения литературного мастерства. Сборники рассказов, вышедшие перед войной, «Мои друзья» (1935), «Цветет рожь» (1938), «Дорога ведет на заставу» (1939) и другие предшествовали первой повести Василя Кучера «Кармалюк». Она была издана в 1940 году, но несмотря на лестные отзывы критики, не принесла полного творческого удовлетворения писателю. И понадобились еще долгие годы работы, исторических исследований, прежде чем появился роман «Устим Кармалюк» (1957) — широкое полотно о жизни и борьбе легендарного народного мстителя Устима Кармалюка. Речь об этом романе будет идти ниже, а сейчас, говоря о послевоенном периоде творчества Василя Кучера, нельзя пройти мимо других его романов, ставших отрадным явлением не только в украинской, но и всей советской литературе.

В 1952 году Василь Кучер завершил работу над романом (в двух книгах) «Черноморцы». Это был взволнованный рассказ о героических защитниках Одессы и Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Писатель был сам участником этих событий, и потому роман волнует читателя своей суровой правдой. С душевной теплотой, глубоким проникновением во внутренний мир героев романа, писатель создает обобщенный образ народа, чей героический подвиг в борьбе с фашизмом останется в веках. Красной нитью через весь роман проходит тема дружбы народов нашей страны, несокрушимый сплав единства армии и советских людей, вдохновленных на подвиг во имя свободы и счастья Родины.

По выходе романа в Одессе и Севастополе на боевых кораблях состоялись встречи с черноморцами капитана третьего ранга Василя Кучера со своими героями. После каждой такой встречи он возвращался с чувством выполненного долга.

— Нет, не совсем выполненного, — говорил Василий Степанович, — потому что мы, живые, будем в вечном долгу перед теми, кто сложил голову в борьбе за нашу Родину... Но я буду стараться в меру моих сил возвращать пусть по крупице этот долг...

Писатель был верен своему слову: вскоре вышел из печати роман «Прощай, море» (1957) о жизни послевоенного колхозного села. Проблемы села всегда интересовали Василя Кучера. Он прекрасно знал людей деревни, пути, по которым шло развитие сельского хозяйства. Поэтому-то и герои его романа были близки труженикам села. Роман пользовался большим успехом среди читателей. Крити-

ка отмечала не только актуальность произведения, но и его высокие художественные качества.

На новом этапе жизни и борьбы встречаем мы героев «Прощай, море» в романе «Трудная любовь» (1960). Их характеры раскрываются в столкновениях взглядов, привычек, позиций. На фоне острых производственных конфликтов Василь Кучер мастерски углубляется в личную судьбу персонажей, в мир их переживаний. В этом произведении еще одной гранью засверкал талант Василя Кучера — его тонкое чувство юмора, что особенно проявилось в диалогах. Богатая языковая палитра писателя, слово — веское, образное, — звучит в романе, наполняя его тонким ароматом народного языка.

Интерес писателя к жизни тружеников села очень ярко проявился и в сборниках рассказов Василя Кучера «Криница» (1956), «Шумят вербы» (1959), но тема войны, судьбы защитников Родины не отпускали писателя никогда. Он выполнял свой обещанный долг. В «погашение» этого долга Василь Кучер написал романы «Голод» (1961) и «Орлы воду пьют» (1966). Острые сюжеты этих произведений дали возможность писателю раскрыть характеры героев в исключительно трудных условиях военных будней.

«Мы не спим на розах» (1967) — последний роман Василя Кучера. Он вышел из печати, когда писателя уже не было в живых. О чем этот роман?

Вот что говорил о своем замысле Василь Кучер: «Главный герой — соратник великого Ленина, пламенный революционер Артем — Федор Андреевич Сергеев. Он жил и боролся не только в России и на Украине, но и за пределами родной земли. Если посмотреть на географическую карту мира, в каких городах бывал Артем, то можно назвать не только Париж и Стокгольм, Нагасаки и Шанхай, Дарвин (Австралия), Осло и Гамбург... В одном из писем Артем писал родственнице известного ученого Ильи Мечникова: «Очень мне хотелось написать Вам, но постоянно складывались обстоятельства, мешавшие сделать это. Мы не спим на розах. Пробраться в Европу мне до сих пор не посчастливилось...»

От замысла до его воплощения — огромная дистанция. Василь Кучер с честью преодолел ее: наша литература обогатилась полнокровным произведением о большевике ленинской закалки — незабываемом Артеме...

* * *

Имя Устима Кармалюка еще при жизни его стало легендой. Молодой крепостной пана Пигловского из села Головчинцы, Литинского уезда, Подольской губернии, ослушался своего господина и был со-

слан в солдаты... Это было обычным явлением в те далекие годы крепостнического своеволия помещиков, когда безнаказанно убивали своих рабов, продавали их и меняли на гончих псов. Это была реакционная эпоха Александра I и Николая I — эпоха жестокой феодальной эксплуатации помещиками закрепощенных масс крестьянства.

Российская империя за свою историю не раз сотрясалась от могучих крестьянских восстаний и «бунтов». С именем Пугачева, Разина, Болотникова, Довбуша связана борьба народа за лучшую долю, за свои права. Устим Кармалюк и его движение, которое будоражило долгие годы не только Подольскую губернию, было беспримерным по своему размаху и силе на Украине. С 1812 по 1835 годы не утихал пожар восстаний, зажженный непокорным и бесстрашным Устимом Кармалюком, который был сослан в солдаты в 1812 году за бунт против своего помещика.

...В 1813 году Кармалюк сбежал из 4-го уланского полка и организовал небольшой повстанческий отряд. С этого времени и началась героическая эпопея его борьбы против панов — помещиков украинских, польских, русских. Двадцать три года (с 1812 до убийства Кармалюка в 1835 году) шла эта борьба. Трижды ссылали его в Сибирь, и трижды он бежал, тысячи километров проходил через тайгу и горы и, возвратясь на родную Подолию, начинал все сначала.

Тысячи и тысячи бедняков шли на зов своего вожака. Среди них были не только украинцы, в отряды Кармалюка вливались русские, поляки, белорусы, молдаване. Популярность Кармалюка среди народных масс беспокоила не только местных помещиков, но и правительство. Николай I и сенат в последние годы жизни Кармалюка несколько раз занимались пересмотром дел участников восстаний. Для борьбы с отрядами Кармалюка была создана специальная правительственная Галузинецкая комиссия во главе с чиновником по особым поручениям Визерским.

Но Кармалюк был неуловим. И только благодаря коварной измене он был убит из засады 12 октября 1835 года помещиком Рудковским.

Последним из документов, опубликованных в сборнике Центрального государственного исторического архива УССР, есть дело № 210 из церковной летописи села Каричинцы-Шляховые, где говорится: Устим Кармалюк «...был убит из ружья дворянином Рудковским и погребен в гор. Летичеве вне кладбища без христианского обряда. Рудковский за убийство Кармалюка был лично вызван ко двору государя императора Николая Павловича, где имел личное свидание с императором и всемилостивейше награжден золотым перстнем с императорской короной. Соучастники Кармалюка сосланы в Сибирь...»

Имя Устима Кармалюка, его подвиги привлекали внимание многих писателей. О нем писали Марко Вовчок и Михайло Старицкий, мечтали запечатлеть образ Кармалюка Леся Украинка и Михайло Коцюбинский. Восхищался этим народным героем Максим Горький. Обращаясь в декабре 1916 года к украинским писателям, он говорил: «Я назову Вам одно имя, навеки овеянное славой, — Устим Кармалюк».

О Кармалюке народ сложил песни и легенды. Их рассказывают и поют и по сей день. В годы Великой Отечественной войны его именем были названы отряды народных мстителей... Так и живет в памяти народный славный сын его.

Как уже известно, в 1940 году Василь Кучер опубликовал свою повесть «Кармалюк». В ней были легенды и песни о нем, хотя писатель задался целью написать документальную повесть.

«Перед войной, — рассказывает он, — я написал небольшую документальную повесть «Кармалюк». Собственно, то была не повесть, а попытка документальной биографии героя... Но тогда было и много неясного в жизни Кармалюка и, наверное, мой биографический очерк имел значительные недостатки». Так искренне сказать о своей работе мог писатель, который полностью осознавал трудность задачи, которую ему предназначалось осуществить. К этому времени уже вышел из печати сборник документов «Устим Кармалюк», подготовленный Центральным государственным архивом УССР и Институтом истории Академии Наук УССР, что облегчало работу писателя, но поиски новых материалов продолжались.

Многие годы провел Василь Кучер в архивах Каменец-Подольска, Хмельницкого, Винницы, прежде чем начать работу над романом. Благодаря писателю, открылась волнующая страница в биографии Кармалюка — дружба с его земляком Прокопом Данилевским, который из крепостных пробился к свету науки, став знаменитым хирургом. В романе много места отведено художнику — крепостному графа Моркова — Василию Андреевичу Тропинину, который оставил нам портрет не только Кармалюка, но и А. С. Пушкина, К. П. Брюллова, П. А. Булахова...

Традиционен внешне по своей архитектонике роман Василя Кучера — произведение новаторское по своей сути. Впервые в нашей литературе о Кармалюке появился роман, раскрывавший этот образ с единственно правильной точки зрения советской историографии. Писатель не поддался соблазну написать приключенческий роман, хотя жизнь Кармалюка полна острейших ситуаций. Василь Кучер пошел по пути исторической правды, сняв ненужный налет сентиментальности, который в избытке присутствовал в некоторых произведениях, особенно дореволюционных авторов.

Писатель, раскрывая полководческий талант Кармалюка, его организаторские способности, находит ответ на вопросы, возникавшие в разное время: как удавалось Устиму Кармалюку в течение двадцати трех лет вести борьбу не только с оголтелыми панскими прислужниками — гайдуками, не только с частями регулярной армии генерала Витгенштейна, но и со всем чиновничьим государственным аппаратом царской России, который долгое время был бессилем положить конец крестьянскому бунту. Известно, что Кармалюк был неграмотным, но его бунтарские идеи были настолько близки поработанному народу, он обладал таким природным умом, что это заменяло ему непостигнутую грамоту. Только стремлением народа к освобождению, верой в Кармалюка, в его дело, повсеместной поддержкой можно объяснить то, что он был столь долгие годы неуловимым для своих врагов. А если и случалось, что заковывали его в кандалы и отправляли в ссылку, — он все-таки возвращался, чтобы опять жечь усадьбы панов и мстить за горе своего народа.

Каторга, на которой провел годы Кармалюк, тоже была для него школой, жестокой, но и она учила его. С достоверностью и тактом описывает Василь Кучер встречи Кармалюка с декабристами. Многому научил крестьянского вожака, многое открыл перед ним матрос-декабрист Иван Дроздов, ставший верным другом по борьбе.

Декабристы и Кармалюк. Это особая линия в романе. Нет документов, подтверждающих встречи Кармалюка с этими рыцарями свободы, выступивших с оружием на Сенатской площади, одних казненных, других сосланных в Сибирь. Но есть документы, свидетельствующие о том, что Кармалюк был дважды сослан в Тобольск, работал на медеплавильном заводе около Тобольска, а позже на рудниках, винокурнях Ялуторовска и заводах Иркутска, в местах, где жили сосланные декабристы. Целый год жил в Москве беглый каторжник Кармалюк, скрываясь в домах русских друзей. Так вымысел писателя становится в романе правдой художественной.

Зрелым художником, исследователем истории борьбы народа со своими поработителями предстает автор «Устима Кармалюка». С глубокой симпатией выписаны им образы простых людей. Захар Блажкун, Илько Сотничук, старый кобзарь Диброва, Прокоп Данилевский — живые люди, принесшие в роман дух эпохи, колорит быта, языка. Счастливо избежал традиционности и штампов Василь Кучер и в изображении представителей лагеря крепостников, этой черной силы самодержавия. Царь и граф Морков, пан Ханенко, Кавура, Пидгурский, Заремба и Янчевский — безжалостно заклеены автором. В романе не всех их постигла участь Ханенко, но приговор народа своим поработителям писался уже тогда...

Мы расстаемся с героями романа, опечаленные трагической гибелью Устима Кармалюка, многих его соратников, но с чувством

гордости за непокоренный народ, который много десятилетий спустя разорвал цепи рабства и теперь в своем светлом советском доме с благодарностью вспоминает тех, кто в те далекие-далекие годы отдал свою жизнь за счастье грядущих поколений.

Романы, повести и рассказы Василя Кучера неоднократно переводились на русский и другие языки народов нашей страны. Живет пламенное слово писателя-коммуниста, патриота и солдата. Он и сейчас в строю правофланговых нашей литературы. Он с нами, ибо:
— Еще не время бросать якоря...

Микола Зарудный



**УСТИМ
КАРМАЛЮК**

Я назову только одно имя,
навек оваянное славой, —
Устим Кармалюк.

М. Горький

За Сибирью солнце всходит,
Други, не зевайте.
На меня, на Кармалюка,
В беде уповайте.

Народная песня

Лошади на всем скаку вылетели из села, но, когда бричка выехала в поле, Тропинин попросил разговорчивого Опанаса умерить их бег. Дорога была накатанная, ровная и совсем не пылила после дождя. По обе стороны ее лежали пожелтевшие стерни, уже поросшие молодым бурьяном, поднявшимся после первых осенних дождей. Голые поля напоминали Василию Андреевичу бескрайний ковер, покрытый полинялой охрой, яркой зеленью и черной краской со светлыми пятнами солнечных бликов. По господским пашням тащились в ярмах круторогие волы, за плугами в белых рубахах и соломенных брылях¹ шли, сгорбившись, крепостные, всей тяжестью тела налегая на чапиги. Тропинин представлял себе их загорелые, обильно орошенные потом лица и холодный блеск глаз. Днем крепостные пахали господские поля и только ночью да в праздник работали на своих клочках. Их узенькие полоски были видны издали — на них еще зеленел бурьян, желтели стерни, четко обведенные на межах высоким красноголовым репейником.

У художника собралось уже немало портретов крепостных, которые потом ожили на его картине украинской свадьбы. Он не изменял их облика: измученные, морщинистые лица были те же, что и на портретах, но все скрашивала праздничная одежда. Молодожены идут из церкви. Впереди движется трио музыкантов, и кто-то из парней прямо посреди улицы уже отплясывает гопака. Степенно выступают сваты, шафера, дружки, а у крыльца молодых ждут родители. И надо всем этим

¹ Брыль — крестьянская соломенная широкополая шляпа. (Здесь и далее примечания переводчика.)

праздником высятся кукавская церковь, которую он, Тропинин, расписывал, а там, дальше, посреди сельской площади, высятся величавые двухэтажные с белыми колоннами графские палаты, обнесенные высокой оградой. Графский замок и церковь господствуют над селом, словно давят на него своей каменной тяжестью, стерснут его со всех сторон. Люди рядом с церковью и палатами кажутся маленькими, приниженными, хотя на их раскрасневшихся лицах светится радость, играет добродушная улыбка,— ведь чуть ли не все участники свадебной процессии уже хорошенько подвыпили. Такое в Кукавке случается не каждый день. И Василий Андреевич не мог пройти мимо. Он воссоздал со всей правдивостью, как ярко пылает киноварь на лентах и очипках¹, играет молодая кровь на лицах девушек, синеют широкие юбки и керсетки², ослепительно блещут на солнце мониста. Так это было. Таким это и воспроизвел на полотне Тропинин. Портреты украинцев-крепостных не холодны, не статичны, они словно ожили в темпераментной композиции, которую художник назвал «Свадьба в Кукавке». Он наблюдал такие свадьбы и в других селах; возможно, таковы они и в имении господина Ханенко — ведь даже этот дворовый крепостной Опанас, что везет Тропинина, очень напоминает одного свата с его кукавинской картины. Задумчивый, неторопливый, с искоркой юмора в глазах, он уложил на телегу тропининские чемоданы с ловкостью, какой мог бы позавидовать любой лакей. Опанас уже успел рассказать Тропинину, что живет возле самой усадьбы Ханенко, что у него дочка, с которой очень тяжело: она такая маленькая, что ее приходится брать с собой на барщину.

— Под господской копной растет, в господской бороде спит.

— Скажи мне, мил человек, а отец твой где? — спросил художник.

— Помер, царство ему небесное.— Опанас качает головой и осеняет себя широким крестным знаменiem.— В прошлом году на покров упокоился... Да он уж так намучился, что давно пора было в дальнюю дорогу, на

¹ О ч и п о к — головной убор замужней женщины.

² К е р с е т к а — безрукавка.

тот свет отправляться. Если б не красная шапка, отцу бы еще жить да жить. А это все красная шапка сделала.

— Красная шапка? Это что же такое? Ты, братец, расскажи подробнее,— просит Тропинин.

И Опанас удивляется, что этот барин так по-свойски обращается с ним, говорит как с равным и, кажется, даже сочувствует. Видно, он не только богов малюет, а знает и простых людей. Да и сам, верно, небогатого роду, одежда на нем не такая уж пышная, а золотых перстней с драгоценными камнями и вовсе на пальцах нет. Верно, сам из крепостных, как все господские музыканты, портные, артисты, певцы.

— Красная шапка, по-нашему, барин, солдатская служба,— продолжает Опанас.— А служба эта длинная, проклятушая, как Млечный Путь на небе. Я еще маленьким был, когда барин отдал отца под красную шапку. И вышло, как в поговорке: баре дерутся, а у мужиков горбы трещат. Погнали отца против турок воевать. Отвоевался, а домой не пустили. Вскоре полез на нашу землю хранцуз. Да так полез, что Москву, чертова душа, поджег. Ну, отец на хранцуза, на ихнего царя Наполеона, со всем православным миром... Правда, в нашем краю хранцуз не был, но в других губерниях жег села, убивал наших людей, хотел нам на шею еще одно ярмо надеть... Ну, вот отца и погнали на войну. Да что погнали, он бы и сам пошел.

— Это верно,— отозвался Тропинин и пересел поближе к Опанасу, свесив ноги с телеги.

— Когда у соседа горит хата, спасай, а то и твоя займется. А мы с русскими братья, а не только соседи: Вот и спасли, слава богу. А что вышло потом? Горько и вспомнить. Пришел отец домой — на нем и лица нет. Одна кожа да кости, да еще без руки. На груди кресты да медали блестят, а за душой ни гроша. Хотел отец медали да кресты продать, чтобы хлеба купить, да кому они нужны?

— И барин не помог герою? — вскинулся Тропинин.

— Где уж там. Отец пришел к нему с другими солдатами, как нищие, хлеба просить, а он их со двора прогнал да еще собак науськал. «Бунтовщики! — кричит. — Я в тюрьме вас сгною. Выбью из вас вольнодумство — наслушались там всякого...» А чего они там на-

слушались, я вас спрашиваю, ежели по-хранцузскому и немецкому говорить не умели? Там такие, как и у нас, и цари есть, и господа, а вот крепостных нет. Чтоб людей на собак меняли или продавали, как скот,—этого нет и в помине. Ну, насмотрелись они всего и начали людям рассказывать. А народ сразу и загудел: «За что воевали? Где царское обещание?» Как началась война с хранцузом, батюшка каждое воскресенье в церкви машихвест царский читал. Царь звал людей защищать свою волю от врага. А кончилась война, сразу же позабыли о воле, и вышел пшик... Пришли наши отцы из-под красной шапки, а их снова на барщину гонят... Опять они крепостные, без воли. А служили царю верой и правдой по двадцать пять лет. Двадцать пять...

Тропинин положил руку на плечо Опанасу, покачал головой.

— Ты, братец, больше никому не повторяй этих слов. За них в Сибирь гонят. Берегись...

— А чего беречься? У нас все село так говорит. Всех в Сибирь не угонишь. Железа на кандалы не хватит... А доносчиков мы сразу узнаем. Потому и говорю с вами открыто... Вы ведь, говорят, нашего, крепостного роду,—и Опанас пристально посмотрел на Тропинина.

— Я и доньше крепостной,—глухо ответил художник.

— Ну тогда и вовсе не бойтесь, говорите в нашем селе все, что думаете... У нас не донесут... У нас село такое, что вся округа его знает, даже господа боятся... А после каторги у нашего барина и Сибирь не страшна. Что она для нас — Сибирь, добрый барин?

Опанас стегнул кнутом лошадей, они рванулись и галопом понеслись по ровной, мягкой дороге. Тропинин смотрел на своего ямщика и не узнавал его. Тихий и неповоротливый, в первые минуты встречи в имении графа Моркова, он сейчас вдруг ожил и преобразился. Глаза широко открыты, горят, ноздри раздуваются. Художнику стало жаль, что нельзя на всем скаку резвых коней вынуть карандаш и запечатлеть на бумаге это загадочное выражение гордой радости на лице Опанаса. Тропинин ждал ответа о Сибири, но Опанас продолжал молчать, опустив вожжи. Только за мостом, когда лошади медленно пошли в гору, Опанас неожиданно запел.

Голос у него был мягкий, басистый, казалось — исходил из самого сердца. Он нарочно пел тихо, отчетливо произнося каждое слово, чтоб Тропинин понял его песню и нашел в ней себе ответ, что такое далекая и холодная Сибирь. Песня звучала над пустынной дорогой, ее подхватывал легонький ветерок и нес над полями в синюю даль. Опанас пел, как бы разговаривая сам с собой:

За Сибирью солнце всходит,
Други, не зевайте.
На меня, на Кармалюка,
В беде уповайте...

Опанас замолчал и опустил голову.

Лошади снова неслись во весь опор, словно стараясь заглушить боль, вызванную песней.

— Скажи, Опанас, — чуть не крикнул Тропинин, — а вы видали Кармалюка?

— Как не видать? Он мой сосед, — гордо ответил Опанас. — Они его и цепями в Сибири не удержат. Он такое слово волшебное знает, что кандалы сами рассыпаются... Он, Кармалюк, как эта песня. Разве песню поймаешь, посадишь за решетку? Она как жаворонок в небе — не изловить!

За горой показалось село. Вербы над прудом, крылатые ветряки на пригорке, а там, дальше, в густом парке белеют господские хоромы. Шумят островерхие сизые ели, жарким пламенем горят осенние клены. Дымит винокурня за барским домом. Как привлекательно село, если смотреть на него издали. А заглянешь в первую хату — и черная печаль охватит душу.

— Ну вот, мы и приехали, барин, — весело сказал Опанас.

— Не называйте меня так, мил человек, — смущенно проговорил Тропинин. — Какой же я барин?

— А почему бы и нет? Платье на вас господское, башмаки тоже... Под мышкой папка с бумагами, в руках зонтик, на голове шляпа высокая. Чем не барин? — сказал Опанас и искренне рассмеялся своим словам.

— Зонтик от солнца, когда я пишу не дома, а бумаги под мышкой — для рисования. Ну, а цилиндр — это мода такая, — точно не понимая Опанаса, оправдывался Тропинин.

— Да это я так, шучу, — сказал Опанас уже во дворе, снимая чемоданы с телеги. — Если б все господа бы-

ли такие, нам бы и горя мало... Да беда в том, что они не такие, а чистые черти из преисподней... Ну, пошли в дом. Тут вы и будете жить, в этом хлигеле, где дворня живет.

Навстречу Опанасу уже выбегали дворовые господина Ханенко. Бабка Горпина, в черном очипке, в заплатанной сорочке, низко поклонилась Тропинину и бросилась целовать руку. Но он отстранился и, сняв цилиндр, поклонился бабке. Две девушки схватили чемоданы и понесли в дом. На крыльцо вышел гайдук¹ Юхим Шкаруба и подал Тропинину руку, говоря при этом:

— Имею честь уведомить вас, что господин Ханенко велел прибыть к нему, как только умаетесь и переоденетесь с дороги. Вас проводят,— и он указал рукой на господский дом.

Тропинин поморщился, увидав на руке Шкарубы плетку-треххвостку со свинчатками на концах.

— Хорошо,— холодно сказал Тропинин и побежал мимо гайдука в свою комнату во флигеле. Встреча с гайдуком оставила тень на его лице, и он сразу замкнулся, стал молчалив, угрюм.

В комнату, постучав, вошла бабка Горпина и молча поставила на лавку ведро с водой и большую обливную миску. Поклонившись снова Тропинину, она остановилась у порога, держа в руках чистое вышитое полотенце. Видно, Опанас успел уже рассказать, кого он привез: Горпина так заботливо прислуживала Тропинину, поливая ему на руки, что тот даже повеселел и забыл о гайдуке. Из соседней комнаты по ту сторону сеней доносилось нежное и тихое девичье пение. Два молодых голоса выводили грустный мотив без слов, и Тропинин угадывал в нем слышанную от Опанаса песню о Кармалюке. На сердце у него сразу стало тепло и спокойно, словно он приехал к родным, в свою Новгородскую губернию, в село Карповку. Песня успокаивала и прогоняла усталость.

— Скажите, пожалуйста, бабуса, как вас зовут? — спросил художник.

— Называйте меня, как все: бабка Горпина,— ответила старуха.

¹ Г а й д у к — в XVII—XIX вв. слуга в богатом доме украинского помещика.

— Скажите, бабуся Горпина: этот ваш гайдук и при Кармалюке такой наглый был?

— Где там! — всплеснула руками Горпина. — При нашем Кармалюке он барвинком расстился перед людьми. Был ниже травы, тише воды... А сейчас и не подступись к нему... по спине так и свистит... Пес бешеный! Барин за него горой: он ведь, простите на слове, молодик и солдаток по ночам в спальню к барину загоняет. Плач от него на селе стоит. Если б можно было собрать все женские да девичьи слезы, так утоп бы он в них, — оглянувшись на дверь, тихо произнесла Горпина.

— Придет и его время. Рано или поздно, а захлебнется он этими слезами, — решительно произнес Тропинин, повязывая галстук перед зеркалом.

— Ой, спасибо вам на добром слове! Ой, услышь, господь, молитву нашу! — тихо приговаривала бабка, крестясь и кладя земные поклоны перед образом Николая-чудотворца. Икона висела в красном углу, украшенная сухими васильками и душицей.

Пришла горничная и повела Тропинина в господский дом.

Василий Андреевич остановился посреди большого зала, тонувшего в предвечернем сумраке, и огляделся. С высоких окон ниспадали тяжелые бархатные шторы, тускло поблескивали панели мореного дуба. Круглый стол был накрыт шерстяным украинским гобеленом, пушистые кисти которого спускались до блестящего паркета. У стола высились массивные стулья с резными спинками в стиле одного из Людовиков. Под окнами тянулись дубовые скамьи, застланные яркими коврами. На самом видном месте висел портрет Александра Первого в широкой золоченой раме. Перед ним теплилась лампадка, бросая на стену подслеповатые тени. По обе стороны от императора были развешаны портреты предков Ханенко, писанные в старинной иконописной манере. На черном и темно-коричневом фоне выступали седоусые и краснощекие старики с гетманскими булавами, запорожская старшина, с перначами¹, а заключали всю эту галерею дородные красавицы в чепцах, в золотых серьгах и перстнях с драгоценными камнями на пухлых пальцах. И только в углу темнела икона Николая-чудо-

¹ Пернач — полковничья булава, вместо шара на ней перья.

творца без лампы. В зале стоял тошнотворный запах деревянного масла и тянуло сыростью, как из подпола.

Тропинин ждал долго, терпеливо переступая с ноги на ногу, из привычной почтительности не решаясь присесть. Наконец в глубине коридора послышались неясные голоса и чьи-то шаги. В вестибюле трижды ударили в медный гонг, и в зал вошли два казачка, неся бронзовые шестисвечные канделябры с зажженными свечами. Мальчишки поставили их на круглый стол и тихо вышли в другую дверь. Потом в зал вошел камердинер в длинной, как поповская ряса, ливрее и громко провозгласил, словно здесь стоял не один Тропинин, а целое собрание высокопоставленных гостей:

— Его ясновельможность наследник гетманского рода, владелец земли, лесов, вод и поместий на Украинском Подолье, дворянин, господин Ханенко!

Тропинин пригляделся к камердинеру и, узнав в нем гайдука Юхима Шкарубю, чуть не рассмеялся. На руке у Шкарубю висела та же треххвостка со свинчатками на концах. Гайдук, верно, позабыл снять ее, надевая ливрею.

«Какой-то вертеп!» — подумал Тропинин и нервно дернул себя за светлые бакенбарды.

В зал медленно вошел господин Ханенко. На нем были малиновый кунтуш¹, широкие казацкие штаны и красные сафьяновые сапожки. Рука властно покоилась на позолоченном эфесе выгнутой дугой сабли.

«Верно, так выглядел и гетман Мазепа», — промелькнуло в голове у Тропинина, и он пожал небрежно протянутую руку. Рука была холодная, даже чуть влажная, словно в поту.

После обычных в таких случаях расспросов о дороге, о том, как прошло путешествие, хорошо ли на новом месте и не требуется ли чего, — господин Ханенко сразу приступил к делу.

— Престольный праздник в моей церкви приходится на день святого Николая-чудотворца. Так что в центре должен быть его образ. Его величественный и суровый лик должен зорко взирать на каждого прихожанина, в каком бы углу церкви тот ни стоял. Это благотворно влияет на верующих. Да что мне вас учить, господин

¹ К у н т у ш — род верхней одежды, кафтан со шнурами.

художник. Вы учились в академии, и мои советы тут не нужны.

— Я слушаю вас,— вежливо ответил Тропинин.

Ханенко учтиво кашлянул и продолжал:

— Впрочем, кое-что я все-таки скажу.

— Извольте.— Тропинин кивнул головой.

— Вы знаете, что на этих землях вырос и взбунтовался разбойник Кармалюк. Я первый уведомил о том генерал-губернатора, имею от него благодарность за поимку Кармалюка. Теперь разбойник в кандалах, он нам не угрожает. Но он пустил крепкие корни среди крепостных. Нам предстоит выкорчевать эти корни. Для этого у нас есть полиция, суд, войска, ну и, наконец, церковь. Вы согласны со мной, что церковь тоже должна помогать нам? — Ханенко вопросительно посмотрел на художника.

— Я слушаю вас,— неуверенно ответил Тропинин.

— Крепостные боятся меня, и этот страх надлежит усугубить. История знает немало случаев, когда знаменитейшие художники писали на святых иконах своих земных властителей. Я имею в виду тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами, мадонн итальянских мастеров, Страшный суд... В храмах с этих полотен на верующих смотрят их цари, князья, ну, и просто владельцы земель и поместий.

— Прекрасное в искусстве всегда рождается на земле,— заметил Тропинин.

— Об этом я и говорю,— одобрительно кивнул Ханенко.— Итак, лику Николая-чудотворца для моей церкви следовало бы придать некоторые черты моего собственного портрета, к которому, я надеюсь, вы тотчас и приступите. Для удержания прихожан в страхе надлежит, чтобы они видели своего господина даже в церкви, на молитве.

Тропинин прищурился, и ему показалось, что свечи на круглом столе вдруг заплясали, большой зал валится набок, а он сам низвергается в глубокую бездну. Сердце его бешено заколотилось, к горлу подкатился горячий, давящий клубок, щеки вспыхнули, на лбу выступили мелкие капельки пота. Но Ханенко, не давая ему опомниться, продолжал:

— Лик Николая должен господствовать в церкви. А в притворе вы изобразите «Страшный суд». На нем должен быть разбойник Кармалюк. Его варят в котле с

кипящей смолой, жгут раскаленным железом, в глотку заливают расплавленное олово. Все черти ада, грозные и беспощадные, должны терзать Кармалюка на Страшном суде. Ваш талант окажет неоценимую услугу православной церкви.

Василий Андреевич, чтоб не упасть, оперся рукой на спинку резного стула; он часто дышит и старается овладеть собой, сдержать охватившую его ярость. Он переводит дух и после этого тихо произносит:

— Нет! Я не смогу этого сделать...

— Ну что вы? — снисходительно улыбается Ханенко и властным жестом указывает на галерею потемневших портретов в дубовых рамах, где предки крепко стиснули губы, словно глотнули смертельный яд. — Посмотрите на эту мазню! Разве тут можно узнать моего деда, прадеда, отца, наконец, меня? Да нисколько! По сравнению с вашим талантом это беспомощные потуги слабоумных богомазов, которые даже понятия не имели о Петербургской академии. Они и в подметки вам не годятся. В церкви сиятельнейшего графа Моркова я собственными глазами постиг чудодейственную силу вашей кисти... А тут такая мелочь...

Тропининтирает клетчатым платком вспотевшее лицо и глухо говорит:

— Нет, я не могу так... Это, наконец, профанация святой веры...

— Почему не можете? — с неожиданным равнодушием спрашивает Ханенко.

— Потому что портрета Кармалюка, который я писал по приказу графа Моркова, у меня уже нет. Граф отправил его в Варшаву. Даже два этюда к этому портрету он послал своим знакомым в Петербург, их давно уже нет у нас... А писать портрет Кармалюка по памяти я не могу... Это очень трудно... и просто невозможно. Нет, невозможно! — громко говорит Тропинин, радуясь, что ему наконец пришла в голову счастливая отговорка, дающая право отказаться от такого страшного насилия над своей совестью.

Дверь открывается, и на пороге вновь вырастает Юхим Шкаруба в ливрее.

— Барин, — говорит он, — прибыл нарочный от генерал-губернатора и с ним канцелярист Барабаш. Дело, говорят, неотложное.

— Проси,— кивает Ханенко и, обращаясь к Тропинину, заканчивает разговор: — Идите, отдохните с дороги, а завтра пойдем в церковь и на месте все взвесим. Портрет Кармалюка у нас будет. А для Николая чудотворца, я думаю, вы сами что-нибудь сообразите... Это же так просто и ясно, господин художник.— Ханенко похлопывает Тропинина по плечу и выпроваживает за дверь.

Чиновник от генерал-губернатора стремительно входит в зал и, обессиленный бешеной скачкой на коне, падает на диван. Канцелярист уездного суда Матвий Барабаш стоит на пороге, как и надлежит низшему по чину.

— Он снова бежал! — хрипло восклицает гонец генерал-губернатора.

— Кто?! — вскрикивает Ханенко.

— Кармалюк! — стонет гонец.

В зале становится тихо — слышно, как потрескивают в канделябрах восковые свечи, стонет за окном ветер, а где-то в селе лают голодные собаки. Побледневший Ханенко испуганно смотрит на прибывших, вбирает голову в плечи и шепотом спрашивает:

— Как?

Канцелярист Матвий Барабаш вытягивается и на память читает бумагу, полученную губернатором:

— «По дороге на каторгу, в Вятской губернии, ушел из путевой тюрьмы».

Ханенко бросается к двери и неистово дергает за сонетку — длинную и широкую ленту, спускающуюся до самого пола. В коридоре раздается громкий и тревожный звонок.

2

А он шел, никем не узнанный, в нищенских отрепьях, почерневший, с лирой и заплатанной сумой за плечами. Шел Кармалюк по стародавнему Винницкому тракту, просил милостыню у богомольцев, пел псалмы, молился в деревнях и хуторах за души усопших. Когда сума тяжеледа от краюшек и ломтей хлеба, Устим шел в лес и долго крошил хлеб, разбрасывал его по траве там, где громче всего пели птицы. А встречая таких же, как и сам, нищих, делился с ними последним куском и все шел

да шел к родному дому, гонимый тоской по детям, жене, призываемый верными побратимами, которые остались в этих краях, когда его, закованного в кандалы, впервые повели в Сибирь.

Узнают ли его жена и дети? Не позабыли ли своего атамана побратимы? Должны узнать. Не могут забыть. Ведь за них же, обездоленных рабов, принял он тяжкую кару. Добрые люди спрятали его в глухом лесу Вятской губернии, когда он, вместе с другом Данилом Хроном бежал из путевой тюрьмы. Собственно говоря, не бежали они, а их вывезли в бочках, в которых возят воду. Устима — в одной, Данила — в другой. Среди ночи — в лес, а там — ищи ветра в поле. Почти все злотые, что были защиты в пояс, Устим отдал тюремным водовозам. Золото стены рушит. А потом в лесу он нашел крепостных лесорубов, у тех были топоры, напильники. Лесорубы распилили кандалы на обоих беглецах, и за это Устим отдал им остаток денег. Да еще вместе с Хроном остался у них в артели лес валить. А когда артельный староста узнал, кто они и откуда — лесорубы вернули им деньги и просили позабыть о них. Дали паспорт умершего товарища, собрали еды на дорогу. Всем миром православным благословили в бой на господ за правду и волю. Так вместе с купеческим обозом, шедшим за провиантом, и дошли они с Данилом до Москвы. От столицы до Украины добирались с чумаками, ездившими за рыбой на Дон, за солью в Крым. Реки переходили вброд или переплывали, мосты обходили, сторожевые посты — тоже, ведь на Украину уже, верно, пришла весть о побеге Кармалюка из вятской тюрьмы. Данило Хронь все разузнал по дороге, а под Бердичевом чуть сам не угодил в ловушку. Нарвался на полицию и едва унес ноги. По нем стреляли, но уже вечерело, а конопля была высокая да густая. Данило прибежал в лес к Кармалюку ни жив, ни мертв. Бердичев обошли лесом, тропочками пробились к Бугу, а там и оглянуться не успели, как сама Винница осталась у них за спиной. Тут уж пошло приволье. Каждое село знакомо, каждая дорога своя, а леса, те и вовсе словно родной сад возле хаты.

Тут, за Юзвином, друзья и распрощались. Послал атаман Данила Хроня вперед, к старой корчме под Литином, чтоб искал и ждал там старого бандуриста Диброву. Велел не уходить далеко, а ждать его для беседы. И чтобы языки не очень распускали. А сам он придет в

Литин другой дорогой, ведь должен же он все разузнать о своих Головчинцах и найти где-нибудь среди батраков своего Захара Блажкуна. Вот это человек — золотая душа. Пошел против господ за волю ради крепостных, хату родную бросил, землю свою оставил. Вот таких бы молодцов Кармалюку, как Захар Блажкун. Где же вы теперь, молодцы мои верные? Слышите ли, как спешит к вам атаман ваш на тихую беседу?

Гудят дубы старые, шумят сосны высокие, а кустарник густой все что-то шепчет, склонившись к земле, словно подгоняет Кармалюка. Ну, быстрее же, быстрее, атаман, тут уже недалеко. Вот хата лесника, а за ней конец густому лесу и лежат за ним твои Головчинцы. Все увидишь сейчас, только не медли. Где уж там медлить, когда сердце вот-вот выскочит из груди.

Вскоре Кармалюк оказался возле хаты лесника. Микита под навесом обтесывал бревно. Хата на щеколде, во дворе пусто. Переведя дыхание, атаман тихо зовет:

— Микита, славайсу!¹

Бросив работу, лесник подошел, но топора из рук не выпустил.

— Навеки слава, божий человек. . .

— Не узнаешь? — спрашивает Кармалюк.

— Бог святой знает, — пожал плечами Микита, взвешивая топор в руке.

— Устим я, Микита. . . Кармалюк. . .

— Ой, горюшко. . . — отшатнулся тот, топор упал на землю, чуть не ударил лесника по ноге. Но он даже не заметил этого. — Ой, Устим, давай-ка спрячемся, а то барин уж гайдуков присылал. Они знают, что ты бежал. . .

— Пусть знают, а ты молчи. Спрячь мою лиру, забери суму с хлебом. Да хлеб не бросай свиньям, а на сухари посуши. Он ведь святой, от добрых людей. А мне дай переодеться. Свитку какую-нибудь, лапти и картуз.

— А полдничать будешь? — заторопился Микита.

— Не заработал еще, — рассмеялся Устим. — Вот сначала угостим барина, а там и пополдничаем. Где кони господские пасутся?

— Вот тут, за лесом. . .

¹ Славайсу (слава Иисусу) — приветствие на Западной Украине.

— Ну, давай прощаться, дальше пойду,— сказал Кармалюк, беря у Микиты свитку, лапти и картуз. Все это висело в овине.

— А ты молчи обо мне. И моей Марии не говори, и своей бабе не хвались. Сам объявлюсь, когда время придет.

— Ой, что ты, Устим, разве можно обо мне такое подумать,— огорчился Микита.

— Ладно уж, стругай свое бревно на здоровье,— бросил атаман и двинулся в путь.

— Только картуз не потеряй, Устим, а то горе мне будет,— просил Микита.

— Не бойся. Разве только с головой потеряю. Тогда скажешь барину, что силой взял у тебя. Будь здоров.— И Кармалюк исчез в густом орешнике, подступившем к самому овину.

Там он переоделся, бросил отрепья в кустах и пошел к опушке.

— Вот оно, поле родное, хоть и господское. Побежать бы сейчас со всех ног в село, к родной хате. Да голо кругом, со всех сторон видно. Кармалюк взбирается на высокий, густой дуб, что растет надо рвом, и замирает на вершине, затаив дыхание. Отсюда все, как на ладони. И как он раньше этого дуба не заметил? Сколько раз бегал мимо него еще мальчонкой, а внимания не обращал. И какой же он густой да раскидистый, словно нарочно для Устима посажен. Вей себе гнездо на ветвях, клади поперек жерди, устилай хворостом, словно аист, и гляди во все стороны на все дороги. Только не поднимайся во весь рост, головы из ветвей не высывай, а то увидят и первый же гайдук нацелится в самое сердце...

Вот бы Устиму еще такую трубку с большим стеклом, как у пушкарей на войне была, он бы все тут разглядел. Не то что Марию с сыновьями, а даже курицу на своем дворе увидел бы. А повернешь трубку другим, малым концом — и перед тобой все прошлое выплывает. Все, что напоминает молодые годы. А молодые годы назад не воротить.

Молодые годы! Ведь не стар еще Кармалюк, и плывут они перед глазами, словно только что все это было. Помнит он себя с малолетства. Вон стоит подслеповатая отцовская хата, в ней сейчас Мария с сыновьями бьется, словно чайка при дороге, о которой поют чумаки.

Из окошечка, в которое не раз заглядывали соседские свиньи, так близко было оно к земле, Устим впервые увидел окружающий мир; воробьи на покосившемся заборе щебетали: жив-жив! А ведь и впрямь жив, чтоб враги наши так жили. И гайдука в высокой шапке увидел — тот стучал арапником под окнами, отец и мать даже духа его боялись. Бросали маленького Устима в хате, бежали на барщину, низко кланялись гайдуку, вбирая голову в плечи и, чтобы не ударил плетью по глазам, сами подставляли спину. Бывало, еще плетью свистит на другой улице, а мать уже привязывает Устимку бечевой к столу, чтобы весь день там только, под столом, ползал и не вылезал. Положит в глиняную мисочку краюшку хлеба, вареной картошки, поставит кувшин с водой. Ешь, сыночек, пей и не шали, пока она с поля не прибежит. Рядно под столом подстелит: чтобы Устим и поспал тут же. Плачет, бывало, мальчонка, вопит, когда они в поле уходят, даже охрипнет, а как выйдут за ворота, сожмется в клубок и сопит. Как же ему хочется на лавку, к оконцу! Так и рос. Наконец научился развязывать бечеву. Вот было радости! Слово прилипнет, бывало, к оконцу. А там цветы головками кивают, аист у соседа на овине красным носом стучит. Плывут тучи по небу, словно звери мохнатые барахтаются, а Устим подкрадывается к посудной полке и шарит там. Может, хоть кусочек сахара где-нибудь завалялся? Да все поглядывает на страшного бога под рушником. Грозит бог Устиму пальцем, водит за ним колючими глазами, хоть плачь. Бог на отца похож: черный, насупившийся, только что не ругается и мать не бьет... Вечером Устимка снова привяжет себя к ножке стола, закроет глаза, а то вон уж мать в воротах, сейчас загремит засов на двери.

Так и вырос. Так и на барщину пошел. Помнит, раз мать вязала снопы. Подлетел приказчик на коне и давай перевясла на материнских снопах резать, чтобы из одного снопа два вязала. Мать что-то сказала, так он ее плетью так огрел, что даже сорочка на спине лопнула. Кровь потекла. Не вытерпел Устимка, страшно завизжал. Схватил комок земли и как камень запустил приказчику в голову. Тот даже в седле пошатнулся и с плетью на Устима. Мать упала на сына, телом своим прикрыла его, и приказчик страшно бил ее, пока не прибежал отец с косой. Закипела в детском сердечке горя-

чая кровь и с тех пор кипит все сильнее, призывая кару на господ. Это она привела Устима с далекой каторги.

Не забылось...

Вырос он, еще отчаяннее стал. Не прощал гайдукам никакой неправды, несправедливости. Барин заметил это и забрал Устима в имение. Определил в челядь. Но и там не раскаялся Устим. За непослушание его не раз запирали на псарне. Ночевал со свирепыми борзыми. Не каялся. Когда кого-нибудь били на конюшне, бросался на гайдуков, бил чем попало, кусал им руки до тех пор, пока его самого не привязывали к скамье и не лупили солеными розгами. Устим не стонал, а кричал, что пустит на барина красного петуха, вырежет всех барчат и гайдуков на белом свете. Барин так и не свернул ему шею.

А вон и церковь святая стоит на площади, у самой корчмы. Поблескивают кресты на солнце. Венчали в ней Устима с Марией Щербой, самой красивой девкой в Головчинцах. Барин долго не хотел отдавать за него Марию, но как увидел, что взбунтовался Устим, сам на нож лезет — разрешил. Ох и полюбил же Устим свою Марию! За нее согласен был любую кару принять. И гордый стал. Еще до свадьбы идет, бывало, Мария в церковь, все на нее оглядываются да похваливают. В церкви парни глаз от нее отвести не могут. А она, словно каменная, только с Устима горячих глаз не сводит. А вечером на лугу все шепчет ему, как весь день ждала этой минуты, как сердце тосковало по нем.

Справили свадьбу, и барин погнал Устима в ночное, а гайдукам велел привести Марию в имение. Голосит Мария, в свадебном наряде о землю бьется, в отчаянии зовет своего суженого. А он словно сердцем беду почувял, примчался на коне с поля, когда гайдуки Марию уже в имение затащили. Устим разметал слуг господских, ворвался в барские покои и чуть не задушил барина, но Мария бросилась мужу на грудь — удержала. Словно пьяный, увел он жену с господского двора и велел бежать к тетке в другое село. Ночь была темная. Мария убежала, а Кармалюка связали и бросили в господский погреб. Он пробил отдушину и бежал. Поймали его на пятый день, связали, тяжело избили. Юхим Шкаруба сек розгами по спине, ладонями смахивал кровь на землю, а кожу Устима посыпал солью и снова сек. Барин стоял сбоку, посасывал фарфоровую трубочку и сам

считал удары. Шестьдесят розг отмерили, а Кармалюк не покаялся, только стал еще злее. И люди стали тайком жаловаться Устиму на гайдуков и барина, а он, встречаясь с ними наедине, грозил расплатой. Барин уже не знал, как от него избавиться. И вот наступила война. Французы со своим царем Наполеоном двинулись на Россию. Тут и подвернулся удобный случай. Подпоили Устима господские прихвостни, а когда он совсем захмелел, затеяли с ним драку в корчме, связали, заковали ноги и руки в железные кандалы. Марии дали знать, но когда она прибежала в корчму, Устима уже увезли в имение, где были полицейские и солдаты. Утром Кармалюка погнали из села, приковав его к телеге. Приказали Марии дать чистую сорочку да сухарей на дорогу. Погнали в Каменец, сдавать в солдаты на двадцать пять лет. Так велел барин. А не имел права, в солдаты по закону брали из тех семей, где было несколько сыновей. А он единственный у старых, больных родителей, которые уже и доски себе на гроб сушили. И двое детей малых у жены на руках. Таких не должно брать. Да кто ж послушает? Все знали, за что такое наказание Устиму Кармалюку.

Мария прибежала к барину, в ноги кинулась, заголосила.

А тот трубкой попыхивает.

— Разве я виноват, что он у тебя такой статный да красивый. Другого такого нет у меня. А в уланы недоростков не берут.

— Ой, барин, родненький! Ой, смилуйтесь! — голосила Мария.

Он сплюнул желтую от табака слюну, махнул рукой.

— Поздно. Почему не думала, когда после свадьбы тебя в покои звали? Зачем вопль подняла на свою голову? Эй, заберите ее!

Шумит высокий дуб, качаются на ветру ветви, а Устим уже ничего не видит. Едкая, соленая слеза туманит взор.

Он только шевелит пересохшими губами:

«Ой, барин, мой барин! Пошел бы я сейчас к тебе на тихую беседу, да нет еще со мной оружия да побратимов верных. Оружие мое у тебя в оружейной, а побратимы верные где-то по свету бродят. Но недолго тебе ждать осталось! Скоро ты откроешь свою оружейную, выложишь лучшие мушкеты. А товарищи мои, побрати-

мы верные, услышат мой голос и под землей. Они прилетят на зов, ведь ты не один у нас. Много таких, как ты, и поспеть надо ко всем. Погляди только, какое у тебя кладбище за селом. На нем и не видать, где лежат мой отец с матерью, такое множество там могил и крестов. А почему? Думаешь, своей смертью ушли наши люди в могилу? Ой нет, барин! Хорошо ты знаешь, что нет, не своей смертью! Это ты им, собака, век укоротил. На твоём поле надорвались они. Им бы жить да жить, этим головчинцким казакам, а ты их, пес, в гроб загнал, детей сиротами оставил, на собак менять стал. Не один я обижен, целые села в ярме стонут... И пришел я мстить не за себя, а за всех таких, как моя Мария, как старики мои, царство им небесное... Погляди, как разросся твой дворец, как белеют стены, как амбары от хлеба и меда ломаются... Награбил чужого кровного, собака, будет тебе и собачья смерть...»

Заскрипели ветви, по листве словно вихрь пронесся, так порывисто слезал с дуба атаман. Срезал ножом ветку орешника, очистил прут, перемахнув через глубокий ров, очутился на господском поле. Шел медленно, не оглядываясь, но глазами следил за всем, что происходило вокруг. Увидел детей, стороживших барскую отару. Мальчишки, ободранные, худые, вместе с собаками пагут скотину, не дают овцам разбрестись по всему полю. Сильно забилося сердце, вспомнил Устим своих сыновей, может и они тут где-то рядом? Подошел к крайнему пастушонку, глазенки на загорелом личике горят, а ноги, как земля, черные, потрескавшиеся.

— Чей ты будешь, сынок?

— Господский, дяденька, — тихо ответил мальчуган.

— А отец кто, спрашиваю?

— Онуфрия Щербы я, дворового, сын... Он возле господских волов.

Кармалюк чуть не схватил пастушонка в объятия. Ведь Онуфрий Щерба брат его Марии, значит, малыш племянником ему доводится. Своих сыновей не увидел, так хоть племянника приласкаю. Но старый чабан уже заметил Кармалюка и с посохом направился к ним.

— А я коня своего ищу, куда-то пропал еще с ночи. Не видал ты его? Такой буланый, в белых чулках и звездочка на лбу? — быстро спросил атаман.

— Нет, не видал, — ответил мальчик. — Может, украли?

— Кто знает? Если увидишь — заметь, а я тебе пряник дам.— Устим вытащил из кармана черствого зайца с красной головкой.— Ешь на здоровье.

— Ой, спасибо! — всплеснул ладонями мальчонка.— Откуда же вы, дяденька?

— С хуторов, что за Головчинецким, Майданом,— ответил атаман и пошел к лошадям, что паслись в овраге. Только ветер донес до него слова чабана. Тот расспрашивал пастушка, а мальчонка повторил слова атамана: дяденька с хутора за Майданом, коня своего ищет.

Не встретил Устим своих сыновей и возле коней, а расспрашивать не посмел. Только и спросил:

— Чьих коней пасете?

— Господских,— загудели подростки.

— А какой самый быстрый?

— Вот этот в яблоках — Орлик. А зачем вам, дяденька?

— Хочу испробовать. А вы молчите, я ведь с того света пришел, из могилы вылез. Так и скажете эконому. Барин меня знает.— Кармалюк бросил детям горсть конфет и побежал к жеребцу в яблоках.

Опешившие пастушки со страху попадали на землю, к конфетам даже не потянулись. Только увидели, как путник протянул Орлику сахар на ладони, потом вскочил на спину, да так гикнул, что эхо прокатилось по полю и полетел как ветер, грудью припав к гриве коня, как леший, что в сказках гуляет и коням по ночам гривы путает... Устим оглянулся на пастушат, те все еще лежали, прижавшись к земле. И он услышал, как один из них закричал:

— Нечистая сила!... Не троньте конфет!

Эти слова больно стегнули Кармалюка по сердцу. Он хлестнул коня прутom и еще ниже припал к гриве. Только ветер засвистел в ушах, и уже не было слышно детского испуганного крика.

Головчинцы остались по левую руку, а Устим летел напрямик, полем, пока не выбрался на глухую, забытую дорогу. Дважды оглянулся на село, но там все было тихо, спокойно. Погони не видно. Только снова проплыло перед глазами большое кладбище со свежими могилами и покосившимися крестами. И на сей раз не пришлось навестить могилу отца. Устим, вытряхнув из кармана остатки сахара, наклонился к Орлику, дал ему с

горячей ладони. Конь тревожно заржал, задрожал, по сахар слизал и понес всадника все дальше, дальше — по полям, перелескам, незнакомой дорогой.

Правду сказали дети: славный конь. Останавливал его Устим несколько раз и снова пускал вскачь, не чувствуя земли под собой. Так и гнал до полудня, пока не встретил новый табун. Подлетел и крикнул пастухам:

— Чьи кони?

— Пана Галинского, — ответили пастухи.

— Вот он-то мне и нужен. Я с того света вырвался. Где самый, самый быстрый конь? Давайте поскорей, — яростно закричал Устим, — а этого себе возьмите, да поводите на свободе, а то я, было, загнал его.

Испуганные пастушки подвели коня. Кармалюк оставил им Орлика, пересел на свежего и, не оглядываясь, помчался вперед на Литин, по знакомым тропкам, минуя села и хутора. Лишь трава склонялась перед ним, птички отлетали в сторону, да горячий ветер свистел и голосил в ушах, словно кто-то далекий молил о спасении, звал на помощь.

Трижды за день менял коней Устим и все брал господских. Трижды при этом спрашивал пастушковых, чья земля, и вся она тоже была господская. До самого Литина, а там и спрашивать перестал. В Литине к господам прибавились управители, чиновники, исправники и военные.

Здесь был уездный центр. Устим бросил коня на лугу, подождал, пока он остынет, дал попить воды, а сам по чужим огородам и направился к базарной площади в знакомую корчму. Но в ворота не вошел, а пробрался к навесу, где приезжие оставляли на ночь лошадей и возы. Тут он бывал не раз, ночевал с побратимами, знал все ходы и выходы. Атаман присел на старую колоду среди густых кустов бузины, тут он не раз сиживал, поджидая Захара Блажкуна или его посланца.

Все на этом дворе, как и в самом местечке, было знакомо и памятно. Вон тюрьма, где он сидел, когда бежал из полка и был пойман. Вот земский суд, там Устима осудили на каторгу в Сибирь. С площади уже разъезжается шумный базар, чумаки запрягают волов, кто-то, выпив, затянул песню, это все оброчные да отпущенные господами на заработки. Среди них снуют мелкие торговцы, расхваливают свой товар. Вокруг горы арбузов и горшков, возы с пшеницей, с сухой рыбой с

Дона, солью из Крыма. Словно и господ нет, и барщина сгинула. Только дверь корчмы расписана, как и прежде. Вылинявшая картина толкует суть человеческого бытия. Картину эту написал какой-то пришлый богомаз. Он изобразил большое колесо коловорота. По левую его сторону вверх карабкается человек. Глаза у него вылезли из орбит, пот с него катится градом. Вот наконец он взгромоздился на самый верх колеса и сидит там уже в царской короне с крестом. То ли барин, то ли царь,— кто его знает. Дальше, по правую сторону колеса, этот же человек уже падает на землю. Слетает с его головы корона с крестом, а рядом стоит чумак, в широченных штанах и пускает через соломинку большие мыльные пузыри. Пузыри взлетают и тотчас лопаются. Это, должно быть, и есть сущность человеческого бытия. А внизу намалевана бутылка с водкой и чарка. И это тоже, верно, суть человеческого бытия. Так выпьем же, кум, как сказано в песне, что тут написана:

Всю-то недельку была работка.
Выпьем, кум, чарку, добрая водка.

Кармалюк вздыхает и печально покачивает головой. Ой, не в том, верно, суть человеческого бытия. Все это верно придумал хитрый шинкарь и приказал намалевать на своей двери. Он, должно быть, вместе со своим барином, от которого держит корчму, заманивает людей этой картиной, чтобы заливали глотки сивухой, а осовевшего человека легче надуть и в ярмо запрячь. Вот как оно получается, чтоб все это в огне сгорело.

Атаман сидит долго, терпеливо — в корчму все идут и идут бедолаги, а оттуда один другого уже волочит. Медленно вечереет. Наконец черным ходом выходит Захар Блажкун. Он засунул топор за пояс, попыхивает трубкой и, мурлыча какую-то песню, направляется к сараю рубить дрова. Кармалюк подпускает его к самой бузине и встает перед Захаром, как призрак. Блажкун даже пятится назад и крестит лоб с перепугу.

— Славайсу, Захар! Ты что, испугался? — тихо говорит Кармалюк.

— Свят, свят, — мелко крестится Блажкун.

— Ну чего ты? Это же я, твой Устим.

— Боже! С того света? — шепчет Захар и бросается в объятия друга.

— Твоя правда. С того света,— говорит Кармалюк, и они трижды целуются, с удивлением разглядывая друг друга.

Кармалюк ведет его в кусты, и они усаживаются рядом на старую колоду.

С лугов тянет сыростью, где-то на заставе ревет стадо, скрипят журавли у колодца, из труб вьется синий дымок. Люди варят ужин.

— Батрачишь, брат, а нож в голенище запрятал или корчмарю продал? — спрашивает Кармалюк.

— Какое там, Устим! Как тебя не стало, я снова молодцов собрал. Сам хотел все начинать. А Диброву послал к графу Моркову, чтобы нашел Илька и привел ко мне,— говорит Захар.

— Какого Илька? — спрашивает Кармалюк.

— Сотничука. Он там молодцов собирает, тех, что из Молдавии к нам бегут,— пояснил Захар.

Кармалюк кладет ему руку на плечо, ласково заглядывает в глаза.

— Спасибо тебе, браток. Я так и знал... сердцем чувал, что будет у тебя так.

— А у меня другой дороги нет,— твердо отвечает Захар.

— А корчмарь как, не донесет? — спрашивает Кармалюк.

— Нет. Он за нас, Устим, отпускает меня куда угодно, а всем говорит, что послал по делу. Вот я и вольная пташка. И бумага та, что еще при тебе добыли, законна для всякой полиции. Отпущенный своим барином на оброк, крепостной Блажкун может служить по своему разумению у кого захочет, только бы платил оброк...

— Молодец, хвалю за смелость,— говорит Устим.

— Так, может, и корчмаря позвать? — спрашивает Захар.

— Нет, не стоит. Он не должен знать обо мне. Еще не время. А ты отпросись у него на недельку. Надо ведь пожи достать, порох, осмотреть наши старые хаты, где собирались когда-то... Ох и много у нас будет работы с господами, много, Захар,— мечтательно говорит Кармалюк.

— Давно ждем, атаман,— отвечает Захар.

— И денег у него одолжи, у корчмаря своего. Даст или не даст?

— Даст. А нет, так силой возьму.— Захар весело машет рукой, и они замолкают.

Побратимы цабили трубки, Захар высек огня, закурили, и потянулся над ними синеватый дымок, так же, как тогда, когда собиралась в лесу ватага добрых молодцев.

— Устим, а ты был в Головчинцах? Детей и жену видал? — неожиданно спросил Захар.

— Был, Захар,— вздохнул Кармалюк.— Только издали взглянул на свою хату, посчитал новые кресты на кладбище, поискал своих детей возле господской скотины, да и был таков...

— Мог бы уж и зайти,— сказал Захар.

— Нет, не мог,— твердо отчеканил Устим.— Уж ежели и заходить, так прежде всего к пану Пигловскому. Я ему все припомню. И рекрутов, и как Марию поволок ночью в имение, и как заковал меня в кандалы. Я надену на него красные сапожки, не спрячется, собака.

— Поздно, Устим... Пигловского уже нет в Головчинцах.

Глаза Кармалюка злобно блеснули:

— Как нет? А куда же он подевался?

— Уехал в Варшаву, собака,— пояснил Захар.— Когда тебя не было, мы тут ему покоя не давали. Однажды ночью скирды и амбары подожгли. В другой раз на имение налетели и высекли Пигловского до крови при всем народе... Пан Пигловский не раз был наказан за тебя, атаман. И хорошо понял, что так будет до конца его дней!

— Спасибо, побратимы,— тихо сказал Кармалюк.

— Вот он и не выдержал, испугался, супостат,— продолжал Захар.— Продал со страху имение Ханенко, а у самого только пятки засверкали.

— Ханенко? — воскликнул Кармалюк.— А-аа, старый знакомый...

— Да, этот Ханенко оказался еще хуже Пигловского... Еще больше издевается над людьми,— продолжал Захар.

— Далековато сбежал. Ну, что ж, стало быть, пойдем на беседу к Ханенко. Господа все одинаковые,— решительно бросил Кармалюк; но вдруг как-то сразу поник: в голосе его послышалась усталость.

Курили молча. Только Устим все клонился и клонился к плечу Захара, так что тот испугался даже.

— Что с тобой, атаман? Не захворал ли, не приведи господи?

— О нет. Не спал три ночи,— тихо, словно сквозь сон, ответил Кармалюк.

3

Именитый граф Ираклий Иванович Морков, владелец многочисленных поместий и плодородных земель на Подолье, наконец решил удовлетворить слезную просьбу родовитого дворянина Ханенко. Отечественная война 1812 года хоть и промелькнула для графа как странный сон, однако научила Ираклия Моркова жить в ладу со своими соседями — польскими и украинскими помещиками. Здесь, на морском и сухопутном рубежах, время от времени возникала угроза новой войны, а в Польше часто вспыхивали бунты и восстания, так что следовало железной рукой утверждать незыблемость царского престижа династии Романовых.

Граф Морков был надежной опорой российской монархии на Подолье. Недаром император Александр Первый назначил его во время войны начальником Московского ополчения. Все соседи-помещики видели, с какой пышностью выезжал граф Морков из своего поместья на войну. В церквях звонили во все колокола, попы, архиереи с амвонов, прямо посреди сельских площадей и на всех заставах, мимо которых он проезжал, благословляли графа на ратные подвиги. Но никто из помещиков не видал, как за несколько дней перед тем темной ночью из графского поместья, под усиленной охраной, двинулись к Москве кованые возы, груженные богатым имуществом и драгоценностями.

Среди охраны и челяди, сопровождавшей возы, шел крепостной графа Моркова, его лакей и кондитер, в будущем выдающийся русский художник Василий Андреевич Тропинин. Граф поручил ему присматривать за поклажей; он верил в честность Тропинина, с детства жившего при его дворе в Санкт-Петербурге, в Москве, а потом и в имении, на Подолье. Граф Морков спешил вслед за своей кладью и вскоре нагнал свои возы у Днепра. Но графа всякий раз бросало в дрожь, когда

его обоз по всей дороге, до самой Москвы останавливали вооруженные косами и вилами ополченцы-крепостные. При взгляде на них Ираклию Моркову чудились ночные пожары в господских усадьбах, слышался набат, возвещавший о крестьянских бунтах.

Ополченцы, проверявшие графский обоз, в каждом постороннем прохожем или проезжем подозревали врага; Ираклий Морков видел злой блеск в их глазах, и ему становилось страшно оттого, что по царскому указу крепостные в эти дни были вооружены. Тотчас по приезде он доложил об этом царю Александру Первому, и царь не оставил его опасения без внимания. Как только Наполеон был изгнан из Москвы, царь подписал высочайший рескрипт о немедленном повсеместном разоружении ополченцев и партизан всея Руси. Первым приступил к разоружению ополченцев Московской губернии граф Ираклий Морков; он беспощадно наказывал непокорных крепостных, которые не сдавали оружия, а рвались в бой с врагом.

В царском манифесте, призывавшем верноподданных жизни не щадить в борьбе против вражеского нашествия, пришлось обмолвиться словечком о том, что в этой борьбе русский народ защищает свою волю. Долгожданное слово «воля» наконец прорвалось и в царском манифесте. Значит, она, воля, придет к людям после войны, если об этом говорит сам самодержец, его величество государь император Александр Первый из дома Романовых. Люди поверили царю, но царь снова обманул их. Вот почему граф Морков принялся так рьяно отбирать у крепостных оружие, карал непокорных, вылавливал партизан по лесам и селам. Оружие в руках верноподданных пугало царя и его слугу графа Моркова. Речь шла о существовании империи, о графском имуществе и поместьях, раскинувшихся по всему Подолью. Царь подавил непокорных. Граф Морков был награжден орденом святого Владимира с мечами и бантом. И на Украину он вернулся победителем, героем Отечественной войны, получив обратно все сокровища, которые велел беречь дворовому художнику Тропинину. Ираклий Иванович был доволен своим художником, который даже после войны остался тихим и покорным, словно его впечатлительного сердца вовсе не коснулись картины сожженной земли, страшные разрушения и голодная нищета в губерниях, по которым прошла война.

Нет, что там ни говорят немецкие и австрийские философы о влиянии среды на человека, а графский художник, дворовый крепостной Василий Тропинин остался таким же, каким был до этой жестокой войны. Граф был убежден, что художник по-прежнему верит в незыблемость царского трона, в силу всероссийского самодержца Александра Первого, в его законы и доброе к своим подданным сердце. В этом — немалая заслуга и самого графа Моркова. Он приложил немало усилий, чтобы добыть на утешение и радость себе этот великий талант. Теперь этого никто не отрицает, все в Петербурге и Москве завидуют графу, восторженно глядя на портретную живопись тихого и молчаливого Тропинина.

Женившись на дочери Миниха, граф получил вместе с приданым и дворового мальчика Тропинина, родившегося в семье крепостного в селе Карповке Новгородской губернии. Граф знал, что отец Тропинина «за верную службу управителем» получил вольную, но один, без детей, которые остались крепостными. Молодой Тропинин закончил начальную школу в Новгороде. Еще в школе он обнаружил склонность к живописи, и таким, уже начинающим художником, привез его граф Морков на Подолье, в свое село Кукавку. С той поры и началось суровое, бездушное графское воспитание, принесшее крепостному юноше столько страданий. Тропинин, бывало, рисовал ваксой на стенах лакейской человеческие головы в профиль и анфас, а графские туфли и сапоги оставались нечищеными. За это мальчика били, морили голодом, секли солеными розгами. Друзья графа советовали ему отдать Тропинина учиться живописи. Граф согласился и послал мальчика учиться в Петербург, но... на кондитера. В Петербурге Тропинин познакомился с одним художником и то и дело убегал к нему из кондитерской, пропадая там по целым вечерам. Теперь его уже была кондитерша, часто оставляя без еды и одежды. И только в 1789 году, когда Тропинину минул двадцать один год, граф послал его в академию «посторонним учеником»¹. Крепостных тогда в действительности ученики академии не принимали. Первые же работы молодого художника обратили на себя внимание. Окрыленный успехом, он все ярче и полнее раскрывал свой

¹ Так назывались ученики академии, не пользовавшиеся казенным иждивением.

талант и получил за свои работы серебряную и золотую медали. Но вскоре на него обрушилась новая беда. В 1804 году Тропинин выставил на академической выставке картину «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке». Портрет понравился президенту академии Щукину и императрице. И Щукин, заискивая перед всемогущим вельможей графом Морковым, тотчас уведомил его о том, что если он не хочет потерять «своего человека», то должен немедленно принять меры. И граф сразу вызвал Тропинина в свое село Кукавку. На этом и закончились графские хлопоты. С той поры Тропинин жил в деревне, писал семейные графские портреты, рисовывал господские балконы, кареты, высокие ограды вокруг усадьбы. Первой большой композицией, написанной в Кукавке, был портрет атамана Платова, и граф отвез его царю. Александр Первый подарил этот портрет прусскому королю. Популярность и слава Тропинина росли, но он все так же ведал графским буфетом, столовым серебром и каждый день прислуживал за столом в лакейской ливрее. А за воротами имения своим чередом шла убогая, подневольная жизнь украинских крестьян. Тропинин все видел, ежедневно наблюдая тяжкое горе и нужду. Писал ли он иконостас в сельской церкви, свадьбу или портреты крестьян — перед его глазами всегда стояло народное горе, ничем не разнящееся здесь, на милой Украине, от того, что он видел в Новгородской губернии. Там был граф Миних, тут — Морков.

Между тем среди подольских помещиков пошла молва о Тропинине. Началось это после того, как он расписал иконостас для кукавинской церкви. Увидав его работу, помещик гетманского рода Ханенко потерял покой. Он пожелал иметь и у себя в церкви столь же строгий иконостас, который поражал бы богомольную душу крепостного. Ханенко юлил вокруг графа, оказывая ему мелкие услуги. Дарил ему то орловских рысаков, то девок из своего имения, которые ткали нарядные подольские ковры и плахты, и все умолял уступить ему на срок Тропинина, чтобы тот написал иконостас и семейные портреты. Граф долго ломался, чтобы подчеркнуть свое превосходство над Ханенко, но в конце концов согласился. Здесь, на юге Украины, где близко море и рубежи, все может стать, и не стоит озлоблять соседей. Может, когда-нибудь придется отправиться в Москву, и тогда богатые украинские помещики и польские

шляхтичи еще пригодятся. Они должны остаться его верными сторожевыми псами. На этом стоит и стоять будет трон династии Романовых и весь белый свет. Да и орловские жеребцы и крепостные ткачихи тоже кое-чего стоят. Даром их не получишь.

Ираклий Иванович вынимает изо рта трубку с янтарным чубуком, кладет ее на поднос, где стоит высокий кальян, и, сладко зевнув, дергает шелковую сонетку, висящую у него над головой.

В передней слышится мелодичная трель звонка и в спальню, тихо ступая, входит слуга. Он скрещивает руки на груди и склоняется в низком поклоне.

— Художника! — бросает граф и отворачивается к окну.

— Слушаю, ваше сиятельство, — еще ниже склоняется седой слуга и тихо спрашивает: — Дозволите идти?

Граф в знак согласия чуть заметно машет белой, пухлой рукой, крепко пахнувшей одеколоном, и слуга исчезает.

Тропинин приходит быстро, словно он стоял за дверью, ожидая графского вызова. Дважды постучав, он останавливается на пороге, слегка склонив голову набок. Только прерывистое дыхание и бледность щек говорят о том, что он бежал из флигеля через весь двор и, перепрыгивая крутые ступеньки, поднялся на второй этаж. Такая поспешность, к которой Морков приучил художника с детства, нравится графу еще и сейчас, и он с удовольствием рассматривает приземистую, крепкую фигуру Тропинина. Серый халат весь измазан масляными красками и застегнут на все пуговицы. Только белоснежный воротничок оттеняет загорелую шею. Под кустистыми бровями светятся пытливые глаза с поволокой, левая щека нервно подергивается. Внешне Тропинин спокоен, только пальцы его быстро шевелятся, словно он что-то мнет в ладонях опущенных рук.

— Должен уведомить тебя, что я внял просьбе господина Ханенко. Его лошади уже стоят во дворе. Поедешь писать иконостас, — медленно говорит граф.

— Ваша воля, барин, — шепчет Тропинин.

— Я приказал охранять твою особу, но ты и сам будь осторожен. В том краю вырос и орудовал разбойник Кармалюк. Понял, что сие значит?

Тропинин удивленно пожимает плечами, внимательно следя за каждым движением графской руки. Ирак-

лий Иванович сосет янтарный чубук, выпуская изо рта иное облако табачного дыма. Когда дым рассеивается, граф поясняет:

— Ты когда-то писал портрет этого Кармалюка.

— Ваше сиятельство,— пытается протестовать Тропинин,— но ведь это был портрет не для полиции. Я пополнял свою коллекцию подольских типов. Кармалюк, хоть и был закован в кандалы, согласился на мои сеансы... Вы сами послали меня туда, и я выполнял вашу волю...

— Не о том речь,— раздраженно замахал рукой граф.— Кармалюка тебе нечего остерегаться. Он давно в Сибири, прикован к тачке, и ему уже не видать этой земли, как своих ушей. В этом можешь не сомневаться...

— Разумеется, ваше сиятельство,— хочет смягчить сказанное Тропинин и слегка кланяется Ираклию Ивановичу.

— Но там остались побратимы Кармалюка,— поясняет граф,— эти непокорные бунтовщики, будущие каторжники, которых он обучил разбою... Они не знают, для чего ты писал их Кармалюка — для своей коллекции или для генерал-губернатора графа Грохольского. Они твердят одно: портрет Кармалюка-де написан для того, чтобы все честные люди в империи могли узнать разбойника и выдать его полиции — на тот случай, если он каким-нибудь чудом сбежит с каторги и снова объявится тут.

— Боже правый,— шепчет Тропинин и прижимает ладонь к сердцу,— какая напасть! Да у меня и в мыслях этого не было, ни тогда, ни теперь... Я не знал, что люди могут такое подумать... Вы, ваше сиятельство, единственный высокий тому свидетель...

— Да,— неопределенно произносит Морков, поглаживая пухлыми пальцами золотой крест Владимира с мечами. Крест массивный, тяжелый, покрыт белой эмалью.

Тропинин знает, что этим движением граф всегда подчеркивает свою власть и силу, и потому художник постепенно успокаивается.

— Но ты должен молчать об этом в имении господина Ханенко, там даже у стен есть мужицкие уши. Ты прибыл писать им иконостас, и за это они должны молиться на твой талант. Никаких разговоров с крепост-

ными, никакого панибратства. Если они узнают, что Кармалюка писал ты, я не поручусь за твою голову. Запомни это.

Тропинин крепче прижимается спиной к стене, чтобы не пошатнуться, не выдать своей тревоги и жгучей боли, пронзающей сердце и мозг. Перед его глазами поблескивает золотой крест на шее графа, и художник покорно произносит:

— Слушаюсь, ваше сиятельство... Я только художник... В меру своих сил я изображаю на полотне то, что видят мои глаза, что чувствует сердце... Прошу не оставить это без внимания.

Но граф уже не слушает его. Он смотрит в высокое окно на густой парк; вот и осень оранжевой кистью коснулась деревьев, на ветвях стаи ненасытных галок. Над парком снова веют холодные ветры, низко нависло пасмурное небо, медленно плывут тяжелые дождевые тучи. Пора выбираться из этой холодной пустыни в шумный, сверкающий Санкт-Петербург.

Подумав об этом, Ираклий Иванович поворачивает голову к двери и, заметив Тропинина, заканчивает аудиенцию.

— До нашего отъезда в столицу ты должен там все закончить. Так что, я думаю, ты не будешь очень уж взыскательным при украшении храма. Когда все будет готово, я с графиней приеду принимать работу. Запомни, что иконостас в храме господина Ханенко не должен быть похож на тот, что в моей церкви. Он не должен напоминать даже второразрядную копию... Тебе нетрудно будет это сделать, тем более, что время ограничено. Тебя ждут в Петербурге настоящая работа и блистательный успех.

— Благодарю, ваше сиятельство,— кланяется Василий Андреевич.

— Благодарить будешь потом,— широко улыбается граф, играя лорнетом.— Я думаю, ты понял меня?

— Да, ваше сиятельство.

— Я не посягаю на свободу твоего творчества. Ты волен в своих эскизах и красках. Так было до сих пор, так будет и впредь. Это во времена жестокого произвола турецкие паши и русские князья выкалывали глаза своим мастерам, чтобы они не могли украшать и расписывать новые храмы красивее и лучше предыдущих. Это была дикая подлость. И ты это сам знаешь. Свобода в

творчестве художника — главное условие успеха... Разве я когда-нибудь сковывал твою свободу?

— Нет, ваше сиятельство, этого не было... Я очень благодарен вам за помощь в академии... Я в долгу перед вами...

— Счастливого пути! Да помни мое предостережение. Господин Ханенко должен отблагодарить тебя, и я, в свою очередь, тоже не забуду твоих стараний.

Граф поднялся с мягкой оттоманки, давая этим понять, что аудиенция окончена. Тропинин низко поклонился и, тихо вздохнув, вышел.

На фарфоровом камине зазвонили позолоченные часы, украшенные двумя большими рубинами. Их привез в Россию какой-то французский генерал, но, убегая из Москвы, забыл в Кремле. Так они и попали в руки графа Моркова, как блестящий трофей времен разгрома наполеоновской армии. Должно быть, этот генерал состоял в свите императора — часы стояли в зале гвардейского караула неподалеку от апартаментов, где остановился сам Наполеон. Граф гордился их серебристым звоном и чарующим блеском кроваво-красного камня. Часы всегда напоминали о славной победе над Наполеоном под Москвой. Все окружающие магнаты, вхожие во дворец графа Моркова, знали историю часов и откровенно завидовали владельческому любимцу царя.

Граф подошел к камину, вынул чистый шелковый платочек, пахнувший розовой эссенцией, и легонько протер им позолоченную поверхность часов. Нет, платочек остался белоснежным. Лакей помнил приказ графа беречь часы как зеницу ока. И все-таки стоит заказать стеклянный колпак. Пусть стоят под стеклом. А будет ли тогда так хорошо слышен их чарующий звон? Должно быть, нет.

В дверь тихо постучали. Низко кланяясь, вошел лакей.

— Ваше сиятельство, прибыл дворецкий.

Граф властно, но небрежно повел рукой в знак согласия, и лакей бесшумно исчез, уступая дорогу дворецкому Ивану Кавуре, ловкому и хитрому подлизе из местных крепостных. Граф дважды брал его с собой в Петербург, отлично вышколил, и теперь Кавура был надежным хранителем безграничных графских прав. Дворецкого боялись крепостные не только в Кукавке, но и в окрестных селах: Серебрянке, Очедаеве, Ломозове,

Ираклиевке. Ни один крепостной носил на теле следы побоев проклятого Кавуры. За это его прозвали Яны-чаром.

В тупой покорности Кавура выгнул спину, склонил голову, и только злые глаза бегали по комнате. Видно, он пришел с важным, не терпящим отлагательств делом.

— Ну,— спросил граф, опершись локтем на камин.

— Ваше сиятельство,— льстиво и радостно сообщил дворецкий,— гонят! Уже у самого села...

— Кого гонят? Что ты плетешь? — граф насупил брови.

— Прокопа Данилевского, прохвессора нашего, по этапу из Москвы! Вместе с бродягами! По вашему указу!

Граф радостно встрепенулся и переспросил:

— Гонят?

— Гонят супостата,— радовался Кавура.— Он, было, думал, что спрячется среди господ... Ваше сиятельство его выучили, до ума довели, а он так отблагодарил... На волю захотел, без выкупа, бунтарь... Думал — забыли... У нас и мертвые души в книгу записаны, а это живой... Да еще прохвессор, а не какой-нибудь там цыганский коновал или цирюльник.

Морков повел левой бровью, и Кавура онемел.

— Никого не забываем. Всех должны помнить,— медленно отчеканил граф и отошел к окну.

Слегка покачиваясь на полных раскоряченных ногах, граф одновременно и радовался и думал о том, как вести себя дальше. Как поступить? Как встретить дерзкого вольнодумца, бунтаря Прокопа Данилевского, который так нагло пренебрег графской милостью. Не встречать же холопа, хоть и ученого, с распростертыми объятиями. Не ласкать же его за непослушание.

Прокоп Данилевский — сын крепостного из Кукавки, сметливый, умный мальчонка, был взят ко двору в челядь. Дьячок научил его грамоте. Дворовые писари дополнили его знания.

И однажды, из Кукавки, с графским обозом, что вез в Москву кожу и птицу, был отправлен и юноша Прокоп Данилевский. Морков велел Данилевскому выучиться на дворового фельдшера. Прошло время. Прокоп Данилевский попал в Москве к знаменитому врачу Корфу и тот, оценив способности юноши, принял его как сына,

помог закончить Медико-хирургическую академию. Данилевский был удостоен диплома первой степени и готовился стать профессором по кафедре хирургии. Граф Ираклий Морков уже было и позабыл о нем, но неусыпный Кавура, злой и страшный янычар, напомнил о Данилевском барину и последний приказал пригнать хирурга по этапу в Кукавку. Кавура ходил в Москву с обозом, все выведал о Данилевском, выследил его, побывал у него дома и, вернувшись в имение, свершил свое черное дело. Вот и гонят хирурга по этапу, и Кавура чуть не пляшет от радости, что добился своего, сделал еще одну пакость своему ровеснику за то, что тот так высоко взлетел. То-то же, не летай высоко, крылья обожжешь.

Кавура тихо переступает с ноги на ногу, но пол так и скрипит, словно прогибается под ним. Верно, этот скрип и вывел графа из задумчивости.

— Остановить этап! Лети сам,— приказал граф.

Кавура бросился к двери.

— Стой! Тропинин не должен видеть Данилевского. Пусть он выедет из имения раньше, чем этап прибудет в Кукавку. Понял?

— Да, ваше сиятельство,— дворецкий поклонился и чуть не расхохотался.

— А мне карету, и чтоб в ней все было наготове. Ясно?

— Да, ваше сиятельство,— до земли поклонился Кавура.

— Лети! — гаркнул граф.— И — ни слова!

Кавура крутнулся на одной ноге и выскочил из покоев, только подковки блеснули на высоких каблуках. Сапоги у Кавуры добротные. Голенища с широким рантом. Как ударит плетью — эхо раздается.

4

С трудом взбираются кони на крутую гору, но с еще большим трудом бредут за возом этапники. На возу дремлют конвоиры и унтер. А кучер идет рядом с возом. Ему жаль лошадей, хоть они и господские. А вон конвоирам не жаль. Даже когда гора крутая, не слезают они с воза, на котором лежат кое-какие пожитки бредущих людей и кожаный саквояж Прокопа Данилевского. Да-

лекий путь пришлось пройти Прокопу — от самой Москвы до Подолья. Устал в дороге, осунулся от горя и слез. Были у него кое-какие деньжата и за них конвойные иногда сажали его на полук. Видно, не простого рода беглец, раз приказано так охранять его. И говорит о всякой всячине и науки все знает, даже и человека может от смерти спасти. В том его саквояже лежат разные лекарства, инструмент блестит. Не раз в дороге Прокоп помогал больным, и те выздоравливали. За это все этапники глядели на него с почтением. Даже конвойные порой прислушивались к его советам. А он шел молчаливый, печальный, черный, как туча. Никто и слова не услышал о его жизни и судьбе, хотя все остальные уже не раз успели рассказать и пересказать все о себе. Видно, страшное, непоправимое горе обрушилось на Прокопа. Во сне, на привалах, он тяжело стонал, метался, кого-то бранил, кому-то грозил.

Но вот лошади вкатили тяжелый воз на крутую гору. Свежий ветерок унес пыль из-под колес. И Прокоп Данилевский закричал, обращаясь к дремавшим конвойным:

— Братцы! Господа! Да остановитесь же здесь!

Проснулись испуганные конвойные. Схватились за ружья. Что случилось? Может, сбежал кто? Унтер уже водит пальцем, считает этапных. Нет. Все здесь.

А Прокоп словно только что на свет родился. Дышит часто и глубоко, горят запавшие глаза. То расстегивает, то застегивает воротник, и все стряхивает пыль с шинели, с залатанных штанов. Словно околдовал его кто-то. Унтер подскочил к нему, взял за руку, внимательно заглядывает в глаза. Может, надо усадить в телегу. А то еще какая беда приключится у самого порога.

— Что с тобой, человече? Аль захворал?

— Ой, какое там, служивый, ведь это село мое родное. Кукавка как на ладони видна. Разве вы не видите? Да остановитесь же, Христа ради!.. Слышите, люди добрые?..

— Вот доедем и остановимся, — равнодушно зевает унтер.

Этапники покачивают головами, недовольно покашливают, давая понять унтеру, чтобы остановил лошадей. Но тот и не думает останавливаться. Он тихо смеется беззубым ртом. Мало ли чего захотелось Данилевскому? Может, он еще надеется, что односельчане выйдут

встречать его с музыкой, да еще коврами да рушниками дорогу устелют. Вот задается бродяга.

— Как же так, господа? Я должен переодеться. Не могу же я таким оборванцем войти в родное село! Что люди скажут? Да ведь мои отец и мать в могиле перевернутся от такой обиды. Здесь же сверстники мои и среди них — друг, академик Тропинин, художник. Слышали? Ну, остановитесь! Не каторжник же я...

Этапники глухо загудели, тихо о чем-то заспорили, и один за другим решительно и быстро начали рассаживаться по обочинам дороги. Первым уселся, чуть не грохнувшись всем телом, высокий рыжий старик, этапный староста. За ним два беглых солдата из Каменецкого гусарского полка, а за ними все остальные, как галки на борозду. Это был немой, но решительный протест, и унтер приказал кучеру остановить лошадей, немного попасти их.

— Спасибо тебе, служивый! Как только прибудем в корчму, ставлю полкварты водки,—радостно пообещал Прокоп.

Он бросился к возу, расстегнул кожаный саквояж, вынул из него чистую сорочку с высоким пикейным воротником и широким черным бантом, узенькие штаны со штрипками, фрак из тонкого касторового сукна. Модный плащ, цилиндр, лакированные туфли с острыми носками и длинные клетчатые чулки. Повесив новую одежду на руки, Прокоп перепрыгнул через придорожный ров и за густым кустом шиповника стал переодеваться. Этапники закурили трубки, с интересом поглядывая на куст, за которым, размахивая руками, Прокоп надевал господскую одежду. Они и не думали, что он таков, их товарищ по этапу, и теперь с интересом ждали, что он будет делать дальше, когда переоденется и придет в родное село. А село — вот оно — перед ними, лежит как на ладони. Славное, чистое. Утопает в садах. А над теми садами белеет дворец в три этажа, с белыми колоннами. Рядом с ним церковь, высокая, красивая. Такой этапники не видывали от самой Москвы. Должно быть, богатый барин владеет этим селом. Это к нему гонят по этапу Прокопа неизвестно за какую вину.

Но вот Данилевский вышел на дорогу, и все удивились. Перед ними стоял статный и стройный барин, каких им ежедневно приходилось видеть в Москве. Ему только бы большой Владимирский крест на шею и хоть

сейчас в царские палаты. Словно и не он брел с ними под дождем и солнцем, среди едкой пыли и грязи, голодный и холодный, кормил своим телом блох среди арестантов на этапных дворах. А теперь вот стоит посреди дороги, и как-то виновато улыбается им, с удивлением себя осматривает. Да что ж это? И господская одежда, видать, не с чужого плеча — сидит на нем как влитая. Загляделся на Прокопа и унтер, и не знает, что делать. Приказать ли двигаться дальше или ждать, пока Прокоп сам велит. Но разве Прокоп может повелевать? Глаза у него полны слез, света божьего не видят. Как надел это свое домашнее, в чем в академию ходил, так сразу и вспомнилось все, что случилось с ним в Москве.

Среди ночи полиция ворвалась в квартиру покойного профессора Корфа, где ныне жил Прокоп Данилевский, женившись на дочери ученого, голубоглазой Гертруде. Разбудили детей — старшенькую Эльзу и маленького Максимку. Офицер, размахивая приказом полицмейстера, торопил собираться в дальнюю дорогу по этапу. Гертруда отчаянно рыдала, не отпускала мужа и никак не могла понять, почему так нахально ведут себя эти русские полицейские. И жалости у них нет. Ведь она дочь известного профессора, по закону вышла замуж за молодого хирурга Данилевского, имеет от него детей. Отец умер, и теперь она станет круглой сиротой. Что же делать Гертруде без мужа? Куда они его берут и зачем? Разве Прокоп совершил преступление? Нет. Он скоро станет профессором по кафедре хирургии, как ее покойный отец, немец Корф, которого знала вся Москва. Сбежались соседи, преподаватели академии, но и они были бессильны. Только забрали к себе детей, и Гертруда даже не помнит, как собрала мужа в дорогу. Ей и попрощаться с Прокопом не давали. Тогда она сунула офицеру немного денег, и он разрешил ей проводить мужа до Тульской заставы, а там прогнал, да еще отругал ее. Долго стояла женщина посреди дороги, но сквозь слезы не видела толпу этапников, тонувшую в пыли, поглотившей и ее мужа. Она упала на землю, зарыдала. Подобрали Гертруду будочники. Расспросили, кто она, где живет, и привели к осиротевшим детям. Так она и не могла постичь, что ее муж — крепостной графа Моркова, ведь и сам Прокоп начал забывать об этом. И не могла поверить в то, что граф Морков навсегда забрал

у нее мужа, отца ее детей, и никакой закон, никакой суд не вернут его.

— Ох, дети мои, дети,— зашептал Прокоп и повернулся к селу.— Не хотел, чтобы конвоиры и этапники видели его слезы. Всю дорогу не видели и теперь не увидят.

— Эй, трогай,— закричал унтер.

Но этапники не шевельнулись. Ждали, пока Прокоп уложил дорожную одежду, запер саквояж, вынув из него потертый кожаный портфель с какими-то бумагами. В портфеле были также порошки и лекарства в бутылочках.

— Садись на телегу,— приказал унтер.

Прокоп послушно уселся между конвоирами, и толпа снова двинулась, тяжело ступая по пыльной дороге. У коренника на шее нудно и однообразно зазвенел колокольчик. Печально, нехотя поплелись буланые. А им навстречу, с главной сельской улицы уже мчались три всадника. Подъехали поближе, преградили этапникам дорогу и передний, на сером коне, Кавура закричал:

— Именем графа Моркова, на земли которого вы ступили, и по повелению подольского генерал-губернатора приказано остановить этап и ждать прибытия его сиятельства.

Этап стал. Унтер тихо выругался и сплюнул, но возражать не посмел. Черт его знает, что замышляет каждый такой граф или князь, по землям которого едешь. С чумаков они берут подати, а иногда рубят им колеса и ярма. На своей земле каждый из них сам себе царь. А тут уже и Прокоп соскочил с воза, подошел к гайдукам:

— Здравствуй, Иван!

Кавура поднял коня на дыбы, бросил:

— Кому Иван, а кому дворецкий его сиятельства графа Моркова.

— Погоди, как же это так? — не понимал Прокоп.— Вместе росли, ты в Москву ко мне приезжал, я тебя чаем поил...

— Теперь я тебя напою,— буркнул Кавура,— вот только граф приедет...

Прокоп сжал кулаки и бессильно опустил их. Что задумали граф и Кавура? А тут уже и люди собираются. Оброчные, те, кто шел по дороге, остановились, воз-

ле этапников, ждут, что дальше будет. Приплелся и старый бандурист Диброва, за ним временно отпущенный в батраки Илько Сотничук. Уселись они поодаль, у края дороги, глядят на тракт и тоже чего-то ждут.

Но вот послышался громкий звон колокольчиков, подкатила графская карета. У Прокопа отлегло от сердца. В Москве был так зол на графа, казалось, задушил бы его собственными руками, а теперь в сердце затеплилась искорка надежды. Неужели он до сих пор такой зверь? Ведь академик Тропинин живет у него. Прокоп бросился вперед, зажал под мышкой потертый портфель.

Морков вылез из кареты, опираясь на плечи двух лакеев, еще более грузный и багровый, чем прежде. Вокруг гайдуки, свора собак, и надо всеми за старшего Иван Кавура. Граф смерил Прокопа холодным взглядом. На солнце блеснул его лорнет.

— Ты что задумал, быдло? Воли захотел?

Прокоп низко поклонился, стиснув зубы, через силу ответил:

— Ваше сиятельство, помилуйте, у меня жена там осталась и двое детей. Моя Гертруда — дочь профессора Корфа. Того профессора, что спасал от смерти наших солдат, когда Наполеон пришел в Москву и Москва горела. Я, ваше сиятельство, верноподанный слуга его императорского величества.

— Ты мой слуга, — еще больше побагровел Морков.

Прокоп открыл портфель и подал графу диплом I-й степени Медико-хирургической академии. На нем отчетливо горел золотой царский орел с короной, тихо покачивалась на шелковом шнуре большая сургучная печать. А внизу стояли подписи действительных членов академии и виднейших профессоров. Теперь этот диплом был единственной и последней надеждой Прокопа Данилевского.

Граф пробежал глазами диплом, и все заметили, как задрожали его толстые пальцы. Он сложил бумагу и с треском разорвал ее пополам. Потом сложил обрывки и еще раз разорвал. И так рвал и рвал до тех пор, пока мельчайшие кусочки не разлетелись по дороге. Ветер подхватил их и понес в поле, прижал к старой кошке, которая стояла у обочины, почернев от дождей.

Прокоп упал на колени, тихо застонал.

Граф, взмахнув стеком и так, чтобы слышали все, крикнул:

— А вольнолюбивый дух я из тебя вышибу. Эй, бросьте-ка его на кобылу да разденьте. Пусть не забывает, кто он и чей. . .

Кавура бросился на Прокопа, но отпрянул окровавленный. Прокоп осатанел и ринулся на графа. Данилевского с трудом повалили пятеро гайдуков. Стащили с него господскую одежду, привязали к дубовой кобыле, которую граф всегда возил в задке своей полевой кареты. Там лежали и розги. Кавура бил тяжело, остервенело, а граф, стоя у воза, расписывался в поданной унгером этапной книге еще за одного своего, как там значилось, беглого крепостного.

Кровь лилась с белого тела. Прокоп рвался и тяжело стонал. А потом в отчаянии закричал:

— Василий! Тропинин! Где же ты? Где?

Но Тропинин был далеко. Он и выехал из графского имения другой дорогой и ничего не знал.

Морков расписался в книге. Дал унтеру пять злотых за хорошую службу и махнул стеком Кавуре, чтобы кончал экзекуцию. Из графской кареты гайдуки достали серую заплатанную свитку, лапти и бросили Прокопу, чтобы одевался. Его господскую одежду и саквояж уложили в задок кареты вместе с окровавленной кобылой. Кавура и гайдуки кое-как натянули на Прокопа мужицкие отрепья и отвели его с дороги под старую копну.

Усаживаясь в карету, граф бросил:

— Отныне будешь лечить моих коней и волов. И тот скот, что живет по хатам.

Засвистели нагайки гайдуков, запели колокольчики на лошадиных шеях, и графская карета покатила к соседней экономии.

Этапники двинулись дальше, оставив Прокопа у почерневшей копны. К нему подошли Илько Сотничук и бандурист Диброва.

— Испей воды, сынок. — И бандурист протянул ему старую казацкую баклагу. — Мы все видели и слышали. Настигнет и их кара.

Прокоп открыл глаза и каким-то странным, не своим голосом спросил:

— Настигнет?

— Настигнет, — уверенно подтвердил Диброва и дал ему напиться.

Прокоп пил жадно, большими глотками, чуть не захлебнулся, а допив всю воду, снова растерянно спросил:

— Кого настигнет, дедусь?

— Господ, сынок.— Старик покачал головой.

— Господ? — в раздумье повторил Данилевский и, немного помолчав, спросил: — А Кавуру? Это же он все. Был у меня дома, в Москве, чай пил, боже мой, милостивый...

Илько Сотничук откашлялся.

— Знаем мы этого Кавуру. Людей пытается, обдирает и у графа крадет... Хочет новой земельки прикупить, богатеи проклятый. Дайте время, вот только за Сибирью солнце взойдет...

— Солнце? — повторил Прокоп и склонился к плечу старого Дибровы.

Бандурист подхватил его и нечаянно коснулся своей бандуры. Она громко зазвенела, откликнулась всеми струнами.

5

Канцелярист нижнего земского суда Матвий Барабаш, возивший губернаторского чиновника по именьям, вернулся в уездный город Литин поздним вечером. Он очень устал от тряской дороги и щедрого угощения за богатым столом, которое ему всюду выставляли дворяне и родовитая шляхта. Важная весть о бегстве Кармалюка, которую чиновник под большим секретом передавал помещикам, была для них драгоценна, за нее платили щедро; нарочного, а заодно и канцеляриста Барабаша принимали гостеприимно, на широкую ногу. Помещикам, своевременно предупрежденным о бегстве Кармалюка, надлежало сохранить это известие в глубокой тайне от своих мужиков, а самим подготовиться к новой схватке с ватагой беглого каторжника. Теперь нападение Кармалюка не застанет их врасплох. Они сделают все, чтобы спасти себя и свое добро от безвременной гибели, а может быть, и сами изловят Кармалюка. Раз уж их предупредили, то они будут всегда наготове.

Губернаторское поручение было выполнено, и Матвий Барабаш, преисполненный гордости, с облегчением вздохнул, въезжая в Литин. Все его опасения наткнуться по дороге на Кармалюка остались позади, а в голове

до сих пор шумело от выпитого и съеденного за барскими столами. На языке все еще вертелась одна и та же сухая фраза из тайного донесения, которую канцелярист одинаково холодно произносил в каждой усадьбе после сообщения губернаторского гонца. «По дороге на каторгу, в Вятской губернии, ушел из путевой тюрьмы». Больше он ничего не знал о бегстве Кармалюка, не произносил ни одного лишнего слова и только значительно посматривал на губернского чиновника. Это налагало на канцеляриста печать таинственности; дворяне и помещики благосклонно относились к Матвию Барабашу, недавно выбившемуся в писаря, а теперь ставшему канцеляристом Литинского нижнего суда. Теперь от него во всех делах, какие рассматривает суд, многое зависит. Матвий Барабаш может написать протокол допроса, умеет как угодно преподнести земскому исправнику судебные бумаги, пробовал даже обходить законы в пользу тех, кто щедрее позолотит его скромную канцелярскую руку.

Дремлет тихий Литин, погруженный в глубокий покой. Над широким, холодно поблескивающим прудом высится каменная тюрьма. В черных проемах тюремных окон по железным решеткам скользит лунный свет. Узники давно уже улеглись в душных и тесных казематах, так же как улеглись их дела в дубовом кованом сундуке Матвия Барабаша. Канцелярист хорошо знает каждую бумагу, номер протокола; ведь все это написано либо его рукой, либо руками земских писарей под его надзором.

Шумит над прудом сонный камыш, всплескивает рыба на быстрине, на плотине в желобах гудит вода. Возле дома инвалидной команды дремлет у ворот часовая, в окнах горит свет. «Верно,— думает Матвий, сладко позуывая,— снова режутся в карты». Сейчас и он отдохнет. Умоется с дороги и опрокинет добрую чарку очищенной из того магарыча, который ему непременно припасли судебные писаря. Они, верно, давно уже храпят, и это хорошо, а то привяжутся с расспросами, и пойдет болтовня на всю ночь. А так все обойдется по-хорошему.

Канцелярист Матвий Барабаш прибыл в Литин ночью так же тихо, как и выехал.

Скрипят знакомые ступеньки крыльца, ластится лохматый пес, почуяв хозяина, пахнуло теплом из казенной комнаты, где живет канцелярист. За стеной в другой

комнате, через коридор живут писаря. Матвий ступает тихо, чтобы никого не разбудить. Но навстречу ковыляет солдат инвалидной команды, поставленный охранять сундуки с судебными делами, и испуганно шепчет:

— Ой, где же ты ходишь, забияка? Тут такое делается, хоть беги. Исправник уже трижды присылал за тобою. Велел привести живого или мертвого. Там, верно, опять что-то приключилось... Ну и времечко! — солдат почесывает затылок.

— Зачем зовет? — спрашивает Барабаш, бледное, изрытое оспой лицо его наливается кровью.

— Поди да спроси! — бросает солдат. — А мне приказано доложить, как только прибудешь. Так как же мне быть? Идти докладывать или ты сам?

— Сам, — вздыхает канцелярист и, даже не войдя к себе в комнату, выбегает в ночную темень.

Куда подевались его сонливость и утомление. Он бежит, перепрыгивая лужи, обходя выбоины, а в голове одно: «Кто донес? Чья это работа? И что ж теперь делать? Разве только он один брал эти взятки? Весь суд их берет! Что ж тут удивительного? Сам исправник принимает из имений целые возы, набитые пшеницей, салом, водкой, штуками полотна и коврами. Канцелярист Матвий Барабаш — мурашка по сравнению с исправником. Это все хорошо знают...»

В приемной исправника его долго не задерживают и, доложив, тотчас ведут в кабинет. Сердце у Барабаша стучит все сильнее и сильнее, оно уже так колотится, словно хочет выскочить из груди.

Из-за широкого стола, покрытого зеленым сукном, поднимается дородная фигура земского исправника Уловича. Блестящие стеклышки очков в золотой оправе дрожат на его мясистом носу. И весь он дрожит от ярости, пронизывая злобным взглядом своего канцеляриста. Над головой исправника в бронзовой раме грозный император Александр, и Барабашу кажется, что царские очи тоже налились гневом и прожигают до кости его усталое, сонное тело. Нет! Если придется круто, Матвий Барабаш снова падет на колени и примется слезно каяться своему благодетелю, поклянется последний раз и пальцем не коснуться чужого добра. Пусть у него лучше руки отсохнут, чем терпеть такой позор. Больше с ним такого греха не случится,

— Ты что тут накорябал, чернильная твоя душа! — исправник стучит кулаком по столу.

— Бог свидетель, барин, я не виноват, — кланяется Барабаш.

— Не виноват? А это чья рука? Кто писал этот протокол? — исправник тычет ему в лицо какую-то бумагу.

Барабаш слегка отстраняется, узнав свой размашистый почерк с причудливыми завитушками в конце каждого слова. И сердце его успокаивается. Но он все еще прикидывается испуганным, моргает белесыми ресницами, придурковато таращит посоловевшие глаза, хотя сразу же успокоился, услышав, что речь идет не о взятках.

— Что это такое, я спрашиваю? — гремит исправник.

— Это, барин, протокол допроса разбойника... Вы диктовали, я писал. Тут все точно, слово в слово, — спокойно объясняет канцелярист.

— Какого разбойника?! — вопит исправник.

— Кармалюка.

— Как ты сказал?

— Кар-ма-лю-ка, — не понимая, чего от него хочет исправник, повторяет по складам канцелярист.

— Кар-ма-лю-ка или Кар-ма-ню-ка? — придирается исправник, тоже растягивая фамилию по складам.

— Кар-ма-лю-ка, — удивленно отвечает Барабаш.

— Ирод! Дубина! Я тебя назад в имение прогоню — волам хвосты крутить да с крепостными затируху хлебать. Забыл, какого ты роду?

— Дворовый крепостной вашей милости. Канцелярист земского суда, верноподданный его императорского величества самодержца всея Руси помазанника божия Александра Первого, верный холоп Матвий Антонов Барабаш, — истово, словно присягая, отчеканивает канцелярист.

Исправник отворачивается к окну и барабанит пальцами по стеклу. Это его немного успокаивает. Умоляющий тон подчиненного, не забывшего и тут почтить своего благодетеля, благотворно влияет на Уловича. Он подходит к Барабашу и говорит уже спокойнее:

— А в сентенции губерниальной комиссии военного суда записано: «Карма-нюк!» «Нюк», а не «люк». Почему ты не исправил?

— Дозвольте, барин, но ведь в метрической книге

села Головчинцы ясно написано: «Кар-ма-люк», — объясняет Барабаш.

— Я приказал изъять из церкви метрическую книгу. Вот она.

Исправник размахивает толстой книгой в кожаной обложке и, придвинувшись вплотную к Барабашу, злобно шепчет:

— Губернатор отныне велел именовать его Кар-манюк, что означает: карман, карманник, вор! Господин Ханенко уже дал ему это уличное прозвище, и оно пошло гулять по всей губернии. Понял теперь, ослиная твоя голова?

— Да, — канцелярист утвердительно кивает головой и добавляет: — Но в метрике путаница и с именем этого разбойника. От этого имя его в протоколах также пишут по-разному:

— Как же именно?

— Губерния пишет, что он — Августин, мы — Усти-ан, Иустин, а в метрической книге записано — Севасти-ан. Надо и это уточнить, — советует канцелярист.

— Не надо! — бросает исправник. — Ты выправь только фамилию, как велит губерниальная сентенция. Метрическую книгу опечатай и положи в сундук... Беги скорее, и к утру чтобы все было переделано... Писарям ни слова! Объясни, что надо везде писать: «Кар-манюк», как значится в сентенции губерниальной комиссии военного суда. Марш!

Целую ночь горела сальная свеча в секретной комнате канцелярии литинского нижнего земского суда. До утра не смыкал глаз канцелярист Барабаш. Открыв кованный сундук, он вынимал из него все новые и новые бумаги, старательно скрипел гусиным пером и посыпал исписанные листы из глиняной песочницы. За дверью дремал кривоногий солдат инвалидной команды, которому было приказано никого не пускать в секретную комнату.

На столе перед Барабашем лежала метрическая книга села Головчинцы за 1787 год. В ней о рождении Устима Кармалюка были такие сведения:

«Месяца февраля дня 27.

Аз, иерей Иоанн Палей, парох Головчински храму Покрова присвятые богородицы, окрестих и миром святым помазах младенца Севастиана от родителей законновенчанных Якима Кармалюка и жены его Елены, вос-

приемници быша Василь Мельниченко со Агафиею Луцковою женою».

Матвий Барабаш еще раз прочитал эту записку и, опечатав прошнурованную книгу восковыми печатями, спрятал ее на самое дно кованого сундука. Потом вынул и еще раз перечитал сентенцию губерниальной комиссии военного суда за 1818 год. В ней и было то самое слово, из-за которого исправник отругал этой ночью послушного канцеляриста. Сентенция повествовала о первом процессе над Устимом Кармалюком. Его приговорили к смертной казни, которую потом подольский генерал-губернатор заменил пожизненной каторгой в Сибири и телесным наказанием.

Матвий Барабаш перелистывает пожелтевшие листы судебной сентенции, и сердце его сжимается от боли. Как давно все это было, а господа до сих пор не забыли Кармалюка. Поговорка гласит: «Что написано пером, того не вырубишь топором». А вот его исправник заставляет вырубать написанное... Выходит, что ныне и он, Матвий Барабаш, совершает великий грех — и он соучастник господского сговора против Устима Кармалюка. Что же там написано? Не горячись, Матвий, читай все вдумчиво, не спеша. Бог все равно правду видит, а правда никогда в воде не потонет и в огне не сгорит. Все равно она когда-нибудь да выплывет на свет божий... Спокойно, Матвий, читай дальше...

Комиссия военного суда при Каменец-Подольском ордонанс-гаузе¹ по указу его императорского величества слушала извлечение из дела подсудимых рекрутов Данила Хроня и Устима Кармалюка, которые вместе бежали от солдатской службы и будто бы учинили в Литинском уезде разбой, сожгли богатого крестьянина Ивана Сало из села Дубового.

Погоди, Матвий! Какой же это Иван Сало? Ага, да это же тот кровопийца, от которого вся округа плачет. Это у него батраки и батрачки сидят на работе. Матвий хорошо знает этого мироеда. Он хуже всякого помещика. А в судебном документе представили его ангелом.

Из протокола допроса явствует, что рекрут Данило Хронь, Васильев сын, 26 лет от роду, неграмотный, неженатый, уроженец Каменец-Подольской губернии,

¹ Ордонанс-гауз — канцелярия губернского военного коменданта.

Литинского уезда, села Дубового, из помещичьих крестьян, на службе находился с 1809 года в рекрутах. В походах и в ратном деле противу врага не бывал. По приговору Каменецкого суда от июля месяца 1814 года за побег с солдатской службы наказан по конфирмации высшего начальства шпицрутенами сквозь пятьсот человек один раз. На допросе показал, что его, Данила Хроня, после наказания отправили с командой неведомо куда и он при переходе убежал с дороги ночью из неведомого ему села вместе с Устимом Кармалюком. После побега он, Данило Хронь, в селе Дубовом вовсе не был, а находился в лесах Литинского уезда с товарищем своим, Устимом Кармалюком. Жили они тем, что просили милостыню у проезжающих, а иногда их кормили пастухи. В этом же лесу их поймали и привели в Литинский нижний земский суд, где они просидели более полугода под стражей и были переведены в Каменец, где их судили за побег. Он, Хронь, познакомился с Кармалюком во время бегства из полка, а ранее его не знал.

Устим Якимов, сын, Кармалюк, от роду 31 года, неграмотный, женат, родом из Подольской губернии, Литинского уезда, села Головчинцев, из помещичьих крестьян, в службе пребывает с 1812 года, в рекрутах; в походах и боях против врага не бывал. Находился под судом в Каменце за побег со службы в 1814 году в июле месяце и понес то же наказание, что и Хронь. Показал на суде, что после наказания был он, Кармалюк, вместе с другими отправлен в Крым, и при выходе из Каменца, на первом же тракте, с побратимом своим Данилом Хроном бежал и свыше шести недель находился в лесах Литинского уезда, где его и поймали. Он, Кармалюк, смертоубийства Ивана Сало не учинял, грабежами не занимался и в селе Дубовом даже никогда не был. Вся его вина только в том, что он бежал со службы. Данила Хроня узнал только во время побега, раньше знаком с ним не был.

«Не виновен!» — мысленно восклицает Матвий Барабаш и, сжав губы, с трудом переводит дыхание, ибо дальше в сентенции излагается тяжелое обвинение против Устима Кармалюка — в убийстве мироеда Ивана Сало — убийстве, которого Кармалюк не совершал. А главное, везде стоит искаженная фамилия подсудимого, и теперь канцелярист во всех документах должен исправить «Кармалюка» на «Карманюка».

Боже милостивый, ты видишь, что они делают с людьми! Взгляни же и на бедного канцеляриста Матвия Барабаша, будь хоть ты свидетелем, что он тут не виновен.

Но бумаги подтверждают, что на хутор вышеупомянутого Ивана Сало поздно вечером явились неизвестные люди и стали кричать: «Отпирай, мужик!» Когда Иван Сало и сестра его Мокрина вышли в сени и открыли дверь, а девка Явдоха зажгла свечу, прибывшие связали Ивана Сало и всех, кто был в хате. Они забрали из сундука деньги. В хате орудовали трое, а во дворе было еще несколько. Они привязали домашних Ивана Сало к столу и к лавкам, сами вымазались сажей и стали водить Ивана по хате, чтобы показывал, где деньги. Потом один из них, тот, что был в польской чемерке¹, отделанной серым каракулем и в серой шапке, закричал: «А подай-ка, казак, водки». Ему подали через окно водку и они облили ею Ивана Сало и подожгли соломой. Потом насыпали ему за голенища жару, положили Ивана Сало на землю и стали прижимать коленями и ногами к раскаленным углям. Забрав много вещей из обоих чуланов, грабители сказали: «Давно уже мы на тебя метили». Потом подперли дверь колодами, подожгли в сенях солому, а сами ходили вокруг хаты. Женщины развязали друг дружке руки, бросились к окнам, но Мокрину ударили пикой и порвали на ней сорочку. Когда начался большой пожар, на селе зазвонили колокола и нападавшие бежали. Женщины вытащили обожженного, но еще живого Ивана через окно и сами спаслись от огня. Хата и все хлева с возами и скотом сгорели. Хлеба разного сгорело сто корцев², а всего, как подтвердил сын Ивана Сало Яков, причинено убытку на три тысячи злотых.

Исходя из этого, суд постановил:

Поскольку подсудимые рекруты Хронь и Карманюк учинили смертоубийство Ивана Сало раньше издания высочайшего манифеста от 30 августа 1814 года, по которому их надлежит только сослать на каторгу, их следует приговорить к смерти. Это постановление военного суда не будет приведено в исполнение, а передается на

¹ Чемерка — верхняя одежда: куртка в талию, со сборками сзади.

² Корц — старинная мера зерна, около 100 кг.

усмотрение и конфирмацию высшим властям. Подсудимые же Хронь и Карманюк находятся под стражей в Каменецком ордонас-гаузе. Под документом написано: «Дано в Каменец-Подольске 20 дня 1818 года. С оригиналом согласно. Презус плац-майор Гратынский. Аудитор Каменецкого ордонас-гауза Станов».

Вот как карают невинных, топят правду святую и не дают бедному человеку поднять голову. Господа хорошо знают, что до царя далеко, до бога высоко, а тюремные стены молчат.

Матвий Барабаш отложил сентенцию и опустил голову на стол. Он знал, что мелкий помещик, который и в подметки не годится такому, как Ханенко, силой отдал в солдаты Кармалюка, разгневавшись на него за какое-то мелкое непослушание, а по этой бумаге выходит, что после всего виноватым остался один Устим Кармалюк. Припомнил канцелярист и Ивана Сало, этого зажиточного мужика, который держал оброчных батраков. Матвий Барабаш снова и снова изучал сентенцию, но никак не мог найти в ней убедительных доказательств тому, что Ивана Сало сжег и ограбил Кармалюк. Ни свидетели, ни вещественные доказательства, ни сам Кармалюк этого не подтверждали. Где-то в глубине души у канцеляриста шевельнулось обжигающее сомнение во всем этом. Он вспомнил своих надорвавшихся на барщине и рано постаревших родителей. Такая же судьба или солдатчина ждали и его, Матвия Барабаша. Ему помог счастливый случай: его барина, мелкопоместного дворянина Уловича, назначили на должность уездного исправника. Барин обучил Матвия грамоте, взял с собой и сделал канцеляристом, но на волю не отпустил. Барабаш и доньне крепостной, за малейшую провинность его могут прогнать обратно в имение, на посмешище и надругательство. В протоколах оброчные Ивана Сало именуются слугами, а на самом деле это обездоленные батраки. Господа уже называли Устима Кармалюка вором и разбойником, а ведь он не таков. Матвий Барабаш сам писал протокол его допроса в литинской тюрьме, видел там и Данила Хроня. Ну какие они разбойники? Вся их вина только в том, что не захотели безропотно терпеть двадцать пять лет солдатскую каторгу, которая еще тяжелее крепостной неволи. Да что же поделаешь!

Матвий грустно покачивает головой и горько шепчет:
— Боже мой, где же твоя правда? Неужто ты не видишь, что делается на этом свете?

Догорает сальная свеча, за рекой поют первые петухи, а канцелярист все сидит у стола, уставившись в толстые кипы бумаг, и уже ничего в них не различает.

6

На рассвете Тропинина разбудил неясный и тревожный гул, долетавший через сени из другой половины флигеля, оттуда, где жила дворня. Василий Андреевич зажег свечу и, набросив халат, огляделся. Все в комнате было на своем месте, как и вчера, и позавчера, как и неделю назад. На столе красовался букет свежих осенних цветов, которые каждый день меняла бабка Горпина. На стенах висели эскизы портретов дворовых. На художника смотрела Горпина в черном очипке, подперев рукою морщинистое лицо. В ее маленьких прищуренных глазах светилась глубокая грусть, на лбу лежала печать страдания, а на губах играла горькая усмешка. Рядом висел почти законченный портрет дворовой девки Оришки — воплощение всего святого, чистого, что есть в душе, не тронутой грехом. Оришка стыдливо опустила длинные ресницы, но краешком живого, карего глаза видела все, что делается вокруг. Тонкую, словно выточенную из слоновой кости шею украшала нитка мелких кораллов, в черных косах белела астра. Рядом с Оришкой хохотал конюх Опанас, крутя прокуренный трубкой ус. Еще с тех пор, как Опанас вез Тропинина в имение господина Ханенко, художнику запомнилась широкая, открытая улыбка возницы и резкие морщины на загорелой шее. Но вместе с улыбкой в прищуренных глазах Опанаса проступала и невысказанная горькая обида. Дальше шли эскизы к будущим портретам. Среди них были погонщики волов, жнецы, дворовый повар, кузнец, водовоз, детские головки и еще многое, чем обогатил свою большую папку Тропинин, работая над иконостасом для церкви в имении господина Ханенко.

Посреди комнаты на мольберте стоял незаконченный портрет самого Ханенко в малиновом кунтуше и шляхетской конфедератке с пером надо лбом. В его одежде было чересчур много позолоты и блеска, но весь этот

блеск не мог прикрыть леденящего, равнодушного взгляда, не мог осветить и наполнить мыслью сытое лицо господина Ханенко.

Тропинин мог, конечно, сунуть ему в руку еще и гетманскую булаву. Но и от этого господин Ханенко не оживет на портрете, писанном масляными красками, как ожили на карандашных рисунках бабка Горпина, девка Оришка, возница Опанас, кузнецы, жнецы и многие другие крепостные.

Над мольбертом, под стать господину Ханенко, висит портрет городского гайдука, или, как называют его крепостные, атамана Юхима Шкарубы. Смоляной чуб упал на левый глаз и блестит, словно намазанный патокой. Высокий картуз с лакированным козырьком гайдук сбил на лоб и почесывает в затылке. С руки, которой он почесывается, свисает плетка-треххвостка. Три свинчатки спадают по плечам на грудь, и весь Юхим Шкаруба упоен своей безграничной властью и силой. Стоит только одеть его в древний наряд, и вот вам готовый Иуда для «Тайной вечери» на иконостасе.

Тревога в сенях нарастает, слышны приглушенный плач и отчаянные стоны бабки Горпины. Тропинин быстро надевает фрак, поспешно повязывает черным шелковым бантом высокий белый воротник, прикрывает голову цилиндром и, неизвестно для чего, берет большой зонт, который одновременно служит ему и палкой. В сенях он сталкивается с бабкой Горпиной; она прижимает к себе перепуганную Оришку, словно защищая ее от кого-то.

— Что случилось, бабуся?

— Ой, спасите нас, добрый барин! Ой, замучит он ее, бедняжку,— всхлипывает бабка Горпина, порываясь бежать.

Из комнат выбегает кухарка и тянет Горпину за собой.

— Пойдем, а то поздно будет,— решительно говорит она.

— Да куда вы? Что случилось? — допытывается Василий Андреевич.

— Ой, барин, пойдите с нами, сами увидите. — Бабка Горпина припадает к руке Тропинина, и они, все четверо, выходят из флигеля.

Сереет мутноватый рассвет, на конюшне звенят цепями лошади, скрипит колодезный журавль. Мужики

давно уже в конюшнях, в коровнике, возле волов — кормят скотину. Они не слышат тревожного плача бабки Горпины, но, увидав Тропинина с женщинами, тоже бегут один за другим к господскому дому.

Бабка Горпина распахивает дверь в вестибюль, и все слышат неистовый женский вопль, доносящийся из господских покоев. Похоже, что там кого-то пытаются или убивают. Крик то затихает, то нарастает с новой силой. Оришка и кухарка испуганно прижимаются к бабке Горпине, словно боятся отпустить ее от себя. Тропинин хватается за сердце и, чтобы не упасть, прислоняется к двери.

— Ой, бедняжка, бог наказал,— шепчет бабка Горпина.

— Да скажите мне — что там такое? — почти кричит Тропинин.

— Она пришла в дом печи топить и ничего не знала,— объясняет бабка,— а он, ирод, опять насел...

Неожиданно в темном вестибюле появляется грозная фигура Юхима Шкарубы с плетью в руке. Глаза его злобно сверкают, плетка взлетает вверх, но, заметив Тропинина, гайдук опускает руку.

— А вы зачем пришли, барин? Вас не нанимали стеречь барские покои. Вас нанимали церковь расписывать. Идите с богом,— властно говорит он и, замахнувшись на женщин плеткой, кричит: — Прочь, чертовки, за работу принимайтесь! Или розог соленых захотелось? Так я сейчас! — И, прикрыв за собой дверь, он сгоняет женщин и Тропинина с высокого крыльца.

Серое небо быстро светлеет, и Тропинин ясно видит хмурые лица дворовых. Они молча стоят у крыльца и не расходятся. Низко плывут лохматые осенние облака, таинственно гудит дремучий парк за домом, где-то на водопое у пруда мычат коровы и ржут застоявшиеся господские лошади, режут круторогие серые волы.

Крепостные с мольбою смотрят на Тропинина, и он видит в их глазах укор за нерешительность и бессилие. Василий Андреевич выпрямляется, поднимает свой зонтик и смело подступает к Юхиму.

— Ты не властен, плебей негодный! Там человека убивают. Пусти меня!...

— Пусти! — кричит бабка Горпина.

— Пусти! — глухо гудят крепостные.

— Назад! — ревет взбешенный Юхим Шкаруба, замахиваясь нагайкой. Но ударить не смеет, перед ним стоит почтенный художник, прибывший из самого Санкт-Петербурга, где учился в императорской академии. Господин Ханенко предупредил Шкарубу, что с художником надо вести себя осторожно. И кой черт разбудил его и привел сюда? Юхим этого так не оставит. Он найдет виновного и покарает его.

Вдруг дверь из вестибюля распахивается, и на крыльцо выбегает растрепанная женщина с непокрытой головой. Заломив в отчаянии руки, она стремглав сбегает со ступенек, закрыв лицо платком. Сорочка у нее на груди разорвана, запаска сползла и только одним краем держится на поясе. Женщина в отчаянии голосит и бежит, не различая дороги.

Горпина глянула на несчастную и в испуге всплеснула руками. Это была Палажка, жена Юхима Шкарубы. Женщину сразу узнали все. Узнали и отшатнулись, онемели от неожиданности.

Бабка Горпина вцепилась в руку Тропинина, шепнула ему на ухо, указывая на Шкарубу:

— Это жена его.

Василий Андреевич схватился за голову и тихо застонал:

— Боже мой, даже жены своей не пожалел... Будьте вы прокляты!..

Юхим Шкаруба раскрыл рот и застыл, скованный ужасом. Широко растопырил руки и выпучил глаза. Только плеть на боку болтается. Он смотрел вслед жене, а она, обезумевшая и страшная, бежала из усадьбы в село, заливаясь горячими слезами. Он жалобно смотрел на Тропинина, на дворовых, молча склонивших головы, и, как стоял, так и рухнул на холодную землю перед господским домом. Лицо Юхима побледнело, он лежал без памяти и не видал, как всходит над густым парком красное, чистое, словно росой умытое солнце.

— Воды! — вскрикнула бабка Горпина.

Шкарубу начали отливать водой. Тропинин не смог вынести всего этого. Он выбежал со двора и бежал по росистой траве до самого пруда, где тихо и мирно плескались белые гуси, вздымая серебристые брызги. Художник не мог постичь всего, что произошло у него на глазах, и все прикладывал к разгоряченному лицу большой клетчатый платок, вытирая слезы.

В этот день он пришел в церковь злой и молчаливый, даже не перекрестился, как обычно, перед иконостасом, окруженным лесами из сосновых досок и дубовых столбов. На этих лесах Василий Андреевич работал все эти дни, старательно воспроизводя холодные и равнодушные лица святых, окружая их солнечным нимбом, одевая в дорогие ризы, украшенные драгоценными камнями. Иконы уже стояли готовые по обе стороны царских врат, а над ними возвышался незаконченный образ Николая-чудотворца с пытливыми колючими глазами. В церкви было сыро, прохладно, пахло воском и маслом. Сквозь маленькие окна под куполом пробивались солнечные блики, пронизывая все помещение. Там, где лучистые мечи скрещивались, был виден целый рой мелких пылинок, тучей носившихся в воздухе, словно осенний туман.

Поднявшись по лестнице на леса, Тропинин залюбовался солнечными мечами, стал внимательно наблюдать игру света на хмурых церковных стенах. Золотые блики падали на полотна, оживляли тусклые краски на ликах святых. Солнце щедро освещало вчера еще намеченный нимб Николая-чудотворца, он золотился и отсвечивал нежным, желтовато-серебристым тоном. Тропинин схватил палитру и принялся накладывать на лик святого Николая тоненькие, но выразительные мазки. Лик становился все суровее, грознее; в глазах появилось выражение безумия, болезненного страха. Такие глаза художник где-то видел, кажется даже писал их. Где это было, когда? Ага! Вспомнил. Это было в годы учения в Санкт-Петербурге, когда он во время практики посетил лечебницу для душевнобольных. Там он рисовал такие глаза, незаметно наблюдая больных через зарешеченное окно. Теперь он должен заглушить в себе это воспоминание, должен незаметно и тонко наделить чудотворца чертами господина Ханенко, каким он нынче утром предстал перед ним в этой истории с женой Юхима. Без всяких прикрас, таким, каков он есть. Утреннее происшествие словно донага раздело Ханенко и выставило его перед людьми во всей его мерзости.

Тропинину теперь трудно было побороть себя. Он уже не мог писать спокойно, как писал накануне. Рука не слушалась, дрожала, на икону сами собой ложились резкие черты безумного отчаяния. Нет, надо бросать работу, иначе разразится грандиозный скандал. Господин

Ханенко сразу догадается, что над иконой Николая-чудотворца совершено святотатство. Он немедленно сообщит об этом в Подольскую епархию, она даст знать в Петербург, и тогда святейший синод расправится с Тропининым навсегда. Тут уж его не спасет ни талант, ни сам всемогущий любимец императора граф Морков. Тогда все пойдет прахом. И учение в академии, и мечта получить вольную, стать свободным, независимым художником.

Тропинин кладет кисть на палитру и осматривается. Он замечает в притворе сгорбившуюся бабушку Горпину. Она стоит на коленях, горячо молится и бьет частые поклоны перед образом божией матери. Во всей ее позе столько набожности и отчаяния, что Василий Андреевич уже взялся за карандаш и бумагу, чтобы сделать себе еще один эскиз подольской женщины в церкви. Но Горпина поняла его намерение и в страхе замахала руками.

— Не надо, барин! Не надо!

— Почему, бабуся? — удивляется Тропинин.

— Тут святая церковь, а вы хотите такой грех на меня возвести, — крестится Горпина, поднимаясь с колен.

— А чего вы пришли сюда? — спрашивает художник.

— Я поесть вам принесла, — и Горпина протягивает ему кузовок, накрытый чистым полотенцем. — Вы ведь из-за этой катавасии не позавтракали. Как можно без еды в таком вашем деле? Бог покарает того, кто вас не накормил.

Тропинин спускается с лесов, благодарит за завтрак и снова мягко укоряет Горпину:

— А вы, бабуся, напрасно не хотите, чтобы я вас писал. Я думал: напишу несколько ваших портретов, продам их в городе и выкуплю вас на волю. Чем плохо?

— Где уж там? Кто ж за это мое подобие станет деньги платить? А если и дадут, что из этого? Куда я денусь на воле? Ни земли у меня, ни хаты, ни коровки. Пойду снова в крепостные... Не к этому барину, так к другому, а все к барину же, — вздыхает старуха, утирая краешком платка посиневшие губы.

— Да, это верно, — задумчиво говорит Тропинин и безнадежно машет рукой.

— Лучше я вам доскажу, чем все закончилось.

— Что именно? — не понимает Тропинин.

— Да про Шкарубку и его Палажку,— поясняет бабушка.

— А-а-а...— удивленно и неуверенно откликается Тропинин.— Говорите, я слушаю... век бы не видать и не слышать такого...

— Как вы убежали в луга и потом в церковь, мы давай отливать Шкарубку водой. По селу уже пошло: «Что же это делается! Никогда еще не бывало, чтобы муж свою жену на такой грех толкал... Да еще на какой грех!» Вот что люди говорят. Только потом все открылось. Палажка еще смолodu дружила с Христею Бойко. Уж такие подруги были, такие крaли, что хоть с лица воду пей, по всей округе таких не найти. Палажка вышла замуж за Шкарубку на два года раньше подруги, как раз перед рождеством. Я готовила у ней на свадьбе и хорошо все помню. А потом и Христю выдали за Бойко, кузнеца. Ну, они и после замужества дружили, соседки ведь, хаты бок о бок стоят. Христя-то, видно, и понравилась господину Ханенко. Вчера вечером Шкарубка велел ей перед рассветом идти в барские покои печи топить. Ох, боже милостивый, уж эти мне печи! Христя собралась затемно идти на господский двор, да по дороге зашла в свой хлев, а у нее там корова начала тельиться. Она и бросилась к Палажке просить, чтобы та пошла за нее господские печи топить. В ту пору Палажкиного мужа дома уже не было— гонял где-то по господским конюшням да коровникам. Палажка, ничего не ведая, побежала вместо своей подруги на господский двор. А он, выродок проклятый, и пристал к ней в своих покоях. Услышали мы крик и побежали вместе с вами. Может, барин не разобрал, кто перед ним, или не узнал Палажку — он ее редко видел. Она ведь как жена Шкарубки не ходила прислуживать в усадьбу. Как оно там было, кто его знает! Только Шкарубка, вы видели и сам не распознал голоса своей жены, когда она кричала в покоях, а нас гнал, да еще плетью замахивался. Вот как бог невидимо карает... Теперь ищут Шкарубку и найти не могут. Видать, скрылся от такого позора, а может, утопился в пруду или повесился в лесу. Кто его знает... Собаке собачья смерть. Только бедную Палажку жаль, не виновата она, и трое детей на руках у нее сиротами остались... Боже, помилуй, их, бедных! — закончила свой рассказ Горпина и прижала платок к глазам.

— Успокойтесь, бабуся, слезы тут не помогут. Идите

лучше домой, а то еще хватятся вас, беда будет,— успокаивал Тропинин старуху, выпроваживая ее.— Я скоро приду, и тогда поговорим. Мне нельзя стоять тут, работа не ждет. Видите, сколько еще обновлять придется.

— Ладно, ладно, барин. Я пойду, только вы поешьте, а обед я тоже принесу. Счастливо оставаться, — говорила старуха да все что-то бубнила про себя, выходя за церковную ограду на дорогу.

Тропинин мигом взбежал на леса, и, схватив палитру, начал лихорадочно класть широкие мазки то на один, то на другой лик, время от времени отступая назад, чтобы видеть свою работу издали. Он работал долго, не отрываясь, позабыв о завтраке в кузовке. Перед его глазами все еще стояла растрепанная Палажка в спущенной запаске и разорванной на груди сорочке. Лики святых двоились, расплывались темными пятнами, и художник не заметил, как начало вечереть.

Замок на церковных дверях щелкнул, кто-то дважды повернул в нем ключ, запирая церковь изнутри. Тропинин оглянулся.

К лесам, засунув руки глубоко в карманы, шел незнакомый пожилой человек в длинной свитке, с белым платком на шее, стриженный в скобку. Увидав на лесах Тропинина, он низко поклонился, здороваясь:

— Славайсу!

— Навеки слава! — ответил Василий Андреевич.

— Может, я помешал вам? — спросил человек.

— Нет, пожалуйста, — ответил художник.

— А можно к вам туда, на леса?

— Извольте, — пригласил Тропинин, с интересом присматриваясь к незнакомцу, который твердо и уверенно поднимался по лестнице, совсем не держась за длинные жерди. В его русых волосах Василий Андреевич заметил спускающуюся на лоб седую прядь. «Еще не стар, а уже поседел», — подумал художник, опуская кисть на ящик с красками. Где это его так ушибла судьба? Верно, на барщине?

Незнакомец остановился возле Тропинина и, подбоченясь, принялся рассматривать Николая-чудотворца. Он наклонился к полотну совсем близко, потом отходил на шаг, смотрел на икону сбоку, качал головой, прищелкивал языком. Наконец сказал:

— А он похож, ваш Николай... очень похож...

— На кого? — спросил Василий Андреевич.

— На бари́на моего, Ханенко... Это хорошо, что вы его таким злобным написали... Пусть крепостные и в церкви видят, каков он... Может, пробудится в сердце огонь и сердце загорится.

Тропинин мгновение разглядывал незнакомца, потом встрепенулся и быстро заговорил:

— Пойдите, добрый человек! Походите! Что ж это такое делается? Может, это сон мне приснился? Неужто это вы тут стоите? Я же запомнил вас еще с тех пор, как в каземате писал. А руки ваши были в кандалах... Неужели правда, милый мой, что вы снова на свободе?.. Ну, скажите, не таитесь... Ведь я тоже крепостной, граф Морков и меня может угнать в Сибирь, ну, хотя бы за этого Николая... У нас в России теперь это очень легко. Ну, говорите. Что ж вы молчите?

Незнакомец внимательно вглядывался в Тропинина зоркими глазами, словно взвешивал, искренне ли тот говорит, потом с облегчением вздохнул и, протянув художнику руку, сказал:

— Спасибо, что не забыли Кармалюка... Я вас тоже помню...

Рука у него была горячая, жилистая, сильная, и Тропинин крепко пожал ее обеими руками.

— Может быть, вы поесть хотите или отдохнуть? Я постелю вам на верхних хорах. Там безопасно. Не бойтесь, ключи от церкви я теперь ношу с собой,— быстро заговорил Тропинин, не зная, куда усадить гостя.

— Нет, ключи теперь у меня. Возьмите их. Я на всякий случай запер церковь. Так безопаснее для вас, барин,— сказал Кармалюк, протягивая художнику связку ключей.

— Что вы, какой же я вам барин?— смутился Тропинин.

— Ого! Вы свободны, хотя бы в своей работе, а меня уже Карманюком господа прозвали. Карман — значит, вор, карманник, разбойник. Хорошо, хоть люди, которые меня знают, не поверят господам.

— Люди никогда им не верили. Даже в Петербурге я видел это,— ответил Тропинин.

— Ну, ладно,— произнес Кармалюк, опускаясь на свободную табуретку.— Я пришел к вам, чтобы спросить: где мой портрет, который вы писали в темнице? Тогда рядом стояли три стражника и среди них один агент тайной полиции. Я не увидел тогда портрета.

— Он сейчас в Варшаве у какого-то мелкого шляхтича. Граф Морков подарил,— объяснил художник.

— Значит, он не в полиции?— спросил Кармалюк.

— Нет! Что вы! Я бы уничтожил его, если б знал, что он сделан для полиции,— возмутился Тропинин.— Я потом сделал еще несколько этюдов, и так угодил, что граф подарил их кому-то далеко в глубь России. Тут, на Подолье, их давно нет. Я предвидел, что полиция может броситься за ними, чтобы узнать по ним живого Кармалюка.

— Большое вам спасибо. А я почему-то боялся за вас. А кандалы у меня на руках тоже намалевали?

— Нет,— решительно ответил Тропинин.— Я не мог, не имел права это сделать. Вас в кандалах? Нет! В одной руке посох, другая на поясе. Сильные, красивые рабочие руки. Под свиткой белая вышитая рубашка-чумачка, а в вороте — красная тесьма.

— Жаль, что я не видал,— покачал головой Кармалюк.— Очень жаль. Но я еще надеюсь найти. Пусть он лучше в наших руках будет. Все господа и полиция — одно отродье. Если губернатор не додумался еще собрать мои портреты в одни руки, то скоро додумается!

— Нет, нет! Я напишу письма владельцам, подарю им новые картины, чтобы только не отдавали ваш портрет в руки полиции. Я, наконец, напишу новые портреты и выдам их за настоящие. Это собьет с толку полицию и губернатора. Тогда я и подумать не мог о полиции.

— Я не забуду вашего открытого сердца. Но мне пора уходить. Я пока еще один, а надо собрать своих молодцов. Прошу вас, о нашей встрече и разговоре — никому ни слова. То, что было между нами,— могила. Недаром же я бежал из Вятки через всю Россию. Надо снова поднимать людей на господ.

Кармалюк взмахнул рукой, и Тропинин увидел у него под свиткой за поясом два кованых пистолета тульской работы.

— На господ? — испуганно спросил художник.

— Да, на господ! — блеснул глазами Кармалюк и продолжал: — Никто не в праве говорить человеку: «Ты мой». Рабство идет против божьего закона, и об этом надо трубить везде. Бог создал одного Адама, свободного и счастливого. А царь сделал из одного Адама двух: господина и раба. Значит, бог не виноват, виноваты царь и его помещики. Всюду, где я проходил, когда бе-



жал с каторги, люд христианский страдает. В городе Муроме, Владимирской губернии, в белокаменной Москве, у нас на Украине. Бог все видит...

Кармалюк распрощался и уже ступил на шаткую лесенку.

— Возьмите это от меня,— Тропинин протянул ему замшевый кошелек.— Мне они лишние, а вам пригодятся. Тут сто злотых...

— Хорошо. Только одно условие: скоро я верну их вам с лихвой! Считайте, что я их у вас занял. Занял и скоро отдам.

— Довольно об этом,— заторопился Тропинин.— На такое дело идете, какие уж тут долги. Это моя доля. Не побрезгуйте...

— Я отдам вам, слово чести,— ответил Кармалюк и на пороге церкви еще раз попрощался с художником, обняв его за плечи.

Затем он метнулся в кусты и скрылся в чаще сизого ельника, который тянулся до самого парка, а дальше переходил в лес. И там, где прошел Кармалюк, кусты не качнулись, не хрустнула под ногой ни одна веточка.

7

В это воскресенье у графа Моркова людей на барщину не гнали. Даже грозный Иван Кавура сидел в сельской корчме за дубовым столом, между двумя кукавинскими богатеями. По правую руку от него мельник Габлюк, по левую — богатющий чумак Троян. Когда-то мельник Габлюк арендовал три графских ветряка на холмах и так разбогател на помоле, что сейчас в Кукавке уже высилась его собственная водяная мельница, хотя он платил графу Моркову аренду за воду и за плотину, на которой стояла мельница. Помогал им во всем Иван Кавура, которому Габлюк за эту выгодную аренду отрезал две десятины лучшей своей земли. Люди говорили о мельнике — свой барин растет, а в трудную минуту шли к нему с поклоном, просили хоть отрубей. В голодный год Габлюк прикупил земли. За короб сухарей — десятину. Он и до сих пор был крепостным графа Моркова, но барщину за него отрабатывали должники. Их хватало и на поля Габлюка и на поместья графа. Кавура был его кумом, крестил старшего сына, которо-

му нынче уже пришло время идти в солдаты. Вот и сидели богатеи, в корчме, судили да рядили, кем заменить кулацкого сынка. Если не удастся силой заставить, так, может, придется купить рекрута за деньги.

Габлюк снова наполняет чарки, угощает Кавуру.

— Давайте, кум, еще выпьем за ваше доброе сердце. Пусть оно живет нетленно, а дружбе нашей не грозит измена.

— Будьте здоровы,— неторопливо, но тихонько отвечает Кавура.— Раз сказал, так тому и быть. Не видать моему крестнику красной шапки.

— А уж я не поскуплюсь, кум,— гудит Габлюк.— И луга у меня хорошие, те, что за курганом, и пасека, хвала богу, медоносная. И лошади орловской породы... Что вам приглянется, то и отпишем, по закону купчую составим.

Кавура озирается по сторонам, как бы кто не подслушал этого разговора. Да где там! Беднота по углам трется, о своем горе шепчется. А чаще всего на улице, перед корчмой гудит. Забежит какой-нибудь бедолага, сунется к стойке, выпьет, коли есть на что, а коли нет — в долг выпросит. Если уж больно долго просит, стоит Кавуре только подмигнуть шинкарю, и тот сразу нальет голодранцу, только бы не мозолил тут глаза богатеям. Пусть назад убирается на улицу, к своим, где играет захожий бандурист, собравший целую толпу. Хозяевам и через открытое окно слышно пение старика. Граф Морков приказал Кавуре и в праздник бывать среди крепостных. И в корчме, и на ярмарке, и на выгоне, где бы они ни собирались, чтоб всегда были на глазах. А за дворецким и оба богатея тянутся — Габлюк и Троян.

Троян сидит молча, в разговор не встревает, только иногда поддакивает, потягивая из своей чарки. Ему не страшен рекрутский набор. У него — дочери. А сын недавно родился, и Троян только что пригласил Кавуру быть и у него кумом на крестинах. Дворецкий согласился, и чумак мог бы уже идти домой, да не с руки ему было так вдруг бросить приятную компанию. Можно и подольше побеседовать. Троян теперь в силе. Начиная чумачить с тремя возами от того же графа Моркова, а теперь у него сорок возов и восемьдесят пар волов. Чумаков Троян нанимает, один обоз посылает на Дон за рыбой, туда же отправляет сушеные яблоки, груши, чернослив. Второй обоз, тоже с фруктами, в Одессу или в

Крым за солью. Третий — в Молдавию за шерстью и каракулем. Троян только распоряжается да денежки считает. Сам давно уже не ходит с обозом, даже песни чумацкие стал забывать.

Гей, гей, приключилась на дороге с чумаком беда.
Упал в степи возле тракта, упал и лежит...

Пусть теперь его батраки поют эти песни. Троян хоть и остался крепостным, но граф его на барщину не гонит, знает, сколько у чумака денег в банке лежит. Граф деньгами у него берет. Так и живут. И все-таки Троян жалуется:

— Будь у меня вольная, кум, я бы и усом не повел. А то идет мой обоз с Дона или Крыма, а мелюзга господская, по чьим землям едем, подать с меня гребет. Колеса и ярма рубят, ежели не заплачу. А за что, я вас спрашиваю? За то, что по его земле еду? Разве ж это по закону? Да я б его, этого барина со всеми потрохами купил — будь на то царская воля...

— Это верно, — радуется Габлюк.

— А он, каждый такой дворянчик, мне поперек горла стоит, руки связывает. Вы б намекнули графу, чтоб написал царю... А то прямо зарез от этого дворянства голопузого.

— Еще не пора, — мрачно отвечает Кавура.

Он уже накупил земли во всей округе. Только разбросана она по разным селам и хуторам. Дворецкий хоть сейчас может выкупиться у графа, но ему хочется заодно и титул дворянский прикупить. Вот в чем загвоздка.

— Не пора, — в раздумье говорит Троян, — а может, ежели гуртом взяться, так будет пора? Я волов продам, а вы — мельницу. Вместе поставим сахарный завод. А если и вы, кум, с нами в долю войдете, так и суконную фабрику построить можно. Большой доход она даст.

— Граф не дозволит, — бросает Кавура.

— А мы и его в компанию пригласим. За наши деньги он все дозволит... Теперь такие времена пришли, что за деньги все можно, — таинственно шепчет Троян.

— Ваша правда. — Габлюк кивает головой и кричит: — Эй, корчмарь чертов! Меду старого и брынзы свежей. Слыхал?

— Ой, хозяйёва, все знаю! Одна нога тут, другая там,— выскакивает из-за стойки шинкарь.

А за окном, в толпе молдаван, новый батрак распоряжается. Как его звать? Ага, Илько Сотничук. О чем он там с ними лясы точит? Кавура незаметно наклоняется к окну и слышит, как Илько втолковывает батракам:

— Граф у нас добрый, от самого царя крест получил. С ханцузами воевал, за это и кресты. И харчи добрые. Свой чумацкий обоз в селе, значит, рыба всегда есть. И соли вдосталь. А попросим господина дворецкого, так он велит и мамалыгу нам приготовить.

Кавуре эти слова словно мед по губам. Вот каков он, этот оброчный Илько Сотничук. Надо его завтра на легкую работу определить и к себе приблизить, чтоб всегда был под рукой. Кавура еще раз выглядывает в окно, но Илько не обращает на него никакого внимания. Словно и нет дворецкого в корчме. Молодец бобыль. Теперь такие редко встречаются. И набожный. Бандуристу, который играет, уже дважды хлеб подавал, отрывая от собственного рта. И молдаване слушают его, в знак согласия покачивают головами. Этот и будет у них за старшего. Сам их уговаривает не идти дальше искать заработка, остаться у графа Моркова. Молодец Илько!

Кавура высовывается в окно, окликает Илька.

— Эй ты, белобрысый!

Илько низко кланяется, тихо спрашивает:

— Чего изволите?...

— Приходи утром в контору. Дело есть. А теперь выпей за здоровье графа Моркова,— велит Кавура и подносит ему граненый стакан зеленого стекла.

— Я не пью, барин,— тихо говорит Илько.— Да и не заработал еще...

Кавура от удивления раскрывает рот, с минуту думает и снова кричит:

— Всех молдаван, что на работу прибыли, угощаю. Эй, корчмарь, ведро водки! За здоровье графа Моркова. Ура!

Молдаване тихо заговорили по-своему, расступились, когда шинкарь вынес водку. Илько Сотничук от имени всех поблагодарил Кавуру, отошел с молдаванами под высокие осокори и стал угощать. Кавура погладил себя по животу, хитро подмигнул Трояну и Габлюку. Погляньте, какой я щедрый. А Троян одними глазами сказал Габлюку: на чужие деньги...

Габлюк опустил тяжелую голову на руки, прижался к подоконнику, слушает бандуриста Диброву, окруженного женщинами с грудными ребятишками на руках. Бандура звенит надрывно, Диброва тихо поет, но песня его берет за сердце. Ведь у каждого болит то, о чем поет кобзарь. Не одна мать так поет каждую осень. А теперь как раз эта пора снова приближается. Идет по селам осень со слезами и тяжким горем. Забирают у вдов сыновей, оставляют детей сиротами. Женщины тихо плачут, печально склоняют головы, а песня старика летит над притихшим селом, словно вещий черный ворон.

У опушки, у зеленой, дорога лежала,
Там барыня-сударыня рекрут провожала.
На холсте намалевала вдовьего сыночка —
Хорош, хорош вдовый сын в голубом жупане!
Вороной под ним играет, мать плачет-рыдает.
Схватила коня за повод, сына вопрошает:
«Где ж я тебя, мой соколик, сыщу-повстречаю?»
«Ищи в степи при дороге, матушка родная!
Там я горя повидаю, без конца и краю,
Своим чубом молодецким степь укрою нашу,
А своею кровью алой море перекрашу!»
«Ой, соседи мои злые, недруги лихие, —
Вы ж про горе мое знали, а мне не сказали!
Тогда только мне сказали, как сына связали,
Да как его, связанного, в рекруты отдали
Служить царю, служить богу, отрекшись от рода.
Прощай, сынок, мой соколик, не ждем тебя дома!»

Диброва еще не кончил, а Кавура чуть ли не по пояс высунулся из окна.

— Эй, кобзарь, а повеселей не можешь? Спел бы:

Хлебнул в Киеве на рынке
Чумак водочки-горилки...

Женщины притихли, отвернулись от Кавуры, прижимая младенцев к груди. Кто-то из толпы мужиков, глядя на Трояна, добавил:

— Ой, пей, чумак, пей, чужих денег не жалея.

Троян обернулся, угрожающе стукнул кулаком по столу.

— Кто там лает, а ну-ка еще раз скажи.

В толпе замолчали, только гул прокатился в ту сторону, где молдаване пили с Ильком Сотничуком графский магарыч.

Кавура почувствовал себя неловко, бросил Диброве:
— Эй, старик, чего замолчал? Давай плясовую, что ли!

Диброва поглядел на него печальными глазами, тихо ответил:

— Руки болят, барин. Вот отойдут немного...

— Ну и не надо,— обозлился Кавура и, обняв своих кумовьев за плечи, сам затянул песню:

Ой под вишенкой, под черешенкой
Стоял старый с молодою, словно с ягодкою...

Они пели все громче и выше, потом стали кое-как горланить пьяными голосами, надеясь, что кто-нибудь им подтянет. Но вокруг все молчали, отодвигаясь подалее от окна.

Не жди добра, когда пьяные богатеи чуть не со злости запели. Сгинь тотчас с их завидующих глаз.

Но вдруг толпа мужиков повернулась, люди заговорили громче. Остановились и женщины, никто не отходил от корчмы в тень. К ним, опираясь на дубовую палку, шел Прокоп Данилевский. Он был бос, давно не брит и от этого словно почернел. С того времени, как граф наказал его розгами, переодел в серую свитку, Данилевский словно онемел. Ходил по селу, точно привидение, молчаливый и мрачный, не узнавал своих ровесников, по временам останавливался возле родной хаты, где теперь жили батраки Габлюка, грозил кому-то кулаками, ругался и шел дальше. Шел на погост. Там его видели каждый день. Облокотится на крест, под которым лежат его отец и мать, и стоит там часами, то ли богу молится, то ли плачет. А может, с мертвыми говорит и на свою долю жалуется? Где же это видано? Каким человеком стал, сколько наук прошел, а его в лапти обули, выпороли, потом загнали в хлев, туда, где погонщики волов живут. Доктор ведь, и говорят, у него об этом бумага была с царским орлом. Люди даже побаиваться стали, уж не помешался ли от тяжкого горя. Но крестьян Прокоп не трогал, наоборот, покорно брал еду, если давали, низко кланялся, пытался поцеловать руку. Не раз просил показать, где похоронены его родители, а когда его приводили на погост, сам удивлялся, потому что давно знал эту могилу. Вот и пойми, чего он хочет. А сейчас Прокоп смело подошел к толпе, снял соломенный брыль, громко сказал:

— Кому это так весело, что даже запели? Разве воля пришла? Или, может, граф без царя ее вам подарил? Ого! Ждите! Пойте! Тут не запоешь, а волком завоешь. Так давайте все напьемся и заплачем. Неужели не потопим горе в слезах? А знаете, что в крови каждого человека есть столько железа, что из него можно выковать пять добротных гвоздей. Не слышали такого? Так послушайте...

Прокоп заговорил впервые с тех пор, как его, избитого, привели в Кукавку. Он был сильно пьян, язык у него заплетался. Может, чарка и сделала его таким смелым.

— Мой профессор в Москве в академии научил меня резать людей. Я все умею, дайте только время. Что? Не верите? Вот только пусть приедут моя жена и дети. Сын и дочка у меня... Ого! Тогда мы никого не испугаемся... Эй, шинкарь, водки!

Он размахнулся дубовой палицей и со всей силой ударил по расписной ставне, но, увидев в окне Кавуру с кумовьями, сразу остепенился. Точно весь хмель пропал. Прокоп выпрямился, сбил брыль набекрень, руки в боки, точно к бою приготовился, и громко сказал:

— Здравствуй, Кавура. А сколько ты земельки себе прикупил за графские деньги? Не скажешь? Так я тебе скажу. Вот у меня тут все записано. В каком селе твоя земелька, за сколько куплена и где ты эти деньги взял. Я все записал. Только графу покажу, и тебе конец.

Кавура подскочил, как безумный.

— Быдло, скот! Мало розог получил?

— Скоро я у тебя об этом спрошу,— засмеялся Прокоп,— и порошков дам, когда сляжешь, не пожалею. Таких дам, что ого-го!

— Вы слышали, люди? Слышали, что он сказал? — вскочил Кавура.

Толпа не ответила, только покачнулась, загудела от удовольствия. Откликнулись кумовья. Они-де, мол, все слышали, могут быть свидетелями.

Прокоп только теперь заметил их и подошел ближе к окну.

— А, это вы? Здравствуйте. Как поживаете? Один наворовал у графа и мельницу себе воздвиг. Другой на чумаках выехал. Я и о вас все записал. Не радуйтесь. За деньги тоже не все можно...

Из толпы слышалось:

— Твоя правда, Прокоп!

— Как пиявки, присосались к нам.

— Подавай царю бумагу.

Прокоп выпрямился, погрозил палкой.

— И подам, не испугаюсь. Мне теперь терять нечего.

Кавура вылетел на крыльцо, растрепанный, красный от гнева.

— Эй, дворовые! Вяжите его!

Но никто и с места не тронулся. Из корчмы выбежали Габлюк и Троян и вместе с Кавурой пошли в атаку на Данилевского. Но Прокоп не отступил. Толпа мигом придвинулась к нему, словно заключила в свои объятия, стеной стала между богатеями и Прокопом, каждую минуту готовая укрыть лекаря.

Кавура подлетел к толпе, хлестнул плетью женщину с младенцем на руках. Та закричала, упала на колени. Толпа молчала, тая в себе бурю.

И вдруг послышался громкий звон. По селу летели резвые кони из чужого имения, запряженные в рыдван. Рядом с кучером, на облучке, сидел художник Тропинин. Его сразу узнали все. Подъехав к корчме, Василий Андреевич приказал остановить лошадей, поклонился людям на все стороны.

— Добрый день! Что тут стряслось?

Из толпы послышалось радостное и тревожное:

— Прокоп наш вернулся, барин!

— Данилевский!

— А они его бить хотят!

— Кавура с богатеями!

— Правда глаза колет!

Тропинин надел очки в железной оправе, увидел среди толпы Данилевского и бросился к нему, оттолкнув Кавуру.

— Друг мой! — воскликнул Тропинин, сжимая Прокопа в объятиях. — Как же это? Профессор? .. Босой, в свитке? Что они с тобой сделали? Кто посмел?

Прокоп трижды поцеловался с Тропининым. Тихо ответил:

— Граф...

Тропинин опустил голову, тяжело вздохнул, но тотчас востропел, глаза его гневно сверкнули, он бросился к Кавуре.

— А ты не имеешь права. Слышишь, гадина? Не имеешь права и палец на него поднять! Он профессор!

Его императорского величества Медико-хирургической академии. . . Он смерть от людей отгоняет.

Какая-то женщина всхлипнула:

— Ой, спасибо вам, барин.

— За нашего человека заступились.

Кавура хлестнул арапником по голенищу и, взяв под руки обоих кумовьев, пошел к корчме. С порога бросил:

— Берегитесь оба!

Тропинин, казалось, не слышал угрозы. Он обнял Прокопа за плечи, усадил в рыдван, тихо уговаривая:

— Бежим отсюда. Я все улажу. Буду просить графа. На что они тебе сдались? Ты ведь на себя не похож. И выпил много. Я тебе все расскажу. Это он, Кавура, донес на тебя графу. Ты ведь угощал его в Москве. Зачем же так опускаться? И водка зачем?

— Что водка? — шептал Прокоп. — Я бы смолы напился, чтобы позабыть обо всем. Они меня так огрели, словно водой на морозе окатили. До сих пор в себя не приду. Куда идти, кому жаловаться? Точно раздели до нитки и голым пустили по миру. . .

Рыдван тронулся. И все видели, как Прокоп склонился к плечу Тропинина, горько заплакал.

Диброва поднялся с завалинки и, касаясь пальцами струн бандуры, побрел вслед за рыдваном. Бабы, мужики потянулись за бандуристом, прислушиваясь к песне, которую громко пел старик.

Кукавинские мужики уважали Тропинина, почти в каждом доме висела писанная им икона. И в церкви все иконы и весь иконостас был творением его рук.

Когда кукавинские крепостные ушли со двора корчмы, Илько Сотничук повел вслед за ними и молдавских батраков, поблагодарив Кавуру за хорошую графскую водку.

Рыдван остановился во дворе имения, возле старого облупившегося флигеля, и Тропинин повел Данилевского в свою лакейскую комнату. Он снял с друга свитку, завязал ему голову мокрым полотенцем и стал рассказывать о своем путешествии к господину Ханенко. Думал этим хоть немного успокоить несчастного. Но возбужденный Прокоп все куда-то рвался, грозил графскому дому кулаком:

— Всех до тла сожгу! И сам в Сибирь пойду! Пусть знают!

— Зачем же в Сибирь? — удивился Тропинин, и глаза его стали ласковыми, ясными, как у ребенка.

— А куда же мне? — рванулся Прокоп.

— Подумаем, брат. Обо всем подумаем. — И, наклонившись к самому уху Прокопа, шепнул: — Вроде Кармалюк объявился.

— Где он? — вскочил на ноги профессор.

— Вот этого я и не знаю, брат, но он тут, где-то рядом с нами.

На колокольне ударили в большой колокол. Протяжно, медленно. В селе кто-то умер. Прокоп перекрестился перед образом, висевшим в углу, и горько вздохнул.

8

Мирон Волошка пришел в себя среди ночи и никак не мог понять, куда его занесло. «Где это я? Что со мной делается?» Земля была холодна, словно скована морозом. Мирон открыл глаза, и тотчас сердце его обожгла раскаленным железом острая, пронизывающая боль. Хоть бы ладонь приложить ко лбу, может, боль утихнет. Но рука затекла, не поднять ее. Веревка впилась в тело, больно стянула грудь. Веревку закручивали чуркой, упершись коленями в шею. Теперь не убежишь, Мирон, покаешься. А куда бежать, на зиму глядя? Но только и каяться при такой жизни ни к чему. Куда ни кинь — все клин. До могилы!

Хорошо еще, что глаз уцелел от господской треххвостки. Долго будет помнить ее удары Мирон Волошка, из дворни Ханенко. Внукам своим закажет. Еще бы, закажет и надоумит их: «Не бойтесь, дети, барина, пусть он вас боится. Земля везде наша. Испокон веков наша, а барин — вор. Забрал землю, залез в чужой карман, да еще и людей душит. Душит за то, что мало наработали. Брал награбленное, крал у людей, а теперь за горло берет... И нечем ему, злодею, поживиться вдовсталь».

Мирон озирается и сквозь темень осенней ночи узнает знакомые стены, дубовую матицу и вырубленный на ней топором крест. Знакомый амбар. С отцом строил его барину. Эх, не будь у Мирона руки связаны, можно бы откинуть бревно в боковой стене амбара, там бревно не крепко лежит, и ищи барин ветра в поле, — за амбаром

растет густой чапыжник и до самых камышей тянется глубокий овраг, а за камышами леса на целую губернию. Даже стража не услышит, как они выберутся из этого амбара на волю.

Но все это только мечты. За стеной по-прежнему воет осенний ветер и шумят безлистые осокори в господском парке. Винокурня давно не дымит. Верно, и котлы в ней пусты. Пусть знает барин, что люди это люди, не собаки, что терпению их рано или поздно приходит конец. Да и началось ведь не с винокурни. Началось еще летом, в косовицу, когда помещик скакал со своими гайдуками по полю. «Мало одной копны на душу — надо три» — кричал тогда барин и резал с гайдуками и Шкарубой перевясла на снопах. Из трех снопов вязали один, из трех копен клали только одну. У них была особая мерка, которая показывала, какой толщины должен быть сноп. Чуть ли не в два локтя мерка. По закону каждый сноп должен быть в пять четвертей. Эконо-мы и господские гайдуки все имели при себе эти мерки — бечевки с деревянными колодочками на концах. На колодочках — господская печать. Бечевка измерялась мокрой, а высыхая, становилась длиннее и вытягивалась на полтора аршина. С того и началось.

Женщины в крик, в слезы, размахивают серпами. И тогда барин приказал сечь розгами всех баб подряд. И кормящих, и беременных. Правда, беременных секли немного иначе. Выкапывали в земле ямку и клали женщину туда животом, чтобы не придушить плод. Над полем стояли отчаянные вопли и плач.

Совсем распоясался барин.

А после целого дня жатвы барин гонит людей копать канавы, обшивать тесом овечий загон и на всякую другую работу. От сумерек до рассвета трудятся люди, всю ночь, но это им в барщину не засчитывают. Трудовая ночь не считается за день. А скоро барин, проклятый пес, еще больше озверел. После жатвы собрал у себя во дворе лучших детей со всего села, будто бы к фельдшеру на осмотр. Собрал и вывез ночью в Варшаву, а там продал разным господам. Разошелся Ханенко. Завтра барин может забрать к себе во двор и сыновей Мирона. А со двора — путь один. Самого Мирона он наверняка бросит в тюрьму, а пока Мирон вернется, сыновья его попадут неведомо куда. Что сможет поделать против барина одинокая жена Мирона?

Вскоре после жатвы, как началась молотьба, переполнилась чаша народного гнева. Однажды ночью загорелись барские скирды. Скирды из тех снопов, у которых гайдуки резали перевясла. Ударил в церкви набат, гайдуки погнали народ гасить пожар. Люди уклонялись, шли медленно. И все это произошло в селе без Кармалюка, люди сами учинили суд над барином. Пусть знает, подлюга, что хоть Кармалюк и в Сибири, но сердце и душа его здесь, среди крепостных, в родных Головчинцах. Да не только в Головчинцах, а по всему Подолью слышат люди его голос.

Кара уже угрожала самому злому господскому холоу Юхиму Шкарубе, но тут случилась беда с его женой Палажкой, и обезумевший Шкаруба исчез из села. А то б и ему не миновать расплаты. Пруд в селе глубокий, ветви на дубах в лесу крепкие.

Где-то в селе запел петух. Возле амбара кашляли караульные. Мирон вздрогнул от холода, подвинулся на соломе в уголок. Лбом ощутил колючую бороду товарища, и ему стало легче. Опанас дышал часто, тяжело, хрипел и вздыхал.

— Не горюй, брат. Уже петухи поют...

Опанас, застонав, повернулся на спину, языком облизал соленую, засохшую на губах кровь.

— Мирон! А винокурня господская молчит! — радостно прошептал он.

— Онемела, — попытался улыбнуться Мирон.

— А что с нами будет? — вздохнул Опанас.

Эти слова услышал третий узник, белокурый Тимко Гречка, и не вытерпел:

— Известно, что... Обдерут, как шинкарь сидорову козу, да и выпустят.

— Помолчи, парень, — перебил его Опанас. — Тебя не спрашивают, так и не суй свой нос. Тебе что? У тебя ни роду, ни племени. Круглый сирота. Тебе все равно, что в Сибири, что тут на барина спину гнуть. Жены и детей нет, заботы о них никакой... А у меня жена да еще три рта... Что они без меня?.. Хорошо хоть отец, царство ему небесное, во время ушел от нас и не видит всего этого. А ему, ой, как бы тяжело было терпеть все это, даже после проклятой царской службы в солдатах.

— Еще бы! Двадцать пять лет носил красную шапку с медным лбом, — откликается Мирон Волошка. — Как воевать с французом — на коне был, а кончилась вой-

на — под конем очутился. Повидал в чужих краях, как люди на воле живут, крепостной доли не знают, вот и думал, что и у нас так будет! Черта с два! Коли сами не добудем себе волю, никто не даст!

— Знаю! — говорит Опанас. — Мне тот барин, что церковь у нас расписывал, говорил о воле. Видно, он человек честный.

— Много он знает! Рисует господ и богов — вот и поет их песенки! — горячо воскликнул Тимко Гречка.

— Молчи, молокосос! Сам себе господин, — зло обрывает его Опанас.

Превозмогая острую боль в руках, Мирон Волошка наконец приподнялся. В серой полутьме он увидал широко открытые глаза Опанаса. Веки мелко вздрагивали, в зрачках тлел тусклый злой огонек. Мирон печально покачал головой.

— Бог с тобой, Опанас! Плетешь невесть что! За что ж тогда Тимка вместе с нами солеными розгами секли? На кого он ночью восстал? Кому он, Тимко, добра хотел? Верно, у него ни жены, ни детей, сирота... А воду вот не захотел носить на барскую винокурню вместе со всеми. Для кого ж он это? Для себя? Нет.

Опанас хотел что-то сказать, но в груди у него захрипело, мучительный кашель схватил его за горло, и он задрожал как в лихорадке.

Мирон и Тимко, крепко связанные веревками, наклонились к нему. Пока не затих кашель, никто не ложился.

— Верно, они мне что-то в груди отшибли, — хрипел Опанас. — Очень болит грудь. А про воду и про Тимку ты, Мирон, верно говоришь. Тимко не виноват. И про винокурню правильно... Стали все заодно, вот и остановили. Теперь она молчит, онемела. Вот бы всегда так, — мечтательно проговорил Опанас, и побратимы услышали в его голосе надежду, вспомнили вчерашний день.

...День этот, как и все дни, начался трудной работой на господском поле. Крепостные пахали и сеяли, трудились на токах, на огородах, в лесу, всюду, куда гоняли людей гайдуки. Поздно вечером мужики вернулись домой молчаливые, почерневшие от пыли и пота. Каждого влекла хоть и убогая, да своя хата, тихий родной уголок и короткая ночь для отдыха. Но до отдыха было еще далеко. Закончив господскую работу, люди брались за свою — ее они могли выполнять только поздно вечером

или ночью. У каждого был неухоженный клочок огоро-
дишка, не обнесенная к зиме соломой хата, нетопленая
печь, голодные дети. А зима уже стучалась холодным
ветром в каждое оконце, и люди принимались за работу
на своей земле.

Но в ту ночь внезапно стала господская винокурня.
Испортился насос, который подавал воду из пруда в
котлы. Барин приказал гайдукам поднять всех крепост-
ных и гнать с ведрами на винокурню. Было уже совсем
поздно, люди улеглись спать, как вдруг по селу промча-
лись грозные всадники из усадьбы. Словно тяжелой
плетью ударило во все окна и двери:

— На барщину!

— Все в усадьбу!

— На барщину!

Тихими улочками катился страшный среди ночи крик
барских слуг.

Опанас выбежал за ворота и долго озирался: не го-
рит ли снова господское добро? Но вокруг стояла глу-
хая ночь, и безлистые деревья однообразно скрипели на
ветру, словно старые двери в хате Опанаса. Он еще не
успел как следует оглядеться, как на него налетел гай-
дук и хлестнул плетью по голове.

— Чего стоишь, быдло? В усадьбу с женою, жи-
во! — и поскакал на другой конец села, выкрикивая: —
Ведра! Ведра берите!

Опанас, сморщившись от боли, повел плечом. Это
был первый удар плети, обрушившийся на него в ту
ночь.

В хате закричали испуганные дети, заплакала Яри-
на, но Опанас не обращал внимания на эти слезы. Он
остервенело гаркнул на жену, схватил два деревянных
ведра и выскочил за порог. Следом за ним бежала же-
на. Сердце Опанаса сжималось от тревоги. Дети крича-
ли громко, страшно и все умоляли не бросать их одних в
хате. Старшая дочь Марина беспомощно бегала вокруг
них, успокаивала, а у самой лились слезы от страха.
Опанас еще долго слышал этот крик, спеша с Яриной в
имение.

На пруду Опанасу дали бочку на колесах, и он мол-
ча вместе с Яриной наполнял ее водой и, накинув на
шею шлею, тянул в гору, к винокурне. Ярина подталки-
вала сзади. Тащить было трудно. Гора крутая. Кто вед-
рами носил, и у тех дух захватывало, а у Опанаса была

сорокаведерная бочка. А тут еще и дождь как из ведра, да со снегом, хлещет в глаза, сечет в лицо, а под ногами глина расползается. Опанас месит ее ногами, оскальзается и видит людей. А люди, словно привидения, в рыжих рубахах ползут от пруда к винокурне. По обочинам дороги стоят гайдуки, у каждого плеть, как молния. Вытянет раз или два вдоль плеч — и рубаха надвое. Берегись!

— Страшный суд настал, Опанас, — шепчет Ярина.

— Молчи хоть ты, — стонет Опанас и снова и снова тянет на гору тяжелую бочку. Шлея до боли врезается в плечо.

Он и не заметил, как там, на горе, что-то произошло, мужики загудели, закричали.

Кто первый взбунтовался, Опанас и поныне не мог вспомнить. Помнил только одно: когда люди в десятый раз взобрались с водой на крутую гору, на железном чане уже стоял Мирон Волошка. Он чудно размахивал руками, словно хотел взлететь на небо. Люди сразу загудели, как лес в бурю. Опанас бросил тяжелые оглобли, и вода из бочки брызнула на людей.

— Нет такого закона! — кричал Мирон Волошка. — Это каторга, а не барщина! Пусть сам воду носит! Мы не будем носить! Верно я говорю, люди?

— Верно!

— Не будем!

Тут и Опанас закричал вместе с другими, что Мирон Волошка чистую правду говорит. Бросив Ярину у бочки, Опанас протиснулся вперед и хотел крикнуть, что такого надругательства ни дед, ни отец его на барщине не видавали. Он хотел еще сказать людям о детях: пусть послушают, как кричат в хатах их дети, может, у кого уже и навек затихли... Знает об этом барин или нет? Но не успел Опанас высказать свои думы — завязалась драка.

Гайдуки с экономом во главе врезались верхами в толпу, и началась расправа. Раздался выстрел, и толпа крепостных попятилась с горы. Тем временем молчаливый и неказистый паренек Тимко Гречка выбил из всех чанов затычки и бросил их в пруд. Вода, налитая в чаны крепостными, широкими потоками хлынула с горы. Пока гайдуки расправлялись с крестьянами, вся вода вытекла, и больше уж никто не пошел носить ее.

Долго ли били в ту ночь крепостных, Опанас не по-

мнит. Зато помнит, как долго и страшно били их троих на псарне. Били до рассвета, потом отливали водой и снова били, чуть ли не целый день. Верно, и сейчас только взойдет солнце, начнут терзать. Пусть терзают, винокурня-то молчит. Все-таки по-ихнему вышло! Одолели они барина...

— Придет весна, и Кармалюк, как пить дать, появится в лесу. Чует моя душа. Он, верно, все тропочки из Сибири на Украину знает,— откликается после долгого молчания Мирон Волошка.

— «За Сибирью солнце всходит, други, не зевайте...» — по-детски улыбается Тимко и шепчет Мирону: — Дяденька! Я вас очень прошу, скажите Кармалюку обо мне. Я на все согласен, только бы он принял меня к себе в ватагу. Я все имения и всех господ в округе знаю. Меня с малолетства от барина к барину продавали. На собак меняли. За меня не раз охотничьего пса давали, а щенят так по двое, и по трое... А как подрос, так барин Ханенко меня назад откупил за овчарку. Руки мои сильные ему понадобились... Замолю Кармалюку за меня словечко!

— Ладно! Будешь молчать на допросе — скажу. Но знай: Кармалюка долго придется ждать. Сейчас осень, пока зима пройдет. Он только весной может подать о себе весточку,— говорит Мирон.

На гнилой соломе застонал Опанас. Верно, ему вспомнились сынишки и дочка Марина. Ему, верно, до сих пор чудился их страшный, отчаянный крик. Он думал о Ярине, которая, верно, тоже не спит в эту ночь. Стоит одиноко у окна, смотрит на дорогу, глаз не сводит с барской усадьбы и с этого амбара, где лежат они, связанные.

— Мирон! А как же Мария, жена Кармалюка? Трое детей есть просят, а ее, должно, опять будут бить. Разве она виновата? — спрашивает Опанас.

— За нее и за своих детей Кармалюк оплатит. Господа это хорошо знают. Может, потому и не тронут Марию в этот раз,— говорит Мирон.

— Хорошо бы! Несчастливая она,— вздыхает Опанас.

— Сердце у нее открытое. Таковую жену поискать надо! Любит ее Устим, верит во всем,— рассуждает Мирон Волошка.

— Любовь хлебом не кормит,— горько усмехается Опанас.

— Ничего, Опанас, хлеба для Марии и ее сынов люди найдут. Дед наш Остап еще ходит по свету, и бандура его еще играет. Голосистая, душевная бандура,— успокаивает его Волошка.

— Это правда, наш дед Остап добрый человек,— соглашается Опанас.

Сквозь щель в двери проступает бледная полоска неба, тусклая и прямая, как лезвие острого меча, и на этой полоске уже разгорается робкое, но горячее сияние утренней зари.

Скорее бы уж солнце всходило,— вздыхает Тимко Гречка.

9

Мария смахнула фартуком горячую слезу, с опаской оглянувшись на окно. Наступала вторая тревожная ночь после бунта на винокурне, а за Марией не приходили. Верно, недоброе задумал барин после той ночи, когда люди отказались носить воду. И чего он хочет от нее? Носила же она воду, как было приказано, вместе со всеми и домой пошла, когда люди взбунтовались и побросали ведра. Хорошо хоть старший сын Иван подрос и присматривал за маленькими Остапом и Миколой, чтобы не вопили среди ночи. Они, видно, послушались Ивана; когда мать вернулась домой, маленькие спали, а он стерег убогую хатенку, примостившись на лавке у окна.

Тихие сыновья растут. Без отца. С покрова восьмой год пошел Остапу, а характером он не похож на отца. Только голубые глаза всегда смотрят подозрительно исподлобья, и в этом взгляде Мария узнает родного, далекого Устима. Где он теперь и что с ним? Нет ни весточки, ни привета. Только днем и ночью ползут о нем разные слухи то с ярмарки, то из придорожной корчмы. Может, и правду говорит об Устиме старый Диброва. Нынче кобзарь явился к ней в хату веселый и даже немного выпивши. Но Мария не станет сейчас расспрашивать его. Дети еще не спят, а Остап все допытывается:

— Мама, а где папаня? Мы не боялись сидеть одни: нам Иван говорил, что папаня вокруг хаты ходит и стережет нас. Что ж он к нам в хату не зашел?

— Нет вашего отца, дети! Далеко он,— вздыхает Мария.

— Мама, а он разбойник? — спрашивает Остап.

— Нет, сынок, он хороший,— Мария глотает слезы.

— А почему же гайдученята кричат: «Карман! Вор! Разбойник!»

Мария пошатнулась, перед глазами поплыл туман. Не уберегла она сына от злой молвы. И он где-то услышал эти страшные, колючие слова об отце. Она вопроительно посмотрела на Ивана. Тот ответил ей хмурым взглядом исподлобья, засопел:

— Я побежал гусей загонять, а паршивые гайдученята давай его дразнить: «Карман, разбойник...»

— А Иван, мама, за это в них камнями кидал. Все разбежались! — засмеялся Остап.

Старый бандурист Диброва поднялся с лавки, подсел к детям.

— Пусть кричат, сынок. А ты не слушай. Заткни уши и уйди молча, словно воды в рот набрал. Пусть болтают. Они боятся вашего отца, вот и ругают. А он не разбойник.

Мария, отвернувшись к окну, смотрела на тихую, безлюдную улицу, на старый покосившийся плетень вокруг двора. Ставил его Устим весной, после их свадьбы, как скопили на собственное хозяйство. Сколько уже лет прошло с тех пор, а собственного хозяйства они так и не завели. Хата покосилась, выросла в землю, ворота упали, у хлева бревна торчат, как ребра у голодного. Нет хозяина, и неведомо, будет ли он когда хозяйничать на этом дворе. Сперва Мария просила мужа, чтобы хоть детей несчастных пожалел, чтобы послушал ее. Да где там! Восстал на барина, людей за собой повел, и они словно проснулись от тяжкого сна, загудели, взбунтовались против помещиков во всей округе. Все шло хорошо, да вдруг Устима поймали, заковали в кандалы и погнали в Сибирь. Может, и не увидит он больше родной земли, так и пропадет на чужбине. Десять лет каторги!

Мария старается отогнать назойливые мысли, а старик Диброва уже завел разговор с детьми, и, кажется, нет конца его страшной и правдивой сказке.

— И за то, что всем людям счастья хотел, погнали господу вашего отца под красную шапку, в солдаты, в самый Каменец. Вас тогда еще на свете не было. А тебя, Иван, в люльке качали, и ты ничегошеньки не понимал.

Да не таков он, ваш отец, Устим Кармалюк, чтобы господам покориться, ползать перед ними на коленях. Возненавидел он господ пуще прежнего. Бежал из солдатчины и пошел гулять по свету вольным соколом. Сперва прятался он в лесах дремучих, в пещерах глубоких, и повсюду были с ним его добрые молодцы. Да все нашего, крепостного роду. Конюхи, погонщики волов, кузнецы — все честные хлебоборы. Одного барин обидел, другого до полусмерти солеными розгами высек на конюшне, третий не выдержал барщины проклятой. Вот и ушли они из разных сел и хуторов на веки вечные в леса, к вашему отцу, Устиму. Поджидали по ночам богатых господ на дороге, оплачивали им за обиды людские — отбирали у них все деньги и раздавали бедным. А если барин и после этого не каялся, а все измывался над людьми, на него среди ночи вихрем налетал ваш отец. Барин, бывало, и оглянуться не успеет, как запылают его скирды и затрещат амбары с хлебом, а в богатых покоях вырастает перед ним сам Устим Кармалюк. Дрожит злодей, молит вашего отца, чтобы пощадил, клянется, что не будет больше людей мучить. Но отец ваш отроду господам не верил. Отстегают отцовские молодцы барины-подлюги солеными розгами, как он стегал крепостных, заберут у него деньги, золото, — и поминай, как звали.

— И золото заберут? — Остап зевнул, протирая кулачком заспанные глаза. Он уже дремлет, склонившись к деду на колени, и длинная сказка об отце встает перед ним во всем величии и красе, на какую только способно детское воображение.

— Все заберут. И деньги, и золото, — медленно шепчет старый бандурист, — а на следующий день делят все между людьми. . . Всем понемногу дадут, а себе только на харчи да одежонку оставят. Никого не обходит при разделе ваш отец, Устим Кармалюк. За то и любят его люди, песню о нем поют, когда барин не слышит. . . Вот какой у вас отец, дети, а они называют его душегубом, разбойником, чтобы опозорить его святое имя. Господа день и ночь ловят Кармалюка. Войска против него посылают в села и на хутора. Силой сгоняют людей ловить его. Первый раз, когда Кармалюка посадили в тюрьму, господа присудили его к тяжелой каре. Пятьсот палок прошли по его голому телу, и снова погнали его в солдаты, только уже не в Каменец, а к морю, в Крым.

Но отец бежал с дороги — и снова у господ переполох. Много золота обещали они тому, кто выдаст отца, а сами расставили по всем имениям войска, вооружились до зубов, да только Кармалюк все одно их не боялся. Люди не выдавали его, прятали от господ, оберегали всегда и везде. Да нашелся один подпанок из шляхты, выследил он Кармалюка в лесу, очень уж ему господского золота захотелось. Выследил и дал знать в экономию. Все господа с войском гнались за Кармалюком с самого утра до позднего вечера и настигли его в открытом поле, да и то лишь потому, что подстрелили в ногу. Если б не пуля в ноге, только б они его и видели. Но пуля не пускала. Господа скрутили вашему отцу руки веревкой — и в тюрьму его. Суд был скорый. Снова высекли его на площади розгами, заковали руки и ноги в кандалы и угнали от нас в Сибирь, на каторгу. А там леса дремучие, снега глубокие и людей нету. Нет, он не разбойник, ваш отец, праведный человек он, детки!

— Дедушка, а отец к нам все равно придет! Правда, придет? — приоткрыл заспанные глазенки Остап.

Диброва прижал его к груди, погладил по головке.

— Придет, детки... Дай только бог ему здоровья, — успокаивал детей бандурист.

Мария, притихнув у окна, слушала его рассказ. Ей было больно, что не она, а бандурист Диброва рассказывает сыновьям об отце. Не может Мария им рассказывать. Не раз, бывало, окружают ее дети: расскажи да расскажи об отце. А она только начнет, сразу выступят слезы на глазах, в горле пересохнет. Убежит Мария от детей во двор и плачет там долго и горько, пока они не уснут.

Дети засыпают.

— Мария, укладывай их, — тихо говорит старик, и женщина, словно пробудясь, отстраняется от окна.

Как во сне, бредет она к топчану, укладывает детей, укрывает чистым рядом.

Старший, Иван, не спит. Он обхватил голову руками и, отвернувшись к стене, закусил полотняный рукав рубашки, чтобы подавить слезы, но Мария видит, как слегка вздрагивают его худенькие детские плечи. Что с ним? Может, лихорадка привязалась? Мария положила ему на голову ладонь, но он, тряхнув волосами, отстраняет ее руку и шепчет, глотая слезы:

— Неправда! Отец не придет... Никогда не придет... Обманывает нас дед...

Мария бросила укоризненный взгляд на бандуриста и жестом попросила его помолчать, не разговаривать больше с мальчиком. Вот к чему привела его сказка о Кармалюке! Сын уже вырос, все понимает. Зачем было растравлять его детское сердечко?

Иван, не поднимая головы, повалился на топчан, лицом к стене, обнял за плечи маленького Остапа. Он больше и слова не вымолвил, будто сразу уснул. Мария видела, что он не спит, но знала: кричи на него, ругай, все равно больше ни словечка не добьешься — такой уж он упрямый да скрытный.

Все улеглись, измученные работой, неотвязными мыслями, волнениями. До Марии сперва только глухо доносился стук колотушки ночных сторожей, неусыпно бродивших вокруг стен барской усадьбы. Сторожа перестукивались, чтобы барин все время слышал, что они не спят. Мария ждала: вот-вот за ней снова придут, заберут на конюшню и всю ночь будут мучить за Кармалюка. А разве она знает, где он сейчас? Господам виднее. Заслали в Сибирь, а теперь самим не верится, что он там. Все думают, убежал и прячется где-то здесь, в лесах. Где уж ему тут прятаться? Если б прятался, так хоть к детям заглянул бы.

Мария уже не слышит ни бешеного лая собак на хуторе за рекой, ни стука колотушек. Село погрузилось в глубокий сон. Даже кроны развесистых яворов у пруда и те притихли. Марией овладевает сладкая дремота, и она лежит, холодная и немая, не ощущая своего натруженного тела, но и сквозь сон доносится до нее дребезжание оконного стекла. Настойчивое, тонкое, словно ветер стучит в окно. Дребезжание становится все громче, но у женщины нет сил подняться. Вот уже и вся рама гремит, и Мария вскакивает. «Гайдуки пришли! Сейчас на конюшню поведут», — испуганно выстукивает сердце.

Мария бежит в сени и стоит там у двери минуту или две: прислушивается. На селе тихо и мертво. Винокурня, как стала вчера, так и до сей поры молчит.

За дверью кто-то вздыхает, трогает деревянную щечку.

— Кто там? Чего надо? — спрашивает женщина.

— Мария, открой, — откликается мужской голос.

— Кто вы такой? — допытывается Мария.

— Да это я, Мария, открой...

— Боже мой! Что же это?! — вскрикивает Мария и распахивает дверь.

Гость не успел порог переступить, как она бросилась ему на грудь, всхлипывая и приговаривая:

— Устимочко! Родной наш... Пришел все-таки!...

В складках одежды Кармалюка таятся запахи осенних листьев, лесного мха и болотной сырости. Мария прикасается ладонями к его лицу. Густая небритая борода колет ей пальцы, а перед глазами его высокий с горбинкой орлиный нос.

— Ты одна дома? — спрашивает Кармалюк.

— Нет, Диброва зашел переночевать, — ответила Мария.

— А детки наши как, здоровы? — шепчет Устим.

— Здоровы, Устим, слава богу... — радуется Мария.

Кармалюк привлекает к себе жену, горячо шепчет ей в лицо:

— Остап, верно, вырос? А меня они еще не забыли?

— Что ты! Каждый день только и разговору что об отце, — отвечает Мария.

Кармалюк ставит в угол высокую пику, тщательно запирает на засов сенную дверь и тихонько, словно крадучись, входит в хату. В лицо ему веет теплым запахом жилья, пахнет яблоками, с дощатого топчана доносится ровное, глубокое дыхание сыновей. Все в этой хате ему близко и дорого. Широкая дубовая скамья под окном, старый шкафчик с глиняной посудой, на печи плетенная из лозы люлька, расписной ясневый сундук, где лежат Мариины и его пожитки, сосновый стол, покрытый белой скатеркой, на нем краюшка хлеба, солонка и нож, тот самый, который Устим когда-то смастерил из старой косы.

Кармалюк садится к столу, собираясь рассказать, как труден путь беглого каторжника на родную Украину, к ней, к Марии, к сыновьям. Он бежал по степи, а Мария и не знает, какие бывают степи. Она и помыслить не может, как трудно ему было пробираться с клеймом каторжника на лбу. Устим может показать ей и следы ржавых кандалов на руках. Не скоро заживет натертое железом тело. Обо всем готов рассказать жене Кармалюк. Только одного не скажет. Скроет от нее, что давно уже бродит по лесам Подолья. Все ждет, пока

господа успокоятся, узнав о его побеге, пока немного позабудут о нем и отошлют войска из своих имений обратно в Каменец. Он не скажет Марии, как не раз подкрадывался по ночам к хате, чуть не до зорьки сидел в саду, не сводя глаз с окон. Он тогда видел Марию издали, слышал плач маленького Остапа, но, боясь засады, не заглядывал в хату. На рассвете он опять пробирался в лес и сидел там весь день, поджидая своих молодцев на совет и беседу. Горько было бы Марии узнать об этом, и лучше уж Устим промолчит.

— Послушай меня, Устим,— Мария поставила на стол деревянную миску с картошкой,— несчастные мы без тебя. Либо вернись домой, либо сделай с нами что-нибудь. Может, вернешься? Барин простит тебя. Он уже передавал мне через людей. Станем снова тихо да мирно работать на своем клочке, присматривать за детьми... Ну, сжался хоть над сыновьями. Пропадут они без тебя, и я, одинокая, на тот свет пойду...

Проснулся на лавке старый Диброва, узнал Кармалюка и бросился к нему, нечаянно задев струну на бандуре. Струна отозвалась тонко, тоскливо, словно запела. Кармалюк встрепенулся. Диброва припал к его плечу.

— Отец наш родной! Глаза мои затуманились, тебя высматривая. Все люди тебя ждут...

Устим отстранил старика рукой, взял из миски картофелину, придвинулся поближе к жене.

— Мария, ну зачем ты так? Вон, слышишь, что дед говорит? Меня люди ждут, такие же, как ты, несчастные крепостные. Господа ненавидят меня и боятся, а ты, Мария, укоряешь меня за это... Думаешь, у меня душа за вас не болит? Или нет у меня сердца в груди? Да что поделаешь! Я за оружие взялся и теперь не выпущу его.

— Убивать будешь господ? — ужаснулась Мария.

— Понадобится, так и убивать буду,— спокойно сказал Кармалюк.

— Боже мой! — всплеснула руками женщина.— Детей своих пожалей, Устимко! Они-то в чем повинны?

Она бросилась к топчану, сдернула с сыновей грубое рядно. Дети вскочили, сонные, перепуганные, а она кричала, словно сама не своя:

— Иван, Миколка, дети мои... Остап... Отец ваш вернулся. Не бойтесь его... Просите, чтобы с нами остался...

Кармалюк поднялся из-за стола, бросил яростный взгляд на жену, но сдержался. К нему уже робко подходили сыновья, худые, тонконогие, в длинных, до колен, рубашонках. Устим вынул из-за пояса два пистолета, положил их на окно. Взял на руки среднего Остапа.

— Ого, какой казак вырос! А вы, Иван и Микола, чего застеснялись? А ну, садитесь ко мне на колени. Я вам гостинцев припас... От самого синего моря гостинцы.

И он по очереди поцеловал всех трех сыновей в губы. Дети поморщились: борода у отца была колючая, и от него пахло горьким табаком.

— Чумацкой тарани вам привез. Чумаки, что от моря соль везли, подарили. «На, Устим, говорят, свези своим сыновьям». Чумаки говорили, что у моря живут добрые люди. И господ у них нет. Берите, дети, ешьте.

Сыновья взяли по рыбине и не знали, что им делать: разглядывать отца или есть рыбу? Мария, прислонившись к притолоке, не отнимала глаз от фартука, плакала да все прислушивалась к ночной тишине, и каждый звук, доносящийся снаружи, больно ранил ее сердце, рождал тревогу за Устима. Она уже и сама была не рада, что разбудила детей, так и не поговорив с Устимом наедине.

— Мария, а ты чего там стала? Иди к нам, посидим вместе, — просит Кармалюк, прижимая к себе сыновей.

Мария подошла, присела у стола.

— У меня, Мария, возле Херсона побратим есть, по дороге из Сибири с ним подружился. Земля, говорит, там очень плодородная, вольная земля. И мужья с женами там живут вольно, не как у нас, а на веру¹. Губерния их, Таврийская, так и называется: невенчанная. Так вот я думал, думал и решил перевезти вас туда. Там вас никто не знает, люди в том краю добрые, а мне это развяжет руки, и смогу я свободно воевать против господ и шляхты... Прилечу со своими молодцами среди ночи, посажу вас на коней — и прощай, господин Ханенко, навсегда... Поедем, Мария!

— Не знаю, — неуверенно ответила она. — Тут мой дом... Отец, мать... на одном кладбище весь наш род лежит... А как оно будет там, в той невенчанной губер-

¹ То есть не венчаясь в церкви.

нии? .. Кто мне там родня? Говорят, там садов нет, и калина в марте не цветет.

— Папенька, не уезжай! — всхлипнул Остап. А за ним Иван с Миколою:

— Не уезжай!

— Не бросай нас!

Кармалюк прижал к сердцу детей, метнул зоркий взгляд в окно.

— Тише, детки, а то барин услышит... Вы никому не говорите, что я к вам приходил, вот я и стану с вами жить. Я не уйду от вас. Я уже совсем вернулся... Вместе будем... Я вон матери сапоги привез. Хорошие сапоги, юфтяные. Возьми там, в торбе, Мария.

Мария вынула сапоги: легкие, с рантом, на каблуках медные подковки. Сапоги скрипели, пахли дегтем, и она долго рассматривала белые гвоздики на подошве, словно хотела сосчитать их. Печаль и тревога сразу исчезли, и на сердце стало спокойнее...

— Береги их, Мария... А подрастет Иван, ему отдашь, — сказал Кармалюк.

— Атаман, — заговорил бандурист, — а что же мне делать? Пора наших созывать. У нас тут на винокурне заворощка. Проклятый Ханенко последнюю рубашку сдирает...

— Знаю, слышал. Подождите немного, скоро знак подам, будет и вам работенка, — ответил Кармалюк.

— Слушаю, — кивнул Диброва.

Вдруг на сонной дороге застучали копыта, и Мария бросилась к двери. Но Кармалюк был спокоен, он будто и не слышал этого топота. Неторопливо отнес мальчиков на топчан, заткнул пистолеты за пояс и остановился посреди хаты молчаливый и задумчивый. Всадники уже промчались мимо, и глухой топот копыт замер где-то на холме, возле барского дома. Мария перекрестилась.

Ночную тишину рассек долгий, громкий свист.

Кармалюк шевельнулся и прислушался к этому тревожному и пронзительному свисту. Дослушав, он подошел к детям.

— Спите, детки, не бойтесь. А я выйду и погляжу, кто это свистит среди ночи, людям спать не дает. Дня им мало, что ли?

Мария оглянуться не успела, как Устим выскочил из хаты, даже шагов под окнами не было слышно. Словно

сквозь землю провалился ее муженек. Вышла в сени — пики в углу нет.

Открыла дверь — во дворе пусто. Только дрожащая, яркая, как уголек, звездочка мерцала на небе.

Господин Ханенко стоял потупясь посреди двора и весь дрожал — не столько от холода, сколько с перепугу. Руки барина крепко связаны веревкой, толстое тело покачивается на коротких, раскоряченных ногах. Ханенко сразу стал маленьким, он всхлипывает, боясь поднять глаза на людей, на Кармалюка. А больше всего боясь глянуть на свою винокурню, которая пылает на высокой горе, словно сухая щепка.

Наконец он приходит в себя и, тряхнув головой, вскрикивает:

— Смилуйтесь, люди! Я же весь ваш. У нас один бог и вера православная одна. Я не шляхтич коронный и не душегуб... Я христианин! Брат ваш и сын...

Кармалюк содрогается при этих словах, но стоит недвижимо, словно прирос к земле. Его суровое лицо в отблесках пожара кажется отлитым из бронзы.

— Что ты сказал, собака? — цедит сквозь зубы Кармалюк и, повернувшись к людям, кричит: — Вы слышали, люди, что он сказал?

Возбужденная толпа крепостных вдруг качнулась и затихла. Стало слышно, как потрескивали в пламени сосновые бревна винокурни.

— Господин Ханенко сказал, — бросает в толпу Кармалюк, — что он наш родной брат, да еще и сын. Врешь, пес, как Мазепа! Какой же ты нам брат? Твои кровные родичи — это господа и хозяева всех вер и языков. И польские, и турецкие, и австрийские. Мы, крепостные, для них — быдло, вечные батраки. Помни, мерзавец, что Кармалюк бьет господ всякой веры и языка. И своих и чужих!

Толпа радостно загудела, заволновалась. Словно ветер подул в жару, орошая землю обильным дождем. Расталкивая людей, к Кармалюку уже протискивались окровавленный Мирон Волошка, избитый Опанас и растрепанный Тимко Гречка.

Кармалюк тряхнул Ханенко за ворот.

— Клянись, супостат, что больше не будешь людей обижать. Проси их.

Ханенко упал на колени, затрясся.

— Клянусь вам всем... Простите, больше не буду так и гайдукам закажу...

— Врешь, пес! — грозно крикнул Мирон Волошка.

— Клянись! — гудела освещенная пожаром толпа.

— Присягай, что больше и пальцем не тронешь крепостного. Снопов не станешь резать, не будешь детей разлучать с родителями. Клянись! Громко клянись, чтобы все слышали! — гремел Кармалюк, опершись на высокую пику.

Ханенко бил земные поклоны, набожно поднимал глаза к небу и повторял вслед за атаманом слова страшной для себя клятвы:

— Отныне, люди добрые, на барщине будете работать четыре дня в неделю. Я отменяю в усадьбе и на всех моих землях телесные наказания розгами и плетями. Беременных женщин на сносях обязуюсь не посылать на барщину. Печи в господском доме отныне будут топить конюхи и погонщики волов. Все старые мерки для снопов сожгу, а заведу точные, из сухой бечевы. Ночью никого не буду гонять на работу... Два дня в неделю и святое воскресенье будут для людей... Они не мои...

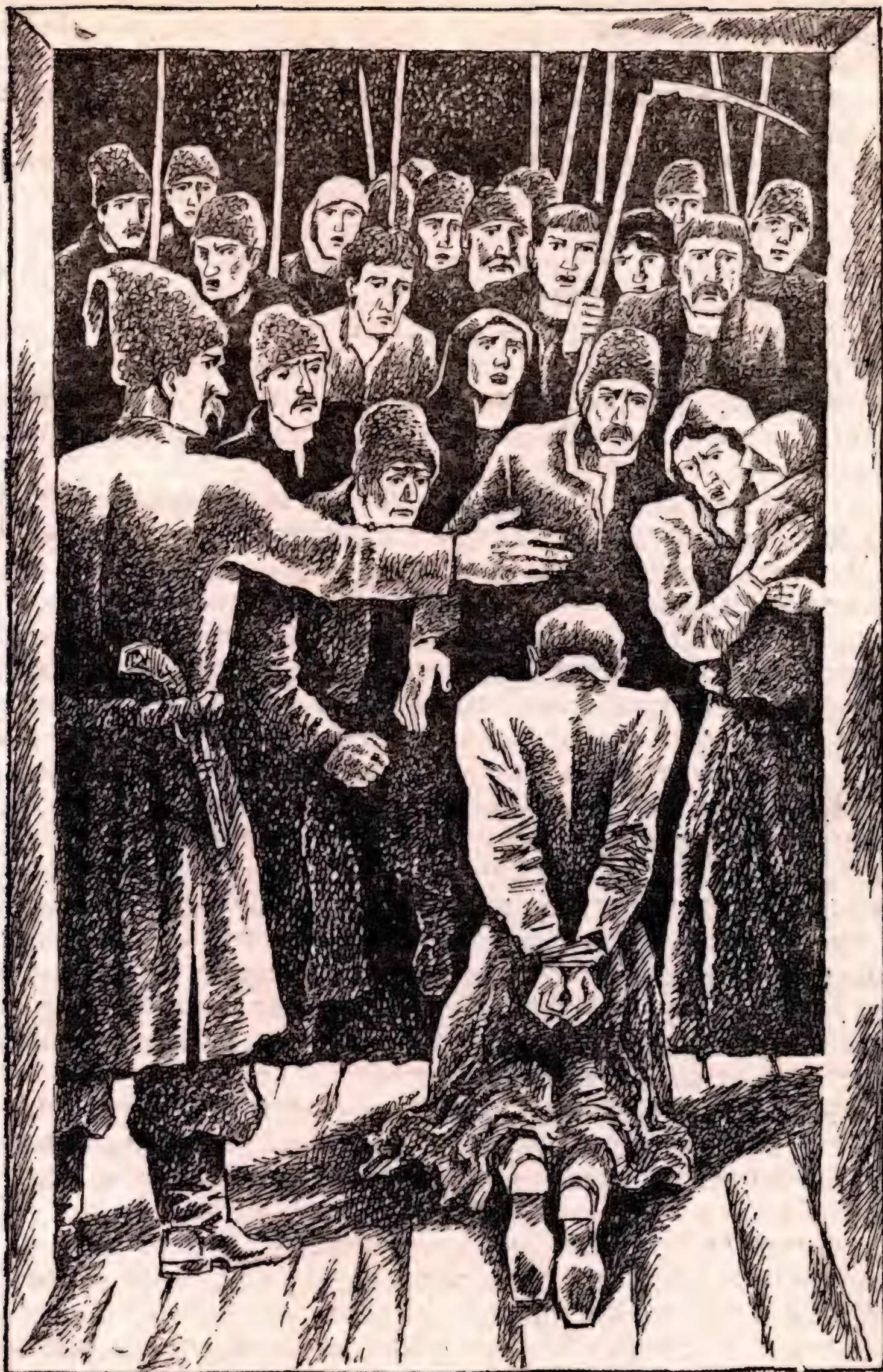
Барин хрипит, часто глотает слюну и облизывает горячим языком пересохшие губы. Он все еще не оправился от испуга, и ему даже трудно вспомнить, как случилось, что ему, господину Ханенко, пришлось клясться перед своими мужиками. Какой стыд, какой позор для именитого помещика, наследника гетманского рода и славного дворянина!

У него над головой стоит Кармалюк и не дает передохнуть хоть на миг.

— Эй, барин! Ты не вертись, а то шею свернешь! — кричит над самым ухом Кармалюк, и Ханенко начинает путать слова. Он готов в эту минуту отдать им все, устроить для своих мужиков рай на земле, только бы оставили его в живых.

— А теперь поклонись людям и поцелуй святую землю! На все стороны поклонись! — велит Кармалюк.

Ханенко кланяется, не поднимая глаз на окруживших его тесным кольцом крепостных, и целует холодную землю. Он видит ноги крепостных — черные, потрескавшиеся, обтрепанные штаны мужчин, женские подолы,



искусно вышитые черной шерстью по суровому полотну. Ханенко кланяется, стиснув зубы, и стараясь хоть краешком глаза заглянуть в лица своим холопам, чтобы навек запомнить эти лица, зловеще освещенные заревом пожара.

Кармалюк высоко поднимает руку.

— Слушайте меня, люди! Барин поклялся вам при свидетелях. Запомните это. Деньги я у него забрал, мне они не нужны, и я раздам их бедным. Это ваше потом и кровью добытое богатство. А ты, барин, берегись, коли не сдержишь клятвы — пеняй на себя. Я тебя на том свете найду! Если хоть пальцем кого напрасно заденешь и я услышу людской плач, где бы ты ни был, прилечу к тебе поквитаться. Подумай, барин, подумай и поступай как знаешь!

Люди слушают эти слова, и на сердце у них становится легко и тепло, словно им приснился радостный и счастливый сон. Они не в силах поверить своему счастью. Неужели это их Устим Кармалюк, которого сослали в Сибирь, на вечную каторгу? Да! Он! Это его звонкий голос снова раздается на господском дворе, трепещут ноздри орлиного носа, и в знакомых глазах под густыми бровями снова вспыхивают искорки. Кто же это может быть еще — если господская винокурня уже догорает, и сам Ханенко, злой и неприступный барин, лежит голый на скамье посреди двора?

Данило Хронь, расстегнув до пояса старый, оставшийся от отца солдатский мундир, стоит над барином и спокойно, с присвистом проходится по господской спине солеными розгами, да еще приговаривает при каждом ударе. Ему горячо помогает Мирон Волошка. Он подает свежие розги, распаривает новые в соленой воде и приговаривает при каждом ударе:

— Это тебе, барин милый, за красную шапку. Знаю, носил я ее по твоей милости. А это за детей, проданных в Варшаву. За разрезанные перевясла получай сдачу мелочью.

Кажется, конца-краю не будет этим приговариваниям, от которых по толпе разносится легкий, тихий смешок. А Данило Хронь не унимается. Словно он все время только и делал, что зарубал на своей палке господские грехи, а теперь припоминает их барину один за другим, ничего не забывая. Розги хорошие, в соленой воде распарены. Принес их сюда с господской конюшни

Тимко Гречка и теперь подает по одной то Данилу, то Миرونу. Веселый паренек.

И вдруг ночную тишину разрывает пронзительный свист. Он несется от пруда, звучит над господским парком и глохнет где-то на хуторах. Пора, стало быть, кончать. Стража Кармалюка, что стоит за околицей, подает знак.

Двор экономии медленно пустеет, люди расходятся по своим хатам, потихоньку скрываясь в темноте. На плотине показались всадники из соседнего имения, куда верные слуги господина Ханенко уже успели подать весть. Пан Опаловский спешит на помощь своему соседу. Но напрасно гонит лошадей шляхтич Опаловский. Молодцы Кармалюка давно скрылись из села. И даже не по той дороге умчались, на которой Опаловский поставил свою засаду. Когда всадники въехали на плотину, Кармалюк со своими людьми был уже за селом. Винокурня Ханенко догорела, а сам барин лежал посреди двора, привязанный к скамье, и тяжело стонал.

Кармалюк, опустив голову, молча шагал по полю, спеша к глубокому оврагу. На сердце было тяжело, жаль было сыновей, мучила мысль о Марии. Он так и не попрощался с сыновьями, с женой, не сказал бандуристу Диброве, как и куда идти ему сегодня утром. Боль за близких и лютая ненависть к Ханенко охватили его. Кармалюк мог бы задержаться в селе, мог бы встретить на плотине всадников пана Опаловского, но уже занималась заря и встретить шляхтича — означало бы окончательно выдать себя и всех побратимов. Лучше Кармалюк встретится с паном Опаловским в его имении, а теперь надо поспешить в лес.

На холме он остановился и еще раз взглянул на родные Головчинцы. Село стоит, как и прежде, под глинистой горой, над прудом, тихое, прикинувшее к земле. Только господский дом белеет, как меловая скала, в густом парке, высоко поднимаясь над покосившимися бедными хатками. Вон там, за явором, стоит и его хата. Может, Мария и до сих пор не спит? Была ли она этой ночью в имении, видела ли, как Кармалюк чинил справедливый суд над Ханенко? Что-то не заметил ее Устим, хотя и присматривался внимательно к каждой женщине в толпе. Хорошо поступила Мария, что не пришла. Ее там не видали, значит, она не соучастница в его делах. Пусть лучше за сыновьями присматривает, а в его дела

не мешается. А сыны хорошие растут! Остап за четыре года так вытянулся, что и не узнать. Что-то он делает сейчас? Кармалюк представляет себе среднего сына: скорчился, бедный, на голом топчане, тарань из рук не выпускает. Что ему снится в такую ночь? Может, невиданное никогда синее море, а в нем золотая рыбка? А может, яблоки в господском саду? Крупные, румяные, а рукой их не достать. Отшибет барин руку... Устим вовек не забудет того дня, когда Мария принесла в тюрьму маленького Остапа и плакала, глядя, как гнали Кармалюка этапом в Сибирь. Иван стоял рядом с ней, насупив брови, даже не всхлипнул, а Остап все протягивал ручонки к отцу, веселый такой, радостный, просил яблоко. Но где же было Устиму взять яблоко, когда руки и ноги в железных кандалах? Даже обнять сына на прощание не мог. Верно, именно в эту минуту родилась в нем неугасимая любовь к среднему сыну. Сколько бы ни ходил по этапам, сколько бы ни колесил по подольским лесам,— больше всего щемило сердце, когда вспоминал Остапа и то прощание возле тюрьмы. Иван и Микола тоже его родные дети. Устим и их любит, но они не так милы ему, как маленький Остап.

«Горе им, горе,— вздыхает Кармалюк, входя в лесную чащу.— Проснутся утром, и Остап будет бегать по хате, разыскивая отца. Что ему на это ответит Мария?»

В селе уже поют третьи петухи. Это пение гонит Кармалюка в лес, и он старается не думать о Головчинцах, где стоит его покосившаяся хата, спят его дети, даже во сне ожидая отца, и сидит у окна грустная Мария.

— Что с тобой, атаман? — удивленно спрашивает Захар Блажкун, который до сих пор все время молчал за Кармалюком и не решался нарушить его размышления.

— А? Ничего... Это я так...

— Может, у тебя что болит? Не заболел ли? — допытывается Блажкун.

— Нет, брат. Так что-то невесело... Мария вот из головы не выходит. Не хочет переезжать в Таврию, на волю. А чем я могу ей помочь здесь? Только сердце растравлять.

— Давно я тебе говорил, атаман,— успокаивает Блажкун,— надо нам бросать эти края. Тут нас уже все

знают, трудно становится... Надо на Винницу пробы-
ваться или на Житомир — там, на новом месте, вольгот-
нее. Я те края хорошо знаю. Дальняя дорога всегда
человеку сердце успокаивает.

— А я и не знал этого, — горько улыбнулся Карма-
люк. — Вот гнали меня в Сибирь, а сердце не успокаива-
лось. Все о вас думал... Меня уже никакая дальняя
дорога не успокоит.

— Да я не об этом, — оправдывается Захар Блаж-
кун. — Там, в Новой Синяве, у меня хата своя, люди
добрые. Подумай, Устим.

— Люди всюду добрые. Им только глаза надо рас-
крыть, — говорит Кармалюк.

— Ну вот, мы и раскроем. Тут уже раскрыли, надо
дальше идти, — настаивает Блажкун.

Кармалюк молчит.

Извилистая крутая тропинка наконец обрывается
возле глубокой пещеры, заросшей густыми кустами ко-
лючего терновника. В пещере мерцает огонь, у входа
стоит стража, которая кланяется атаману. Кармалюк
входит в пещеру. На постелях из дубовых листьев во-
круг угасающего костра сидят его люди. Увидав Усти-
ма, все встали, а Данило Хронь даже козырнул по ста-
рой солдатской привычке, унаследованной еще от покой-
ного отца. Как старший у костра в пещере он доложил
Кармалюку:

— Так что в точности все исполнили, как ты прика-
зал, атаман. Полсотни розог отмеряно Ханенко.

— А не больше? — спросил Кармалюк.

— Нет. Ровно полсотни, — заверил Хронь.

— Смотри! — Кармалюк погрозил ему пальцем.

— А к тому же, — продолжал Хронь, — мы еще с
прибылью. Эй, где вы там?

Вперед вышли Мирон Волошка и Тимко.

Взглянув на избитого Мирона, Кармалюк покачал
головой.

— Пришел-таки, Мирон? Видно, всласть хлебнул
господской ласки? Не вытерпел?

— Нет больше мочи, Устим. Пропади все пропа-
дом!...

— Я так и знал. А где же Опанас? — спросил Кар-
малюк.

— У него жена тяжело болеет, может, помрет, — по-
яснил Хронь.

— Передайте ему сегодня денег. Сто злотых, — приказал Кармалюк. И, подойдя к незнакомому парню, спросил: — А ты кто будешь?

— Я — Тимко Гречка. Сирота. Наша хата стояла в овраге, а как отца дубом в лесу привалило да мать умерла, барин хату забрал, а меня продал. Вы должны знать моего отца.

— Знал, царство ему небесное. А чего ж ты хочешь? — Кармалюк внимательно посмотрел на парня.

— Господ хочу бить. Мне теперь уже все равно жизни нет после винокурни, — браво ответил Тимко.

— А не боишься?

— Это я-то боюсь? — весело сверкнул глазами Тимко. — Смех меня разбирает, атаман, от таких речей. Спросите дядьку Мирона, как мы на винокурне нынче ночью... Он не даст соврать.

Кармалюк оглянулся на людей, сидевших вокруг костра, спросил:

— Ну, как рассудите?

— Принять! — в один голос загудели повстанцы и потащили Тимка Гречку в глубь пещеры.

Кармалюк похвалил их решение, и повстанцы, по обычаю, предложили Тимку распить с ними полштофа водки, чтобы окропить новичка. При этом молодцы должны были рассказать Тимку обо всех обычаях и законах, которые приняты были в отряде Кармалюка.

Устим, воспользовавшись посвящением парня в побратимы, которое вершилось в темном углу, присел к огню. За ним опустились на дубовую листву и все его старшины: Захар Блажкун, Илько Сотничук, Данило Хронь. Они подозвали и Мирона Волошку. И он тоже сел с ними. Из дальнего угла пещеры, где угощали чаркой Тимка Гречку, долетали приглушенный смех и тихие голоса.

Кармалюк помолчал, набивая табак в трубку, словно прислушиваясь к этому гулу. Потом двумя пальцами выхватил из костра уголек, положил в трубку. Попыхивая крепким табаком, начал беседу.

— Выходит, братья, не с руки нам тут дольше оставаться. Облава сюда нагрянет еще до восхода солнца. Так что завтракать сегодня будем в новом жилище. Где-нибудь возле Литина. А ты, Захар, пересчитай все господские деньги, их надо людям раздать. Большую часть головчинецким, когда выйдут в поле картошку ко-

пать, а остальные на ярмарке в Литине. На поле пойдут Захар с Мироном, на ярмарку — старый Диброва. Он знает, кому и сколько надо дать денег...

Старшины в знак согласия закивали головами.

Один только Данило Хронь недовольно поморщился после этих слов и понуро опустил голову. После того как он самовольно обобрал шинкаря в Летичеве и присвоил себе отобранные деньги, Кармалюк держал Хроня под рукою, не спуская с него глаз. Он не осуждал перед повстанцами поведения Данила, своего старого товарища по солдатской службе, но и не гордился им больше. Раз возникшее в душе Кармалюка сомнение оставалось надолго. Хронь чувствовал это и вот уже полгода старался загладить свою вину перед Кармалюком. Вот и теперь он вышел вперед.

— А как же будет с корчмой? Корчма называется Путевая, в ней часто ночуют богатые господа. Сам выследил.

— Подождет корчма, — раздраженно бросил Кармалюк. — Сейчас надо зимовку обмозговать. Снова морозы ударят, снегом заметет, — что тогда?

— Это правда — зима не тетка.

— И надо обдумать еще одно большое дело, — начал Кармалюк, насупив брови. — Крепостные в нашей округе на барщине от зари до зари. А что получается? Выходит, господам этого мало, они еще берут с людей подати. Подушные, дворовые, оконные, за скот, за землю, за воду, за леса и пастбища. Только за воздух еще не берут да за то, что солнце людей греет... Берут подати. На что им, спрашивается? Разве в Петербурге и в Варшаве мало золота? Нет! Много! Но оно плывет и плывет туда, добытое нашим потом и кровью. Так пристало ли нам выпускать это золото с нашей Украины? Не пристало! Пусть лучше оно у людей наших останется! Оно ведь людское, народное, это золото.

— А где ж ты его добудешь? — поднялся Захар Блажкун.

Кармалюк прищурил глаз и, выпустив сквозь усы клуб густого дыма, пояснил:

— Подати господа загребают целый год, до самого рождества, и все в золото оборачивают. И в этом золоте последняя рубаха мужицкая, слезы народные. Под новый год везут деньги в Варшаву, и они уже называются — царская казна. Золото принимает брат царя, на-

местник в Варшаве, Константин. Сейчас это богатство лежит в Летичеве. Зимой его повезут... В этом году, видать, зима опять будет холодная, и деньги людям очень пригодятся.

— Благословляй, атаман. Согласны! — Старшины поднялись.

— Пошли с богом! Скоро солнце зайдет.

Кармалюк встал. Его высокую фигуру увидели молодцы из дальнего угла пещеры, и подошли к своим старшинам. Выходили из пещеры поодиночке. Вход снова завалили каменной глыбой. На зорьке группами, по нескольку человек, двинулись в глубину леса. Перед ними лежали непроходимые чащи, расстилались топкие болота и плавни. Захар Блажкун прокладывал путь. Сыроватый запах прелой листвы поднимался от земли и неприятно щекотал ноздри. Между голыми кустами серебрилась отягченная последней росой паутина. Вершины вековых дубов алели под утренним солнцем.

Устим Кармалюк шел за своими людьми последним.

11

За селом, в лесу, где из одного корня росли три дуба, Тропинин тронул за плечо графского кучера.

— Все, Оникій, милый... Тут и остановись...

Кучер подобрал вожжи, крикнул на коней, и высокий воз, обмотанный веревками, остановился.

— Попасти? — спросил Оникій.

— Нет, разнуздай на минутку, а мы пройдемся, — пояснил Тропинин и глухо добавил: — Когда еще увижу этот лес и эти дубы.

Прокоп Данилевский легко спрыгнул с облучка, где они сидели втроем, подал руку Тропинину, помог сойти.

— Уедешь далеко, увидишь другие леса... А наши забывать начнешь...

— Ой нет, Прокоп, — ответил Тропинин, — такое не забывается... Который раз уже уезжаю из Кукавки, а все стоит перед глазами наше милое Подолье. И все дворовые, как живые, перед глазами. И весь народ наш разговаривает со мной над холодной Невою. Выйду усталый среди ночи на каменный берег Невы и вижу сквозь туман вас всех, слышу родные голоса... Теперь могу писать вас по памяти... А ты говоришь, забудет-

ся... Нет. Все спят в Петербурге, только я брожу над Невой.

— И царь спит? — вдруг спросил Прокоп.

— Не знаю. В окнах темно, — отмахнулся Тропинин. — Мы ведь прощаемся нынче. Пожелай мне счастливого пути...

— Счастливо! — тихо говорит Прокоп и продолжает: — Если б царь знал обо всем, что эти господа чинят с бедным людом, давно не спал бы, а делал бы что-нибудь... Разве он не видит, как бедный мужик пропадает? Разве не слышит плача людского, помазанник божий?

Тропинин со страхом оглянулся на Оникия, хлопотавшего возле лошадей.

— Не бойся, — сказал Прокоп, — они еще не такое говорят. Уж я-то знаю. Меня они не боятся.

— Прокоп, милый, — Тропинин взял его под руку. — Я очень прошу тебя, не участвуй в бунте, если хочешь вернуть детей своих и жену. Я стану хлопотать о тебе в Петербурге. Пойду в академию, попрошу художников. Мы подадим петицию царице. Ты вернешься в Москву к своим детям... Верь мне, Прокоп...

Данилевский тяжело вздохнул.

— Ой, Василий, седой мой ребенок... Не знаю что и сказать тебе. Век буду кланяться, ноги целовать, а только хлопоты напрасны, все останется как есть. Я мужик, а Кавура — холуй. Граф Морков — барин, а царь надо всеми господами господин. Сколько у него земли? Молчишь? Ну и конец беседе... Вот уехал из Кукавки граф Морков. Верно, уж к Виннице подъезжает... Вслед за ним и тебе приказано на зиму перебираться в Петербург... Может, ты больше и не вернешься к нам... Но над нами Кавура остался. Он хуже всякого графа... Не так господа страшны, как холуи... Кавура сам в господа лезет. Богатеет, наживается и ради своего богатства скрутит мужика в бараний рог... Не могу я спокойно глядеть на него. Задушу когда-нибудь, а имение подожгу... Где же тот Кармалюк наш? Ведь сколько ищу, а найти не могу.

Тропинин оглянулся и тихо сказал:

— Не печалься. Он сам тебя найдет, когда услышит...

— А как же он обо мне услышит? — встрепенулся Прокоп.

— Через корчму. . . У него везде свои уши. Так донесут ему и о Кавуре, о том, как ты его любишь. Одному скажешь, другому, вот и долетит до атамана.

— Нет. Я больше говорить не стану. Задушу, и конец. В Сибирь пойду, а Кавуру задушу, красного петуха в имение пушу,— твердо отчеканил Прокоп.

Тропинин остановился у дороги, положив руку на плечо друга.

— Сам не делай этого, Прокоп, слышишь? Кармалюка найди. Если сам все начнешь,— не сносить тебе головы. А у тебя жена, дети. . . Помни о них. . . Я заеду в Москву, разыщу их.

— Не смей, Василий,— взмолился Прокоп.— Ведь я говорил тебе, не терзай сердце. Вырвусь на волю, сам приеду к ним. А сложу голову — бог их простит. Они не виноваты. Я сам во всем повинен. Забыл, дурак, что крепостной крепостным остается до самой могилы. А еще их сделать крепостными? Ты же знаешь законы? Женился крепостной на вольной и она с этого дня становится крепостной. . . Должно быть, и ты, брат, позабыл все, если мне так советуешь. . .

— Забыл,— тихо ответил Тропинин.

Но ответа его Прокоп не услышал, лес был полон буйными шумами поздней осени. Под ногами сухо шелестела опавшая листва, а ветер все косил и косил листья на деревьях, и они кружились золотым ливнем. Среди оголившихся ветвей отчетливо темнели старые птичьи гнезда, поблескивала на скупом солнце лесная паутина, остро пахло прелой гнилью.

— Ну будь здоров, Василий,— сказал Прокоп.

— Нет, погоди, вон там бредет кто-то,— остановил его Тропинин.

Оба замолчали, прислушиваясь, как звонко шелестела листва под чьими-то шагами. В такую пору, когда листьев в лесу по колено, трудно неслышно шагать. Друзья нагнулись и увидели за орешником седого старика с сумой, пробиравшегося напрямик к дороге.

— Кажется, наш кобзарь, Диброва,— радостно воскликнул Прокоп.— Вот хорошо. Побудь еще немного с нами, Василий. Граф не повесит. Подождет тебя в Виннице.

Тропинин равнодушно махнул рукой.

— Дед, идите к нам,— позвал Прокоп.

Диброва увидел их, заторопился, а подойдя, сбросил рваную шапку, низко поклонился.

— Это наш художник,— сказал Прокоп.

— Знаю,— кивнул головой Диброва.

— Уезжает вместе с графом к царю, покидает нас,— продолжал Прокоп.— Сыграйте ему на дорогу свою песню про мужика, чтоб не забывал и в Петербурге нас, мужиков... А я вас, в корчме отблагодарю.

— Ну что ж, про мужика так про мужика,— подмигнул Диброва и вынул из сумы бандуру. Он присел на пенек, засучил рукава, перебрал струны. Худые натруженные пальцы ловко забегали по струнам, и бандура нежно запела всеми голосами, а вслед за ней и Диброва запел хрипло, но бодро:

Намахнешься цепом
На току под горкой,
Пригонишь волов раненько,
Перед самой зорькой.
А эконо́м с полуночи
Под окном ходит,
Еще солнце не вставало, —
На барщину гонит.

Не глядит, что ты с волами,
Что с цепом среди ночи,
Схватит хлопа за шиворот,
Всыпет, что есть мочи.

Не подсунь яиц кошелку,
Не поклонись низко —
Смаху даст тебе по морде,
Чтоб не стоял близко.

Кабы не те эконо́мы,
С паном бы сравнялся.
А через них, проклятуших,
Мужиком остался.

Старик притаптывал обеими ногами, обутыми в лапти. Со всей силой ударял пальцами по струнам, будто сердился. Потом положил ладонь на струны, заглушил звуки, словно боясь, что из бандуры вырвется новая песня, и сказал:

— Вот так гуляет наш мужик, барин. Дай бог лучше не гулять!

Тропинин печально покачал головой, протянул Диброве злотый.

— Ой, что вы, барин. Ни за что не возьму,— отмахнулся старик.— Я у своих не беру. А вам в дальнюю дорогу... Побудьте еще, я вам повеселей сыграю...

Тропинин протянул золотый Прокопу, чтобы дед не видел, а сам наклонился и стал рвать душицу и чебрец. Разгребет листву, сорвет листок и — в букет. И веточку дубовую с желудями туда положил и кленовый листок, горящий как жар.

— Зачем это тебе, Василий? — спрашивает Прокоп.

— Увезу с собой, на столик поставлю. Память об Украине будет...

Диброва понял, что им пора прощаться, поклонился и быстро пошел к дороге, пряча бандуру в суму. Остановился у трех дубов, оглянулся, перекрестил Тропинина и заковылял к селу.

— Напиши мне, как доехал, — попросил Прокоп.

— Напишу. Только очень прошу тебя — не пей. И зачем она тебе, проклятушая? Сердце испортишь. Детей осиротишь. Береги себя.

Они обнялись и крепко поцеловались.

Молча подошли к возу. Прокоп посадил Тропинина на передок и увидел у него на глазах слезы. Отвернулся, чтобы скрыть свои, и только крикнул Оникию:

— Погоняй, да правь хорошенечко! Знай, кого везешь!

— Знаю! — радостно откликнулся Оникий и рванул вожжи. — Но-но! Бог в помощь, вороны! Счастливого пути! Мостов вам покрепче да ухабов позвонче! Но-о!

Высокая поклажа, горой лежавшая на возу, скрывала Тропинина. А вскоре и воз исчез в золотистой пыли. Оставшись один в лесу, Прокоп заплакал и побрел к селу. Он шел вроде быстро, но слезы туманили глаза, и он никак не мог догнать старого Диброву, который уже маячил у поворота. Старик зашел в корчму, и Данилевский потянулся за ним.

Было воскресенье. В церкви окончилась служба, и люди толпились на паперти, крестились на прощание, собираясь расходиться по хатам. Они знали, что на рассвете граф Морков со всей семьей отбыл на зиму в Петербург. Может быть, легче вздохнется после его отъезда. Но не знали люди, что граф оставил в имении полномочным хозяином проклятого Кавуру. И только они вышли из церковных ворот на дорогу, как их встретил управитель с приказчиками. Сам на резвом коне, на боку графская сабля, а в руках проволочная плеть со свинчатками.

И не поздоровался Кавура, и со святым воскресением не поздравил. А прямо рубанул с плеча:

— Помолились богу, а теперь за работу! В амбар за кладбищем! Зерно в закрома носить. Да не отлынивать мне! Слышите? Граф перед отъездом так приказал!

Приказчики на лошадях окружили толпу, плетями размахивают, кричат:

— На барщину!

— К зерну!

— В амбары!

Шедшие впереди люди встали, было, взмолились:

— Ведь воскресение святое, Иван. Граф не гонял нас по воскресеньям.

Кавура завертелся в седле. Кто там голос подает? Граф и впрямь ничего не говорил ему о барщине по воскресеньям. Но пусть мужики попробуют догнать графскую карету с обозом. Она уже в Виннице. Что ему теперь граф? Граф не узнает, что Кавура присвоил себе возле одной молотилки половину господской пшеницы и теперь гонит крестьян засыпать краденое в новый амбар. К вечеру все уберут, а как выпадет снег, Троян со своими чумаками отвезет пшеницу в Одессу на иноземные корабли. Зимой пшеница в Одессе дороже. В кармане у Кавуры зазвенят новенькие червонцы. А весной, когда граф вернется из Петербурга, Кавура поднесет уже ему и выкуп на тарелочке. Вольным станет Кавура вместе со своими землями, лесами, лугами и пастбищами. Вот как будет. Так кто же там рот дерет, о святом воскресении разглагольствует? Неужели они догадались, что пшеница краденая? Не должны бы! А может, пронюхали о его беседе с Трояном? Тоже не могли. Ведь беседовали они в лесу с глазу на глаз. А может, подслушали, как он разговаривал с Габлюком о покупке сеножатки и пастбищ? Тоже не могли — это было на старом ветряке, в чистом поле, а вот поди же, кричат:

— Не имеешь права!

— Воскресение наше!

— От дедов-прадедов так повелось!

Кавура загарцевал на коне, вытащил графскую саблю.

— Я вот тебе покажу и деда, и прадеда, быдло!

Все видели, как Габлюк вытолкнул за ворота двух своих батраков, и низко поклонился Кавуре. Батраки присоединились к толпе, молча побрели со всеми, Троян

тоже выставил со своего двора двух чумаков. Пусть все видят и знают, что он покоряется графским приказам и честно отработывает барщину. Люди притихли, опустили головы, глаза поблескивают холодно и зло. Но какая-то молодница не выдержала, закричала:

— Побойся ты бога, Иван!

Кавура рванул коня за удила, поставил на дыбы. В руке его блеснула золотым эфесом сабля, и все узнали в ней графскую. Узнали, и разом примолкли.

А Кавура огрел ближайшего крестьянина плетью, так что сорочка лопнула, потекла кровь.

— Айда, молодцы! Гоните их, не пускайте по дворам.

Приказчики на конях выскочили вперед, сбили толпу в боковую улицу и по ней погнали к амбару. Вот тебе и святое воскресение. Вот и вздохнули посвободнее, как граф уехал из имения. Кавура первым въехал на плотину, приказал своим холоуям:

— Когда мы возьмемся за пшеницу, вы махните по дворам, чтобы всех выгнать на работу! Всех, до последнего. Слышите?

— Слышим. Так будет! — закричали гайдуки.

Возле нового амбара горою высились мешки пшеницы, а их еще все подвозили и подвозили на лошадях оброчные молдаване во главе с Ильком Сотничуком. Неподалеку лежали кучи пшеницы, которую надо было просеять через сито и сложить в мешки. Кавура погнал мужиков таскать мешки в амбары, женщин просевать пшеницу и насыпать ее. За работой наблюдал сам управитель вместе с несколькими гайдуками.

Илько ходил возле возов мрачный, злой. Он тихо ругался, скрипел зубами от гнева, не поднимал глаз на Кавуру. Так удачно задуманная операция ускользала из рук. Илько рассказал Кармалюку о графе Моркове и Кавуре все до мельчайших подробностей, о том, как они истязали в поле Прокопа Данилевского, выбивая из него вольный дух. И о художнике Тропинине рассказал. Это произошло в Литинском лесу, где отряд расположился на ночлег после нападения на имение Ханенко. Кармалюк принял этот рассказ близко к сердцу и сказал:

— Нам бы очень пригодился этот человек, Прокоп Данилевский... Надо с ним переговорить, пока зима не

наступила... Такие люди редко встречаются. Недолго живут...

— Так я поговорю с ним, атаман,— напросился Илько.

— Нет, брат! Дай уж мне с ним побеседовать,— ответил атаман и тут же спросил: — А с кем он, этот Прокоп, дружбу водит в имении?

— С богомазом Тропининым. Как выпьет с горя, так графа клянет, стоит перед дворцом, кулаком грозит, обещает красного петуха пустить на усадьбу.

— А граф что ему на это?

— Барин к нему Тропинина посылает, никто, кроме художника, не может уговорить Прокопа и увести его с усадьбы. Прокоп только его и слушает.

Кармалюк покачал головой, вздохнул.

— Добрый человек этот Тропинин, я его знаю. Надо ему деньги отдать те, что я занял у него. А с графом пора поговорить... Раз он Прокопа так опозорил, а Кавуру в своего янычара превратил. Нам этот доктор Данилевский позарез необходим...

И в ту же ночь было решено всей ватагой навестить имение графа Моркова. Ильку было приказано немедленно вернуться обратно к Кавуре, внимательно следить за графом, окончательно уговорить молдаван присоединиться к ватаге. Илько загнал трех лошадей, до рассвета добрался до имения, и словно ничего не произошло, принялся за работу.

С молдаванами Илько обо всем уже договорился. Диброву и еще двоих посланцев держал под рукой для связи. Даже наметил день нападения на графское поместье. И атаман похвалил замысел. И вдруг все сорвалось. Граф неожиданно выехал из имения. Собирался после обеда, как служба в церкви кончится, а выехал на рассвете. Как мог Сотничук задержать его? Вслед за графом уехал и художник. Теперь его уже не догонишь. Остались только Кавура и Прокоп. Что скажет на это Кармалюк? Конечно, по головке не погладит. Сколько времени потерял Илько в графском поместье, заслужил доверие Кавуры, все знал, а вот проворонил самое главное.

— Эй, пошевеливайся, быдло! — ревет Кавура, стегая крепостных плетью. — Чтоб вам повылазило — не видите, туча надвигается?

Сквозь стон людской Илько слышит:

— Хоть бы тебя эта туча накрыла!..

— Чтоб ты камнями объелся!

— Палач!

С поля движется обоз с пшеницей, за ним второй, молдаване темнее ночи. Глаза косят на Илька, словно не доверяют ему больше.

Но вот и третий обоз. Раздается громкий свист. Кони летят во весь опор, а на телегах не мешки, одна солома накинута. Кавура только рот разинул от удивления, уже и ругаться хотел. Но солома на возах зашевелилась, из нее стали выскакивать люди Кармалюка. В мгновение ока Кавуру схватили за руки, словно распяли. Гайдуков связали, они и пискнуть не успели. С первой подводы неторопливо сошел атаман, старательно зацепил вожжи за люшню, и тут Илько крикнул:

— Кармалюк!

Крепостные встрепенулись, словно пробудясь от крепкого сна. Грудью подались к атаману, радостно загалдели, а тот поклонился на все стороны, тихо проговорил:

— Здравствуйте, люди добрые! С праздником!

— Спасибо, атаман! — раздалось в ответ. — Дай тебе бог здоровья!

— А кто здесь будет Кавура? — спросил Кармалюк. — Этот? Ого! Такой плюгавенький, а сколько горя людям принес. Я все слышал и знаю. Он пшеницы наворовал и думал ее в Одессу везти... Так пусть же подавится этой пшеницей.

Атаман выхватил у Кавуры графскую саблю, переломил ее у него над головой и бросил два обломка в разные стороны. Кавура отчаянно закричал, упал на колени. Ему связали веревкой руки и ноги. Кармалюк схватил его за волосы и поволок по широкой доске в амбар, к пустому закрому. Там потрянул управителя и, швырнув на самое дно закрома, крикнул людям:

— А теперь засыпайте его пшеницей! Да поживее!

Первыми бросились к амбару с мешками на плечах побратимы Кармалюка. Они не шли, а бежали. Озорно, весело. За ними двинулись кукавинские крепостные. Кавура метался на дне закрома, отчаянно визжал, но его голос становился все слабее, словно доносился из-под земли. Отборное зерно сыпалось на него сплошным потоком и скоро скрыло управителя. Пшеница долго еще

шевелилась и, казалось, стонала, но в конце концов все стихло.

Кармалюк взобрался на телегу, заговорил:

— Люди добрые, расскажите все тому, кто будет служить на его месте у графа. Чтобы знал. А теперь разносите пшеницу по хатам. Не бойтесь, разбирайте! Она ваша! А те, у кого нет малых детей и кто не боится графа,— идите ко мне в ватагу. Я руку на господ поднял! Кто не хочет быть рабом — ступайте к нам. Слышите?

— Слышим, атаман! — раздались голоса, и к повстанцам присоединился добрый десяток кукавинских парней.

— А я тем временем загляну к графу. Надо и его проучить. Где он сейчас, в имении? — спросил Кармалюк.

— Нет его, атаман. На рассвете в столицу выехал, — виновато пробормотал Илько.

— Выехал? — в ярости переспросил Кармалюк, и чуть не выругался. — А, чтоб тебе... Я же просил...

Сотничук подошел к нему растерянный, бледный, тихо заговорил:

— Не поспел я, атаман. Он внезапно выехал. И художник Тропинин с ним. Словно сговорились... Разве я виноват? Хотелось как получше, а у графа только пятки засверкали.

Кармалюк властно махнул рукой.

— Хватит! А тот лекарь, Прокоп?

— В корчме, — тихо и виновато ответил Илько.

— А, чтоб тебе... — в голосе атамана звучала досада. — Такой человек и в корчме...

Он подумал немного, отер пот со лба и громко приказал:

— Укладывайте мешки на подводы да развозите по дворам. Зовите людей из села, пусть берут сами. Да не копайтесь! А вы, бессарабцы, за мной пойдете, или тут хотите спину гнуть?

— С тобой! Принимай, атаман! — закричали молдаване.

— Вот и хорошо! — отбирайте лучших людей, рассаживайтесь по телегам. Я вас буду ждать у корчмы. Будьте здоровы, люди добрые!

И атаман умчался со двора на том же возу, на котором приехал. Подкатили к корчме, он вбежал туда и

тотчас к столу, за которым сидели Прокоп Данилевский и Диброва. Старик едва успел шепнуть Прокопу:

— Кармалюк!

Прокоп вскочил навстречу атаману, и они подали друг другу руки. У стойки и в дверях стоял караул. Шинкаря увели в чулан.

— Так вот ты каков, Прокоп,— сказал Кармалюк.— Зачем же горе вином заливаешь? Разве этому тебя учили? Ты ведь должен от наших людей смерть прогонять. Молчи, молчи, я все знаю, люди рассказали.

Прокоп заморгал ресницами, горячо заговорил:

— Атаман! Не могу я иначе. Горе тяжкое. Возьмите меня к себе. Я что хотите сделаю. Кавуру задушу... Имение подожгу... Дети мои... Ох, боже мой, боже мой!...

— Поздно. Кавуры уже нет. Не я его убил, сам он задохнулся, хлеб, чужой, ворованный, задушил подлеца. Может, и тебе, Прокоп, легче станет. Ты хочешь к нам в ватагу? Ладно, принимаю тебя, но жить и дальше будешь у графа. Как понадобится, позовем. Приходи тогда, не задерживайся. Согласен?

Прокоп молча кивнул головой, не сводя глаз с атамана.

— Спасай от смерти крепостных,— продолжал Кармалюк.— И побратимов моих, если надо будет. Не твоим рукам господ жечь... У тебя жена, дети. Может, и они сюда приедут. Ты у нас один лекарь свой... Запомни это, Прокоп... Я велю! Слышишь?

— Ладно, атаман,— тихо проговорил Данилевский.— Только кто же мне весточку принесет?

— Диброва или Илько,— ответил Кармалюк.— А если нет, так они сами скажут тебе, кто...

— Спасибо.

Прокоп шел в имение сам не свой, словно на крыльях летел. Только слышал, как громыхали на плотине подковы. Это уходила ватага. А люди разносили по хатам господскую пшеницу из амбара, и Прокопу казалось, что ему снится сон.

Тревожно, тоскливо звенел в церкви большой колокол. Его медный голос плыл над лесом, катился по полям и замирал в огромных, наметенных выюгой сугро-

бах. Не успевал замереть в снежных заметах один удар, как его нагонял уже новый, еще более громкий, и над землей от этого стоял сплошной, отчаянный гул, рождая у людей тревогу. Звонили во всех церквях, разбросанных вдоль столбовой дороги. Из сел и хуторов, изо всех имений и экономий гайдуки и управители выгоняли народ на Варшавскую дорогу, расчищать от снега широкую колею. Из уезда пришел суровый приказ, и его огласили в каждой волости, сельской управе и экономике.

Крепостным предписывалось выставить на расчистку Варшавской дороги по одному мужику от хаты. Каждому иметь при себе деревянную лопату, десять высоких жердей да три снопа соломы. Сельский староста и эконом предупреждали мужиков, чтобы брали с собой хлеба и соли на двое суток. По тракту должна была проехать какая-то высокопоставленная царская особа, может, даже сам наместник Королевства Польского — цесаревич Константин. Не блуждать же ему в карете с царским гербом в поисках дороги, среди вихря и снежных заносов. Дорога здесь хоть и столбовая, накатанная, но зима в этом году выдалась ранняя, четвертые сутки свирепствует метель, заноса сугробами не только дорогу, но все села и хутора. Так метет, что света божьего не видно. Не приведи господи собьется с пути царская особа, намерзнется в степи. Тут уж беды не оберутся все окрестные села и хутора. Тут не до шуток. Барские шутки на злобе да на крови замешаны.

И вот бредут, сгорбившись, сквозь снежный вихрь крепостные. У каждого за плечами десять жердей, узелок с хлебом, луком и печеной картошкой, к груди прижаты три снопика околота. В руке широкая деревянная лопата, которая одновременно служит и посохом; ветер валит людей с ног, вьюга залепляет глаза, мороз пробирает до костей, ломит усталое тело. Одежонка плохонькая, вся латаная, редко на ком кожух да валенки. Больше свитки и армяки, а на ногах постолы с онучами. Только и тепла, что меховые рукавицы да повязанный поверх шапки бабий шерстяной платок. Словно призраки с того света плывут в мутноватом тумане. А гайдуки из экономики на конях. Они подгоняют людей, не дают долго стоять у костров, разложенных всюду вдоль дороги. Хорошо хоть лес близко, да Ходаковская корчма неподалеку в лесу стоит. Из лесу разрешено брать сколь-

ко угодно хворосту для костров, а в корчму каждый бедняк может забежать. Ежели есть деньги, так можно с мороза и шкаликом погреться. Но откуда же деньги у таких голодранцев? И потому большей частью берут шкалик за муку или за кусок сала, если такой нашелся дома и его удалось прихватить на дорогу тайком от жены. Хорошо, что муж корчмарки, выкрест, повез барину выручку, и Татьяна сейчас хозяйничает одна. При нем не только в долг не выпьешь, а и в обмен на сало или муку не всегда получишь шкалик. Сквалыга, даром что крестился и принял православную веру. Когда скажешь «дай», так он глух, зато, как скажешь «на», тотчас услышит. Дрожит над грошом, как черт над грешной душой. А вот жена его Татьяна — баба хоть куда. Односельчанам или просто знакомым в долг отпустит. У нее на это и поговорка есть: «Не жалеё гвоздя, а то подкову потеряешь». И кто бы ни зашел в ее корчму, барин ли с генералом или мужик, со всеми она одинаково приветлива. Правда, деньги любит и долги собирает исправно. Верно, набралась от своего крещеного мужа торгашеского духу.

Горят костры на столбовой дороге. Порывистый ветер сбивает языкастое пламя, вьюга норовит погасить его, но сухие дубовые дрова горят жарко. Снег под кострами подтаял, и от разогретой земли идет пар. В воздухе мелькают лопаты, в снегу копошатся люди. Одни расчищают снежные заносы, другие привязывают к жердям снопики и устанавливают вдоль дороги вехи. В серой полумгле можно разглядеть одну веху, вторую, а третьей уже и не видать; вьюга кружит такая, что кажется, весь белый свет замело. Слышно только ржание коней, громкие крики гайдуков, подгоняющих людей, да свист нагаек. Люди по очереди греются у костров и снова бредут на работу. У одного костра стоит Мирон Волошка, попыхивает трубкой, греет задубевшие на морозе руки. На нем старый кожух до колен, постолы и онучи из свитки, голова обмотана изодраным рыжим башлыком, видны только глаза, поблескивающие злыми огоньками. Теперь сам барин Ханенко не узнал бы его, так он закутался и изменился. С тех пор как Мирон Волошка ушел к Кармалюку, ему пришлось скрываться вдалеке от родных Головчинцев. Зима прервала его службу в отряде повстанцев, и он по приказу самого Кармалюка притих и поступил в услужение к

одному бедному шляхтичу. Нанялись батраками в экономиях и Тимко Гречка, Данило Хронь, Илько Сотничук. Мелкая шляхта и обедневшие помещики охотно брали к себе на службу беглых крепостных, прятали их от полиции, получая за это даровую рабочую силу и изрядную прибыль в хозяйстве. Так что для повстанцев не представляло особого труда укрыться на зиму. Все они осели по чужим хатам, среди дворовых.

Только у Кармалюка и Захара Блажкуна не было постоянного пристанища. Через старого бандуриста Диброву они держали связь со всеми повстанцами, осевшими на зимних квартирах. И вот теперь все повстанцы получили от Кармалюка приказ: вместе с народом выйти на дорогу расчищать снег. И они вышли, не зная точно, какой от этого будет толк. А толк, верно, будет, раз Кармалюк приказал им всем быть на тракте и ждать его распоряжений. Все они незаметно для посторонних уже сговорились между собой и теперь не спускали глаз друг с друга. Если Мирон Волошка грелся у костра, то Илько Сотничук тут же орудовал лопатой, а Данило Хронь привязывал снопики к жердям и втыкал в снег высокие вехи. Не было с ними только молодого Тимка Гречки. Он задержался и почему-то не шел. Верно, Кармалюк послал его куда-нибудь далеко, и парень выполняет сложное и опасное дело.

У костра пекли картошку, оттаивали замерзший хлеб, подкреплялись кто чем мог. Мирон Волошка размачивал в талом снегу черствый сухарь и густо посыпал его солью. Кто-то поджаривал на прутике кусочек сала, и вкусный запах жареного щекотал всем голодным ноздри. Только один человек ничего не ел. Он приплясывал у огня, с жадностью глотая слюну, и смотрел голодными глазами на жующих. Ноги в постолах обмотаны старой мешковиной, поверх куцей свитки наверхчено старое, заплатанное рядно.

Мирон Волошка блеснул на него острым взглядом, протянул размоченный сухарь и соль.

— Чего топчешься, что не ешь? Иди к нам. Ты чей будешь?

— Я из дворовых барина Красовского. Может, слышали?

— Ого! Как не слышать? Слыхали! — загудели кругом.

— Так пьет да гуляет, что и не приведи господи! — крикнул кто-то.

— Вот как запил Красовский, — начал незнакомец, словно продолжая рассказ, — то снова какие-то векселя пораздавал. Пришли описывать его за те векселя, а у него, куда ни кинь, одна дырка от бублика. Только всего и богатства, что шляхтич да дворянин. Даже всех своих крепостных в тот день выгнал из имения. Землю и скотину давно продал. Хитер, сучий сын. . .

— А ты тут при чем? — не вытерпел Мирон.

— А при том, что не успел спрятаться. Вот меня и заграбастали, описали за господские долги. У других господ, когда они по векселям задолжают, описывают корову, коней или овец, а тут меня описали, потому что скота и земли у моего барина давно уже нет. . . Известно, корову или там коня можно продать и деньги выручить. А меня как продашь, коли цены на нас совсем упали? Вот и сидел я в остроге за господские векселя. . . Теперь выпустили. . . Не успел из острога вернуться, а мне лопату в руки: «Ступай снег расчищать».

Он опустил глаза и глубоко вздохнул.

Мирон Волошка хлопнул его по плечу.

— Не горюй, казак! Скоро твоему хозяину аминь, и будешь ты сам себе господин.

Толпа зашумела, к несчастному протянулось сразу несколько рук. Кто угощал его кусочком ячменного коржа, кто луковицей. Он сгреб все это дрожащими руками, прижал к груди и, — даже забыв поблагодарить, — принялся жадно есть.

В толпе молча переглянулись, но никто и словом не обмолвился, Мирон Волошка только крепко выругался. Он помнил наказ Кармалюка не вмешиваться в разговоры посторонних, незнакомых людей, чтобы ненароком не навлечь на себя подозрения. Кто знает, какие тут люди собрались? Один сохранит про себя услышанное, другой может донести барину, барин — полиции. Расхлебывай потом кашу. Быть того не может, чтобы полиция, согнав такую толпу народа на тракт, не заслала сюда своих «воронов». Раз Кармалюк снова объявился на Подолье, полиция настороже. Мирону Волошке надо остерегаться. И он сказал:

— Верно, большой барин поедет, коли такой переполох. Чего же мы стоим? Беритесь-ка за работу! . . Это ведь не шутка, люди добрые, когда царская особа по

этакой дороге ехать изволит... Проложим ей дороженьку... Сам бог благословляет нас... Вон и в церквах звонят...

— Пусть звонят, их на барщину не гонят! — равнодушно махнул рукой парень в красных рукавицах.

Коренастый старик с заиндевевшей бородой воткнул свою лопату в снег, весело сказал:

— А я так думаю, люди, что это они Кармалюка боятся, вот и согнали нас сюда. Слышал я, что Кармалюк посадил всех своих молодцов на коней, одел в кожану, дал новое оружие и снова двинулся на господ. Теперь ему зима не страшна, его самый, самый лютый мороз не возьмет... Вот казачище! Огонь!

В толпе послышался радостный гул, и кто-то громко отозвался:

— Дай ему бог здоровья! Пусть палит господ!

— Этого мы не знаем, нам приказано дорогу расчищать, — проговорил Мирон Волошка и отметил, что парень в красных рукавицах и коренастый старик с заиндевевшей бородой посмотрели на него с ненавистью и презрением.

Дед зло прикрикнул на Мирона:

— А не знаешь, так и не болтай! Шатаются тут вахлаки всякие!

Мирон закусил губу, чтоб не расхохотаться, и отвернулся.

— Не ругайтесь, люди, — вмешался в разговор мужик в облезлой заячьей шапке. — Я слышал, что эту дорогу для богатой шляхты прокладывают. Говорят, к нам из Варшавы ксендз прибыл службу править. Вот вся шляхта и поедет в костел. Губернатор наш и тот католик...

— Это верно, — отозвался дед. — Католик... По три акафиста на день читает да по человеку в тюрьму сажает...

Мирон Волошка, чтоб еще больше подзадорить старика, снова заговорил:

— Что кому выпало: мужику — цеп, а ляху — сабля...

— Не допекай! — рявкнул старик. — Не доводи до греха!

К толпе подлетел конный гайдук, хлестнул плетью.

— Гей, за работу! Шевелись, голытьба! Погрелись немного, пустите других к огню!

Вслед за гайдуком к огню брели продрогшие крепостные. Толпа, гревшаяся у костра, начала расходиться. Разговор прервался, но старик зло покосился на Мирона Волошку, сердито плюнул перед самым его носом и топнул ногой. Мирон весело подмигнул самому себе и тронулся вслед за бородатым. Но, сделав несколько шагов, внезапно остановился, едва не остолбенев. В толпе, приближающейся к костру, шел Устим Кармалюк, а рядом с ним Захар Блажкун. Кармалюк поверх суконного пиджака был закутан в дерюгу, на ногах порыжевшие сапоги, обмотанные онучами. Он держал под мышкой лопату и, чтоб согреться, хлопал себя крест-накрест ладонями. С густых усов свисали ледяные сосульки, а в глазах плясали веселые огоньки.

Увидав Мирона, Кармалюк лукаво подмигнул ему и сразу же прикрыл себе рот рукавицей. Это был знак, чтобы Волошка молчал и ни о чем не расспрашивал. Кармалюк даже обратился к Волошке как к незнакомому:

— Человече, а вон в той корчме очищенной торгуют? — и он указал на опушку леса, где виднелась высокая и просторная корчма Татьяны.

— Торгуют... Были бы деньги, — равнодушно бросил Мирон и пошел работать.

— За деньги всякий дурак выпьет. А ты вот без денег возьми, — ответил Кармалюк.

Мирон не выдержал, оглянулся и крикнул вслед Кармалюку:

— Сам возьми-ка!

Кармалюк подбежал к сидящему на коне гайдуку и, показав на Захара Блажкуна, попросил:

— Барин, можно мы с кумом в корчму сбегает?.. Может, проклятушая шинкарка в долг даст. Можно, барин?

Гайдук, довольный и гордый тем, что его называли барином, крикнул и ответил:

— Там тебе без денег сразу в обе пригоршни нальют. Ступайте, да недолго там околачивайтесь! Слышите?..

— Слышим! — поклонился Кармалюк.

И они с Блажкуном побежали к придорожной корчме на опушку густого дубового леса.

Корчмарка Татьяна во все окна выглядывает, места себе не находит. Даже сквозь яростное завывание вьюги различает она самые тихие голоса во дворе, каждый звук шагов на пороге. Только кто покажется в воротах, Татьяна припадает к окну, внимательно вглядывается в гостя, зорким глазом провожает его до самых дверей корчмы. Разрумянилась молодница, разоделась в свой лучший наряд, повязала шелковый платок. На шее позванивают кораллы и монеты, спадая ожерельем на высокую упругую грудь. На рукавах сорочки огнем горят красные маки и розы. Керсетка из черного бархата, расшитая бисером и блестками, плотно облегает гибкий высокий стан. Из-под пестрой плахты, словно первый снег, белеет подол той же сорочки из тончайшего домотканого полотна, украшенный по краям мережкой. Мягкие кожаные сапожки вишневого цвета, на медных подковках, так и цокают, когда Татьяна пробегает от окна к висящему на стене зеркалу. В зеркале видна вся ее статная фигура, от шелкового платка до медных подковок. Сюда бы еще запаху чебреца и мяты, и молодница хоть куда. Ей бы сейчас на бал в богатейшую усадьбу, туда, где сверкают огни и наряды отливают золотом.

Татьяна горько вздыхает, вспоминая свое девичество. Служила она в горничных у пана Янчевского. Там она всегда одевала его сестру, приезжавшую из Варшавы на балы и танцы, вот и научилась всему: как одеваться, как волосы расчесывать и укладывать, из какой бутылочки душиться, какой крем втирать вечером, а какой днем и как класть на щеки румяна и пудру, чтобы не очень было заметно. Янчевский был учтив и ласков с Татьяной, часто дарил ей наряды и деньги, заступался за нее перед своей матерью, старой, ворчливой пани. Но та догадалась обо всем и выгнала Татьяну из имения, хотела даже на дальний хутор сослать, спровадить на псарню, чтобы за господскими гончими присматривала. Не вышло, Янчевский тайком выдал Татьяну замуж за выкреста, посадил обоих в эту корчму, чтобы торговали водкой от его имения. А если бы старая пани умерла на год раньше, жить бы Татьяне и по сей день в господском доме Янчевского. Не знала б она тогда и этой корчмы, и своего мужа-выкреста. Пан Янчевский очень жалел Татьяну. Он и теперь часто навещается к ней,

когда мужа не бывает в корчме, а когда пани уезжает в Каменец либо во Львов, пан зовет ее к себе в имение. Да, есть у Татьяны настоящий заступник. Он не даст ее в обиду. Муж, верно, догадывается обо всем этом, но Татьяну это мало заботит. У мужа есть господская корчма, добрый барыш. Пан Янчевский смотрит на этот барыш сквозь пальцы. Пусть добывает и для себя, и для господ, а мужу только того и надо. Где еще он найдет такую волюшку? Так что пусть-ка помолчит, Татьяна здорова, и огня у нее на двоих хватит — и для пана, что приголубил ее, и для мужа, который спас от бесчестья. Теперь она законная жена, в церкви венчанная, и никто не смеет попрекать ее прошлым житьем в горничных. Дай бог, чтобы и впредь все шло гладко, как все последние годы. Отпустил Янчевский Татьяну из имения на оброк и получает от этого добрый барыш, а Татьяна еще и сестру свою двоюродную, незамужнюю, Ганну, выпросила у него на вольную работу. Ганна тоже стала оброчной... Где хочет, там и служит, лишь бы барину приносила деньги в срок.

Радостно на сердце у Татьяны, но вместе с тем и боязно ей. Дальний ее родич, Захар Блажкун из Новой Синявы, еще вчера по секрету передал через бандуриста Диброву, чтобы Татьяна поджидала в гости Кармалюка. Захар приведет Кармалюка в корчму, а Татьяна должна позаботиться, чтобы никто не увидел его и не узнал об этом. У них в этих краях очень важное и неотложное дело. Узнав об этом от бандуриста, Татьяна чуть ума не решилась от радости. Она давно уже слышана о сказочных подвигах Кармалюка, о его расправе с помещиками, которые измываются над крепостными, не считают их за людей, ценят дешевле охотничьего пса. Татьяна давно мечтала поглядеть на этого неуловимого богатыря: ему не страшны никакие силы на белом свете; небо и земля, дикие звери и молнии — все подвластно ему, голыми руками он может передвинуть гору и повалить самый могучий вековой дуб. Даже барышни в имениях и шляхтянки по селам обожествляли в то время далекого, желанного и неприступного рыцаря Усти-ма Кармалюка. Он махнет рукой — и дремучий лес расступается. Махнет другой — падают ниц господа, пылают их имения, а все господские сокровища переходят в руки Кармалюка. Боже мой милостивый, сколько же у него золота и драгоценных камней! Татьяна думает, что

у него и сабля золотая и жупан расшит золотом. А в лесных пещерах, где он скрывается и живет, все застлано царскими епанчами, соболями, покрыто парчой, бархатом и церковными ризами. Вот бы взглянуть, как наряжает он свою полюбовницу. Верно, ходит она у него в шелках да в золоте, умывается птичьим молоком, а платья меняет раза по три на дню. Полюбовница у Кармалюка должна быть непременно, раз он такой благородный, сказочный рыцарь. Не быть же ему все время со своей венчанной женой из села Головчинцы, которую давно уже обсели маленькие дети, согнула в три погибели барщина, запугала полиция. Она теперь Устиму Кармалюку не пара. У него другая есть, а коли еще нет, то будет. Непременно будет! Держи себя, Татьяна, достойно! Может, в том таится твое счастье и доля золотая. Говорила же тебе Ганна, что ты в сорочке родилась, что счастье само плывет тебе в руки... Может, повезет и на этот раз... Татьяна сделала все, что могла. Мужа выводила в имение, и он в такую метель не скоро вернется. Пан Янчевский тоже не приедет в такую выюгу, побоятся, да и Татьянин муж у него, докладывает про корчму и сдает выручку. Из Каричинцев Татьяна привезла сестру Ганну, чтобы помогла ей по хозяйству.

За стойкой в корчме хлопочет Ганна, разливает в кварталы водку, меряет на шкалики, снимает с вязок тарань. Но выручка сегодня невелика, хотя на расчистку дороги и пригнали много народу. Нет денег у крепостных. Редко кто забежит за водкой, а ежели и забежит, то меняет на пшено или на муку, либо просит в долг. И проезжих не видать на тракте, не слышно почтовых бубенчиков, не грохочут запряженные цугом господские рыдваны. Не едут и высокие гости, ради которых поднята вся эта кутерьма на дороге и во всех церквах бьют колокола.

Метет, кружит выюга, заволакивая густой кисеей дремучие леса, поникшие села, столбовые и проселочные дороги. Снегу уже навалило горы. К колодцу не пробьешься, ворот не растворишь. Татьяна то и дело выглядывает в окно и охорашивается перед вмазанным в стену зеркалом. Наконец Ганна, не выдержав, окликает сестру:

— И чего ты, Татьяна, все перед зеркалом вертишься? И нарядилась, словно на свадьбу... Побойся бога, у тебя ведь муж законный, ты в церкви венчана...

Татьяна даже не оглядывается — в зеркале ей хорошо видна Ганна, стоящая у стойки, — и, улыбнувшись про себя, беззаботно бросает:

— Такая у меня, Ганна, служба. Гостей высоких жду.

— На что они тебе, эти гости высокие? Добра от них не жди, — с укоризной отвечает Ганна и, видно, сердится, в руках звенят чарки, громко хлопают дверцы шкафа.

— Пригодятся, — повела плечом Татьяна. — Видно, знатные гости, может, от самого царя. Слышишь, как в церквах звонят, чтобы не сбились с дороги в такую метель... Надо встретить как полагается.

— Может, они и не остановятся возле твоей корчмы. Зачем им в такую глушь забираться, ежели они царского роду? — не унимается Ганна.

— Как зачем? — хлопает себя по бедрам Татьяна. — Уже вечереет, а до первого городка от нас добрых пятьдесят верст. Обратно в Летичев тоже не меньше. Тут как раз половина дороги. Кто уже в такой путь пустился, тот наверняка у меня остановится, а то и заночует... Наша корчма у самой столбовой дороги стоит. Вот увидишь!

— Лучше уж не видеть! — горько вздыхает Ганна и снова принимается за дело.

— Не горюй, Ганна, — успокаивает ее Татьяна. — Вон в галузинецкой корчме остановился в прошлом году полковник из самого Петербурга... Так он и шинкарку Олену подхватил и забрал с собою, на веру жить. А что у той Олены было, я тебя спрашиваю? Нос в веснушках, глаза всегда сонные. Только и всего, что грудастая и дебелая, одной рукой не обхватишь... — рассуждает Татьяна.

— Что кому нравится, — сердится Ганна.

— А я разве не могу понравиться? — Татьяна гордо топает ногой и по-цыгански поводит крутым плечом. — Посмотри на меня, Ганна, — чем не королева? Ой, не пара я своему выкресту, не пара... Он только деньги любит, а я жить хочу... Мне, Ганна, каждый день воля снится!... Мне своего Кармалюка надо!

— Кармалюка? — со страхом повторила Ганна.

— Ага! Хоть маленького, да своего! На край света с ним пойду, — Татьяна глубоко вздыхает.

— А ты знаешь Кармалюка? Видала его? — И Ганна впивается в сестру взглядом.

— То-то и горе, что не видала. Может, коли б встретила, так на душе легче было бы, — хмуро качает головой Татьяна и прижимается разгоряченным лбом к замерзшему оконному стеклу.

Сквозь оттаявшее от горячего дыхания стекло, видны снежные заметы, белые сугробы и едва заметная серая полоска густого леса.

— Но что это? К корчме, увязая в глубоком снегу, с трудом переставляя ноги, бредут два мужика. Того, что идет впереди, Татьяна знает: это Захар Блажкун. А второй... Ой, батюшки! Да это, верно, сам Кармалюк! Матерь божия, сохрани его и заступись!

Татьяна отскакивает от окна и говорит Ганне:

— Ко мне люди идут по делу. Я приму их у себя, на другой половине, а ты тут сама хозяйничай. Только в долг не давай никому. Смотри мне! — И, покрасневшая, бежит в сени, распахивает настежь дверь.

Мужики влетают в сени, словно их ветром вдунуло. И Захар Блажкун, поздоровавшись, спрашивает:

— Ждала нас, Татьяна, али нет?

— Ждала... Как можно не ждать таких гостей, — взволнованно шепчет Татьяна. — Милости прошу на чистую половину...

— А все сделала, что я просил? — спрашивает Блажкун.

— Кажется, все. Водка моя с ног валит, выкрест заночует в имении, вам в чулане место приготовлено, а посыльный ваш из Летичева тоже прибыл, — докладывает корчмарка, запирая дверь на другой половине.

Сгорбившийся Кармалюк срывает с плеч дерюжку, расстегивает суконный пиджак и сразу выпрямляется, расправляет плечи. Перекрестившись на образа под вышитыми рушниками, он подает Татьяне горячую крепкую руку.

— Здорово, молодица. Послужи нам сегодня верой и правдой. Не пожалеешь...

— Ваша воля, — кланяется Татьяна, не сводя глаз с Кармалюка. Глаза у него в самом деле голубые и глубокие, с искоркой. Сам стройный да высокий. Подбородок выбрит чисто, пострижен по-шляхетски, а кудри русые, густые. Усы пышные, тщательно ухоженные. На нем чистая полотняная рубаха, подпоясанная черным

плетеным шнурком. Сроду не скажешь, что только что он был таким сгорбленным и забитым.

Татьяна сдергивает широкое полотенце с приготовленного угощения. На столе миски с колбасой, хлеб, водка, тарань, капуста, огурцы. Кармалюк берет зеленую граненую бутылку, взбалтывает водку, смотрит на свет.

— Это та, что с ног валит? — спрашивает он.

— Попробуйте, тогда скажете, — шутит хозяйка.

— Спрячь, Татьяна, сейчас пить не будем. После работы выпьем.

— Кармалюк подает хозяйке бутылку, подходит к божнице.

Посмотрев на образа, он останавливается перед картиной, которая висит над широким зеркалом.

На картине какой-то захожий художник изобразил масляными красками трех журавлей. Журавли стоят на трех кочках, кругом вода. Два крайних журавля спят, спрятав головы с длинными клювами под крыло. Средний не спит, а сторожит двух других. Он стоит на одной лапе, а в другой держит камень. Над журавлями еще и какие-то слова написаны.

— Ловко! — восторженно восклицает Кармалюк. — Молодец художник! Два журавля спят, а третий камень в лапе держит. Зачем держит? А для того, я думаю, чтобы не заснуть на карауле. Только начнет засыпать, камень выскользнет из лапы, упадет в воду и журавли проснутся. Ей-богу, ловко! Надо бы и нашим молодцам такую картину намалевать, чтобы всегда помнили, как стоять в карауле. Эге, да тут вроде еще и слова какие-то написаны. Захар, прочитай, а то я не больно грамотный.

Захар Блажкун присматривается, шевелит губами, складывая слова, и громко произносит:

— Тут, атаман, написано: «О всем бодрствуй, яко страж журавлий».

Кармалюк с облегчением вздыхает.

— Славная картина. И слова хорошие... Береги ее, Татьяна, всегда береги...

Татьяна стоит рядом с Кармалюком онемевшая, словно замороженная. Только слышит, как тревожно стучит сердце. Сколько лет она равнодушно проходила мимо этой картины, никогда не присматривалась к ней, не задумывалась. А вот пришел он, Кармалюк, и все вокруг словно ожило. И журавли на картине, и ковры на стенах, и вся светлица наполнилась каким-то золо-

тистым, чарующим светом. И с самой Татьяной творится что-то странное. Она уже теряет власть над собой, она готова делать все, что прикажет ей Кармалюк.

— Полдничайте,— словно сквозь сон предлагает Татьяна.

— Позови нам парня нашего. Где ты его там прячешь? — говорит Кармалюк.

Татьяна бросается за печь, отодвигает лавку, откидывает ковер и половицу. Там потайной подпол.

Оттуда вылезает Тимко Гречка. Он щурит глаза, низко кланяется атаману.

— Ну что? — спрашивает парня Кармалюк.

— Все выведал, атаман. Казна уже запакована в кожаные мешки и опечатана. Только, вы верно говорили, все рессоры у рыдванов полопались, сани были неготовы. Кузнец просил передать, что все утро будет ковать рессоры и дышла с вальками для узды. Так что выедут в обеденное время. Верно, уже и выехали. Вечер застанет их возле этой корчмы. Так просил передать вам и кузнец, и возница казначейский. Вот и все, атаман.

— Спасибо. А охрана большая? — спросил Кармалюк.

— Десять солдат инвалидной команды и унтер. Казначей и два кассира тоже с пистолетами. Возница велел передать, что вплетет лошадям в гривы красные ленточки. Чтобы издали можно было отличить казенный обоз,— прибавил Тимко.

Кармалюк склонился к окну и с минуту всматривался в заснеженное поле, в сгущавшиеся над лесом синеватые сумерки. Метель усиливалась, мороз крепчал, а из густого леса уже подкрадывался вечер. Кармалюк снял пиджак и вместе с дерюжкой подал их Тимку, сказав:

— Нас двое вошло в корчму. Двое должны и выйти. Одевайся, Тимко, а я полезу в подпол на твоё место. Как там, все в порядке?

— В порядке, атаман. Оружие в соломе, один ход из подпола ведет в погреб, другой, что по левую руку, в самую корчму, под стойку. Наши войдут через погреб, он не заперт,— пояснил Тимко, одеваясь.

— Татьяна, он правду говорит? — спросил Кармалюк.

— Правду, атаман,— закивала головой хозяйка.—

Эти ходы сам выкрест копал, чтобы деньги прятать. О них никто не знает...

— А водки, что с ног валит, у тебя хватит? Их будет человек пятнадцать возле казны. Смотри мне...

— Всех напою,— прошептала Татьяна.— Еще и на опохмелок останется.

— Кажется, все.— Кармалюк взял со стола пирог и кусок колбасы, задержался перед шинкаркой.— А ты, Татьяна, ничего не слышала, не видела, не знаешь. Ты водкой будешь торговать и сторожить, как тот журавль, что камень держит. Умница журавль... Я тебя за это отблагодарю.— И он мигом очутился за печью, на лестнице, ведущей в подпол.

Татьяна опустила за Кармалюком половицу, застлала ее ковром и поставила на место лавку. Захар Блажкун и Тимко Гречка, увязая в снегу, побрели с лопатами на тракт. Татьяна, встав на колени перед образами, широко перекрестилась, горячо прошептала:

— Боже праведный! Спаси и помилуй нас, грешных!

...Поздно вечером она приняла долгожданных гостей.

Царскую казну в кожаных мешках, похожих на большие кошель, солдаты внесли в светлицу, где висела картина с тремя журавлями. Уездный казначей и два кассира сели к столу, который ломился от еды и питья. Трех солдат поставили возле себя на часах, двух — в сенях, остальные по очереди караулили корчму со двора. В светлицу, где сидел казначей, разрешалось заходить одной Татьяне. Сюда не пустили даже унтера.

— Простите, ваша милость, за бедность,— щебетала Татьяна, увиваясь возле уездного казначея.— Я же не знала, что такие дорогие гости придут. Попробуйте еще вот этого медку, пригубьте запеканочки... Чем богаты, тем и рады... Не гневайтесь, коли что не так, ваша милость...

Опьяневший казначей хватал Татьяну за талию, щипал за бедра, и все хохотал. Два его кассира, обнявшись, клевали носом над миской холодца. В светлице стоял чад от табачного дыма, тушеной капусты и водочного перегара.

— Бестия, а не молодница... Кровь с молоком...— бормотал казначей.— И почему я тебя раньше не знал? А? Слышишь? Гляди мне, чаровница... Солдатам ни-ни! Ни капельки! Слышишь? В острог засажу!



— Что вы барин! Побойтесь бога! Разве можно солдатам... У них и денег-то нет. Солдат даже похлебку из огнива варит. Верно, слышали такую сказочку? — Татьяна увертывалась от объятий, подмигивая солдатам, которые сидели на лавке с ружьями и мучились, глядя, как пьют и гуляют казначей и кассиры.

В сенях был чулан. Там стояла водка. И Татьяна нарочно оставила дверь открытой, когда разливала водку по штофам, а солдаты светили ей. И теперь солдаты знали дорогу к очищенной и уже весело подмигивали Татьяне, когда она пробегала через сени в светлицу. В корчме Ганна угощала унтера и кучера. Подвыпивший унтер пустился в пляс. Солдаты подыгрывали ему на губах, а он отплясывал гопака, размахивая обнаженной саблей. От неугасавших трубок в корчме стоял дым коромыслом. От распаренных кожухов, сапог и едкой сивухи нечем было дышать. Когда унтер входил в азарт, солдаты незаметно прикладывались к чаркам. Караулы разводили уже сами часовые, без унтера, попарно угощаясь в сенях из незапертого чулана и спаивая смененных, заходящих с мороза в дом. Татьяна словно не замечала всего этого. Она чутко прислушивалась к малейшему шороху в подполье. Но там было тихо. Молодцы Кармалюка забрались в погреб еще с вечера, когда крепостные с тракта расходились на ночлег по селам, а казначей с охраной еще не прибыл в корчму.

Около полуночи Татьяна заглянула в светлицу. Казначей спал на кровати, кассиры на лавках, а часовые храпели за господским столом, опустив отяжелевшие головы на руки. Они тоже изрядно хлебнули. Их ружья уже стояли в углу.

Посреди корчмы спали на соломе остальные солдаты, всласть посвистывал на лавке унтер, а Ганна от усталости чуть не валилась с ног. Тревожно и глухо завывала в поле метель, а ветер все доносил однообразный и нудный колокольный звон.

— Полежай на печь, Ганна, и спи, — сказала Татьяна. — Завтра с утра приберемся.

Ганна зевнула, перекрестилась и пошла в каморку.

Выждав, пока сестра заснула, Татьяна открыла в запечке половицу, трижды кашлянула и пошла к сестре в каморку. Сквозь приоткрытую дверь она видела, как из подпола тихо выпрыгнул Устим Кармалюк, за ним За-

хар Блажкун, Тимко Гречка, а там один за другим потянулись молодцы. Татьяна, как ей приказал Блажкун, быстро разделась и в одной рубашке шмыгнула в кровать, под теплое одеяло.

В корчме слышались стоны, возня, крик. Ганна проснулась на печи, всхлипнула:

— Татьяна, там грабители! Боже мой!

— Молчи! Так надо,— зашипела на нее Татьяна.

— Я закричу! Они убивают! — Ганна соскочила с лежанки.

— Молчи, глупая. Это Кармалюк пришел. Лезь на печь и не дыши,— приказала Татьяна.

— Кармалюк? — испуганно прошептала Ганна и, накрыв голову подушкой и рядом, замерла в страхе. Она даже боялась открыть глаза, не видела и не слышала, что происходило.

Скрипела сенная дверь, топали десятки ног, кто-то ругался, кряхтел сквозь зубы, а во дворе уже гремели уздечками запряженные кони. Дверь в каморку к женщинам распахнулась, и на пороге вырос Устим Кармалюк. Поставив на стол свечу, он бросился к Татьяне, зло сказал:

— Будь ты неладна, молодница! Чуть не забыл в этой сумятице. Тебя же связать надо. Всех связали, рты им позатыкали кляпом, а о тебе и не вспомнили. Чуть так не убежали. Вот было бы дело...

Он прикоснулся к ее разгоряченному телу, и Татьяну проняла жгучая дрожь. Татьяна извилась ужом, обняла полными руками шею Кармалюка, прижалась к его губам долгим, пьянящим поцелуем. Даже застонала.

— Опомнись, что ты! — вырвался Кармалюк.

— Вяжи... Теперь вяжи! — горячо прошептала Татьяна и подставила ему свои белые литые руки.

Испуганная Ганна лежала на печи не шелохнувшись. Она даже взглянуть боялась на Татьяну. Кармалюка она так и не увидела в ту ночь.

Данило Хронь влез на печь, связал ей руки и ноги, заткнул платком рот.

Глухо ударили копыта, и три кованых рыдвана с царской казной вылетели на гнутых полозьях со двора корчмы.

Каждый шаг Устима Кармалюка старательно регистрировался в канцеляриях литинского земского суда, куда сходились жалобы от помещиков и шляхты со всей округи. Не регистрировали здесь только народных слез и горя, не слышали людского плача, что звучал по всему Подолью. В Литин гнали и везли задержанных по подозрению крепостных, допрашивали их, но все старания уездного земского исправника Уловича напасть на след Устима Кармалюка были тщетны. Кармалюк стал неуловимым. За него стоял весь крепостной люд, и властям не удавалось поймать его.

Канцелярист Матвий Барабаш вместе с приданными ему писарями писал и переписывал все новые и новые протоколы допроса свидетелей, донесения из имений, а в душе возмущался тем, как притесняли помещики крепостных. Стопа бумаг в сундуке все росла и росла, а самый сундук Матвий уже называл «сундуком горя и слез». В нем собралось столько обвинений против Кармалюка, что на суде ему неминуемо угрожала смертная казнь. Час господского суда над Кармалюком приближался. Пустив в дело все способы подкупа и предательства, лести и угроз помещики и власти достигли своего. Устима Кармалюка снова поймали, и колесо канцелярской машины завертелось с новой, невиданной силой. Земский исправник приказал канцеляристу Матвию Барабашу привести в надлежащий порядок все бумаги.

Раз открытый «сундук горя и слез» больше уже не закрывался. Матвий Барабаш сидел возле него, почти не отходя. Сердце его сжималось от боли, но он все писал и переписывал так, как ему велели, диктовали, приказывали именем губернатора графа Грохольского. Канцелярист присутствовал на допросах, записывал показания и всякий раз ставил в конце бумаги свое неизменное: «И на том подписался за него неграмотного по даче пера канцелярист Матвий Барабаш».

Теперь он перелистывал все эти бумаги, и на каждом листе видел свою приписку. Матвий не имел права говорить на допросах, не мог писать иначе, чем было приказано, потому что рядом всегда сидел исправник, коллежский секретарь, а подчас и сам советник. Что же мог сделать Матвий Барабаш?

Он вынул из кованого сундука все документы, разложил их по порядку на столе. Вот они лежат перед ним, эти документы, и он еще раз перечитывает их перед тем, как снять с каждого копию.

Исправник и чиновники прямо из кожи вон лезут, лишь бы доказать, что Устим Кармалюк причастен к каждому грабежу и поджогу, учиненному самыми обыкновенными разбойниками. Все, что случается в уезде, власти снова и снова приписывают Кармалюку, произвольно, без показаний свидетелей и вещественных доказательств.

Терзаемый своим бессилием в этом страшном водовороте обмана и лжи, Матвий Барабаш сжимает кулаки. Перед ним рапорт головчинецкой экономии.

«В ночь с 5-го на 6-е число этого месяца несколько мужиков, вооруженных пиками, пришли в дом шляхтича Павла Опаловского, жителя выселка Майдан-Головчинецкий. Грабители кричали, чтоб он отворил им, а когда шляхтич отказался, они выбили окна и двери, ворвались в дом и начали бить шляхтича, требуя деньги и ключи от чулана. Хозяин вынужден был отдать им все, только бы они оставили его в живых. Они забрали имущества на полторы тысячи злотых, вывели из конюшни самых лучших лошадей, сложили добро на возы и бежали. Хозяина с детьми заперли в чулане.

Головчинецкая экономия доносит об этом суду и просит помочь, потому что таких нападений можно ожидать каждую ночь».

В этом рапорте ни слова о Кармалюке, а исправник приказал и этот рапорт присовокупить к его делу.

Такая же резолюция стоит и на рапорте экономии села Овсяники, потому что в нем тоже сообщается о нападении вооруженных пиками разбойников на шляхтича Леська Базилицкого.

Неизвестные злодеи ночью прокрались через сенное оконце в дом к Базилицкому, всех домочадцев связали и начали вымогать деньги и бить хозяина. Мальчику, сыну хозяина, связанному и брошенному под кровать, удалось развязаться, убежать в село и поднять шум. Грабители испугались, бросили воз с награбленным добром и скрылись в лесу. На месте преступления остался железный ключ, который экономия и представила суду вместе с рапортом.

«И все валят на Кармалюка,— думает вконец разволновавшийся Барабаш.— Может, для этого и комиссию создали? Верно, комиссия должна была не только поймать Кармалюка, а и доказать, что он самый обыкновенный разбойник и вор».

Вот бумага исправника, где он заявляет, что этой комиссии прежде всего надо было выехать в Головчинский Майдан, обосноваться там и оттуда вести розыски и расследование. Он считает, что все эти грабежи совершил не кто иной, как Кармалюк, у которого в Головчинцах есть жена, дети и много родичей. До сих пор розыски тайной полиции не дали желаемых результатов, родичи прячут Кармалюка. Так что комиссии надлежит заслать в Головчинцы своих тайных агентов, а самой остаться в Майдане, чтобы не спугнуть Кармалюка и его соучастников. Когда агенты все выследят и выведдают, комиссия и полиция неожиданно нагрянут в Головчинцы. Для этого комиссии надо набрать в дальних селах отряд вооруженной шляхты верхами и перевести к себе инвалидную команду из Литина, количеством в двадцать шесть человек. Шляхту и команду также надлежит использовать для розысков.

На этом документе стоит собственноручная подпись земского исправника Уловича и заседателя Гульдина.

И комиссия сделала свое черное дело. Матвий Барабаш читает дальнейшие донесения, и глаза его застилает туман, на ресницах дрожит горячая слеза.

Вот комаровецкая экономия уведомляет Литинский нижний земский суд о том, что 22 дня этого месяца в экономике стало известно о трех разбойниках, которые из Ивановецкого леса перешли в Комаровецкие леса. Эконом сразу собрал 35 конных и пеших дворовых и помчался догонять преступников. У разбойников были большие колья и они угрожали убить каждого, кто осмелится к ним подойти. Тогда облава стала дожидаться новых людей, продолжая преследовать беглецов, которые уже переходили с комаровецких земель на земли каричинские и вошли в лес.

Тут и догнали их люди из комаровецкой экономики.

Когда из Каричинского леса преследуемые вошли в дубняк, один из дворовых, Матвий Фурман, и с ним вместе еще восемь других всадников пустили коней вскачь, чтоб поймать разбойников. Тогда один из трех беглецов обернулся и так сильно ударил колом этого

Фурмана, что сломал ружье, а руку немилосердно расшиб. Он отбил у дворовых людей коня и побежал к своим. Дворовые начали стрелять. Но беглецы смеялись над этими выстрелами и удирали дальше, перейдя на галузинецкие земли.

Комаровецкая экономия, преследуя их дальше, послала двух всадников: одного — в Галузинцы, второго в шеинецкую экономию, чтобы два этих имения прислали комаровецкой экономике подмогу для задержания подозрительных.

И хотя из Шеинцев и Галузинцев прибыли новые люди, беглецы все равно сдаваться добровольно не хотели и, угрожая большими колями, кричали, что каждый, кто приблизится к ним, сложит голову. Но люди из всех имений, видя, что день уже клонится к вечеру и беглецы могут скрыться, начали стрелять. И когда в двоих попали дробью, комаровецкая экономия усилила конную погоню на землях шеинцевских, и заставила разбойников сдаться, у них отобрали колья и всех обыскали.

У разбойников найдено 13 рублей серебром, ножей складных два, пояс красный шерстяной и платков пестрых два, черных поношенных два и рукавицы. После обыска их крепко связали и привезли в Галузинцы, требуя у наместника подводу, запряженную волами, на которой и доставлены злоумышленники в село Комаровец, где их поместили в горнице Илька Кравчука, приставив 19 человек стражи.

«И сего числа,— читал Барабаш в рапорте комаровецкой экономике,— в присутствии священника Демкевича, взяв у каждого особые показания, вместе с колями, вещами и деньгами — 11 рублей — комаровецкая экономия имеет честь подать их данному суду и просит выдать на них их вещи и деньги, квитанцию. Что касается двух рублей, то комаровецкая экономия ими наградила дворовых людей, которые целый день изнемогали в погоне, дав им поесть и выпить водки. А остаток от двух рублей — два злотых и восемнадцать грошей — были отданы людям, которые привели беглых в Литин. О такой трате доводит до ведома 23 марта 1822 года экономия комаровецкая. Ф. Станиславский. С подлинным верно. Аудитор Чернявский».

На другой день пойманным беглым был учинен допрос в присутствии литинского уездного исправника и заседателей. Допрошенные показали:

Первый, что зовут его Василём, а фамилия Гавриленко. Сколько ему лет, знать не может, но полагает, что тридцать. Веры православной, последний раз исповедовался и причащался 1821 года в великий пост в Херсонской губернии, в неизвестной слободе, у попа. Неграмотный, неженатый, родился в австрийских владениях возле города Замостье, забыл в каком селе, от отца Михаила, а матери не помнит — отлучился от нее еще сизмальства и пошел в город Станислав. Тут служил у немца Шуберта десять лет, занимаясь хлеборобством, и оттуда ушел к русской границе. Границу перешел тайком, выше исаковецкой таможни, добрался в город Одессу, где был без работы дня четыре. Выйдя из Одессы в поле, пристал к ростовским чумакам, которые привозили в Одессу казенный провиант и возвращались с бакалеей в Москву. Побывал с ними в Москве, а оттуда, набрав казенной амуниции, чумаки повезли ее в Крым, а потом с купеческим товаром двинулись в город Воронеж, где он, Василь Гавриленко и пробыл два года. Из Воронежа он с одним бродягой по имени Стефан, по фамилии Кулаков пошел в город Тулу на заработки. Побыв в Туле с неделю и не найдя работы, они решили податься в Астраханскую губернию. В Казанской губернии их задержали и привели в тамошнее губернское правление. Тут Гавриленко назвался дезертиром из рекрутов, и его отправили в военную комиссию. По приговору этой комиссии был наказан шпицрутенами и отправлен в город Муром Владимирской губернии для службы в Белозерском пехотном полку, в котором он прослужил три месяца, после чего бежал прямо в Москву. В Москве все лето был на поденных работах, потом зимовал в Калуге, был в Орле до жатвы. Из Орла двинулся на Киев, где пробыл недели две и пошел в Херсонскую губернию, в которой и бродяжил целый год до филипповок¹. Дальше после рождества Христова прибыл в здешнюю губернию, в местечко Бар. Тут прожил четыре дня и двинулся в Сатанов, имея надежду пробраться за границу, в Австрию. Но границу не смог перейти, там была усиленная стража, и пришлось ему идти назад, в городок Дунаевцы, куда и прибыл в тот день, когда была ярмарка. В Дунаевцах прожил до вторника и встретился с товарищем своим Осипом, фа-

¹ Ф и л и п п о в к а — рождественский пост.

милли его не знает, объявил себя дезертиром и жителем Бара, купил хлеба и пошел в Чемерезский лес. В лесу они с товарищем пробыли три дня, а потом пошли через Бар искать какого-то знакомого, чтобы перебыть у него пару дней. За Баром по тракту, что идет на Волковинцы, на рассвете зашли в первую корчму. Но перед корчмой им встретился третий, ему, Василию Гавриленко, незнакомый, который с ними вернулся в корчму. Тут выпили по чарке водки и поели хлеба с пивом. В это время куда-то подевался хозяин корчмы, и они догадались, что он побежал в Бар заявить о них полиции. Они покинули эту корчму, пошли трактом дальше. Зайдя по дороге в другую корчму, выпили по чарке водки, затем пришли в Комаровецкий лес. Тут их углядели дворовые люди и преследовали до вечера. Они оборонялись кольями, имея намерение убежать. Но под конец его, Василя Гавриленко, подстрелили в ногу и он сдался. В разбоях, в грабежах и воровстве участия не принимал, бандитов и воров не знает, так же, как не знает и тех, кто ограбил Базилицкого и Опаловского, которых никогда не видел и тоже не знает. Под судом, кроме как в Казани за дезертирство, не бывал. Он не Устим Кармалюк, фамилия у него другая, и он о таком не слышал. Епанчу, что на нем, и платок купил в Херсонской губернии на ярмарке, штаны пошиты из шинели, а денег его собственных было только 8 рублей, заработанных в Бессарабии. Больше ничего не знает и свидетельствовать ничего не может. В этом и подписался крестиком Василь Гавриленко.

Матвий Барабаш с облегчением вздохнул и довольно потирал руки. Морочат себе головы судьи. Это не Устим Кармалюк — и все тут.

Канцелярист готовит судебное дело дальше, внимательно следит, как идет следствие.

1822 года, марта 29 дня, в присутствии следственной комиссии свидетели после присяги показали:

Унтер-офицер инвалидной команды Гнат Семенов, сын Тарасов, 38 лет, неграмотный, — что жандарм Ковальчук зашел к арестованным и стал узнавать среди них рыжего, что назывался Гавриленко. Тот признался, что сидел в Каменец-Подольском остроге и был среди арестантов старостой. Больше ничего не знает и за него, неграмотного унтер-офицера, руку приложил канцелярист Матвий Барабаш.

Литинской инвалидной команды рядовой Иван Савов, сын Петрук, 39 лет, неграмотный, засвидетельствовал, что он, недавно прибыв из Литина, слышал только вчера, как Кармалюк, он же Гавриленко, говорил, что и впрямь в Каменце был арестантским старостой. Больше ничего не слышал и не знает.

Эконом села Овсяники Антоний Каетанов, сын Олтаржевский, 25 лет, знает грамоту: что когда вошел жандарм Ковальчук и стал спрашивать у солдат, есть ли среди арестованных знакомые, то солдаты ответили ему: «Узнавай». Тут и он, свидетель, оказался, а жандарм, взглянув на Кармалюка, что назвался Гавриленко, стал ему говорить, что знает его, что он был арестантским старостой, на что Кармалюк согласился, да еще говорил и другие слова, которые доказывают, что он не Гавриленко, а Кармалюк, потому что сказал: «Озлобился на меня барин и отдал меня от жены и детей в солдаты, и я на него озлобился». Впрочем, свидетель не слышал, что он признался, что и есть Кармалюк, напротив, отрицал это. Больше свидетель ничего не знает.

Не добившись признания от Устима Кармалюка, судебные власти передали его в губернию. В это время и возникло дело о деньгах. Устим Кармалюк просил вернуть ему забранные при обыске восемь рублей серебром. И вот как решил это дело генерал-губернатор.

В своем письме он уведомлял, что арестант Василь Гавриленко, он же Устим Кармалюк, через уездного стряпчего обратился к губернскому начальству с прошением, чтоб ему вернули деньги, которые у него отобрали при аресте в селе Комаровцы. После того, как были собраны дополнительные данные из Каменецкого уездного суда, в ведении которого пребывал арестант Гавриленко, выяснилось, что восемь рублей серебром действительно были отобраны у Гавриленко комаровецкой экономией и поданы в Литинский нижний суд, но куда подевались потом, — неизвестно.

«На мой вопрос по этому поводу, — писал в своем письме губернатор, — Литинский суд уведомил, что земский исправник из числа найденных у Гавриленко восьми рублей истратил часть на пропитание людей, которые преследовали арестанта, а остаток отдал на изготовление ручных и ножных кандалов с ошейниками. В этих кандалах все арестанты и отправлены в Каменец.

О таком использовании денег, найденных у Гавриленко, я приказал известить арестанта Гавриленко и объявить, что эти деньги ему не могут быть возвращены. Но если в деле, по которому он задержан и находится под арестом, будет оправдан судом, или суд признает, что деньги, истраченные по распоряжению земского исправника на кандалы, должны быть ему возвращены, тогда их ему отдадут. Я предложил Каменецкому уездному суду, чтобы он включил в судебное дело и вопрос об этих деньгах. Каменец-Подольский генерал-губернатор граф Грохольский».

Канцелярист вскакивает из-за стола и подходит к узенькому зарешеченному окну.

«Боже милостивый! Сколько силы у этого Устима Кармалюка! Порой подумаешь о его доле, и кажется, что с тех пор, как его заковали в железо, он и сам стал железным. Вон уже сколько времени его перегоняют из острога в острог, пытаются на дыбе, клеймят раскаленным железом, а он все стоит на своем. Как уперся в первый день ареста, что он совсем не Устим Кармалюк, а беглый солдат из Австрии по прозвищу Гавриленко, так по сей день и стоит камнем на своем. Называет точно фамилии командира полка и всех начальников, под командой которых служил, перечисляет села, через которые бежал и где прятался в России и на Украине, после того как перешел русскую границу. Никакой он не Кармалюк, а беглый солдат из местечка Замостье в Австрии, и все тут. А того Кармалюка, которого ищет полиция, он и в глаза не видел, понятия о нем не имеет. Исправник и судья подставляют ему свидетелей, очные ставки устраивают, пытаются доказать, что он Кармалюк, а атаман ни с места — и все тут.

Мало того, еще и тяжбу с полицией затеял о восьми рублях, словно ничего не случилось. Видите ли, отобрали у него при аресте восемь рублей серебром — обычная в таком деле вещь. Отобранных денег полиция никому не возвращает, это всем хорошо известно, а вот Кармалюк пожелал, чтоб ему вернули восемь рублей серебром. Кто-то в тюрьме даже написал ему жалобу на имя губернатора. А что из этого вышло?

«За его деньги его же и заковали, — думает он. — А как могло быть иначе? Раз они называли его во всех документах злодеем, вором, разбойником, стало быть, еще и не такого можно ждать от господ. Хорошо хоть,

что на следствии не доказано, что Гавриленко и есть тот самый Кармалюк. Только как все это на суде обернется? Неужели кто-нибудь выдаст Кармалюка? Дай боже, чтобы этого не случилось. . .»

После земского Литинского суда к рассмотрению дела Кармалюка приступил подольский губернский суд. Было это в декабре 1822 года, через четыре года после того, как Устим бежал из Вятской губернии и объявился на Подолье. За это время могучая волна крестьянских бунтов снова взбудоражила весь край, затопив огненным потоком множество сел, хуторов, экономий и господских имений. Крестьянские бунты и восстания не утихли даже тогда, когда Кармалюк был пойман и сидел в литинской тюрьме, а затем в Каменецкой крепости. Власти старались закончить следствие как можно скорее, но полиция ежедневно приводила в тюрьму все новых и новых повстанцев, которые уже действовали на свой страх и риск и не были связаны с Кармалюком. Запутавшись в сотнях дел других бунтовщиков, судебные власти решили немедля засудить хоть Кармалюка и тем подавить повстанческое движение непокорных крестьян.

Итак, суд над Кармалюком предстоял скорый и тайный. В воскресенье утром, когда в старом Каменце шумела большая ярмарка, из каменной крепости через базарную площадь промчались сани с парусиновым верхом под охраной солдат. Вслед скакала конная полиция с обнаженными саблями. Увидев этот эскорт, люди потоком двинулись к суду. Власти держали день суда в великой тайне, но окрестные жители как-то проведали о нем, и в Каменец на ярмарку съехалась тьма-тьмущая народа из многих экономий, сел и хуторов. Вот почему, увидав тюремные сани, люди наперегонки бросились за ними к зданию суда.

Сани круто завернули возле церкви и остановились перед крыльцом главного суда, у мрачных стен кармелитского костела, где уже стояла на страже команда солдат. Полицейские откинули брезент, и из саней вышел Устим Кармалюк. Опустив голову, он медленно



поднимался по крутым ступенькам крыльца. На ногах и руках тихо позвякивали кандалы. Было заметно, что ему трудно двигаться в кандалах. На высоком крыльце Кармалюк задержался, сделал вид, что хочет обмести снег с сапог, но вдруг резко повернулся к толпе и несколько секунд молча всматривался в хмурые лица жителей. Он искал в толпе своих земляков, хотел увидеть старого бандуриста Диброву, но их тут вроде бы не было.

Солдаты по команде подняли ружья, принялись толкать Кармалюка в коридор, но он успел еще дотянуться рукой до заячьей шапки, рванул ее с головы так, что кандалы загремели, и его веселый сильный голос прозвучал над площадью:

— Здравствуйте, люди!

Он хотел еще что-то сказать, но солдаты больно толкнули его в грудь прикладами, и Кармалюк скрылся в большом темном коридоре.

В просторном зале за широким столом уже сидели судьи. Устим покосился на них и, не заметив среди них давних знакомых, с облегчением вздохнул. Он метнул взгляд на длинные скамьи, заполнявшие зал, но они были пусты. Только на передней сидел управитель комаровцевкой экономии Тадей Заремба. Кармалюк устремил на него зоркий взгляд и тотчас отвел глаза в сторону. Что мог он сделать сейчас Тадею Зарембе, когда руки в кандалах, а за спиной солдаты? А ведь все могло быть иначе... Если б не Заремба, не видать бы господам Кармалюка на этом суде.

И пока судьи самодовольно покашливали, а подследоватый аудитор шелестел бумагами, листая дело, Устим Кармалюк понял, как все случилось. После визита к своему барину Ханенко он не раз налетал на помещиков, видных шляхтичей и богачей по всему Подолью. Набеги не прекращались и зимой, когда большая часть его ватаги была отпущена на отдых. Молодцы Кармалюка поступали в услужение на хутора и в корчмы. Рубили дрова, носили воду, приглядывали за чужим скотом. Мелкая шляхта и богачи не брезговали брать в батраки беглого крепостного, денег он не просил, работал за харчи, а барыш приносил немалый. При себе Кармалюк оставил только кое-кого из старшин, да еще Тимка Гречку. Проворный парнишка, куда ни пошли, все сделает и следа после него не сыщешь. С этими по-

братимами и напал Кармалюк на окрестные имения и экономии.

Ударили первые морозы, села занесло снегом, а Кармалюк не унимался. Однажды ночью он примчался в Летичев, и царскую казну не довезли до Варшавы. Сто тысяч этой казны насчитали его люди, как следует замели за собой следы и, чтобы не дать полиции опомниться, в ту же ночь подожгли усадьбу пана Опаловского. Этот пан не раз устраивал в лесах облавы на Кармалюка, даже вызывал войска для этого. Он же первый пришел на помощь Ханенко, когда у того горела винокурня.

Имение пана Опаловского было далеко от Летичева, и полиция, которая разыскивала Кармалюка под Летичевом, совсем растерялась, узнав, что он орудует далеко на юге, где загорелась усадьба Опаловского. Все войска и стража из Летичева, где была взята Кармалюком царская казна, бросились на тот край Подолья, а Кармалюк тем временем вернулся другой дорогой в Летичевский лес и спокойно отсиживался в своей пещере.

Казну — те самые сто тысяч злотых — немного погодя люди Кармалюка разнесли по селам. Делали они это тихо и незаметно. В каждом селе был свой человек, он-то и подбрасывал деньги самым бедным. Выйдет, бывало, какой-нибудь горемыка утром на порог, глядь, а под дверью узелок с деньгами. Чьи деньги? Может, нарочно подложили? Но зайдет ненароком к соседу — и там лежат. Люди знали, чьи руки делают это, чьи деньги им раздают, и от всего сердца желали Кармалюку сил, светлого пути по всей Подольской земле. Все шло так славно, и вдруг эта встреча в лесу с Тадеем Зарембой оборвала все...

Тадей Заремба гнется перед судом в три погибели, услужливо покачивает головой, тыча пальцем в Кармалюка. Устим поднимает на управителя глаза, смотрит на него долгим пронизывающим взглядом и наконец недоуменно пожимает плечами. Нет, он не знает этого барина, господина судьи. Он даже никогда не встречал его. Но Тадей Заремба твердо стоит на своем. Он клянется судьям, что давно уже поставил себе целью выследить Кармалюка, и однажды даже не сказав своему барину, отправился в лес с ружьем, якобы поохотиться на зайцев. Ни один человек не знал, что Заремба идет выслеживать Кармалюка; теперь ведь и стены имеют уши, все передается этому разбойнику. Тадей Заремба

делал свое дело втайне, это святая правда, и он повторяет ее перед высоким судом. Было все так, как он показывал на предварительном следствии. Заремба вышел из села Комаровцы до рассвета, направился в дальний лес. По дороге ему встречалось немало зайцев, но он даже не снимал ружья с плеча. Зачем тревожить выстрелом Кармалюка и его разбойников? Может, именно в этих лесных чащах они и засели! Так он решил и добился своего, выследил Кармалюка. Около полудня Заремба встретил у оврага трех вооруженных кольями людей. Он дал им прикурить из своей трубки, поговорил с ними об охоте, и они указали ему, где в этом лесу водятся зайцы. Среди встречных был и Кармалюк. Пусть господа судьи прикажут аудитору записать эти его показания в протокол официально, да чтобы было указано, что первым нашел Кармалюка именно он, управитель комаровецкого имения, родовитый шляхтич Заремба.

Судьи утвердительно кивают головами, и аудитор записывает эти показания в протокол, тем самым пролагая Тадею Зарембе путь к награде.

Потом все пошло очень просто и легко. Управитель рассказал своему барину о встрече с Кармалюком, и большая облава с участием войск, шляхты и гайдуков, двинулась в лес. Скоро они выгнали Кармалюка на комаровецкие поля и гнались за ним до самого вечера. Если б не новая подмога, сорок вооруженных солдат, прибывших из Литина, может, и не удалось бы им поймать Кармалюка. Солдаты перехватили его, ранили в ногу, и вот он, Кармалюк, стоит перед высоким судом.

— Я, господа судьи, устал до дзябла¹, гоняясь за ним,— заканчивает свои показания Тадей Заремба.— Но я уродзоный² шляхтич и клянусь вам этим высоким званием: я поведал суду чистую и святую правду.

Кармалюк слушал управителя спокойно, даже бровью не повел, а все время стоял недвижимо и равнодушно. Когда его спросили, он шагнул к столу и, глядя исподлобья на судей, тихо сказал:

— Может быть, пан и правду говорит. Только я буду не Кармалюк, и не Устим. Беглый солдат я. Об этом уже в литинском суде было известно. Я присягал в Литине.

¹ До черта (пол.).

² Урожденный (пол.).

Судьи задвигались на своих стульях, председатель, неизвестно для чего, зазвонил в медный колокольчик, и Кармалюк замолчал. Подождав, пока судьи перестали шептаться, он продолжал:

— Гавриленко моя фамилия, родом я из Замостья австрийского. Бежал оттуда и бродил с чумаками. В Казани меня поймали и отдали в солдаты, в Белозерский полк.

— Какой же ты солдат? — воскликнул судья.

— Истинный солдат, ваша милость, Белозерского пехотного полка. Полковая штабная квартира стояла в городе Судове, полковника звали Степаном Ивановичем Кузьминым. Майор Федор Макарович Сухацкий, штабс-капитан... помню, Булашкевич... Поручик Павел, по отчеству не знаю, Пузырский... Фельдфебелем был у нас Студенкин, унтер-офицер — Воронков... Я служил у них под командой в восьмой роте и бежал прямо с поста. Бежал в город Владимир, оттуда в Москву... Из Москвы — в Киев, а уже потом сюда, в Подольскую губернию... Хотел через границу к себе, в Австрию, пробраться... Напишите обо мне в Белозерский полк, и вам скажут, что я не вру, а говорю истинную правду. Я этого вашего Кармалюка, или как вы там его называете, и в глаза не видел, господи судьи...

Судьи сидели прямые, величественные, изредка перешептываясь о чем-то постороннем, листая бумаги. На звонок судьи вбежал офицер, и судья, что-то шепнув ему, отослал назад. Похоже было, что судьи не слушали подсудимого, все время смотрели в окно, словно чего-то ожидая. Их молчание казалось подозрительным. Устим хоть и потупился, но не спускал глаз с судей, стараясь разгадать их намерения.

Распахнулась боковая дверь, и офицер ввел в зал Опанаса.

Кармалюк бросил на него зоркий взгляд, но Опанас, казалось, не заметил этого взгляда и низко поклонился судьям.

Опанаса подвели к столику, на котором лежало старинное Евангелие в бархатном переплете и большой медный крест.

— Поклянись перед богом на святом Евангелии, — сказал судебный чиновник в мундире с красным воротником. — Клянись, что будешь говорить высокому суду только правду.

Опанас поцеловал крест, поклонился судьям и, положив два пальца на раскрытое Евангелие, дал присягу говорить правду.

— Ты узнаешь его? Это — Кармалюк! — сурово сказал судья Опанасу, грудью налегая на стол.

В зале стало тихо. За дверью слышались тяжелые солдатские шаги, и граненый стакан зазвенел о пузатый графин с водою.

Опанас заморгал красными веками, разинул рот от удивления и так стоял, не зная, что сказать.

— Помни присягу, холоп! Бог и суд будут милостивы к тебе, — сказал судья, не сводя глаз с Опанаса.

Опанас посмотрел на Кармалюка, и взгляды их встретились. В глазах атамана светилась глубокая печаль, лишь где-то на дне зрачков вспыхивали две неугасимые волевые искорки. Перед Опанасом снова встала господская винокурня, вся объятая пламенем, проплыли перед глазами встревоженные люди, и все они махали ему руками, чтобы, дескать, молчал, не предавал. В груди больно кольнуло, к горлу подкатился горячий клубок, перехватило дыхание.

— Это Кармалюк? — переспросил Опанас.

— Разве ты не видишь? — удивился судья.

— Да убей меня гром, коли это Кармалюк! Разве Кармалюк таков? Кармалюк, барин, выше, и усы у него густые, длинные. Сам он стройный, а этот вроде горбатый. Я видал Кармалюка, очень хорошо его знаю. Нет, барин, это не он.

Судья покраснел и отер платком вспотевший лоб. Топнув ногой, он ткнул пальцем в грудь офицера, и тот, схватив Опанаса за ворот, толкнул его на лавку. Опанас привычно съежился, закрыл руками голову, но на сей раз его не ударили по голове.

Судьи не спускали глаз с Кармалюка, но он был спокоен и равнодушен ко всему. Ни звонок председателя, ни звон кандалов на руках арестантов, которых по одному вводил в зал офицер, казалось, не производили на Кармалюка ни малейшего впечатления. Он выглядел вялым, уставшим, и, казалось, вовсе не обращал внимания на вставших рядом с ним, закованных в кандалы верных побратимов: Захара Блажкуна, Мирона Волошку и Тимка Гречку. За старших Устим был спокоен. Они не выдадут. Но Тимко Гречка молод еще, зелен. Поймали его случайно, и он может натворить бед.

Все они подходят к столу, присягают на кресте говорить суду только правду и, внимательно вглядываясь в Кармалюка, удивленно пожимают плечами. Да. Они действительно узнают этого горемыку. Он пристал к ним в лесу, когда они сбежали от господской расправы после пожара на винокурне. Но этот бродяга не Кармалюк. Кармалюк не такой. Разве мало всякого люда шатается теперь по селам и лесам? И каждый паршивый бродяга выдает себя за Кармалюка. Велика честь всякому проходимцу Кармалюком прослыть. Это истинная правда. Пусть господа судьи кого угодно спросят! Все им скажут так.

Офицер еще раз медленно открывает дверь, и за спиной Кармалюка громко вздыхают его побратимы, зловеще гремя кандалами.

Кармалюк до боли в челюстях сжимает зубы, перед глазами у него плывут желтые круги, на спине выступает горячий пот. Может, это сон? Нет, нет! Это не сон, не может этого быть. Только бы устоять на ногах, не покачнуться... Простреленная нога больно ноет, а выстоять надо. Спокойно, с достоинством, словно ничего не произошло.

В зал вводят его жену Марию, у нее сухие глаза, покрасневшие от бессонных ночей и слез. Кожух старый, заплатанный, а сапоги новые, те, что он подарил. За ней идет старший сын Иван, держа за руку среднего Остапа. Остап закутан в шерстяной платок, концы его завязаны под мышками, только блестят глазенки да виднеется красный носик. Он боязливо озирается вокруг; со страхом смотрит на закованных в кандалы узников и прижимается к Ивану.

Кармалюк отворачивается к окну, в глазах у него двоится, и он замечает, что за окном, громко чирикаая, прыгает на заборе стайка воробышков. Это его немного успокаивает. «Когда Иисуса Христа мучили, тоже воробьи чирикали», — почему-то вспоминает он и отворачивается от окна. В мозгу бьется отчаянная мысль: «Мария, ты ж ничего не знаешь. Верно, запоздала моя весточка». Кармалюк хочет крикнуть жене, но не может.

Судья словно догадывается о намерении Устима и, даже не дав Марии опомниться, приказывает:

— Поклянись перед богом, что говоришь правду!

Мария и бровью не повела; бледная, но спокойная подошла к Евангелию.

— Боже праведный,— прошептала она.— Клянусь перед святым крестом, что не покривлю душой, не приму греха на себя. Я сказала правду...

— Прощайся! Больше не увидишь!..— приказал судья.

Судьи приросли к столу, заскрипели дубовыми скамьями узники. На глазах у Тимка Гречки выступили слезы.

Мария поклонилась судьям, расстегнула на груди кожух.

— С кем прощаться?

— Не прикидывайся! Со своим Кармалюком!— судья указал на Устима.

Мария посмотрела на мужа, и в этом взгляде Устим прочел жгучую боль немого прощания, давнюю женину печаль и отчаяние. Но уже через мгновение Мария отвела от него влажные глаза и, удивленно поведя черной бровью, шагнула к судейскому столу.

— Грех вам, барин, насмехаться надо мной. Я не знаю и никогда не видала этого человека. Разве мой Устим такой?

Она говорила громко и обиженно, словно судья уколол ее в самое сердце.

— Вам виднее, где мой Устим теперь. Он в Сибирь по суду пошел и не вернулся. Этот человек не мой Устим...

— Врешь!— Судья, не выдержав, зазвенел в звонок.

В это время маленький Остап, который подозрительно переводил взор с матери на узников, развязал наконец платок на голове и, вырвавшись из рук Ивана, бросился к Кармалюку. Он припал к нему, ухватился ручонками за кандалы и закричал:

— Папа! Папенька!

Мальчик хватал Устима за руки, целовал мокрыми от слез губами узловатые пальцы и все умолял его:

— Папенька! Не бросай нас!

Узники вскочили с дубовой скамьи, но перед ними выросли солдаты, и они снова сели.

Кармалюк отшатнулся от сына, глухо проговорил:

— Уберите мальчонку... он обознался. Его кто-то научил...

Ошеломленная Мария замерла на месте. Иван схватил ее за полу кожуха, словно боялся, что она тоже кинется к отцу. А помрачневший Кармалюк больше ничего не видел перед собою. Он уже не помнил, что было дальше и как все произошло, даже не заметил, как в зале заседаний снова стало тихо и пусто и только охрипший с перепою голос судебного аудитора глухо бубнил над самым ухом. Аудитор медленно читал окончательный приговор, нарочно растягивая слова:

«1823 года февраля двадцать первого дня, по указу Его Императорского Величества Подольского главного суда первый департамент слушал подлинное дело...»

Слова, как гвозди, впивались в мозг. В мертвую тишину вплеталось жужжание пойманной пауком мухи за портретом Александра Первого.

«...Потому, признав оного Карманюка виновным в вышеописанных поделанных преступлениях и основываясь на решениях судебных, по силе коих оный Карманюк был наказан кнутом и осужден в каторжную работу, яко явного преступника, изобличенного в грабеже многократном, покушении на жизнь человеческую, наказав большим против прежнего числа ударов кнутом, а именно сто одним, и по выставлении предписанным порядком постановленных такого рода преступникам знаков сослать вечно в каторжную работу.

А как жена оного Карманюка, в селении Головчинцах жительствующая, сознание учинила, что муж ее Устим бывал тайно у нее, приносил разные одеяния ей и детям им служащим, она, утаивая то от ведома экономии, снабжала его пищею, то хотя и объясняется, якобы о преступлениях мужа своего не была известна, однако, зная о том, что муж ее был военным дезертиром, за воровство под судом, и с повсеместного слуха точно ей тайной не было, яко оной беспрестанным занимается воровством, то за необъявление перед правительством о пребывании того ее мужа в околице Головчинец и дачу тем случая к продолжению его поступков, выдержать ее при Литинской градской полиции под караулом через 4 недели, а потом на грунте села Головчинец в пример другим наказать пятьюдесятью ударами розгами.

Причем доносит, что оный Карманюк состоит в ведении здешней полиции под караулом.

Департамент по усмотрению сего, приняв к оному воинский артикул 185 и толкования воинского под

189 статьею, на основании коих определил: мнение Каменецкого поветового суда, яко с обстоятельствами дела согласное, утвердить, но, не приводя оное в исполнение, внести при представлении вместе с эдуктом в поветовом суде из дела учиненным г. подольскому военному губернатору на благорассмотрение.

Подлинное за подписью господ присутствующих и скрепою секретаря».

Когда Устима Кармалюка выводили из зала суда, он увидел перед собою море людей. И где-то там, на самом краю толпы разглядел Ивана в белом кожухе. Он держал высоко над головой Остапа. Мальчик размахивал ручонками и, верно, что-то кричал, только Устим не слышал его слов. Люди, должно быть, так и не расходились весь день, а стояли тут на морозе, пока в зале шел суд. Это подбодрило Устима, согрело его изболевшую душу, и он, садясь в тюремные сани, низко поклонился на все стороны, громко крикнул:

— Прощайте, люди! Может, кто зло на меня имеет? Может, я обидел кого напрасно? Простите и не поминайте лихом!

Толпа притихла, а потом загудела, как буря, надвигающаяся на тихий, дремучий лес.

Губернатор утвердил приговор Подольского главного суда. А через несколько дней в Каменце на городской площади Устима Кармалюка наказали сто одним ударом плети, потом тут же, при людях, тюремный клеймовщик приложил ему ко лбу три раскаленных железных печати с острыми шипами. Первую, с буквой «К», на правый висок, вторую, с буквой «А», на лоб и третью, с буквой «Т», на левый висок. Вышло «кат»¹. С тем и сослали его в Сибирь на вечную каторгу.

Мария уже не кричала. В горле давно пересохло, она не могла пошевелить запекшимися губами, смертельно жгло во рту. Она больше не чувствовала ни стыда, ни боли и лежала, как мертвая, распластавшись на дубовой скамье. Толстая веревка, которой она была привязана к шершавой доске, въедалась в тело, как

¹ Первые три буквы от слова «каторга».

будто рассекала его до кости тупым ножом. Слез не было. Высохли. При одной мысли о том, что родному Устиму еще тяжелее было, когда его пытали в тюрьме, выжигали на лбу клеймо, а теперь, закованного, верно, бросили куда-то под землю, в шахту, Мария только до крови закусывала посиневшие губы и глухо стонала. Она не просила у гайдуков пощады, не молила слезно толстого барина, чтобы смилостивился над ней и прекратил экзекуцию. Где уж тут просить в такое время,— Устим на каторге в Сибири, побратимы его в тюрьмах, а она одна, как былинка в поле, с тремя малыми детьми. Кто теперь заступится за нее, кто схватит за руки гайдуков? Теперь Мария одинока. Против нее барин, царский суд и, кажется, даже сам бог. Правду говорят: бог не трубит, когда человека губит...

— Сорок один! — кричит один гайдук.

— Сорок два! — гудит вслед второй.

Они выкрикивают так громко для того, чтобы барин, который пьет в увитой диким виноградом беседке вино, сам мог считать удары и ясно слышать стоны и плач Марии. Барину хорошо видны из беседки весь двор и дубовая скамья, на которой лежит в задранной запаске Мария Кармалюк. От барина, даже при желании, не утаить ни одного удара, он сам считает, отстукивая золотой ложечкой по хрустальному бокалу с вином.

— Сорок пять! — раздается голос гайдука.

Через каждые пять ударов гайдуки посменно, как им велел барин, выкрикивают:

— Не я тебя бью, а закон бьет!

— Не барин тебя карает, а царский суд!

Наконец на спину несчастной обрушивается последний, пятидесятый удар, и гайдуки берут Марию под руки, поднимают со скамьи, осторожно ведут к стене, туда, где навалена куча соломы, привезенной на подстилку лошадям. Они не глядят на Марию, отвернулись, им как будто неловко после всего, что они сделали. Уложив Марию на солому, гайдуки виновато вздыхают, чешут в затылках, и один, склонившись к Марии, тихо говорит:

— Мария, ты не серчай на нас... Мы не хотели, но барин сказал, что нас тоже выпорет... Так и своему Устиму скажи, как вернется... Не наша это воля, не наш суд и закон...

Мария стонет громче и отчаянно машет на них рукой, чтобы убирались прочь.

Второй гайдук заботливо прикрывает Марии ноги соломой, горько качает головой.

— Бог правду видит... Адам кислое яблочко раскусил, а у нас на зубах оскомина... Ты это пойми и не проклинай нас... Мы на чужом возу едем, своего-то нет...

— Отойди, дьявол! — хрипит Мария, и плечи ее вздрагивают.

На село опускается тихий вечер. Возвращаясь с поля, жуют жвачку господские коровы, плещутся на пруду гуси и утки, их гогот и кряканье эхом отзываются на лугу. Громко щелкают кнуты пастухов, слышны их лающие, хриплые голоса. Ветра нет, и в плотном мутноватом воздухе тускло зеленеют замершие без ветра сады. Только над головой у Марии трепещут листочки тонкой гибкой осины, словно дерево горюет над ее бедой. Говорят, на осине Иуда повесился, с тех пор она доныне дрожит и шепчет что-то с перепугу. Уже возвращаются с барщины крестьяне, громче доносятся из села голоса, кто-то ругается, плачут голодные дети.

Услышав детский плач, Мария медленно поднимает голову и прислушивается. Может, это ее сыновья плачут? Нет. Это плачут чужие. Голоса своих детей она всегда отличит, а особенно голос Остапа. Визгливый, неумолчный, словно мальчишку режут или пытаются. И что стало с ребенком? Учила же она его дома, просила: «Молчи на суде, пусть делают с тобою, что хотят. Будут тебя пугать, сладости давать, за уши трепать, а ты молчи, не выдавай отца. Говори господам, что это не твой отец, не признавайся, а то горе нам великое будет. Без хлеба, без одежды, без сапог останемся. В чем тогда на лед пойдешь, кто тебе саночки смастерит?» Вроде бы все понял, а пришел в суд и словно обезумел. Посмотрел на Устима да как кинется к нему!.. Не иначе как сглазили Остапа в тот день. Сколько времени прошло с тех пор, а Остап все не кается, еще злее стал. Маленького Миколку бьет, старшего, Ивана, не слушает, а хуже всего, что и ей, матери, не корится. Иной раз такое зло возьмет, что, кажется, задушила бы его, чтобы и сам не мучился и ее не мучил... Боже, боже, за что ты наказал ее, несчастную. Она не вынесет этого, не выдержит такого надругательства. У нее уже нет сил, и она, неровен час, может сгоряча что-нибудь с собой сделать.

Мария не знала, как и досидела в остроге эти четыре

недели на заплесневелых сухарях и воде. Так рвалась домой! А пришла в родную хату черная, страшная, и увидела, что мальчонка совсем от рук отбился. И залитая кровью Мария горько рыдает. Она закусывает зубами полотняный рукав старой вышитой сорочки, чтобы сдержать рыдание, чтобы не услышал барин отчаянных стонов, невольно вырывающихся из наболевшей груди, но слезы сами текут из глаз.

— Ой, Устимчик, родненький... Ой, прилети же ко мне хоть на часок... Я тебе всю правду поведаю, я тебе на все пожалуюсь. Кто меня, несчастную, вызволит, кто мне руку подаст? Сама ведь я не встану теперь... Ой, смилуйся, муженек, ой, прилети! Меня ведь на барщину гонят, отрабатывать за те четыре недели, что продержали в тюрьме... И коровку продали, и овец отобрали...

К Марии осторожно подходит бабка Горпина, а следом за ней, боязливо озираясь, ступает дворовая девка Оришка. Некоторое время они молча слушают причитания обездоленной и горестно покачивают головами. Когда, охваченная отчаянием, Мария начинает плакать громче, бабка Горпина опускается рядом с нею на солому и ласково кладет руку ей на голову. Мария отшатывается, вскидывает высохшие руки, словно защищаясь, но, узнав бабушку Горпину, опускает голову на грудь. Бабка гладит ее растрепанные, черные, как вороново крыло, косы, тихо приговаривает:

— Не плачь, доченька, пусть наши враги плачут. Ты в глаза им плевать должна, чтоб они твоим слезам не радовались. Утри свои глазыньки ясные, расчеши свои косы шелковые. Больше он ничего не посмеет сделать с тобою, изверг проклятуший.

— Кто? — вздрагивает Мария.

— Да кто ж, как не барин. Он тебя боится, доченька... Вспомни: когда еще суд присудил тебя наказать, а он всю зиму тянул, ждал... Видать, боялся твоего Усти-ма, супостат... На вот тебе молочка свеженького и хлебца... Поешь и отдохни подле нас.

Горпина подает кружку молока, краюху паляницы¹, и Мария жадно припадает к кружке, даже забыв откусить хлеба. Оришка тем временем заплетает ей растрепавшиеся косы, повязывает голову черным платком — из тех, что делают в Каменце и потому называют «каме-

¹ П а л я н и ц а — булка из пшеничной муки (укр.).

ничками». Мария утирает передником лицо; глаза у нее большие, глубокие, и если заглянуть в них поближе, кажется, что они дышат. Она пристально смотрит на Горпина, тяжело вздыхает и как будто не находит слов, чтобы заговорить со старухой.

— Жаль, что нет Тропинина, того, что иконы в церкви малевал,— сокрушается Горпина.— Он бы не дал тебя бить... Он очень Устима твоего полюбил и всегда заступался за нас перед барином. Нет его... Увезли, беднягу, в царскую столицу. Как он там, несчастный?..

— Поздно,— равнодушно отвечает Мария.— Теперь и этот ваш живописец не поможет... Теперь мне от барина всякой пакости ждать надо... Одинока я в этом селе... Что захочет, то и сделает...

— Душегуб! Праведник — господу ябедник! Коли он брата родного не пожалел, так где уж ему нас жалеть,— безнадежно машет рукой Горпина.

— И я слышала о брате, а вот толком не знаю,— сказала Оришка.

— Да я ж тебе уже рассказывала,— ответила бабка Горпина.

— Ну, еще расскажите, бабуся,— не унималась Оришка.

— Царство ему небесное,— причитает Горпина и, подперев костлявой рукой морщинистый подбородок, начинает рассказывать о меньшем брате барина. — Как умерла старая барыня, вся усадьба и земли с людьми должны были, по ее завещанию, отойти к обоим барчукам: старшему, нынешнему барину, и его младшему брату, Стасику. Но наш барин не захотел этого. Завещание матери он припрятал, а меньшого братца сразу забрал из Каменца, где тот проходил науки, и давай его в бараний рог гнуть. И так он, проклятый, насел на Стасика, что и рассказать страшно. Голодом его морил, одежды чистой не давал, все его книги сжег. Стасик слонялся по двору, как нищий. Бывало прибежит в людскую и просит кусочек хлеба, да так, чтобы эконо́м не видал. Схватит ломтик, спрячет за пазуху и бежит в бурьян, чтобы там тайком от старшего брата кусок хлеба съесть. А уж такой был ласковый да учтивый, со всеми здоровался, жалел нас. Горю только, что мал был, несовершеннолетний — не мог пожаловаться на брата губернатору. Правда, за него кто-то написал и передал челобитную в Каменец. И что же вы думаете? Вызвали

к губернатору нашего барина, а он такое там наплел про Стасика: и что будто мальчик не в своем уме, и что опекуна, дескать, ему не надо, а надо его сперва лечить, а уж потом думать о разделе имения. А приехав из Каменца, барин так побил Стасика, что тот уже и не вставал с постели. Как-то привез барин лекаря, потому что барчук наш стал таять на глазах, харкать кровью да по ночам кричать, всех пугая. А то еще прислал к Стасику мастеров, чтобы гроб ему сколотили. Барчук плачет, захлебывается, а они его аршином меряют, для гроба... Зашел барин, да как закричит на мастеров: «Как вы меряете, такие-сякие!.. Делайте ему гроб подлиннее, а то не влезет... его смерть вытянет». Мастера померили и давай строгать доски на гроб в соседнем зале, чтобы барчуку все слышно да видно было... А меня, душегуб, заставил отнести Стасику смертную одежду и велел так сказать: «Вот вам, барин, одежку на смерть приготовили. Рубаху, кисею и крест в руки. Померяйте». Вот как он родного брата со света сживал, чтобы одному получить все земли да имения. А ты хочешь от него добра... Не будет из свиньи коровы, а из барина человека...

— Бабушка, мы опоздаем,— Оришка дернула старуху за рукав.

— Подождет! Черт его не возьмет! — отмахнулась Горпина.

— Он за нами в окно следит,— заметила Оришка.

Мария потрянула головой, словно хотела отогнать сон, спросила:

— Кто следит?

— Барин,— ответила Горпина,— он нас за тобой послал. Вставай, пойдем как-нибудь помаленьку... Не бойся, мы с тобой все время будем...

— Я не боюсь. Теперь мне все равно. Бог не выдаст — свинья не съест,— решительно отрубила Мария и, морщась от боли, поднялась сначала на колени, а потом на ноги.

Горпина с Оришкой взяли ее под руки, чтобы не упала, и повели.

— Скажите, бабуся: люди видели, как они меня секли? — вдруг спросила Мария.

— Нет, доченька,— успокоила ее Горпина.— Барин, правда, приказал согнать народ, но все, как услышали, так и разбежались, кто куда. Днем с огнем не сы-

щешь... А мы обед готовили, нас и не гнали смотреть...

— А сыновья мои знают, куда меня повели?

— Ой, что ты! Детей Опанас в поле с собою забрал. Он сразу догадался, чего барин от тебя хочет. Опанас бережет детей.

— Спаси его, боже,— прошептала Мария и холодно взглянула на высокое крыльцо с мраморными колоннами.

В церкви зазвонили к вечерне, над хатами уже взвились синеватые дымки, заскрипели колодезные журавли, и над прудом поплыла робкая печальная песня о зеленых горах и бедной вдове, у которой одна гора, да и та черная.

Резные двери из мореного дуба распахнулись, в длинном темном коридоре трижды ударили в медный гонг, и на крыльцо выплыл барин. Ханенко был в длинном пестром турецком халате, в бархатных мягких туфлях, трубка с длинным чубуком слегка дымилась. Услышав церковный звон, он трижды перекрестился и низко поклонился на восток. Дворовые женщины опустили головы, а Мария, подняв глаза, смотрела на одинокую стройную осину; ярко-зеленые упругие листочки ее вздрагивали.

— Я приказал привести тебя, быдло,— начал помещик,— чтобы растолковать тебе приговор царского суда. Ты, шлюха, распустила по селу слух, будто я испугался твоего Кармалюка и из-за этого до сих пор не выполнял приговора. Молчи, негодная! Я сгною тебя в Сибири, ежели еще хоть слово услышу. По закону сгною!..

— По закону у тебя и глаза на лоб вылезут,— чуть слышно прошептала Мария.

— Что ты там бормочешь? — спросил барин.

— Говорю, что по закону все на тот свет пойдем,— яростно блеснула глазами.

— Молчи и слушай, несчастная! — крикнул Ханенко и, помолчав, продолжал: — Я не выполнял приговора потому, что ждал, что скажет святая церковь. Ты тяжко согрешила перед богом, нарушила присягу, данную на святом Евангелии. Ты поклялась перед богом говорить на суде правду, но не сказала ее, солгала, обманув царский суд. Ты нарочно не хотела узнавать своего Кармалюка, великого грешника и разбойника.

— Он честный, барин, мой Устим! — воскликнула

Мария.— Он все делает по писанию. Не убей, не укради, помогай бедным. Кармалюк никого не убил. А что брал, то все бедным раздавал. Бог и люди все видят!..

— Замолчи, греховодница! — топнул ногой Ханенко, и его одутловатое лицо налилось кровью. — Твой сын, отрок божий, не стерпел твоей лжи и сказал суду правду.

— Будьте вы прокляты! — крикнула Мария и упала на руки Оришке и Горпине.

Барин был невозмутим. Откашлявшись в пухлый кулак, пахнувший одеколоном и поблескивающий дорогими перстнями, он продолжал:

— Ныне епископ подольский и вроцлавский наложил на тебя епитимью, и тебе надлежит искупить свой грех, если не хочешь, чтобы тебя отлучили от церкви. После этого я и свершил над тобою приговор суда... Покайся, грешница, не то поздно будет. Ведите ее в церковь, там ей все скажут.

Барин круто повернулся и скрылся в покоях. Дубовая дверь захлопнулась с таким грохотом, что даже закачались медные кольца в зубах резных львов.

В церкви пахло ладаном, дешевым деревянным маслом и воском. Вечерняя служба тянулась долго, и Мария уже едва стояла на ногах, поддерживаемая Оришкой и бабкой Горпиной. Людей было мало, все больше старики да старухи; все, кто были помоложе, в субботний вечер трудились дома, после целого дня, проведенного на барщине. Однако от каждой хаты в церкви кто-то был. Село еще сегодня узнает обо всем, что тут случилось.

Холодный пол уходит у Марии из-под ног, ей кажется, что до сих пор каплет на пол ее кровь. Словно сквозь сон доносятся слова, которые гнусаво тянет седой батюшка с амвона перед царскими вратами. Из того, что поп читал по бумаге, она понимает, что ее тяжело поносит епископский приговор. Оказывается, она, Мария, виновна во всех тягчайших грехах земных. В ее тело вселился сатана, и ей надлежит изгонять его неустанной молитвой, денно и нощно. Среднего ее сына, Остапа, церковь оправдывает. Люди добрые, неужто не трогает вас это надругательство над Марией? Но люди хмуро молчат, восковые свечи тихо потрескивают, то вспыхивая, то угасая, и их тусклый свет всякий раз выхватывает из полумрака холодные, суровые лики угольников божьих на иконостасе. Они впились злыми глаза-

ми в Марию, прожигают ее взглядом до костей, от них веет на нее могильным холодом.

Батюшка уже произнес последние слова, и толпа громко вздохнула. Боже мой! Что он сказал? Неужто это правда? Марию сегодня запрут в церкви на всю ночь, чтобы она горячей молитвой искупила перед богом свой тяжкий и страшный грех. Ее запрут на ночь в церкви и в следующую субботу, и так будут запирасть до тех пор, пока не сойдет на нее божье благословение и нечистая сила не покинет наконец ее грешное тело. Опомнитесь, люди! Что же вы не вступитесь за Марию перед барином? Это ведь он все натворил, он придумал ей такую муку. Молчат люди, словно окаменели, только батюшка громко крикнул с амвона, и эхо разнесло по всей церкви его последнее слово:

— Аминь!

Мария подняла глаза на образ Николая-чудотворца, и все похолодело у нее в груди. Это был не Николай-чудотворец, а вылитый барин, только ему нарисовали золотой нимб и дали в руки большую палку со сверкающим крестом. В церкви зашаркали десятки ног, прихожане расходились по домам. Оришка и бабка Горпина больше не держали ее под руки и тоже ушли. Мария оглянулась и хотела бежать следом за людьми, но перед ней словно из-под земли вырос тот, что изображен на иконе Николая-чудотворца. Он злобно сверкнул глазами, властно взмахнул рукой, приказывая женщине не двигаться с места. Рядом с ним стояли два коренастых гайдука, готовые броситься на нее по первому его знаку.

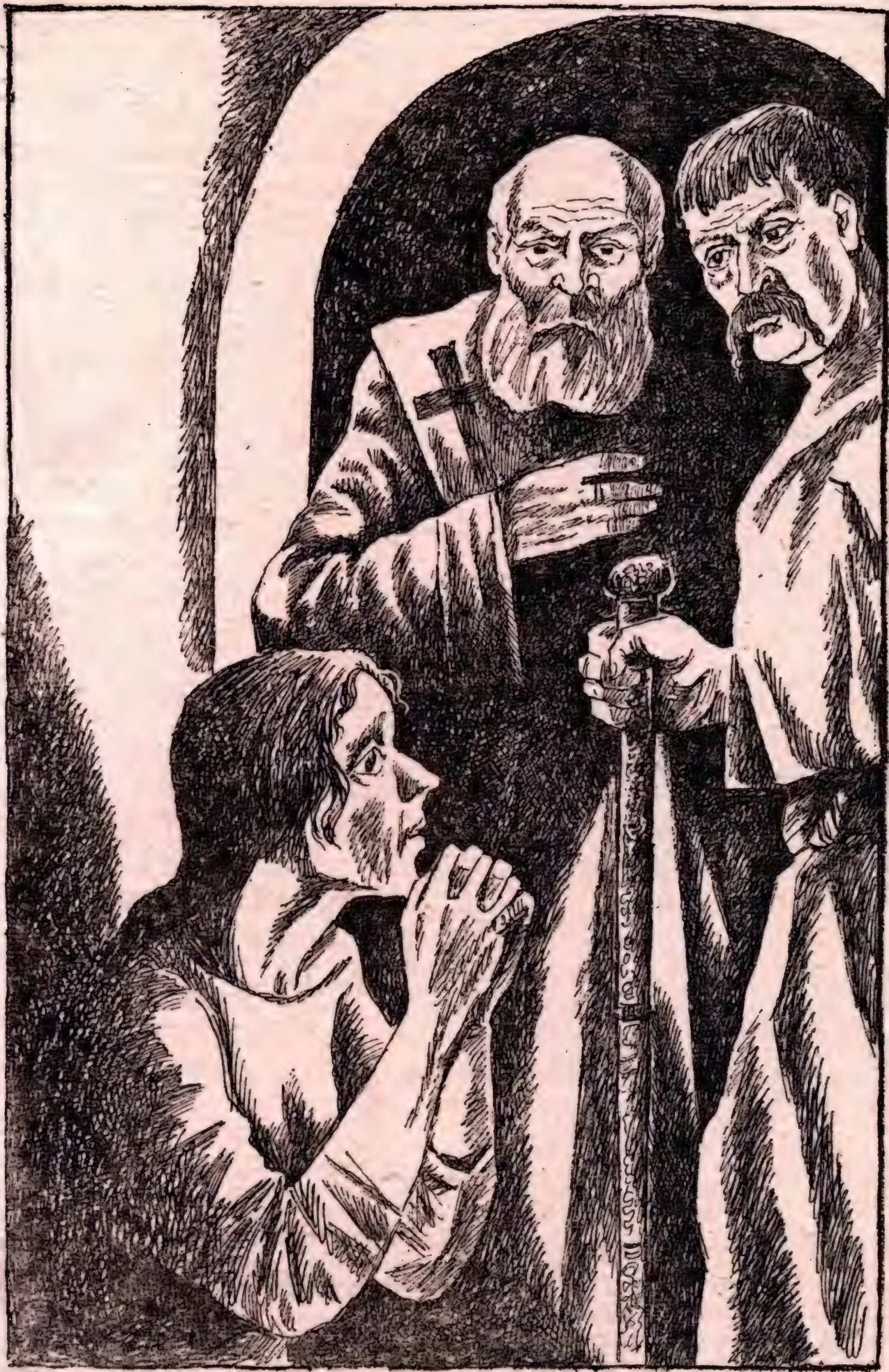
За плечами у барина стоял батюшка и осенял Марию высоким крестом.

— Бей поклоны, окаянная, и проси господа. Всю ночь молись, грешница! Я сторожей поставил, чтобы не давали тебе спать. Они будут ходить вокруг церкви, — грозно проговорил барин и, повернувшись, пошел к выходу.

Пономарь гасил перед образами свечи, в церкви становилось все темнее и темнее. Где-то с колокольни тоскливо прокричал филин, предвещая беду. Барин подошел к пономарю, сказал:

— Одну лампаду оставь, пусть горит.

— Слушаю, барин, — поклонился пономарь, и все они вышли из церкви.



С грохотом закрылась дверь, щелкнул замок, и в церкви стало так тихо, что было слышно, как потрескивает фитилек в тускло горящей одинокой лампадке. Мария опустилась на колени и, чтобы побороть овладевший ею страх, горячо зашептала:

— Сохрани меня, господи, от лихой напасти, от господской кары, от людской ненависти.— И, повалившись на холодные каменные плиты, она глухо и отчаянно застонала.

17

Наконец после долгих усилий и борьбы холодное упрямство графа Моркова было сломлено. Под большим нажимом многих влиятельных особ, часть из которых стояла даже близко к царскому двору, граф вынужден был отпустить на волю своего крепостного Василия Андреевича Тропинина. Это произошло в Санкт-Петербурге в 1823 году при высоких свидетелях, когда граф Морков, болезненно морщась, подписал гербовую бумагу о даровании воли талантливому художнику. В это время Тропинину минуло сорок семь лет.

Тогда еще никто не знал о том, что ровно через десять лет другой крепостной, дворовый помещика Энгельгардта, восемнадцатилетний Тарас Шевченко, будет за контрактован в Петербурге у «разных живописных дел мастера» Ширяева, чтобы стать дворовым художником у своего барина. Юный Тарас Шевченко, как и Тропинин, будет терпеть издевательства и нужду, выполнять тяжелые живописные работы, и только ночью, в свободное время, будет убежать в Летний сад, чтобы писать мраморные статуи. В этом саду его увидит известный художник Иван Сошенко. Он познакомит Тараса Шевченко с видными деятелями русской культуры — Григоровичем, Жуковским, Венециановым, Брюлловым, которые высоко оценят талант Тараса и освободят его от крепостной неволи. Но это случится потом, хотя и неподалеку от дворца графа Моркова, где сейчас дана вольная Тропинину.

В Петербурге уже звучали голоса передовых людей, призывавших к уничтожению, отмене крепостничества и искоренении самодержавного деспотизма. Уже вынашивали идею первого вооруженного восстания против са-

модержавия будущие декабристы. Уже гремела над Петербургом слава гениального Пушкина, и со страниц журнала «Полярная звезда» порой звучали гневные протесты против существующего строя. За три года до этого будущий декабрист и организатор вооруженного восстания на Сенатской площади — поэт Кондратий Рылеев написал и напечатал стихотворение «К временщику». Он не мог называть вещи своими именами, но все понимали, что речь идет о крепостничестве в России, о главном сатрапе и душителе народа, русском царе.

И вот желанная воля, за которую боролся Кондратий Рылеев, заноса руку на самого царя, наконец пришла к Василию Андреевичу Тропинину. Художник поселился над Невой, в тихой квартире с мастерской на антресолях. Но покоя он не обрел. Жадный наблюдатель натуры, он каждый день толкался среди простого люда в поисках все новых и новых сюжетов. Он встречал на улице нищих, калек, торговцев яблоками и пирогами, мелких ремесленников, набрасывал на бумаге их портреты, писал жанровые сценки из жизни бедных окраин, заселенных фабричным людом. Фабричные ходили в долгополых сюртуках, порыжевших сапогах и в неизменных кожаных картузах. Тропинин незаметно усаживался где-нибудь в уголке, раскрывал свой зонт и без устали зарисовывал простолюдинов: мастеровых, солдат и матросов. Это о них писал поэт Рылеев. Они вынесут свой приговор тирану и деспоту. Фабричные были уже полукрепостными, то есть почти свободными. О них даже презрительно писали в газетах и книгах. Василий Андреевич недавно читал одну такую брошюру: «Ответ русского гражданина на вопрос: полезно ли заводить в России и распространять мануфактуру?» «Государство, имеющее много земли, — доказывал автор, — и по размерности оной мало жителей, может с лучшим успехом заниматься земледелием, нежели мануфактурою и ремеслом». В другом издании — «Дух журналов» — писали яснее: «Самый здоровый и веселый народ есть земледельческий. Фабричные по большей части бывают хворые и преждевременно утрачивают век. Земледелец зарыл в землю зерно, но прозябания его и оплодотворения ожидает свыше. . . Мастерской ничего не ожидает от бога, а всего от машины. . . Земледельческий народ есть самый набожный, а также самый миролюбивый и благонравный. Он вместе и самый покорный царю». Покор-

ный! За широкой Волгой этот народ породил Степана Разина, на Урале — Емельяна Пугачева, на украинском Подолье — Устима Кармалюка. В Петербурге поднимает свой голос Пушкин, открыто протестует против царя дворянин Кондратий Рылеев. Вот тебе и покорный народ!

Тропинин кладет на полотно еще два смелых мазка и отходит к широкому окну.

— Отдохни, Иван, закури трубку,— говорит он натурщику.

— Спасибо, барин,— поклонился крепкий, широкоплечий Иван Дроздов, матрос гвардейского экипажа из Кронштадта. У него высокий смуглый лоб, резко очерченный подбородок, нос с горбинкой и вообще ровный, греческий профиль. В голубых бездонных глазах светится тихое спокойствие.

Иван Дроздов сразу бросился в глаза Тропинину еще в Летнем саду, и он пригласил его к себе в студию на несколько сеансов. Яркая красота, необычайная физическая сила, привлекательный профиль и поворот головы пленили художника. И теперь матрос, когда его отпускали из Кронштадта, приходил к Тропинину позировать. Вообще в последнее время после освобождения в мастерской на антресолях бывало немало простолюдинов. Художник платил им деньги, и они служили ему натурой. Лишь для писания портретов высокопоставленных особ он ездил к ним во дворцы, а остальных людей писал прямо на улице или у себя в мастерской.

Сразу после освобождения Василий Андреевич получил официальное признание в свете как талантливый портретист. О нем заговорили даже при дворе. В том же 1823 году за картину «Кружевница» и портреты художника Скотникова и «Нищего старика» Академия художеств избрала Тропинина в «назначенные», а еще через год за портрет гравера-медальера Леберехта — в академики. Теперь Тропинин мог свободно распоряжаться собой, над ним уже не тяготел графский окрик, никто не заставлял его больше рисовать то, к чему не лежала душа. Но он все еще не мог привыкнуть к своему новому положению. Бывало, зазвонят в передней — он вскакивает, готовый бежать, как когда-то бежал в лакейскую или в графскую буфетную, чтобы подать господам и прислужить у стола. Граф в свое время весьма гордился перед гостями своим лакеем: глядите, мол, та-

лантливый художник, а прислуживает мне за столом... Одни гости смущенно молчали, и это графа не трогало, другие хвалили, и граф Морков был от этого на седьмом небе... Тропинину горько и больно было вспоминать такое, но рабская психология, выработанная годами, давала себя знать, ему еще и теперь трудно было выкорчевать в себе немую, беспрекословную покорность.

За окном течет закованная в гранит холодная Нева, над нею высится бронзовый Петр, а дальше виднеется мрачный Зимний дворец. Там тепло и уютно, туда не долетают с улицы громкие крики пирожников, жестянщиков, нищих и калек, которые просят подаяния. Дворец глух ко всему, как и его властелин, самодержец всея Руси, император Александр Первый. Тропинин прищурился, отвернулся от окна.

— Скажи, братец, начальник у тебя строгий? — спросил он Дроздова.

Матрос восторженно, выхватил изо рта трубку и стал «смирно».

— Нет, нет, ты сиди, голубчик... Будь у меня как дома. Тебя начальник бьет?

— Бывает, — понуро отвечает Дроздов, и мрачнеет.

— А за что бьет? — спросил Тропинин.

— Потому что власть ему дана, — глухо отвечает Дроздов, но тут же, опомнясь, добавляет в раздумье: — Однако у нас в Кронштадте все же не слышать, чтобы так над матросами издевались, как в Семеновском полку. Там фельдфебель усы солдатам по волоску выдергивает... Недаром семеновцы взбунтовались.

— Ну, а хорошие командиры есть у вас? — не унимая Тропинин.

— Кто его знает, чтой-то не слышать, — пожал плечами Дроздов.

Тропинин на миг замолк, а потом, словно выйдя из задумчивости, спросил снова:

— А не слышал ли ты, братец, про командира Бестужева? Он, кажется, у вас, в Кронштадте.

— Бестужев? — чуть не кричит матрос. — Он у нас, только уже не командует. Он тоже моряк. Генерал Сапфаров, начальник всех маяков на Финском заливе, взял его к себе в помощники... Были бы все офицеры такими, нам бы и горюшка мало... Золотой человек господин Бестужев, — вздохнул матрос.

— Так ты, может, и брата его знаешь, Александра Александровича? — спрашивает Тропинин.

— Как не знать? Он все книги пишет, — пояснил матрос.

— Правильно, Бестужев-Марлинский его фамилия... — проговорил Тропинин.

— Братья-то Бестужевы теперь врозь живут, — вздохнул Иван Дроздов, и, выбив золу из трубки, опустился на свое место.

— А ты сам из крепостных? — спросил Тропинин.

— Вдвойне крепостной! — ответил Дроздов.

— Это как же?

— А вот так! Перво-наперво, род наш испокон веков крепостной в Олонецкой губернии, в селе Дашкине, а второе дело — матросская кабала. Тут кабала еще горше, чем на родине, в Олонецкой губернии. Двадцать пять лет служить, как пить дать... Ну, барин, домалывайте, а то мне скоро идти, — грустно проговорил он.

Тропинин взял кисть и загляделся на спокойное вдумчивое лицо Дроздова, на его высокий лоб, прикрытый бескозыркой, и на две гвардейские ленточки, спадавшие с плеча.

В передней раздался звонок, и художник невольно вздрогнул, но тут же виновато развел руками и улыбнулся:

— Никак не привыкну... Все думаю, что я все лажей. Просто удивительно.

Внизу слышались женские голоса, спор. Тропинин, открыв дверь на лестницу, окликнул швейцара. Седобородый человек перешагнул порог, вежливо поклонился.

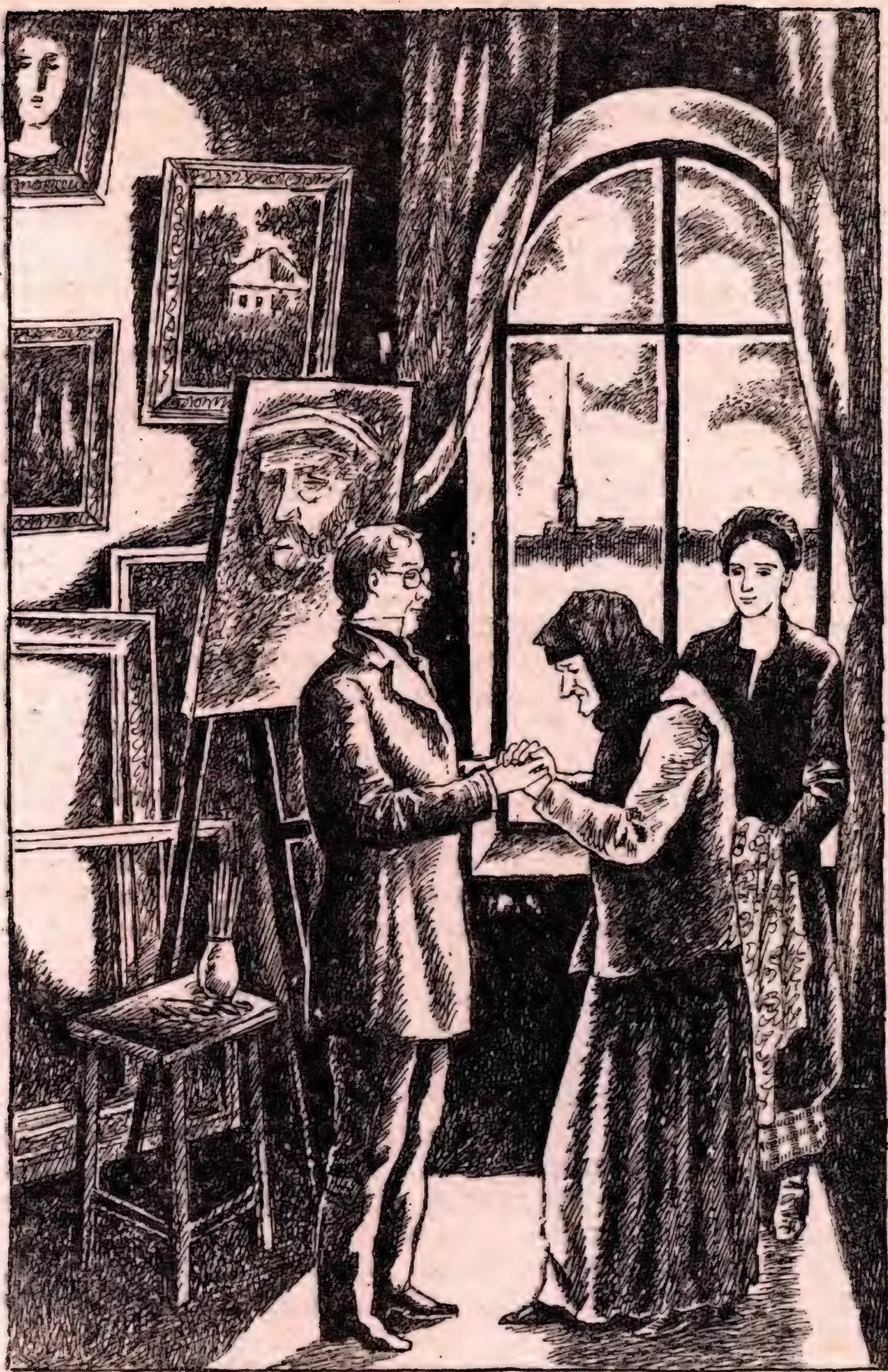
— Что там у тебя происходит, Матвеич? — спросил Тропинин.

— Пришла какая-то баба, а с ней девица, и все вас добиваются. Я им уже и милостыню давал — не берут. Говорят — с Украины... Важное дело к вам... Но разобрать трудно. Прикажете пустить?

— С Украины? Ко мне? — Василий Андреевич вскочил и выронил кисть.

— Да, барин. С Украины, — ответил швейцар и поклонился.

— Боже мой! Проси их сюда. Что же они там стоят? — обрадовался Тропинин и принялся расставлять стулья, собирать разбросанные на кушетке эскизы, смахивать полой халата пыль со стола. Потом побежал бы-



ло за ширму, чтобы переодеться и принять гостей, прибывших с милой его сердцу Украины, внизу в гостиной, но дверь уже открылась, и на пороге встала бабка Горпина. Из-за ее спины выглядывала дворовая девка помещика Ханенко, миловидная Оришка в бархатной керсетке, вышитой сорочке, с лентами в косе.

В мастерской сразу стало светло и уютно, словно сюда долетели запахи береговой мяты, душицы, чебреца. Казалось, что с полотна «Свадьба в Кукавке» сошли на землю колоритные фигуры свахи и невесты, которых художник полюбил и запомнил на всю жизнь.

— Барин наш родной,— запричитала бабка Горпина, низко кланяясь Тропинину.— А моя Оришка, бедная, пятый день уже ищет вас по всем церквам у богомазов. А как нашла — нам еще хуже стало... Придем к вам, а он, супостат бородатый, не пускает... Говорит: «Нет их дома». Так мы снова по церквам, где святых малюют. Расспрашиваем, добиваемся у живописцев, а тебя там нет... Ой, горюшко наше...

— Садитесь, пожалуйста! Садитесь,— Тропинин подставляет им стулья, а сам глаз не спускает с пестрого, живописного убранства Оришки. Плахта на девушке горит всеми цветами радуги, вокруг тонкой белой шеи обвились ленты.

— Ой, спасибо, барин, за ласку... Такое горе у нас, такая беда. Вот только и радости, что вас увидали,— начала Горпина, но, заметив сурового и величественного Ивана Дроздова в полной морской форме, осеклась, заморгала испуганно глазами. Тропинин понял ее и сказал Дроздову:

— Сделаем, Иван, перерыв до следующего раза. Будешь свободен — приходи. А это возьми за труд,— и протянул матросу деньги.

Дроздов вытянулся, отвел руку назад.

— Нет, барин, я не возьму. Может, еще ничего не выйдет из меня и придется вам все снова переделывать. Нет, сейчас не возьму деньги. Пускай уж когда все закончите... Прощайте! — и вышел.

Горпина дождалась, пока затихли шаги матроса, звякнул звонок у входной двери, и только тогда таинственно спросила:

— Из полиции приходил, не дай господи?

— Нет, что вы? Таких гостей у меня не бывает. Это матрос, солдат по-нашему,— рассмеялся Тропинин и сел

рядом с Горпиной, внимательно рассматривая старуху и Оришку.

Девушка смутилась, опустила глаза, щеки ее покрылись густым румянцем.

— Ну, говорите, говорите же, не мучьте, — весело замахал руками хозяин, придвигаясь ближе к женщинам. После печальной беседы с Дроздовым он снова был веселым и разговорчивым, весь загорелся и стал неузнаваем. Куда и подевалась молчаливая суровая замкнутость.

— Ох, барин, много говорить, да мало слушать, — печально покачала головой бабка, утирая сморщенные губы краем черного платка. — Продали нас вашему графу Моркову, продали со всеми пожитками.

— Как так продали? За что? — художник вскочил.

— За дворовых скоморохов, что господ забавляют. Артистами называются. Объявились они у вашего графа, вот нашему барину и завидно. Лезет ведь он в графы-то, из кожи лезет, всем властям угождает, подарки в самую Варшаву шлет. Вот он и продал нас, чтобы завести при дворе своих танцоров, музыкантов да певцов. Отобрали нас десять душ, кто ковры да плахты умеет ткать, и прислали в царскую столицу. Дочь вашего графа замуж собралась, приданое ей будем ткать да вышивать... Да все не по-нашему, все по-заморскому. Ждут какого-то ханцуза, с кем наш царь воевал...

— Зачем француза? — спросил Василий Андреевич.

— Говорят, этот ханцуз наведет на полотне узоры, а мы по ним ткать должны... Не только цветы, а и людей, зверей, небо и воды.

— Гобелены... Понимаю... Сложная работа, — заметил Тропинин.

— Вот, вот, барин! Гобелены. Нам к работе не привыкать, — продолжала Горпина. — Умеем ткать ковры, стало быть, и с гобеленами сладим. За этим нас и гнали к этому холодному морю, в леса да в болота. А уж мира божьего нагладелись — не приведи господи. И в Киеве были, в пещерах, и в белокаменной Москве Василию Блаженному поклонились... И людей столько повидали, что страх берет. Крепостных, нищих, юродивых. И как только их всех мать-земля на себе носит!... Только вот воли нигде не видывали — всюду бедному крепостному горе да слезы. Бьют людей на конюшнях, бьют в поле за плугом и серпом, душат податями, отдают под крас-

ную шапку в солдаты, гонят табунами в Сибирь — ох, что, барин, творится по всей земле, которую мы прошли своими босыми ногами и проехали на чумацких возах. Не приведи бог видеть такое нашим внукам и правнукам! Врагу лютому не пожелаешь такой жизни. Я-то, глупая, думала, что тут к царю поближе — так и людям жить лучше, вольготнее. Да где уж там. Дура баба, да и только! Огляделась, так и тут день и ночь господам в церквах звонят. Пусть звонят, их на барщину не гонят... А вас, барин, за большие деньги на волю отпустили? — вдруг спросила Горпина.

Тропинин встрепенулся и заговорил быстро, чтобы успокоить бабу Горпину.

— Нет, бабуся! Что вы? Меня без денег отпустили... Высокие люди за меня графа просили. Сжалился...

— Еще бы! — гордо сказала Горпина. — Такие картины ему понамалевали, краса-то какая... Разве можно их с золотом сравнять... Мы их видали в усадьбе графа и тут, во дворце. Видно, совесть у графа заговорила, что не взял с вас выкупа.

— Может, и так! Да теперь не о том речь. — Тропинин поднялся с места. — Вы лучше расскажите мне о своем селе. Что там нового случилось после моего отъезда? Что слышно об Устиме Кармалюке? Он, бедняга, еще в Сибири?

Горпина и Оришка зорко и подозрительно огляделись и вопросительно взглянули на Тропинина.

— А можно ли говорить-то тут?

— Говорите, здесь, кроме нас, никого нет, — подбодрил Василий Андреевич.

— Мы, батюшка, от Кармалюка и пришли к вам, — пояснила бабка.

— Как это от него? — удивился художник.

— Вы когда-то, спасибо вам, одолжили нашему атаману сто злотых, когда церковь у нас расписывали. Он хотел отдать вам сразу, да вы так быстро уехали в Петербург, что он и не успел. А когда его засудили на каторгу, он передал эти деньги для вас и просил прощенья за то, что так долго задержал...

Горпина отвернувшись, вынула из-за пазухи узелок и протянула Тропинину.

— Они, деньги эти, долго ходили по рукам, все окансии ждали в Петербург. А когда я тронулась в путь, мне

их ночью свои люди передали, чтобы барин не слышал и не видал... Возьмите, тут злотый в злотый, все сто...

На глазах у Тропинина выступили слезы. Он откинулся на спинку кресла, испуганно замахал руками.

— Нет, нет! Что вы? Я не возьму их. Это был мой подарок атаману, у меня просто больше не было при себе... А теперь зачем они мне? У меня есть... Спрячьте их, бабуса, они вам пригодятся.

— Возьмите, барин,— вмешалась Оришка.— Это большая обида будет для атамана, если не возьмете. Он велел их в собственные руки вам передать... Мы так боялись, так дрожали всю дорогу, чтобы ненароком не украл кто, да не потерять бы случайно, а вы отказываетесь... Разве так можно?

Василий Андреевич отказывался от денег, просил не обижать его, наконец, умолял, но женщины настояли на своем. Деньги Кармалюка были отданы, как он приказал, художнику Тропинину в собственные руки. Василий Андреевич завернул их в белый платочек, спрятал на дно серебряной шкатулки и запер на ключ.

— Пусть же лежат у меня как вечная память о вашем атамане, об этом правдивом и честном человеке... Но прошу уважить и мою просьбу: вот вам другие деньги. Возьмите их себе и молитесь богу, ставьте свечи в церквах во здравие атамана. Пусть его вместе с людьми и бог бережет. Теперь, верно, у вас на Подолье тихо, привольное житье настало для господ без Кармалюка?

Тропинин протянул женщине сто рублей ассигнациями.

Горпина молча взяла деньги, перекрестилась на восток и, спрятав их на груди, уверенно сказала:

— Нет, барин, снова горят господские имения. Кармалюка нашего они заслали, но молодцы его повсюду живы, они не сидят сложа руки. От одной свечи зажглись тысячи... Одну свечу еще можно погасить, а вот тысячу уже никакой ветер не задует... Спаси его, святая заступница наша, мать божия...

— Спаси...— прошептала вслед за Горпиной и Оришка.

Они помолчали, словно прислушиваясь, как гудит леденящий сиверко, швыряя в окна пригоршни колючего снега, и где-то на колокольне Петропавловской крепости глухо бьют башенные часы. Потом женщины стали прощаться.

— Вы теперь заходите ко мне, пока я тут живу, не брезгуйте. Может, я смогу вам чем помочь. А бородатому я скажу, чтобы всегда вас принимал,— говорил Тропинин, прощаясь за руку с женщинами.

Горпина задержалась на пороге, спросила:

— А вы теперь как жить будете? На службу пойдете или уедете отсюда? Больно тут холодно да страшно.

— От службы, бабуся, я уже отказался. Не могу я служить, людьми распоряжаться. Всегда я был под чьей-то пятой, а теперь по службе снова надо подчиняться то одному, то другому... Нет! Я в Москву поеду... Хочу спокойно пожить хоть на старости... в Москву... Наш Николай Васильевич Гоголь писал недавно, что Москва — женского рода, а Петербург — мужского. В Москве все девицы на выданье, в Петербурге — женихи. Нет, в Москву.

Горпина не поняла, что хотел этим сказать Тропинин, но не показала этого, равнодушно выслушав его слова о девицах и женихах. Тропинин сообразил это слишком поздно, когда они уже были в коридоре, где он, еще раз прощаясь, сам открыл им дверь. Так они и ушли, не поняв, что он хотел сказать им словами Николая Васильевича Гоголя.

Перед Тропининым расстилалась дорога в Москву, предстояла работа над портретами Пушкина, Брюллова, гитариста, его ждал неоконченный этюд девушки со свечой. Он немного постоял в передней, и ему показалось, будто вместе с женщинами к нему в Петербург донесся с Украины сладкий запах сухой мяты и чебреца. Тропинин глубоко вздохнул и двинулся по скрипучим ступенькам на антресоли.

Тобольский острог медного завода стоял под горой, в тайге, недалеко от шахт, где каторжане добывали руду. Он был огорожен высоким и густым частоколом, над которым виднелись только дощатые крыши бараков да задымленные трубы. Рассмотреть сквозь дубовый частокол, что происходило на дворе острога, было почти невозможно. По ту сторону частокола, у ворот, у тяжелой дубовой калитки, стояла полосатая будка для караульного солдата. На каждом углу острога ходил часо-

вой и высился полосатый, как и будка, столб со стеклянным фонарем, в котором всю ночь горела сальная свеча или дымила плошка.

За высокой стеной позванивали цепи кандалов, навевая печаль на всю слободу, где жили поселенцы и вольные казаки. Казачий род повелся здесь от смельчаков атамана Ермака, которые покорили Сибирь, выгнали отсюда татарских и монгольских завоевателей. В заводской слободе возле медных шахт стояли добротные рубленые избы начальника острога, главного техника шахты, маркшейдера и еще каких-то служащих. Рядом с ними лепились подслеповатые, похожие на курятники землянки, где размещалась поселковая голытьба и те, кто, отбыв каторгу, осел здесь на вечное поселение. Постепенно они отстраивали собственные избы и переходили в них из землянок.

Вокруг острога и поселка тайга была вырублена, чтобы каторжане не могли бежать, а часовые денно и нощно внимательно наблюдали за тем, что делается поблизости от высокой деревянной стены. Тайга отступила от этих мест далеко к сопкам и там маячила черной, мертвой полосой, которая словно железной цепью обвила и острог, и шахты, и поселок. По ночам здесь был слышен только протяжный и тоскливый крик часовых: — Слу-ша-ай!

Крику далеким эхом отвечала тайга, где-то лаяли собаки, а порой завывали в горах волки. Потом опять наступала могильная тишина, и слышно было, как потрескивали от лютого мороза дубовые бревна в стенах и частоколе. В оконцах землянок и избушек простого люда уже с вечера было темно, и луна таинственно поблескивала на кусочках слюды, которая заменяла здесь стекла.

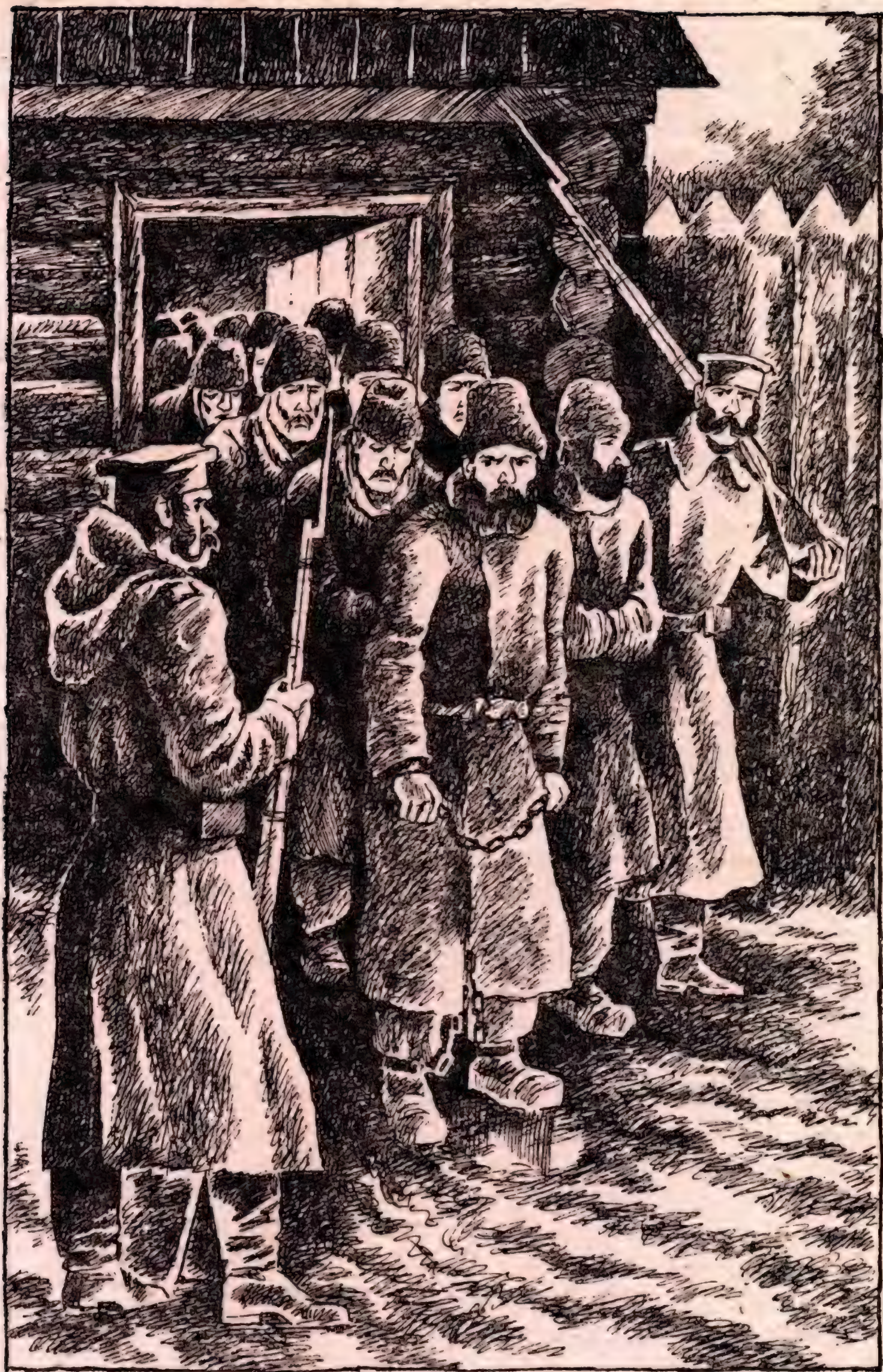
На все четыре стороны расстилалась глухая, дикая тайга, на сотни верст не было ни одной живой души, и мысль о бегстве из этой норы казалась каждому неслыханным безумством. В тайге беглеца растерзают дикие звери или он погибнет от голода. На единственной дороге стоят пересыльные тюрьмы и остроги, и там его поймают полиция. Да и выбраться из острога незамеченным было трудно. Через частокол не перелезешь, руки и ноги закованы в кандалы. Дубовая калитка открывается только когда каторжан ведут на работу в шахты, приводят на обед, да вечером, когда они возвращаются с ра-

боты. И всякий раз в воротах их строго и придирчиво пересчитывают. Сколько вышло, столько же должно и вернуться. Тут никак не обманешь стражу и старшего офицера, который сам всегда всех пересчитывает и проверяет.

Все это отлично изучил Кармалюк, каждый день идя с каторжниками на работу в шахту и возвращаясь вечером в острог. С ним рядом неизменно были Мирон Волошка, Тимко Гречка и еще несколько подолян, осужденных по его делу. Не было только среди них Данила Хроня, который остался на винокуренном заводе, там, где побывали они все по прибытии в Сибирь. Теперь их разлучили, и это вызывало подозрение у Кармалюка. Подозрение сразу пало на Данила Хроня, и он стал связывать его со своим неудачным бегством из винокурни.

Прибыв по этапу в Сибирь, Устим Кармалюк узнал о винокурне и заявил в Тобольской пересыльной тюрьме, что все подоляне умеют гнать сивуху и варить пиво, потому что долгое время служили на винокуренных заводах у подольских помещиков. Их пиво и водка и поныне славятся даже в Варшаве. Варить брагу научил их один чех, который знал тайну этого хитрого ремесла. Начальник пересыльной тюрьмы был зятем собственника соседней винокурни и, конечно, тотчас отправил Кармалюка с подолянами туда. Жили они в остроге, на работу и с работы их водили под стражей, в воротах тщательно проверяли, но водка, с которой теперь имели дело подоляне, вскоре оказала свое действие на инвалидную команду, караулившую в остроге каторжан. Тимко Гречка наловчился выносить спирт в обычных бычьих пузырях, из которых тогда делали кисеты для табака. Вот почему стража давала поблажку веселым и гостеприимным подолянам. Кармалюк завел знакомство в машинном отделении, достал ножовку, выменял на водку крестьянскую одежду, и все это припрятал на угольном складе, возле глухой задней стены, выходившей в густой сосняк, за которым начиналась тайга.

Было решено бежать не всем сразу, а только ему и Мирону Волошке. Данило Хронь и Тимко Гречка должны были остаться на заводе до тех пор, пока стража не успокоится и не позабудет о побеге Кармалюка. Тогда Данило Хронь должен был действовать по своему разумению, вызволяя и Тимка Гречку. Хроню не понра-



вился такой план. Он стал просить Кармалюка, чтобы тот взял его с собой, а Мирона Волошку оставил с Тимком. Кармалюк категорически возразил и приказал Хроню выполнять все, как было задумано.

Хронь не выдержал и однажды так напился на работе, что стал угрожать спиртовару убийством, поднял крик на всю винокурню. Спиртовар вызвал дежурного офицера, и Данила Хроня забрали на гауптвахту. Кармалюк прибежал из котельной, но было уже поздно. Хроня увели солдаты. В тот же день Устим спрятал ножовку и одежду в другое место. Он встревожился, потерял сон.

Данило не вернулся в острог ни на другой, ни на третий день. Через знакомых солдат инвалидной команды, с которыми Кармалюк подружился с помощью Тимкиных магарычей, стало известно, что Хроня на гауптвахте тяжело били, о чем-то допрашивали. При экзекуции все время присутствовал агент тайной полиции и никого из посторонних не допускали. Потом Хронь очутился в острожном лазарете, и там его было приказано расковать.

Кармалюк узнал, что в «скорбном» листе, куда тюремный фельдшер записывал что-то вроде истории болезни, не значилось никакого тяжелого недуга. Это казалось загадочным. Ведь каждого каторжанина после экзекуции на гауптвахте возвращали в острог, где он и отлеживался. А этого оставили в лазарете, да еще и расковали. Странное снисхождение...

С той поры слежка за каторжанами на винокурне усилилась, и когда в один из следующих дней забрали на гауптвахту Мирона Волошку, встревоженный Кармалюк решил бежать, пока не поздно.

В кузнице, куда он возил тачками уголь, знакомый кузнец мигом снял с него кандалы, и Кармалюк, связав их проволокой, быстро исчез за кучами угля у задней стены. Переодевшись, он влез на молодой кедр, раскачал как следует упругую ветку и, спрыгнув в заросли сосняка, побежал, что было мочи, замата следы.

Он бежал без остановки, пока не выбрался окольными тропами на глухой проселок, который вел к столбовой дороге. Но только он ступил на проселок, как из засады поднялась стража, которая уже поджидала его. С обеих сторон лежали глубокие, по шею, снега, а дорога была узкая, на ней стояли три солдата и фельдфебель.

Все пропало. Они схватили Устима и повели назад, в острог. Так закончилась его попытка бежать. Эту неудачу он связывал с пребыванием Хроня в острожном лазарете.

Через несколько дней с гауптвахты вернулся избитый Мйрон Волошка, но в лазарет его не отправили, а бросили отлеживаться на жесткие нары, чтобы сам поправлялся. Мирона целый день допрашивали, требуя, чтобы он указал, где лежит одежда, в которой он собирался бежать с каторги и кто его сообщники. Данила Хроня он не видал и ни одного слова о нем не слышал. А когда в тот же день бежал Кармалюк и его поймали, Мирона снова привели в острог.

Хронь в остроге больше не появлялся. Его угнали куда-то на лесопильню. Эту историю знали все каторжане, и Кармалюк просил их разыскать Хроня через знакомых в лазарете, на гауптвахте, на работе, чтобы узнать у него правду об этом подозрительном и страшном событии, от которого веяло предательством.

Зимой того же 1825 года Устима Кармалюка с подолыанами перегнали обратно в Тобольск, а оттуда на этот медный завод, где и в помине не было даже той призрачной свободы, которой они пользовались на винокурне. Но Устим успел захватить с винокурни стальное лезвие ножовки, которое было спрятано в куче угля. В шахте он натянул его на железную проволоку и запрятал подальше в глубоком забое. Пусть только запахнет весной, Кармалюк снова попытается вырваться из этой проклятой норы на родную Украину. Каторжане медного завода вскоре узнали о его неудачном побеге, а кто-то из канцеляристов уже успел рассказать им и всю историю Кармалюка, записанную в его судебном деле. Это сразу подняло Устима в глазах каторжан. Они даже хотели избрать его своим тайным старостой, однако он отказался. Но все скандалы и споры, возникавшие между узниками, доводилось решать ему. Арестанты сами просили и настаивали на этом. Уравновешенный, честный и всегда справедливый Кармалюк мирил заключенных, и они подчинялись ему.

Дни проходили в тяжком труде под землей, а над душным бараком проплывали долгие зимние ночи. Но пришло время, и в запыленных окнах под самым потолком начало светать раньше, ночи стали короче — близилась весна. Вечерами в остроге пели песни, с большим

азартом играли в карты на пайки хлеба, а мастеровые принялись шить на продажу сапоги. Хотя в остроге и не принято было рассказывать, кто за что сидит, но Кармалюк вскоре узнал, кого за что судили. Больше всего в бараке было беглых солдат, которые не вынесли тяжелой службы. Много было и крепостных, восставших против своих помещиков. Тот поджег господские стога хлеба, другой зарезал управляющего, третий поднял на вилы эконома. Среди них были и такие, что пробовали бежать с каторги, но их поймали и снова заковали в кандалы.

Пожизненные арестанты, как и Кармалюк, ходили в кандалах, головы у них были наполовину обриты, от уха до уха, а на лбу — посиневшее клеймо. Куртки и штаны у них с одного бока были серые, с другого темно-рыжие. Среди каторжан особенно выделялся русский великан Фома Гаврилов из Смоленской губернии. Его за бунт в имении, так же как и Кармалюка, насильно отдали в солдаты, но он не покорился и там. Присмотревшись ближе к Кармалюку, услышав о нем от других каторжан, Фома как-то сам подошел к атаману и отрекомендовался:

— Прошу любить и жаловать... Храбрый воин русского царя Фома Гаврилов... Посадил на штык ротного... Ведь за правду можно и в штыки? Так я и поступил...

На его спину страшно было смотреть — вся она и поныне была в красных и синих кровоподтеках от шпицрутенгов. Но в Фоме еще кипела сила, и когда он бывал зол, его боялись даже часовые, а офицер и близко не подходил. Трахнет цепью, что на руках, — и готов, даже ногой не дрыгнешь. Он был старостой барака, и каторжане не только уважали его, но и боялись. Слово Фомы, как и слово Кармалюка, было для них законом.

Атаман вскоре сдружился с Фомой, а через него еще с несколькими верными единомышленниками. Устим рассказал им, что снова собирается бежать с каторги. Они охотно согласились поддержать Кармалюка и взяли на себя немалую часть забот. Крестьянская одежда была переправлена в шахту, сухари и сало тоже лежали там. Накануне бегства Фома Гаврилов передал Кармалюку собранные арестантами деньги — двадцать пять рублей серебром. Фома даже достал парик, оказавшийся как раз впору Кармалюку и прикрывавший синее

клеймо на лбу. Парик сделал дворовый артист из Орловской губернии. Барин изнасиловал его жену, и артист задушил барина.

Теперь все было подготовлено, и Кармалюк последнюю ночь ночевал в остроге.

— Ну, что ж, давай прощаться,— сказал Фома, присаживаясь на нары к Устиму.

У Мирона Волошки мелко задрожали веки, он прижался к плечу Кармалюка. Тимко Гречка повалился на голые доски и зарыдал. Чтобы заглушить рыдания, Тимко закусил рукав, только худые плечи его ходили ходуном да дрожали разбитые пальцы.

— Хватит вам, ребята! Хватит,— холодно сказал им Кармалюк.

— Пусть поплачет. Слеза сердце обмывает,— бросил Фома Гаврилов и вышел на середину барака. Подняв над головой скованные руки, он загремел кандалами, трижды громко свистнул — и шум на нарах и по углам тотчас стих. Каторжане повернули к нему головы и замерли в ожидании.

— Братцы,— сказал он,— что-то печально на сердце у вас, а уже весна скоро. Давайте же прославим нашего батюшку царя. Давно, чай, не молились за него, песен ему не пели. Споем, что ли?

— Споем,— отозвалось несколько голосов, и с верхних нар стали прыгать запевалы. Они уселись вокруг Гаврилова на нижних нарах, за ними встали подголоски, сзади подходили еще и еще — чуть ли не весь барак тесным кольцом окружил Гаврилова. Кармалюк уже слышал эту песню, знал ее на память, но сегодня она особенно поразила его. Тонкий, высокий голос завел ее протяжно и грустно, словно она доносилась издалека, из родной стороны:

Ах, тошно мне-е-е...

И-и-и в родной стороне-е-е...

Песню подхватили густые басы, печально жалуясь на свою судьбу. Они тянули мелодию медленно, неторопливо, ясно произнося каждое слово:

Все в неволе-е-е,

В тяжелой доле-е,

Видно, ве-ек веко-ова-а-ать...

А вот вплелась и серебристая нотка тенора и тянется все выше и выше:

Долго ль русски-и-ий наро-о-о-д
Будет рухля-ядью госпо-о-од...

Он еще не закончил выводить, как басы не выдержали и гаркнули во всю мочь, словно скала обрушилась в тихую речку, и по горам от этого прокатился оглушительный гром:

И людьми, как скота-а-а-ами,
Долго-о ль бу-ду-у-у-ут тор-гова-а-ать?

Барак был заперт на ночь, стража ходила вокруг, и песни перед сном петь разрешалось. Солдаты и офицер в караулке слов не разбирали, они слышали только мотив. И песня, вырвавшись из наболевших грудей, взлетала на могучих крыльях, билась о закопченные дубовые стены. От ее силы гасли бледные язычки плашек, покачивая на стенах гигантские, сказочные тени. Эту песню принесли в Сибирь беглые солдаты из Петербурга, где жил царь, и теперь она заговорила человеческим голосом о думах и чаяниях народа.

Песня пташкой рвалась на волю. Порой в ее мелодию вплетался звук кандалов, и тогда она звенела тонко и ровно, как натянутая струна. Устим Кармалюк, когда все уже кончили, мысленно продолжал петь ее, шепотом выговаривая каждое слово. Из задумчивости его вывел только холодный, громкий звук солдатской трубы, игравшей перед острогом отбой. Узники медленно разошлись по своим двухэтажным нарам. Где-то под печью отозвался сверчок, и Фома Гаврилов сказал в темных сенях, куда они вышли с Кармалюком:

— Ты, брат, возьми ее, эту песню, с собой на Украину. Она тебе пригодится. Возьмешь?

— Возьму,— Кармалюк пожал Фоме руку, так что железо зазвенело.

— Прощай,— тихо сказал Фома.

— Прощай,— ответил Кармалюк, и они крепко обнялись, трижды поцеловались по давнему русскому обычаю.

— А я приду летом вместе с твоим Мироном,— пообещал Фома.

— Хорошо... Я буду ждать вас на Подолье,— ответил Кармалюк, и они пошли спать.

Как долго тянулась для Устима эта последняя ночь! Он, казалось, не спал, а только дремал и все слышал сквозь легкий сон. То там, то тут вскрикивали каторжане: одни кого-то душили и резали, жгли и вешали, другие звали на помощь и клялись кому-то в своей правоте. А надо всем этим тяжело стонала вьюга и время от времени раздавался протяжный тоскливый крик стражи:

— Слу-у-шай!

Наконец ночь прошла, и в остроге заиграли зорю. В бараке хлопали двери, гремело железо. Солдаты выгоняли каторжан во двор, строили, чтобы гнать в шахту. Перед строем снова вертелся красный с перепоя офицер, по самые уши закутанный в рыжий башлык из верблюжьей шерсти. Кармалюк посмотрел на офицера, и ему вдруг стало досадно, что у него нет такого башлыка. Как бы он пригодился ему теперь, на этом колючем ветру, который сечет и бьет в лицо, пронизывая до костей.

У шахты офицер снова пересчитал каторжан, и они по отлогой штольне спустились под землю. У входа в шахту стояла стража. В глубоких штреках среди густой тьмы, где лишь изредка мерцали огоньки плошек, снова застучали кирки и ломы, забренчали лопаты и ведра. Медная руда залегала глубоко, в крепкой породе, долбить ее было трудно. Забои были расположены под самым потолком штрека, к каждому вела лестница, которую опускали и поднимали за собой сами каторжане. Десять пудов чистой руды должен был надолбить каждый, иначе урезывали хлебный паек, оставляли без горячей пищи, сажали на сухари и воду. Штейгер считал ведра с рудой, которые спускали на веревке из каждого забоя. Саночники волокли их по отлогому штреку на гора. Работа начиналась до восхода солнца. В одиннадцать был перерыв на обед. Обедать людей гоняли в острог, а потом снова в шахту уже до самого вечера.

Кармалюк долбил руду в одном забое с Гавриловым. Для его побега все было готово. И вдруг перед самым обедом в шахте раздался глухой гром и отчаянный крик Фомы Гаврилова:

— Спасайте! Кармалюка завалило!

Замерцали огоньки, слышалось торопливое шарканье десятков ног, а кверху по дороге, где остановились саночники, все несло и несло:

— Спасайте!

— Обвал в шахте!

— Носилки давай! Носилки!

На место обвала прибежал офицер с солдатами и увидал кучу земли и камней, под которой лежал Кармалюк. Ему уже освободили голову и одну руку, он медленно шевелил пальцами. Но лицо у него было черно и неподвижно, глаза крепко закрыты. Он едва дышал, огненный язычок плошки, поднесенный к его губам, не шевелился. Фома Гаврилов с каторжанами стояли на коленях и, тяжело дыша, разгребали породу над заваленным телом.

— Воды ему! — крикнул офицер и, схватив ведро, вылил Кармалюку на голову.

Устим открыл глаза и тихо застонал. Принесли брезентовые носилки и стали укладывать на них Кармалюка. В это время в противоположном конце штрека завязалась драка, слышался испуганный крик. Офицер с солдатами бросились туда, крепко ругаясь и проклиная каторжан. На дворе заиграла труба, призывая на обед, и каторжане вышли из шахты.

Кармалюка несли на старых брезентовых носилках с порывшими пятнами засохшей крови, красной глины и гашеной извести.

Первым за носилками шел Фома Гаврилов, за ним Мирон Волошка. Каторжане сочувственно вздыхали, охали, печально покачивали головами. Перед самым выходом из шахты, когда уже потянуло морозцем, Фома Гаврилов крикнул Мирону:

— Постой! Его надо с головой накрыть тулупом... Он весь мокрый от воды. Еще замерзнет по дороге в острог.

— Накройте, — разрешил офицер.

Каторжан снова пересчитали у выхода, потом у калитки острога и наконец впустили в барак. Фома с Мироном поставили брезентовые носилки на верхние нары и не отходили от них, пока не закончился обед. Они то и дело носили Кармалюку воду, даже где-то раздобыли крепкого чаю с сахаром, но он не притрагивался к еде, лежал неподвижно, словно спал. Офицер приказал оставить возле больного Фому Гаврилова, чтобы тот дождался прихода фельдшера из лазарета, а сам снова погнал каторжан на шахту. В бараке остался Фома и еще с десятков больных и слабых, которые стонали и охали по углам.

Фельдшер почему-то все не приходил. Его не было целый день, не пришел он и вечером, не наведаясь и на следующий день. Фома Гаврилов заявил об этом офицеру. Офицер поинтересовался, есть ли Кармалюк, пьет ли. Фома ответил, что есть и пьет. Тогда офицер равнодушно махнул рукой и повел каторжан на шахту. Он пришел с фельдшером в барак только на третий день вечером.

Подставив стол, они влезли на верхние нары, где стояли брезентовые носилки. Фельдшер откинул тулуп и чуть не свалился с нар. Под тулупом лежал длинный мешок, набитый землей, рядом мешочек с песком, а на нем старая каракулевая шапка Кармалюка. Тут же на мешке были его арестантская одежда и распиленные кандалы.

Офицер схватился за голову и в бешенстве заорал: — Убью! Перевешаю всех!..

Он схватил за горло Фому Гаврилова, и тряс в неистовстве, выкрикивая:

— Где Кармалюк, злодей? Где он?

Фома Гаврилов стоял перед ним крепкий, как дуб, даже глазом не моргнув, не пошатнулся, спокойно и рассудительно он объяснил:

— Почему же я знаю, где ваш Кармалюк? Мы его принесли на этих носилках и положили тут. Он лежал тихо и все воды просил. Ему давали воду. А сегодня, когда все ушли на работу, меня взяли на гауптвахту дрова колоть, воду на кухню носить. Я пошел и весь день там работал. Фельдфебель знает. Больше я Кармалюка не видал, господин офицер...

В бараке стало тихо. Каторжане, молча, но весело поблескивая глазами, выглядывали из своих углов, громко кашляли, звенели кандалами. В окно билась вьюга, из-за высокого забора доносилась тоскливая и протяжная, похожая на причитание, перекличка стражи:

— Слу-ша-ай!

Офицер пошатнулся и упал ничком на нары.

Фельдшер засуетился, расстегнул ему шинель и вынул из своего кармана зеленую бутылочку. Налив нашатырного спирта на вату, он провел ею по губам и под носом офицера.

Фома Гаврилов, высоко подняв голову, смотрел в запыленное окно под потолком.

Поздней осенью на прогулке из Севастополя в Георгиевский монастырь Александр Первый простудился и умер в Таганроге.

Во славу его, которую он украл у Кутузова в Отечественной войне 1812 года, в Петербурге была сооружена огромная каменная колонна с бронзовым ангелом. Этот ангел с крестом должен был символизировать для будущих поколений образ умершего императора. Но стихи Пушкина были сильнее царской колонны и пережили ее холодный камень. Поэт оставил о своем современнике Александре Первом такую память: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой». Царский памятник люди прозвали Александровской колонной и скоро забыли к ней дорогу, а стихи Пушкина остались жить навек.

После смерти Александра Первого на его столе в Таганроге был найден донос капитана Майбороды, в котором этот интендант, проворовавшийся на военных поставках, желая спасти себя, сообщал царю о существовании тайного Южного общества будущих декабристов в Тульчине и Умани под началом полковника Пестеля. Такой же донос агентов Шервуда и Бошняка, переданный через графа Витте, лежал в Петербурге. Нити обоих доносов тянулись с Украины к Северному обществу в Петербург. Оба доноса попали в руки третьего отделения тайной царской канцелярии, и генерал Дибич немедленно приступил к следствию. Но было уже поздно. Члены Северного общества успели подготовить вооруженное восстание против самодержца.

Смолкли церковные колокола, закончились повсеместные панихиды — царя проводили на тот свет. Войска присягнули новому монарху, наместнику царства польского в Варшаве, Константину, но он отрекся от престола. На престол взошел Николай Первый и приказал войскам присягнуть на верность ему. Вслед за войсками 14 декабря 1825 года новому царю должен был присягнуть сенат. Повстанцы решили силой оружия помешать этой присяге и захватить власть в свои руки. Но восстание с первых шагов разворачивалось неорганизованно. Уже с утра 14 декабря недосконально разработанный план стал рушиться. По плану было намечено, что Якубович с помощью морского офицера Арбузова

силами флотского экипажа, Измайловского полка и конной артиллерии захватит Зимний дворец, арестует царскую фамилию и уничтожит ее. На выполнение этого важнейшего замысла Якубович согласился добровольно. Остальные декабристы утром 14 декабря уже ждали вестей от Якубовича о том, что он захватил царский дворец. Но вместо того, чтобы с подготовленными к восстанию войсками идти на штурм дворца, Якубович утром 14 декабря прибежал на квартиру к Александру Бестужеву и заявил, что он отказывается выполнять взятое на себя поручение. «Вы затеяли неосуществимое дело,— заявил он,— вы не знаете русского солдата, как знаю я». План захвата дворца был сорван. Не овладели повстанцы и Петропавловской крепостью с арсеналом. Этого не выполнил полковник Булатов с гренадерским полком. Очень важным звеном в восстании было сосредоточение войск возле сената. Под угрозой оружия эти войска должны были заставить сенаторов не присягать Николаю, а по приказу восставших утвердить временное правительство и провозгласить от имени сената подготовленный повстанцами манифест. Для этого все восставшие полки и гвардейский экипаж должны были прибыть на Сенатскую площадь, к памятнику Петру Первому. Но прибыли не все полки, а только Московский гренадерский и матросы гвардейского флотского экипажа. Полковник Трубецкой, выбранный диктатором восстания, должен был явиться на площадь с самого утра, чтобы принять командование над восставшими полками и силой оружия поддержать требования декабристов к сенату. Но Трубецкой предал повстанцев и на площадь не прибыл. Он спрятался так, что его не могли найти ни Рылеев, ни Пущин. Братья Бестужевы, которые вывели на площадь Московский полк, а с ними Рылеев, Одоевский, Оболенский и Пущин стояли в бездействии, ожидая прибытия Трубецкого. Три тысячи солдат были выведены на площадь, но у большинства не было патронов. Не прибыла и артиллерия. Солдаты стояли неподвижно, и это была последняя горькая ошибка.

Весть о восстании в полках против нового царя облетела Петербург, и на Сенатскую площадь начали собираться простолюдины. Они плотной стеной окружили солдат и матросов, готовые вместе с ними идти в бой.

Народ гудел, волновался, уговаривал солдат идти на царский дворец. Но солдаты не могли двинуться без

команды, а из офицеров никто не решался принять командование, потому что все были в небольших чинах. Им хотелось командира с большим чином, с большими эполетами, с известным в армии именем, такого как Трубецкой. Но Трубецкой не появлялся.

— Что же это делается, братцы! — крикнул кто-то в толпе.

Ему отвечали возбужденные голоса:

— А то, что от нас спрятали завещание покойного царя!

— Какое завещание? Что в нем сказано?

— Царь, умирая, приказал дать крестьянам вольную...

— А дальше?

— Сбавить солдатам службу на десять лет.

— Неужто?

— Так чего же вы стоите? Бейте их.

Но солдаты недвижимо и молча мерзли на площади с пяти часов утра. Они видели, как несколько раз по площади пробегал возбужденный Кондратий Рылеев, о чем-то перешептываясь с братьями Бестужевыми. Офицеры все кого-то поджидали. Рылеев то убегал в город, то снова появлялся. Кое-кто из солдат узнавал его; накануне Рылеев побывал в полках, ночью он подходил к солдатам, к караульным, рассказывая, что их обманули, что цесаревич Константин не отказался от престола — его заставили отречься силой, потому что он хотел обнародовать завещание покойного царя. Это завещание об освобождении крестьян теперь спрятали во дворце и не показывают. Солдаты встречали эту весть с возмущением, выкрикивали: «Не хотим Николая! Ура, Константин!» А теперь он, Рылеев, то появлялся перед солдатами на миг, то снова исчезал, не говоря им ни слова о том, что дальше делать.

А тем временем царь собрал по другую сторону дворца верные ему войска, артиллерию, гвардейские части. Они прибывали ко дворцу со всего Петербурга, даже из окрестностей, и когда наконец повстанцы поручили командование войсками Оболенскому, он ничего уже не мог поделать. Было поздно.

Между тем тревога охватила весь город. Достигла она и дворца графа Ираклия Ивановича Моркова. Граф поспешно уселся в карету и скрылся вместе со всей семьей. Воспользовавшись переполохом в доме, бабка

Горпина и Оришка выскользнули из сырого подвала, где они ткали гобелены, на улицу. За ними увязались и остальные подолянки. Сенатская площадь была недалеко, и они прибежали туда как раз в ту минуту, когда на площадь под усиленной охраной въезжал новый царь, Николай. Белый конь ступал медленно, красиво выгнув дугою шею. Горпина хорошо разглядела нового царя. Он был бледен и все время озирался по сторонам, дергал без надобности сверкающую уздечку, гарцевал на одном месте, не решаясь подъехать к восставшим. Глаза царя были широко открыты и блестели, как стеклянные. Они напомнили бабке Николая-чудотворца в головчинецкой церкви, писанного Тропининым с их прежнего барина. Горпине стало страшно, и она закрыла лицо руками. Вокруг гудели и волновались фабричные в кожаных картузах, приказчики, торговцы пирогами, трубочисты, дворники и еще какие-то люди — судя по одежде, из простого звания.

Оришка дернула старуху за рукав и указала на строгое каре матросов гвардейского экипажа.

— Бабушка, гляньте, вон стоит матрос, что у художника был, когда мы деньги относили.

— Который? — спросила Горпина.

— Да вон, вон, третий с краю. Видите?

— Гляди-ка, он! — удивилась Горпина и принялась тереть ладонью глаза. Ей вдруг стало не по себе, перед глазами запрыгали черные точки, похожие на комаров. А ей так хотелось еще раз увидеть поближе молодого царя. Услышать его голос, а может, и коснуться губами святой руки помазанника божия. Но царь стоял уже далеко, окруженный свитой, генералами и двойной охраной.

Скоро от свиты отделился красивый всадник и поскакал к восставшим войскам. Это был военный генерал-губернатор Милорадович. Он осадил коня перед плотным каре и громко крикнул:

— Именем его императорского величества приказываю сложить оружие!

Прозвучал выстрел, и граф упал на шею коня. Испуганный конь рванулся и понес еще теплое тело генерала назад, к царской свите. Выстрел был меток. Теперь к солдатам подошел митрополит Серафим, заклиная их именем бога покориться царю. Солдаты стояли молча, равнодушно глядя, как он, сгорбившись, пошел обратно,

Как только митрополит вернулся к царю, на повстанцев рванулись гусары с обнаженными саблями. Они мчались аллюром, снег летел из-под копыт коней. Солдаты поднимали винтовки, блеснули острые штыки. Коня отпрянули и понесли всадников назад. Первая атака была отбита, но началась вторая. На повстанцев мчались конные гренaдеры, и Кондратий Рылеев крикнул народу:

— Бейте их! Чего стоите?

— А чем бить-то? — спросил кто-то.

— Поленья вот эти берите, — ответил Рылеев, — кирпичи, камни.

Люди бросились к колодам и кирпичам, лежавшим на месте постройки Исаакиевского собора, и навстречу гренaдерам полетели поленья, колья, камни, кирпичи.

Прозвучала команда:

— В штыки!

И вторая конная атака захлебнулась, как первая. Гренaдеры дрогнули и отступили.

Тогда к солдатам примчался новый посланец царя, полковник Сухозанет и передал последнюю волю монарха: приказ повстанцам сложить оружие, иначе по ним будут стрелять.

— Ступайте прочь! — крикнул Михаил Бестужев.

И пусть пришлют к нам кого-нибудь почище!... — прибавил Пущин.

Сухозанет повернул обратно и, подъезжая к царю, вынул из шляпы султан. Каре, окружившее царя, раступилось, в просвете показались пушки. Султан Сухозанета был сигналом. Ярko вспыхнули артиллерийские фитили, грянул первый залп, за ним второй, третий. В толпе раздались отчаянные крики раненых, снег окрасился кровью. Солдаты падали и тяжело стонали в предсмертных муках.

Батальон Бестужева дрогнул, и его солдаты побежали к Неве.

— За мной, братья! — крикнул им Бестужев и сбежал к реке.

На льду посреди Невы он стал строить солдат в колонны, надеясь пройти к самой Петропавловской крепости и захватить ее. Он думал собрать в крепости оставшихся повстанцев и начать переговоры с Николаем Первым, направив жерла пушек на царский дворец. Но по льду стала бить артиллерия, и все погибло.

Бестужев увидал рядом с собой матроса Ивана Дроздова, который ругал молодых солдат, падавших на лед, когда на них летело пушечное ядро.

— Чего кланяешься? — в ярости кричал матрос. — Разве оно, это ядро, тебе знакомо?

И вдруг затрещал лед, со всех сторон понеслись крики:

— Тонем!

— Спасите!

Лед трещал под ногами солдат, ломался разбитый пушечными ядрами. Люди барахтались в прорубях и молили о спасении. А пушки все били и били по льду, отсекая повстанцам путь к Петропавловской крепости.

Михаил Бестужев рванулся со своими солдатами обратно к берегу и повел их к открытым воротам Художественной академии. Но чугунные ворота перед ними закрылись, и солдаты столпились у каменной стены. На них уже летел эскадрон кавалерии.

— Спасайтесь, братья, кто может! — крикнул Бестужев, и солдаты стали разбегаться в разные стороны. А он побежал к знаменосцу и сказал: — Скажи своим товарищам — москвцам, что я собственной особой навсегда прощаюсь с ними. Ты же отнеси знамя тому офицеру, который скачет впереди на коне. Этим ты заслужишь помилование.

Солдат постоял мгновенье, словно колеблясь, а потом высоко поднял полковое знамя и пошел с ним навстречу коннице, которая мчалась на него, обнажив сабли. Михаил Бестужев видел, как знаменосец подошел к офицеру, протягивая полковое знамя, и как тот рубанул солдата с плеча. Знаменосец упал, обливаясь кровью. У Бестужева на глазах выступили слезы. Он сначала даже знал, но потом забыл фамилию этого ненавистного убийцы. Он помнил только, что она начиналась с частички «фон», и что офицер, положивший к ногам царя отбитое без боя знамя, получил Владимира с бантом за храбрость.

Может быть, от грохота артиллерии, который она слышала впервые, а может, от нервного потрясения, но глаза у бабки Горпины стали видеть ясно, и она испуганно оглянулась вокруг. Сквозь дым и огонь, при последних лучах вечернего солнца она вновь увидела вдали молодого царя Николая на белом коне. Царь, приложив руку ко лбу, смотрел на окровавленную Сенат-

скую площадь, на трупы своих солдат и верноподданных. Потом спрыгнул с седла, и его тотчас подхватили под руки, чтобы не дай бог не упал. Николай, не оглядываясь, быстро поднялся по широкой лестнице на высокое крыльцо и скрылся во дворце. Высокие двери тотчас захлопнулись, и возле них выросли два здоровенных солдата, с блестящими саблями.

— Боже мой милостивый,— простонала Горпина.— Еще и на престол не взошел, а уже весь в крови... Помазанник божий...

Она прижалась к перепуганной Оришке и принялась боязливо открещиваться от царского дворца, словно от нечистой силы. Окна дворца поблескивали холодно и мертво. За одним из этих окон, верно, стоял царь и смотрел, как конная гвардия и артиллерия гнали и расстреливали повстанцев и простых людей. Оришка с девушками силой утащила Горпину с площади, и они, прижимаясь к каменным стенам, прячась от выстрелов, побежали ко дворцу графа Моркова.

Подольянки уже входили в железную калитку, ведущую к черному крыльцу, но тут на них налетел матрос гвардейского экипажа Иван Дроздов.

— Спасите,— чуть слышно простонал он и пошатнулся.

Оришка и девушки подхватили его под руки, втащили во двор и наглухо заперли калитку.

За каменной стеной со свистом пролетали и рвались пушечные ядра, чиркали о камень и железо пули и слышались отчаянные крики раненых. С гиканьем и ревом мчались кавалеристы-гренадеры, и их сабли то и дело высоко взлетали над оградой.

— Спрячьте меня... Я уйду, когда стемнеет,— шептал Дроздов, облизывая окровавленные пересохшие губы. Кровь стекала со лба, капала на грудь. Из кармана торчала бескозырка с золотыми буквами на ободке, и две гвардейские ленточки с якорями на концах трепетали на ветру.

Девушки испуганно переглядывались, не зная, что им делать. Они еще и сами-то не обжились в этом доме, а тут такая беда. Выйти из трудного положения помог дворник.

— Айда, несите в подвал, а то управитель увидит. А я уж постерегу, чтобы все ладно было,— сказал он.

Подольянки снесли матроса в глубокий каменный подвал, где в ряд стояли их ткацкие станки и где они спали на дощатых нарах. Тут, за кучами крашеной шерсти и полотна, Оришка и бабка Горпина быстро постлали раненому незаметную для постороннего глаза постель. Они теплой водой смыли кровь со лба, перевязали рану, напоили матроса горячим чаем. Придя в себя, матрос все порывался уйти, благодарил за спасение.

— Куда же ты пойдешь, на ночь глядя? — укоризненно спросила Горпина.

Матрос зорко посмотрел на нее и не нашелся, что ответить.

— Не знаю, — после долгого молчания проговорил он. — Все пропало... А кто виноват? Офицеры. Надо было всем с патронами выходить на площадь и сразу же взять царя и всех министров. А мы, дураки, не догадались. Эх, горе наше, да и только... В экипаж пойдешь — в Сибирь погонят, на каторгу... В село сбежишь — барин полиции выдаст... Не знаю, куда мне идти...

— А ты побудь у нас, пока все успокоится... Раз дворник сказал, значит, спасем... А там видно будет, — проговорила Оришка и зажгла восковую свечу.

Матрос не ответил и вскоре уснул крепким сном.

Девушки сели к станкам, и ровный стук ляды, тонкий свист челноков снова наполнили подвал ровным ритмом ткацкого труда. Они ткали молча и в тот вечер уже не пели. Горпина не выдержала и, тихо выскользнув из подвала, незаметно прокралась вдоль стен, мимо темных домов на Сенатскую площадь поглядеть, что там творится. Там спряталась в подворотне, и ей все было хорошо видно.

По всей площади горели огромные костры и возле них грелись солдаты. К Неве до сих пор свозили на санях трупы и скидывали в проруби, под лед. Дворники соскребали кровь с мостовых и засыпали кровавые лужи свежим снегом. Со всех улиц на Сенатскую площадь глядели черные жерла орудий. Возле пушек бегали солдаты, держа наготове зажженные фитили. Все время то к одному, то к другому костру приводили все новых и новых задержанных солдат и офицеров. Тут их допрашивали и под конвоем отправляли в Петропавловскую крепость. В окнах царского дворца было темно, и

они холодно отсвечивали зеленоватым лунным светом. У одного из костров офицер громко говорил солдатам:

— Кто не поп — тот батька, и не все ли равно, кто тебе выдергивает усы, тот или другой. А вы не хотели здороваться с новым царем! Нет, брат! У меня хоть и медный налобник, да лоб не медный. . .

— Все едино! — ответил ему чей-то хриплый, простуженный голос.

И снова стало тихо и страшно на этой проклятой площади.

Горпина сплюнула через плечо на все четыре стороны, трижды прошептала заклинание от нечистого духа и, перекрестившись, сонно побрела в свой подвал. За весь вечер она ни словечком не перемолвилась с Оришкой.

Матрос гвардейского экипажа Иван Дроздов жил у них три дня. На четвертый дворник принес ему лапти и лохмотья, в каких ходят нищие. Матрос переоделся, перскинул через плечо заплатанную котомку и распрощался с подолянками. Свою матросскую форму он приказал сжечь в печи. Он взял из нее лишь гвардейскую ленточку от бескозырки, надел на нее крестик и, сунув под рубашку, поплелся со двора с длинным посохом в руках.

Бабка Горпина вытерла слезы, проводила матроса за порог и тихо сказала ему:

— Ты, сынок, пробивайся в Москву белокаменную. . . Там тот наш барин, Тропинин, живет. . . Он атамана Кармалюка выручал, он и тебя приголубит. . . Ты ведь знаешь его, сынок? . . Он, кажись, и тебя малевал. . .

— Это правда, бабушка. . . Я знаю его, — повеселел матрос. — Спасибо за совет. . .

— Только не ходи, сынок, столбовой дорогой, а то поймают. Пробивайся окольными проселками, по селам да хутором, подальше от тракта. А то и на работу наймись, пока поутихнет. . . Пересиди у людей это лихо-летье. Может, и годок подожди. . .

— Спасибо вам.

Матрос поклонился старухе и пошел.

Он был небрит, нарочно сгорбился и ничем не отличался от калек, просящих милостыню на паперти. Бабка крестила его вслед и шептала молитву.

Весть о восстании декабристов и о кровавой расправе царя на Сенатской площади всколыхнула всю Россию. Устим Кармалюк услышал об этом по дороге из Нижнего Новгорода в Москву, куда он шел, нанявшись погонщиком в купеческий обоз. Он очень долго, почти год добирался из Сибири на родное Подолье. После того, как Фома Гаврилов помог устроить на шахте завал и Устим лежал на земле, слегка засыпанный песком и породой, началось самое трудное. Как они и предвидели, офицер не догадался о хитрости Кармалюка. Когда Устима облили водой и уложили на носилки, офицер с солдатами побежали в дальний штрек, где арестанты нарочно учинили драку. В это-то время Кармалюк и соскользнул с носилок, а вместо него положили мешок с породой, снятые с Устима кандалы и арестантскую куртку. Носилки унесли в острог, а Кармалюк остался в шахте. Переодевшись, нахлобучив парик, он ночью спокойно выбрался из своей норы и окольными тропочками направился к первой же почтовой станции. В кармане у него был паспорт на имя давно умершего мещанина, раздобытый все тем же Фомой Гавриловым через одного каторжанина, который работал канцеляристом в острожной тюрьме. С этим паспортом, не тратя зря времени, Кармалюк пристал к торговому обозу, который вез из Сибири дорогие меха и медвежьи шкуры. Новая профессия погонщика обошлась ему в десять рублей ассигнациями, и он прошел около двухсот километров за харчи и грошовую плату. Устим рассчитывал, что за ним уже по всем дорогам послана погоня, и потому нанялся в другой обоз, который шел обратно в Сибирь. Так и ходил Кармалюк по Сибири между тремя почтовыми станциями, туда и обратно. Его уже знала полиция, и стража даже часто расспрашивала, не встречал ли он по дороге беглого каторжника по фамилии Карманюк. Ему было приказано тотчас уведомить полицию, если он где-нибудь встретит Карманюка. Так прошла весна, и Кармалюк, выхлопотав себе бумагу о добросовестной службе погонщика на почтовой станции, спокойно направился через Кунгур, Казань, Чебоксары в Нижний Новгород. Но тут полиция неусыпно охотилась за беглыми каторжниками и крепостными, и ему пришлось наняться грузчиком на волжские причалы. Волосы на

голове у него давно отросли и уже скрывали след каторжного клейма, которое постепенно бледнело и сходило. Своей покорностью Кармалюк заслужил уважение даже у полиции, часто подбрасывая блюстителям порядка среди бурлаков магарычи. Он хотел оттянуть время, пока полиция на Украине начнет забывать о нем и сообщение о бегстве из Тобольска положат под сукно. Когда истекло достаточно времени, Кармалюк ушел из Нижнего Новгорода и направился на Украину. Теперь бумаги и паспорт были в полном порядке, и при встрече он смело шел на полицию. Уже под самой Москвой Устима встревожили слухи о декабристах. Он прислушивался к разговорам, ловил каждое слово, но точно ничего не мог узнать. В Москве на ночлежном дворе какой-то человек посоветовал ему пройти в храм Василия Блаженного: там каждый день бывает много богомольцев, и всякий раз читают и перечитывают царский манифест о кровавых событиях в Петербурге.

Утренняя служба в соборе уже началась. У входа протягивали руки старики и калеки, плакали и причитали юродивые, толпились богомольцы в лаптях. Надо всем этим плыл синеватый дым из кадильниц, сладко пахло ладаном и свежими красками. В крайнем притворе двое живописцев подмалевывали старый иконостас, негромко беседуя о чем-то. Кармалюк стал возле них и принялся класть земные поклоны перед блещущим огнями алтарем.

Наконец служба кончилась, и Устим горячо прошептал:

— Боже мой милостивый! Сколь люду бедного стоит перед тобой на коленях... А ты и не видишь его... Смилуйся хоть теперь над нами, грешными...

В храме воцарилась могильная тишина, и громовой голос с амвона зазвучал над головами людей. Поп читал высочайший манифест:

— «Божьею милостию Мы, Николай Первый, император и самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, прочая. Объявляем всем Нашим подданным. Печальное происшествие, омрачившее 14 день сего месяца, день обнародования манифеста о восшествии Нашем на престол, известно уже в подробностях из первого публичного о нем объявления. Тогда как все государственные сословия, все чины, военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили Нам присягу верности и в

храмах божиих призывали на царствование Наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону власти, военному порядку и убеждениям. Надлежало употребить силу, чтобы рассеять и образумить сие скопище. В сем кратко состоит все происшествие, маловажное в самом себе, но весьма важное по его началу и последствиям. . .»

Голос попа звучал под сводами храма все громче и громче, и Устим Кармалюк уже не слушал его. Он сам встречал на Волге беглых солдат из Петербурга, которые спасались от царской кары за вооруженное выступление с декабристами на Сенатской площади. А в царском манифесте было сказано, что их простили. Беглые рассказывали, что царь в тот день расстрелял из пушек сотни солдат, а в манифесте об этом не было ни слова. Кто же оплатит за смерть тех, что сложили свои головы перед царским дворцом за волю? Кто поможет их женам и детям, несчастным сиротам? Кармалюк нервно кусает усы, сжимает кулаки, уже не слышит того, что этот манифест был дан в Петербурге в первый день нового царствования и на нем его императорского величества рукой начертано: «Николай».

И вдруг Устим слышит, что повстанцы в Петербурге были не одиноки. Что против царя подняли оружие и там, на Украине, за широким Днепром. Тут Кармалюк напрягает все свое внимание и ловит с амвона каждое слово.

— «Черниговского пехотного полка подполковник Муравьев-Апостол, по сделанным открытиям и показаниям соучастников, оказался одним из главных злоумышленников, стремящихся ко всеобщему беспокойству и разрушению благосостояния государства. В то самое время, как по открытии сего преступления приступлено было к арестованию подполковника Муравьева-Апостола, он нанес несколько ран полковому своему командиру подполковнику Гебелю и успел возмутить часть Черниговского пехотного полка. Он арестовал посланных за ним фельдъегеря и жандармов, ограбил полковую казну, освободил закованных каторжных колodников, содержащихся в Васильковской городской тюрьме, и предал город неистовству нижних чинов. Он двинул с войском через Фастов на Белую Церковь, в надежде успеть овладеть у графини Браницкой значительной суммой. Но со всех сторон он был окружен у

деревни Устимовки, где мятежники защищались. Подполковник Муравьев ранен, брат его застрелился, один офицер убит, кроме других раненых и убитых...»

«Неправда! — хочет крикнуть Кармалюк, но не может. — Новый царь врет, как и старый. Не мог полковник Муравьев грабить казну для себя, раз он восстал за волю. Не мог! Он для солдат и для бедных людей брал! Боже мой! А сколько же их еще, этих других, раненых и убитых? Об этом поп не говорит с амвона. Молчит и царь в своей бумаге... Вот как все делается... А он, Кармалюк, в это время спокойно сидел на Волге и грузил на баржи мешки с хлебом. Почему же ему не посчастливилось быть там, в Василькове, под Киевом, где выпускали из тюрьмы закованных узников, где хоть несколько дней люди были свободны? Нет, так нельзя. Скорее туда, на Украину, где ждут верные побратимы, грозные мстители. Чего же он стоит тут, в церкви? Неужто в Москве нет никого, кто расскажет ему правду? Не может быть... Такие люди должны найтись».

Глухим и равнодушным голосом поп произносит приговор царского суда.

Пять декабристов повешены в Петербурге. Пестель, Рылеев, Бестужев, Муравьев, Каховский. Вечная им слава и память! Остальные осуждены на каторгу в Сибирь. Может, их сейчас уже гонят по этапу тяжелым Владимирским трактом? Боже мой! Что ты делаешь на этом свете? Куда смотришь своим всевидящим оком?..

Кармалюк быстро выходит из церкви и, расспрашивая прохожих, ищет дом графа Моркова, где обязательно должна быть дворовая челядь из Подолья. Он узнает у нее обо всем, что делается на Украине.

Дом графа Моркова стоит в тихом переулке, куда не долетает гам торговых рядов, крик торговок бубликами и разносчиков мелочного товара. Только где-то за углом приглушенно и жалобно играет шарманка да из трактира доносятся хриплые пьяные голоса. Кармалюк садится на каменную тумбу у черного хода и медленно раскуривает трубку. Его окликает дворник в белом переднике с метлой в руке:

— Проходи, братец, тут сидеть не велено.

— Простите, барин, я земляков ищу. — Кармалюк нарочно называет дворника барином, и, снимая шапку, низко ему кланяется.

Это понравилось дворнику, и он уже ласковее спрашивает:

— Каких земляков?

— С нашей Украины, там, где имения графа Моркова стоят. Нет ли во дворце людей из тех мест? — допытывается Кармалюк.

— А кого ты знаешь среди тех земляков? — неожиданно спрашивает дворник.

Кармалюк не ожидал такого поворота и, чтобы не выдать своего замешательства, долго высекает огонь для трубки. Но вдруг, словно что-то внезапно вспомнив, он засунул кресало в карман и радостно сообщает:

— Погодите-ка! Что земляки! Я знаю самого господина художника Тропинина!

— Знаешь? — удивленно разводит руками дворник. — Откуда?

— Я служил при них, когда они церковь расписывали у нашего барина. Такой русый, с бакенбардами, низкого роста, в золотых очках.

— А звать его как? — уже совсем ласково отзывается дворник.

— Василий Андреевич.

Лицо дворника расплывается в добродушной улыбке, он высоко поднял брови.

— Э-эх, братец. Тропинин уже три года не живет у нас, вольную получил без выкупа. Теперь он сам себе барин... Дом у него свой, выезд и все такое прочее... Теперь граф Морков сам изволит ездить к нему в гости.

— А где же он сейчас? Где? — быстро спросил Кармалюк.

Дворник подошел ближе и угостил Устима понюшкой табаку из перламутровой табакерки.

— Раньше жил в столице, да не захотел и сейчас живет тут, на Волхонке. Там спросишь, и тебе всяк укажет. Сердечный Тропинин человек.

— Спасибо вам, барин, — радуется Кармалюк и собирается уходить.

— Погоди, — останавливает дворник. — Только как придешь, первым делом передай привет от меня. Скажешь, что от Силантия Маркеловича... Не забудь прибавить, что это я тебя направил к ним, ежели он тебе обрадуются. А не обрадуются, так не говори про меня... Уразумел?

— Уразумел! — отмахивается Кармалюк, чтобы избежать дальнейших расспросов, и исчезает в переулке.

Окликнув извозчика с пролеткой, он, словно купец, властно приказывает везти его на Волхонку. Кармалюку кажется, что едут они слишком долго, что извозчик нарочно везет его дальней дорогой, чтобы затянуть время и содрать побольше денег. Они проехали мимо шумных лотков ряда, миновали покосившиеся домишки разночинного люда, те места, где Москва похожа на большое приволжское село. Но вот долгая езда закончилась, и Кармалюк, расплатившись с извозчиком, взошел на резное крыльцо из сосновых досок. Вот как все изменилось! Был художник Тропинин дворовым крепостным — и вдруг стал вольным. И без выкупа! Что же это значит? Может, скоро и всем людям воля выйдет? Может, новый царь одумается? Нет, навряд ли это произойдет по доброй воле царя.

Приоткрылась запертая на цепочку дверь, и бородастый швейцар грубо говорит:

— Не принимают... Не велено никого пускать.

— Скажи, что с Украины... Меня господин Тропинин писал и приказал прийти к нему, — решительно говорит Устим, и бородач, удивленно пожимая плечами, прикрывает за собой дверь.

Кармалюк ждет спокойно и терпеливо. Через некоторое время за дверью послышались быстрые шаги, глухое покашливание, и на пороге вырос Тропинин: Он был в алом бархатном жилете, в пушистом халате, с расстегнутым белым воротником. Лицо округлилось, он заметно пополнил. Над высоким розоватым лбом появилась лысина.

— В чем дело, братец? — спросил Тропинин.

Кармалюка это так обрадовало, что он чуть не заплясал. Вот так так! Его не узнал сам Тропинин. Значит, ловко он изменил свое обличье. Стало быть, его трудно будет узнать и господам, и шляхте там, на Украине.

— Простите, барин, — сказал он, — но как-то в церкви я взял в долг у вас сто злотых. Вы тогда иконостас нашему барину расписывали. Теперь я хочу...

— Боже мой! Прошу в дом... Почему вы сразу не сказали о себе? Ага, понимаю.

Тропинин широко распахивает дверь, ведет гостя по скрипучим ступенькам на второй этаж, в свою мастер-

скую. Кармалюк видит, как бородатый швейцар топчется на месте и все кланяется ему.

— Нет, это просто сон,— не унимался Тропинин. . . — У меня сегодня такой день, что и не придумаешь, даже если захочешь. Одна за другой полные неожиданности. Нет, это здорово, ей-богу! А вы один пришли? За вами, случайно, никто не следил?

— А кто будет следить? Если даже вы меня не узнали, так куда уж полиции! Это в Сибири приходилось бояться, а здесь много всякого люду шатается, не страшно,— успокаивает художника Кармалюк.— Слава богу, вырвался. . .

— Вам надо остерегаться. . . В наше время шутки плохи. Так неосторожно разгуливать по Москве! Как можно! . .

— Бог не выдаст — свинья не съест,— пошутил Кармалюк.

— Раздевайтесь, сейчас чай пить будем,— пригласил Тропинин.

В мастерской от легкой шторы, закрывающей широкое, в полстены окно, царил прозрачный синеватый полумрак. На мольберте стоял незаконченный портрет какой-то дородной, сытой женщины, верно, знатной купчихи. По стенам в бронзовых рамах были развешаны портреты именитых дворян с орденами и наброски с простых людей, сделанные на московских улицах. Среди них Кармалюк увидал один рисунок карандашом. Сгорбленная женщина в очипке и запаске жала рожь серпом. Усталая, худая, как и все на барщине. Она чем-то напомнила Кармалюку жену Марию, и он опустил голову, тяжело вздохнув.

Тропинин подошел к пестрой ширме, которая отгораживала глухой угол в мастерской, и сказал:

— Ну, Иван, выходи к нам, познакомься. Это такой же, как и ты, бедняга. Вас обоих, я думаю, одна мать на свет произвела — господская неволя.

Ширма покачнулась, за нею послышался кашель, и к Кармалюку вышел весь в лохмотьях, с котомкой через плечо матрос гвардейского экипажа Иван Дроздов. Потемневший от солнца и ветров, с густой бородой он очень походил на портрет старого нищего, висевший рядом с каким-то графом возле окна.

Они поздоровались за руку, и Тропинин, глядя на Ивана Дроздова, сказал Кармалюку:

— Он был на Сенатской с декабристами. В него стреляли и ранили. Страшно то, что он рассказывал мне, как очевидец и участник восстания. Я надеюсь, вы уже знаете, о чем я говорю?

— Знаю. Слышал уже,— хмуро ответил Устим.

— На случай, если придет непрошенный гость,— сказал Тропинин,— вы оба мои натурщики. Я нашел вас на Хитровом рынке и привел сюда на этюды. Так надо отвечать, если вдруг спросят. А теперь, я думаю, Иван, мы продолжим наш разговор.

Они сели у круглого столика на гнутых ножках, и Тропинин взял в руки французскую газету.

— У нас об этом не пишут, господа, а вот во Франции написали. После допроса членов Тайного общества наш император Николай Первый имел разговор с послом Франции Ла-Ферроне и сказал ему такие слова. Слушайте же, что сказал о декабристах наш царь: «Это не военный бунт, а широкий заговор, направленный на осуществление самой нелепейшей цели... Идет речь не только о существовании России, а и о спокойствии всей Европы. Страшно даже подумать, что могло произойти. С первым же появлением на революционной арене россияне превзошли бы ваших Робеспьеров и Маратов». Так боялся декабристов царь. Вот почему,— Тропинин обратился к Кармалюку,— я берегу, как самое бесценное сокровище ваши сто золотых, которые привезла мне в Петербург бабка Горпина.

— Привезла все-таки! Вот какие у нас люди! — задумчиво покачал головой Устим, и глаза его горячо блеснули.

— Я не отдам их вам, я заплачу намного больше ассигнациями, пусть они всегда напоминают мне о свободе, за которую вы пошли на все. Может, это и наивно, но мне они дороги. Рассказывают, что когда ночью вешали декабристов,— продолжал Тропинин,— двое сорвались. Бедного Рылеева вытащили из ямы, куда он свалился, и Рылеев сказал перед смертью: «За счастье России я согласен умереть дважды». Вот какие это были люди... Много их сослано в Сибирь, и наш дорогой Пушкин обращается к ним с такими словами... Куда же я их дел? — засуетился Тропинин, ища в карманах и в ящиках стола нужную ему тетрадь. Наконец он нашел ее и дрожащим голосом проговорил:

— Вот послушайте, какое послание написал Пушкин

в далекую Сибирь. Я обязательно напишу благородный и живой портрет Пушкина.

Тропинин встал и, раскрыв тетрадь в черной обложке, тихо, но выразительно прочитал пушкинские строки, посвященные осужденным декабристам:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы,
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Когда он закончил читать, в мастерской еще некоторое время царило напряженное молчание, потом матрос Иван Дроздов вздохнул и сказал:

— Дайте мне, барин, эту песню. Я перепишу ее себе на память.

Кармалюк с завистью посмотрел на матроса и смущенно покачал головой. Свободно разговаривая на русском, украинском, польском и еврейском языках, он был неграмотен. На всех судебных бумагах вместо своей подписи Кармалюк неизменно ставил крестик или вручал кому-нибудь другому перо для росписи. Сейчас это особенно больно ранило его и горько опечалило.

На плотине Марию Кармалюк снова перехватил господский приказчик. Он наехал прямо на нее, и Мария почувствовала у себя над головой жаркое дыхание коня и резкий запах пота. Конь тряхнул гривой, и густая пена с его губ брызнула Марии на грудь. Женщина испуганно закрыла лицо руками. Но на этот раз приказчик

даже не поднял на нее плетку. То, что он сказал, было больнее всякого удара.

На теле Марии уже заживали раны, которые ей нанесли в имении по приговору Каменецкого суда в наказание за ее Устима. Но теперь ей показалось, что они вновь открылись и больно заныли. Мария бежала мимо пруда домой, а в ушах у нее звенели едкие, злобные слова гайдука: «Змею на сердце греешь, а не сына! Сегодня снова крал яблоки в господском саду. Гляди, вырастет и тебя в Сибирь загонит, сгубит на каторге! Сегодня яблоки ворует, завтра коней станет уводить! Муж — душегуб и разбойник, так ты сына хоть попридержи, не пускай по отцовским следам». В самое сердце ранил Марию гайдук. Она увернулась от коня и в остервенении бросила: «Не твое дело!» Но на душе у нее от этого не стало легче. И без того господ и шляхта отыгрываются на ней за Устима, а теперь хотят впутать в это дело и сыновей.

Мария до сей поры не знает, что случилось со средним сыном Остапом еще с того зимнего вечера, когда она вернулась с ним после суда. Сам не свой стал мальчонка. Совсем от рук отбился. Мария злилась на него, таила эту злость. Как же так — сын отца на суде выдал! Зовет его Мария ужинать — не идет, спросит о чем-нибудь — молчит, насупив брови. Не раз уже наказывала она его за непослушание, и никакого толку. Съежится где-нибудь в уголке, закроет голову руками, и не плачет, даже голоса не подаст, стиснет зубы, стонет. И слезы из глаз не выжмешь. Мария же целыми днями на барщине. То на поле, то во дворе, то в лесу. Ей трудно приглядывать за Остапом. Она не знает, где он слоняется по целым дням, что делает, с кем водится. Люди передавали, что не раз видели Остапа за селом, у придорожной корчмы. Слонялся между возов, носил воду корчмарю. Горит от стыда Мария, слушая о сыне такие слова. А тут еще приказчик масла в огонь подлил. Нет, это уж нестерпимо. Забираться среди бела дня в господский сад за яблоками! А подумает — и жаль Остапа. Своих-то яблок нет, а полакомиться мальчонке хочется. Сколько там он этих яблок мог нарвать, а славы на все село. Теперь завопит шляхта: «Карман! Вор! Разбойник!»

Мария сама не своя бежала к хате, ей казалось, что все село уже знает об украденных в помещичьем саду,

яблоках. Что ж ей делать, от кого ждать помощи? От Устима? Нет его, и неведомо, вернется ли он в родное село. Верно, выпали ему на долю Сибирь и вечная каторга, раскаленное клеймо на лбу, а не заботы о сыновьях. Сложит он там свои косточки, а к детям не вернется. И перед глазами снова и снова вставал, словно из тумана, далекий, недосягаемый Устим. Мария вспомнила памятный зимний день в Каменце. После суда Кармалюка не сразу погнали на каторгу. Ждали, пока соберется большая партия каторжан. И потому Мария, отбыв наказание в Литине, смогла прийти в Каменец, чтобы проводить мужа в дорогу, в далекую Сибирь. По ту сторону реки, в Пидзамчем, вывели узников из крепости на площадь. Мария стояла в толпе вместе с односельчанами. К Устиму ее не пустили. Узелок с хлебом и два последних злотых, которые она хотела дать ему на дорогу, так и остались у нее до конца экзекуции. Устим спокойно лежал на скамье, а над его белым телом свистели соленые розги. Не один, не два, — сто один удар. Он вытерпел эту страшную муку, даже не вскрикнув. Только покачнулся и застонал, когда палач приложил ему ко лбу три железные печати с раскаленными шипами. Мария не вынесла такого позора и боли. Закрыла глаза ладонями, бросилась прочь из толпы, прижимая к груди узелок с хлебом.

Заплакала только поздно вечером, когда всех каторжан погнали из Каменца в дальнюю сибирскую дорогу. В серой молчаливой толпе Мария искала и не могла найти своего Устима. Узелок с хлебом и два злотых она отдала какому-то парню, тоже уходившему на каторгу. Он долго благодарил Марию и все спрашивал, кто она и откуда. Не сказала. Побоялась назвать себя. Многие арестанты были осуждены и шли в Сибирь за ее Усти-ма, и, может, кое-кто мысленно проклинал его за это. Этого Мария не ведала, только знала теперь — не одинок ее Устим. Вон сколько людей поднял он против господ! Не покорился царской силе. Пусть же и остается таким. Дай ему бог счастья! А сыновей она им не отдаст. Не пустит на скользкий путь! Пусть господа врут, что хотят! Весь род Кармалюков честный, трудовой, и дети такими вырастут...

Мария свернула на луг и, прячась между головастыми подсолнухами, тихонько подкралась к своей хате. Ей захотелось подойти к детям незаметно, посмотреть, что

они сейчас делают. Во дворе было тихо, на кудрявом спорыше поблескивала вечерняя роса, синее небо, усыпанное звездами, низко нависло над селом, и казалось — давило всё тяжестью на землю. Душно, нечем дышать. Мария остановилась, незаметно выглядывая из-за угла хаты, и сердце у нее готово было выскочить из груди.

Дети сидели на пороге, поджав ножки. Перед ними в старой глиняной миске еще дымился кулеш. Постный, жиденький кулеш из горсточки пшена. Картошка в нем прошлогодняя, сладкая и осклизлая. Дети набирали это варево в деревянные ложки осторожно, чтобы не расплескать. Хлеба в хате давно не было. И они подставляли ладони под ложки. Так шло уже вторую неделю.

Остап сидел у порога на завалинке. Иван — напротив него, спиной к Марии. Видно, братья вдосталь наговорились и теперь каждый думал о своем. Мария уже собралась выйти из своей засады, но тут Иван вдруг нарушил молчание.

— Ешьте. Я сегодня полный чугунок наварил. Еще и матери останется.

Остап взмахнул ложкой, тихо свистнул, и его скуластое лицо расплылось в улыбке.

— Не свисти! — прикрикнул Иван.

— А что? — рассмеялся Остап.

— Матери расскажу, вот что, — сурово пояснил Иван.

— Ну и говори, больно я тебя испугался.

— Ешь, коли дают, да помалкивай! Потом поговоришь, — успокоил его Иван. И дети снова молча застучали ложками о дно щербатой обливной миски.

— А ты, Иван, хороший повар! Тебя и чумаки могут к себе в обоз взять, — похвалил брата Остап.

— Чумаки? А где ты чумаков видел? — удивился Иван.

— Ого! Чумаки и отца нашего знают, — похвалился Остап.

— Отца знают? — Иван приподнялся. — А что ж они про нашего отца знают?

— Хвалят очень. Выпили за его здоровье по чарке, мне тоже давали, да я не захотел. Горькая очень. Тогда старший дал мне два гроша. Вот какие они добрые чумаки.

— Покажи! Покажи деньги! — в один голос воскликнули оба брата.

Остап не спешил показывать деньги. Он гордо поднял голову и прижал руки к груди, словно боялся, что у него отберут чумацкий подарок. Но братья уже побросали ложки и окружили его. Остап таинственно огляделся по сторонам, замахал на братьев кулаком, чтобы замолчали, и важно сказал:

— А матери не расскажете? Ну, глядите. У меня скоро еще будут деньги. Я у чумаков много выпрошу и куплю себе пистолет. Настоящий, такой, как у отца за поясом был. С ним я куда хочешь уйду. Чумакам соннился, что скоро отец вернется к нам из Сибири. Вот как будет!

Остап сунул руку за пазуху и вынул грязный узелок. Он зажал его в руках и долго развязывал зубами, пока в нем не зазвенели крошечные медяки. Один из них он протянул Ивану:

— Смотри! Можешь и на зуб попробовать. Настоящие деньги,— сказал он и весело присвистнул.

Иван нахмурился.

— Остап, опомнись, послушай мать. На что тебе пистолет и эти деньги? Ты вон и отца...

Остап задрожал и побелел. Марии даже показалось, что глаза его лихорадочно блеснули, а может, на них просто выступили слезы. Остап вскочил, выпрямился как молодой дубок перед бурей. Голос его сорвался на высокой ноте.

— Змея ты! — крикнул он Ивану. — Что я тебе сделал? Что? Что отца? Разве я нарочно? Думаешь, если ты старший, так тебе все можно? На, бей!

Он выскочил на середину двора и схватил камень, что лежал возле бадьи. Там было много камней, Мария кипятила с ними белье.

— Брось камень! — закричал Иван, топнув ногой.

Его громкий крик больно хлестнул Марию по сердцу, и она вбежала во двор, как безумная.

Увидев мать, Остап сразу остыл. Он тихо бросил камень, молча снес легкий материнский шлепок по спине и, опустив голову, пошел к порогу, исподлобья злобно поглядывая на веселого Ивана, который уже вертелся на одной ноге и щебетал возле матери, приговаривая, что он не виноват, что ссору затеял Остап, который и до сей поры не покаялся, совсем не слушает Ивана и говорит, что даже матери не боится.

Мария, не владея собой, схватила Остапа за шиворот и больно ударила спиной о дверной косяк. Мальчик только вскрикнул:

— Мама!

Мария пошатнулась и простонала:

— Долго ты меня будешь мучать, полоумный? Где чумацкие деньги? Я все слышала...

— Не отдам деньги,— зашипел Остап и съежился, прикрывая руками грудь.

Он рванулся от матери так, что рубаха лопнула возле ворота. Это вконец разозлило Марию, и она схватила его за волосы. Но что бы она с ним ни делала, Остап и словечка не вымолвил. Он тихо всхлипывал, стонал, скрежетал зубами, но больше не сопротивлялся. Тогда она потянулась, чтобы отобрать деньги. Остап ударил мать головой под грудь и вырвался у нее из рук. Он выбежал на середину двора и сквозь слезы крикнул:

— Бейте! Делайте что хотите!... Я все равно найду отца! Нате вам деньги!

Он выхватил из узелочка свои два гроша, размахнулся и швырнул их изо всей силы в картофельную ботву на огороде. Медяки, тонко звякнув на ладони, просвистели у матери над головой. Мария бросилась к Остапу, но он, пригнувшись, выскользнул у ней из-под рук и прыгнул через перелаз на улицу. Мальчик чуть не сшиб с ног Опанаса, который, услышав ругань на дворе Кармалюков, поспешил к соседям. Босые ноги Остапа прошлепали у тына, затрещал соседский плетень, где-то на огороде зашелестели подсолнухи, и все стихло. Остапа и след простыл. Заплакал маленький Микола. Мария взяла его на руки, прижала к груди. Ее усталые глаза были полны слез, и она даже не заметила, как сосед перешагнул через перелаз и подошел к ней, молчаливый и грустный, даже не увидела, как Иван старательно и долго полоскал в обливной миске деревянные ложки. Над селом плыл тихий, душный вечер. Ни шелеста, ни шороха, только в барской усадьбе предостерегающе тархтела колотушка. Ночная стража начинала обход экономии.

— Мария? Зачем ты так? Он же еще ребенок, сирота,— сказал Опанас и опустился на завалинку.— Тебе трудно, я знаю. Но кому из нас легче на этом свете? Разве твой Устим от хорошей жизни поднял руку на барина?

— Сама знаю, что не от богатства пошел,— вздохнула Мария и, немного помолчав, прибавила: — Пошел, и нет ему дела ни до чего! А мне впору головой об стену биться. Что я одна с ними делать буду? — показала Мария на сыновей.

— Надо что-то делать... Я тебе не чужой теперь. И меня стегали плетьюми посреди базара за то, что не выдал Устима на суде. Сидел и я в тюрьме за него, и мне не стыдно. Все после этого в глазах прояснилось. Даже на душе спокойнее стало, и господ не боюсь, как прежде. Ты не одна, Мария. Разве мы не горевали по тебе, когда гайдуки потащили тебя на расправу? Разве мы не слышали тогда твоего плача?

Мария безнадежно покачала головой, с тоской проговорила:

— Поплакала я на своем веку, все мужа ждала. А что толку? Годы идут, дети растут. Надо им помочь, защитить от беды-да от сумы. Болит у меня сердце за них или не болит, я тебя спрашиваю?

— Болит,— согласился Опанас.— Но от нужды ты детей не оборонишь. Мы все в нужде. А вот о суме нищенской ты зря говоришь. До этого детям далеко, да мы и не допустим. Дети, Мария, есть дети, и грех наговаривать на них... Ну куда он денется среди ночи? Побегает малость, озябнет и вернется в хату. Так я думаю. Мы же соседи, Мария, и я всегда рад тебе помочь.

— Спасибо на добром слове,— тихо проговорила Мария.

Оба замолчали, и Опанас медленно пошел к себе во двор. Мария завернула в фартук сонного Миколу, но в хату не пошла. Она так и осталась сидеть на завалинке, чутко прислушиваясь к таинственным ночным шорохам, стараясь уловить звук шагов на дороге. Но дорога была тиха и пустынна...

Вот по ней прошел Опанас, потом промчался на коне гайдук, и снова все замерло. Большие звезды мерцали в вышине, и их свет отражался в крупных зернах холодной росы. Мария думала об Устиме, но успокоения эти думы не приносили.

Что-то делает сейчас ее Устим? Может, и он смотрит на эти большие звезды? Они ведь повсюду одинаково холодно поблескивают в вышине. А может, бросили его глубоко под землю, и не видит он ни этого неба, ни звезд, ни солнышка? Что же ты молчишь, Устим? Вер-

нись к нам или хоть весточку о себе подай. Ужели ты не слышишь плача людского? Барин снова винокурню пустил. Люди стонут на барщине, опять им перевясла режут. Приди, вся надежда на тебя только! Приди хоть на час. Трудно Марии одной с такими сыновьями. Ежели б ты знал, как трудно...

Долго сидела Мария, поджидая домой Остапа и думая о муже. Сперва сидела на завалинке, потом в хате, на топчане. Но сын в ту ночь так и не вернулся.

22

Однажды к киевской заставе, что на западе, подъехали на паре волов два чумака. Один шел рядом с волами, второй дремал на чумацком возу, подостлав под бок просмоленную бычью шкуру. Перед заставой воз остановился, и погонщик волов оглянулся на Киев. Густые сосны и ветвистые дубы закрывали от глаз златоглавый город. Все же чумак, по давнему обычаю, низко поклонился в сторону Киева, широко перекрестился. Так, распрощавшись с древним городом, где все, должно быть, обошлось ладно, он прикрикнул на волов и тронулся к шлагбауму. Чумаку было хорошо видно, что стражи на заставе нет и лишь будочник лениво помахивает метлой у полосатой будки. Чумак поклонился ему, но брыля не снял. Он шагал рядом с волами спокойно, словно зная себе цену, и тихо напевал протяжную, тоскливую песню.

Воз свободно проехал заставу, впереди уже замаячила первая верста — дубовый столб в черных полосах, — и тогда только опомнился будочник. Бросив метлу, он окликнул чумака, и тот остановил волов.

Припадая на правую ногу, будочник спешил к возу. По всему было видно, что он старый солдат: на его заплатанном мундире поблескивали старательно начищенные кирпичом пуговицы, от висков низко спускались седые бакенбарды.

— Куда путь держишь, чумак? — спросил он неожиданно.

— Путь наш, служивый; лежит на город Адес. Приболел я в дороге, отбилсЯ от своего обоза, вот и догоняю, — ответил чумак.

Он пристально посмотрел на будочника, сунул кнут за голенище и быстро подошел к солдату вплотную. Глаза у чумака стали круглыми, левая щека нервно подергивалась, и он, словно что-то припомнив, вдруг спросил:

— Скажи-ка, служивый, а далеко отсель до имения барина Ханенко? Как там его винокурня поживает? Мертвая еще али дымит уже?

— Устим, отец наш! — вскрикнул Данило Хронь, и веки его мелко задрожали. Он сбросил выцветший картуз с красным околышем, низко поклонился. — Неужто ты? Каким ветром, из каких краев? А я уже думал...

— Плохо думал, — ответил Кармалюк и, помолчав, добавил: — Люди кандалы куют, они же их и расковывают. Не спрашивай об этом. Ты скажи лучше: можно здесь волов пасти? Безопасно у тебя тут? Говори честно, а то я врунов не люблю...

Данило Хронь совсем растерялся, не зная, что делать, какие говорить слова при такой неожиданной встрече. Кармалюк сдвинул на затылок соломенный брыль и отер рукавом пот со лба. Сквозь влажные волосы, спадавшие к самым бровям, проступало на лбу синеватое каторжное клеймо из трех букв: «КАТ». Первые две буквы страшного слова уже так посветлели, что были почти незаметны для непривычного глаза. Но третья буква еще резко выделялась на загорелом лбу, она была высоко на виске и пряталась в густых волосах. Данило вспомнил, как выжигали Кармалюку клеймо в Каменце, как гнали их вместе в Сибирь и как они расстались в остроге Медного завода под Тобольском. В тюремном лазарете раскованный Данило, Хронь и тихий молчаливый Кармалюк в кандалах.

— Да что же ты? Как сонный! Принимай гостей. Или, может, прогонишь нас? Ты, я вижу, тут начальник, — криво усмехнулся Кармалюк.

— Что ты, атаман? Как можно прогнать? Распрягайте волов...

— А солдаты? — Кармалюк указал взглядом на шлагбаум.

— Солдаты меня любят. И старшой у них добрый, — пояснил Хронь.

— А где они сейчас, солдаты и старшой? — спросил Кармалюк.

— Пошли в лесок душу отвести. Очищенной хлебнуть. Я им целый штоф водки раздобыл. Любят с горя ее, окаянную. А кто ее не любит? — трещал Данило, припадая на правую ногу.

Кармалюк толкнул своего товарища, лежавшего на возу, сказал ему:

— Вставай, Иван... Волон попасем.

Иван Дроздов громко зевнул и соскочил с воза. По всему было видно, что он не спал, а только лежал, прикидываясь спящим.

— Добро! — проговорил он, потягиваясь.

Он был в белой полотняной рубашке, стянутой у шеи черным шнурком, в широких чумацких штанах с пятнами дегтя и смолы на коленях. Обут в сморщенные постолы, без онуч. К резко очерченному подбородку свисали густые и пышные русые усы. В тени, падавшей от широкополого брыля, светились глубокие, проницательные глаза. Он смерил взглядом Данила Хроня с головы до ног и вопросительно уставился на Кармалюка.

— Свой человек, не бойся, — пояснил Устим.

— А чего бояться? Бывает, и свой коней сводит, — хитро подмигнул Иван и начал распрягать волов.

Данило бросился помогать ему, повыдергал клинья из ярма, накинул воловоды на рога, все посматривая на Кармалюка: что тот скажет? Но Устим молчал.

Воз вкатили под навес, волов привязали и пустили щипать придорожную траву. Люди расположились под тенистым кустом бузины. Кармалюк достал из котомки краюшку черствого хлеба, три тарани и граненую бутылку с водкой. Данило быстро сбегал в будку и принес кусок старого сала да глиняную кружку.

— Ого! Ты, я гляжу, с салом живешь? — рассмеялся Кармалюк.

— Всяко бывает, — ответил Хронь и подобострастно перевел разговор. — Ты, Устим, насчет солдат не сомневайся. Я забежал к ним и сказал, что ты мне родич, и они дозволили с тобой посидеть... Я им по вкусу пришелся. Они мне иногда и ружье дают, чтобы за них покараулил у заставы. Верят мне...

— А мы их не боимся, — перебил Дроздов. — У нас пашпорта по форме. Хоть к самому царю поезжай!

— Неужто? — удивился Хронь.

— Верно! — подтвердил Кармалюк.

Солдат нам бояться нечего. Солдаты не господа, они всюду одно горе хлебают. Хорошо, что солдаты тебе ружье дают, оно тебе еще пригодится...

Устим наклонился к Данилу, глаза его округлились, засветились голубизной чистого неба. Он задышал глубоко и быстро, словно припомнил что-то радостное.

— Солдаты,— мечтательно сказал он,— братья наши. А не примечал ты, случаем, не бежал ли кто из них этой зимой через вашу заставу, в наш край лесной?

— Нет, не примечал,— ответил Хронь.

— Плохо. Значит, ты и про декабристов не слышал? — спросил Кармалюк.

— Слышал, да не видал,— спокойно ответил Хронь.

Иван Дроздов кашлянул, подкрутил усы и хотел что-то сказать.

— Помолчи, Иван, не перебивай,— остановил его Устим, и тот, поняв все, принялся равнодушно очищать тарань.— А мы с Иваном видали. Они в самом Петербурге оружие на царя подняли. Подошли к царскому дворцу и кричат: «Долой царя с престола! Пусть воля будет!» Вот какие это люди, а ты их и не видал. По всей России их голос прокатился, на Украину к нам долетел. Так что мы теперь не одиноки. Как же ты мог стоять здесь, как глухая тетеря, не слышать ничего и не видеть? Или, может, подкупили тебя?

— Ой, что ты, Устим! Я скрываюсь здесь, на этой заставе, жду... Пусть только твои молодцы сигнал подадут, я тотчас прибегу...

Но Кармалюк, казалось, не слышал его слов. Он смотрел куда-то поверх головы Данила Хроня, в седую глубину лесов; словно ждал, что оттуда появятся восставшие солдаты. Но леса дремали, в них было тихо и пусто, солдаты не появлялись. Черная тень упала Кармалюку на лоб, заволокла глаза туманом. Он что-то прошептал пересохшими губами, но сразу же заговорил:

— Тут недалеко село Трилисы. Через него из Василькова проходил восставший полк декабристов, Черниговский пехотный полк. Мы с Иваном нарочно сделали крюк и завернули туда. Ого, какая там силища в народе пробудилась, когда декабристы шли! Люди барина убили, имение сожгли. Власть свою выбрали и хотели уже господскую землю делить... Поговорил я там с людьми, совсем другой народ стал. Попробовали воли

хоть на два денечка — им теперь этого вовек не забыть. Царь потопил декабристов в крови, но кара еще придет! Коли б командиры Черниговского полка крепостных за собой подняли, ого, что было бы. А так что ж. . .

Иван Дроздов не выдержал и добавил:

— Ошибка и у нас вышла. Измена, да и патронов мы не взяли. А как можно без патронов? Нельзя! И еще командира своего долго ждали. . .

— А зачем ждали? Надо было сразу; огнем и мечом, со всех сторон, как гром среди ясного неба.— Кармалюк вскочил на колени и погрозил кому-то крепко сжатым кулаком.

Данило Хронь моргал редкими ресницами, кивал головой, но видно разговор этот его не очень интересовал. Заметив в глазах Хроня холодное отчуждение, Устим сразу нахмурился, замолчал. Подумав немного, спросил:

— Так, может, ты хоть в наших краях побывал, коли тут глухим ко всему стал?

— Страшно одному,— проговорил Данило.

— И не слышал, как там живут у нас? — не унимался Устим.

— Как не слышать? Слышал. Что у меня, Устим, ушей что ли нет? Или ты меня дураком считаешь? Я хотел тебе сразу все рассказать. . .

— Говори,— притих Кармалюк.

— Вчера в Киев на богомолье проходил старый Диброва. Он мне многое поведал. Ханенко после суда снова людей в бараний рог согнул. Просвета не видать. Все его боятся, а ты в Сибири.

— А что я? Без меня людей нет, что ли?! — крикнул Кармалюк.— А если б меня повесили, тогда что? По-твоему выходит, что повстанцы должны пасть на колени перед господами?

— Нет, я так не думаю. Повстанцы дерутся и без тебя, но они боятся тронуть Ханенко. Барин пригрозил, что повесит твою жену и детей. Как можно после этого трогать барина?

— Сколько ватаг ходит по нашим лесам? — вдруг спросил Кармалюк.

— Три ватаги. К ним уже и Захар Блажкун из тюрьмы бежал.

— Бежал? Вот спасибо ему,— встрепенулся Устим, и в его глазах вспыхнули ослепительные искорки.

— Только он, атаман; молчит, еще не собрал своих, четвертую ватагу. А я все вспоминаю того паренька, Тимка Гречку. Жив он? — спросил Хронь.

Кармалюк не ответил. Он допил из кружки водку, задумчиво покачал головой и надолго замолчал, словно боясь спрашивать дальше. Но потом отважился и, тяжело вздохнув, спросил:

— А сыны мои как? Жена? Слышал?

— Не знаю, Устим, не ведаю. Старый Диброва намекал насчет сыновей. Я разобрал только, что плохо они между собою живут; мать не слушают. Я же не знал, Устим, что тебя увижу, и не спрашивал о сынах. Я думал — тебе на этот раз конец пришел.

Кармалюк метнул резкий взгляд на Данила, и тот не выдержал этого взгляда, отвернулся и, будто ничего не произошло, быстро заговорил о прошлом. Он спрашивал о Мироне Волошке, об остроге на медном руднике. Ласково склонившись к плечу Устима, поинтересовался побегом: кто помог Кармалюку, откуда он бежал, где раздобыл этих волов и куда думает теперь направиться? Конечно, лучше всего ехать прямо в Литин, а оттуда в Головчинцы можно незаметно пробраться. Если б не служба, он, Данило, тоже поехал бы с атаманом. А так не может. Он только просит, чтобы атаман не гневался на него. Пусть и вперед считает его своим соратником и другом. Данило Хронь еще не стар, может еще пригодиться Кармалюку.

Но что ж атаман молчит? Вспомнил своих сынов и одинокую Марию? Или, может, затаил что против него, Данила Хроня?

Кармалюк медленно поднимает голову, в глазах его пылает ярость. Данило замечает, как от прерывистого дыхания дрожат у Кармалюка ноздри, и вслед за атаманом поворачивает голову в сторону полосатой будки у шлагбаума. Они оба мгновение смотрят на сонного солдата, что стоит у столба, опершись на ружье, видят усатого капрала, сидящего на колоде и старательно начищающего суконкой сапоги. Наконец Кармалюк оборачивается к Данилу и берет его за локоть, да так крепко, что Данило морщится от боли.

— Я тебе ничего не скажу, — тихо начинает Кармалюк. — Слышишь, не скажу. А вот ты мне скажешь все. Я знаю, ты можешь сейчас кликнуть солдат, но не хлопочи понапрасну, они меня не поймают...

— Бог с тобой, атаман, что ты надумал? — отшатнулся Данило, чувствуя, как дрожат у него скулы, как холодеет в груди.

— Ты не расспрашивай. — Кармалюк налил в кружку. — Ты мне скажи — кто купил тебя на это дело? Сколько тебе платят? Поденно или с выручки?

Данило побледнел. Веки его мелко задрожали, словно в глаза ему бросили горсть песку. Он пытался что-то сказать в свое оправдание, но язык словно прилип к гортани.

— Я все знаю, — продолжал Кармалюк, — не отбреешься. Ты выдал в тюремном лазарете Мирона Волошку и тебя расковали за это, а ему еще пять лет набавили. Кто мне сказал? Соседи твои по лазарету, тамбовские солдаты. Догадался теперь?

— Бог с тобой, атаман, это страшная клевета. Это черный наговор. Клянусь тебе святым крестом! — горячо зашептал Данило.

— Молчи! Я в Сибири был и знаю, где правда, а где ложь. Дорого бы я заплатил, чтобы это была ложь. Да что поделаешь! Выходит, правда, Иуда проклятый! Продал товарищей, а себе волю купил. Где глаза твои? Прячешь?

Данило Хронь опускает голову. Он не в силах глянуть в глаза Кармалюку. На локте он все еще чувствует железную хватку пальцев Устима, хотя атаман отпустил его руку, и Данило может свободно от него отойти. А может, и впрямь позвать солдат? Но он не в состоянии сдвинуться с места и только переступает с ноги на ногу, все время выставляя, словно напоказ, изувеченное колено. Наконец он осмелился поднять глаза и заговорил:

— Меня тяжко били. Мне ногу там покалечили, а ты такое говоришь обо мне...

— На каторге всех быют, — грубо отрезал Кармалюк и повернулся к матросу. — Пора трогаться, Иван.

Иван Дроздов подвел волов к телеге и начал запрягать. Кармалюк уложил в котомку непечатую тарань и черствый хлеб. Делал он все это тщательно, не торопясь, и даже не взглянул на Данила, который как истукан стоял у дороги. Когда волы были запряжены, Устим сказал:

— Погостил бы еще у тебя, да боюсь — выдашь. Ты уж привык к этой службе. Видно, недаром тебя поставили у этого шлагбаума. Заслужил.

— Неправда! Ничего ты не знаешь!

— Я одно знаю,— вздохнул Кармалюк,— рано или поздно, а расплата сама к тебе придет и постучит среди ночи в оконце. Ты меня знаешь.

— Убей сейчас, не мучь! — дрожащим голосом проговорил Хронь.

— А ты исповедался? Нет? Вот то-то и оно! Ты, братец, не в церкви исповедоваться будешь, а станешь на колени перед людьми и расскажешь, как Иудою стал. Люди нас рассудят. Погоняй, Иван!

Чумаки тронулись. Кармалюк шел за возом. На сердце было тяжело, душила злоба. Устим старался думать о Марии, о детях, но в его воображении вставали господские усадьбы, бескрайние, широкие поля и на этих полях черные, как земля, крепостные. Много тысяч их согнулись в работе, стонут. Когда-то барин перевясла резал, а теперь, верно, новую беду придумал. Начать бы и на этот раз с господ. Так на тебе! Данило на глаза попался. «Выдаст или нет?» И Кармалюк оглянулся на заставу. Данило до сих пор стоял у дороги на том самом месте, где его оставил Кармалюк. «Верно, ждет, пока я сверну за мостик, а тогда уж солдат поднимет»,— подумал Устим и приказал Ивану погонять волов.

Перед ними непроглядной стеной поднимался лес, а там снова расстилались поля и села — тихие, печальные села. Кто же из них правдивое слово скажет, кто их барина поведет на суд? Не позабыли они еще своего Кармалюка. Придут ли на его зов? Пока добирался из Сибири, прошла зима, настало лето, а он только выходит из Киева. Ветром бы сорвался в свои края, пташкой полетел бы, да кто ж ему эти крылья даст?

Медленно шагает Кармалюк за возом, низко надвинув брыль на глаза. Дорога дальняя, трудная, но и ей придет конец.

Молебен о здравии графа Моркова приближался к концу. Прокоп Данилевский стоял на клиросе и тоненько позванивал камертоном, все прижимая его к уху. Церковный хор, состоявший из тех дворовых, что входили в состав графского театра, тесно окружал Прокопа,

все жарко дышали, ожидая, пока он подаст знак запеть молитву. Но Прокоп не спешил. Службу правил глухой кукавинский батюшка с подслеповатым подвыпившим дьяконом. Батюшка давно уже не слышал хористов, а дьякон вот уже вторую молитву пел один, даже не глядя на клирос, где стоял молчащий хор.

Хористы волновались, но Прокоп молча указал камертоном на дьякона и пожал плечами. Пусть, мол, сам горланит, коли напился. Разве за ним угонишься, когда у него мухи перед глазами порхают. В другой раз все это могло кончиться скандалом и плетью. Но на этот раз обошлось счастливо. Граф поехал в Одессу на теплые воды, лечить свою старость. Как ему посоветовал Прокоп, а за ним и другие врачи. С графом отбыла вся его семья, так что в церкви не было никого из графского рода, не пришел и новый дворецкий — немец Густав Шредер, заменивший покойного Кавуру. Шредер — лютеранин и посещал церковь лишь по принуждению, когда туда шел граф.

Теперь граф был далеко, люди в Кукавке чувствовали себя свободно, хотя и ждали новой напасти. Граф уехал в Одессу не только лечиться, но и разыскивать своих беглых крепостных, которые табунами удирали из его поместий к морю, на свободные хлеба. Одни бежали на Кубань, за реку Ею, там, где была казацкая вольница, другие пробивались в Одессу. И люди сегодня молились не о здравии графа, а о том, чтобы он не нашел беглых. Прокоп позванивал камертоном, но молитва звучала от него далеко. В голове звенела бурлацкая песенка, и Прокоп тихо шевелил губами, очень уж хотелось затянуть ее.

Под Одессой славно жили,
Хлеб мешками не носили,
На барщину не ходили,
Подушную не платили,
Землю плугом не пахали,
Господами нас там звали...

Вот бы податься в те края! Да где там! Так закружился в графских покоях, да среди больных, что кажется жену и детей в Москве забывать стал. А тут еще молодцы верные подобрались. Теперь ему не страшен никакой Кавура. Не тот теперь Прокоп, каким был, когда розгами выбивали из него вольный дух и надевали

серую рваную свитку. Не тот! Тогда в бессилии сжимал кулаки, да с горя тянул сивуху, а нынче сдачи дает господам.

Душно в церкви. Жарко горят восковые свечи перед иконостасом, и в высоких подсвечниках у каждой иконы по всей церкви. Графские свечи, не купленные. Пусть горят, не жаль, деньги за них крепостные не платят. Церковный староста даром выдает в притворе каждому, кто входит в храм. Берите, люди добрые, ставьте во здравие его сиятельства графа Моркова, занемог он что-то, силы теряет. Громко вздыхают крепостные, каждый о своей беде. Самозабвенно шепчут молитвы, бьют поклоны. Над головами покачивается синеватый дым, пахнет ладаном и дегтем, воском и едким потом. Воздух спертый, от него становится дурно, кружится голова. Данилевский нервно покусывает подстриженные усы, беспокойно переступает с ноги на ногу. Хоть бы скорей кончил батюшка службу и не мучил людей. Горько у Прокопа на сердце, нечем дышать. Он и не заметил, как к нему пробрался дворовый казачок Гриц и стал дергать за полу.

— Что тебе, малыш? Что случилось?

— Гонец, барин, из имения камергера, — шмыгает носом Гриц.

— Где?

— Вон там!

Прокоп встрепенулся, и уже не слышал, как батюшка пропел «аминь!», а хор сам затянул последнюю молитву. Прокоп сунул камертон причетнику, схватил Грица за руку и, как очумелый, выскочил из церкви. Кое-кто даже оглянулся ему вслед. Верно, кто-то серьезно заболел в имении, раз Прокопа прямо из церкви вызвали. Он ведь теперь на все руки мастер. И людей лечит, и в графском театре комедии показывает, и на клиросе хором управляет. Всему выучился в Москве.

Выскочив из церкви, встревоженный Прокоп чуть не свалился от неожиданности. Какой это гонец? Доктор отлично знает гонца, тот должен прибыть из поместья камергера двора его величества Владислава Базилевича. Камергер — сосед графа Моркова, и от него явится не кто иной, как каретник Гарасим Танцюра. Верхом, пешком или на каких угодно крыльях. Но его нет.

На каменной паперти стоит на коленях Устим Кармалюк, в заплатанной свитке, с котомкой за плечами.

Дубовая палка лежит рядом, а сам он истово бьет поклоны, широко крестится. Рядом еще какой-то человек, бородатый, шевелит губами, молитву шепчет. Оба почерневшие от пыли, худые, обтрепанные после дальней дороги.

Прокоп чуть было и сам не бросился на колени, но Кармалюк мигом приложил два пальца к губам, глазами указал на казачка. Молчи, Прокоп, а то беду накличешь. Данилевский схватил казачка за ухо, чтобы унять волнение.

— А где же твой гонец, прощелыга?

— Там, на лугу,— заскулил Гриц.

— Катись к нему, да вели подождать. Я скоро приду. Понял?

— Как не понять! Одна нога тут, другая на лугу,— потряхнул белокурыми кудрями мальчонка и шмыгнул в кусты на поповском огороде.

Кармалюк и не глянул на все это. По-прежнему стоял на коленях, набожно крестился, часто бил поклоны, горячо шептал молитвы.

Прокоп наклонился, словно собираясь бросить милостыню в шапку, лежавшую у Кармалюка меж коленями, чуть слышно проговорил:

— Атаман наш!

Кармалюк не повернулся к нему, только тихонько спросил:

— Куда нам идти? За кого себя выдавать?

И снова часто закрестился, низко сгибая спину в поклонах. Его почерневшая от пота и пыли рубаша, зашитая в трех местах толстой ниткой, прилипла к спине, словно он намахался цепом, или прошел с косой не одну полосу нивы. Верно, спешил очень, или удирали от погони.

А в церкви уже допевают последнюю молитву, скоро народ валом повалит, и Прокоп бросает первое, что пришло на ум:

— Бродячие комедианты. Пришли наниматься в графский театр. Вас направили ко мне... Петь и танцевать умеете... Ох, горюшко мне... Хорошо, что хоть графа нет... А паспорта у вас какие?

— Вольноотпущенники,— пояснил Кармалюк и, встав с колен, отошел вместе с товарищем в сторону, продолжая креститься и кланяться людям, выходящим из церкви. Вот вышли певчие, причетник подал Прокопу

камертон, глазами спрашивая, зачем его вызвали из церкви. Прокоп ответил:

— Гляди, какая слава о графском театре идет! Снова двое вольных с паспортами наниматься пришли. Только оборванные очень. Но проэкзаменовать надо, ничего не поделаешь... А тут еще гонец от камергера прибыл. Верно, и камергер артистов просит...

— Экзаменуй,— равнодушно протянул причетник.— Граф будет доволен, если комедианты попадутся путные. Желаю удачи...

— Спасибо,— и громко, чтобы слышал причетник, крикнул Кармалюку: — Эй, вы, за мной! Да побыстрее! Слышите?

— Слышим, барин! — Оба поклонились.

И он повел их огородами в луга, чтобы все видели, повел подальше от людей, экзаменовать. А уж как вымуштрует, приведет в имение, покажет дворецкому Густаву Шредеру на что они способны. Прокоп часто так делал, нанимая вольных бродяг в графскую капеллу.

Данилевский шел быстро, не оглядываясь, но слышал, как атаман и его товарищ спешили за ним по узкой тропке, раздвигая головастые подсолнухи. Прокоп молчал, мало ли кто может оказаться на огороде. А как хотелось заговорить, расспросить обо всем! Сколько не видались!

По лугу расхаживал каретник камергера Гарасим Танцюра. Курил трубку и, придерживая коня за уздечку, пас его. При виде незнакомых людей он настороженно и вопросительно взглянул на графского лекаря.

— Свои, Гарасим. Запомни, чтобы всегда узнавать мог,— сказал Прокоп.

Все подошли к Гарасиму, поздоровались. Кармалюк коня по шее гладит, сахар ему дает. Иван Дроздов седло ощупывает, подпругу пробует, хорошо ли затянута. Гарасим увидал это, тихо сказал:

— Не остановила камергера записка. Разозлился страшно, забрал еще троих единственных вдовьих сынов и приказал заковать в солдаты. Уже куют. А богатеев не трогает, хотя у них и по три сына.

— Вот гад! — вскипел Прокоп.— А полицейские в имении есть?

— Где там! Одни гайдуки,— махнул рукой Гарасим.— Камергер хохочет: «Откуда взялись кармалюков-

ские молодцы? Глупости! Кармалюк сам давно в Сибири сгнил. Не боюсь я этих молодцов кармалюковских. Молокососы!» А меня эти слова как ножом по сердцу.

Кармалюк даже пошатнулся и, чтобы скрыть радость, прижался головой к коню. Так вот каков Прокоп Данилевский! Не сидит, сложа руки! Что ж он задумал против того камергера? Очень хотелось расспросить, но Устим промолчал.

— А люди твои готовы, Гарасим? — спросил Прокоп.

— Давно. Только знак подать.

— Вот и хорошо. Прибудем ночью, как только камергер заснет. Расставь надежный караул, да пусть люди не ложатся спать. Теперь еще разок взгляни на моих побратимов, Гарасим, запомни их лица.

Танцюра окинул обоих зорким взглядом и, видно, остался доволен. Хоть худы и оборваны, а, видать, крепкие. Подал руку обоим, и Кармалюк так пожал ее, что каретник чуть не присел. Ого! Видать, не простые бродяги.

— Теперь мигом назад! — приказал Прокоп. — По лугу шагом, а в поле наподдай! Счастливого пути!

Гарасим вскочил в седло, пришпорил коня и скрылся в лозняке. Прокоп огляделся вокруг, прислушался, и только после этого схватил Кармалюка за рукав:

— Родные мои! Как же вы добрались? Хоть бы весточку подали! Ох, как тяжело мне было без вас! Порою казалось, не выдержу, взбунтуюсь на людях, и сам пойду в Сибирь атамана своего искать... Вот как мне тут было. Не приведи господи!...

— Не удержался, значит? Доброе дело затеял, Прокоп, — похвалил Кармалюк. — А что задумал с этим камергером, как его там?...

— Базилевич, — подсказал Данилевский, — такого палача, как он, во всей округе не сыскать. Крепостных детей продает. Над девками глумится, а кормящих матерей заставляет на псарне щенят грудью выкармливать... Плач стоит во всех его поместьях. Страшный суд, а не жизнь. Ему уже от губернатора было замечание, и от земского, да он плюет на них. Как же! Камергер двора его величества! Ему все как с гуся вода... Вот я и решил проучить изверга.

— А сил хватит? — спросил Кармалюк.

— Молодцы верные! Их так и называют — кармалюковские молодцы. Вот увидите. Поедем со мною на ти-

хую беседу к камергеру. Больше нельзя тянуть,— сказал Прокоп.

— Поедем,— согласился Кармалюк.

— Я послал ему записку, чтоб не отбирал сыновей у вдов, а он нуль внимания. Слышали, что творит? Снова троих заковал,— в сердцах говорил Прокоп.

— Надо проучить. Молодец, брат! — похвалил Устим.— А где бы нам, Прокоп, словом перекинуться с дороги, какой-нибудь похлебки хлебнуть? Чуяло мое сердце, недаром к тебе пробивались... Недаром...

— Ну, что ж, пошли в имение,— решил Данилевский.— Считайте, что я уже нанял вас, проверил и веду к Густаву напоказ. А он спит после обеда, и будет спать до вечера... Вот мы у меня во флигеле и засядем... Только я вперед пойду, а вы за мною следом... Чтобы видели, что я сам вас веду...

— Поступай, как знаешь. Мы нигде еще не объявились. У тебя первого,— сказал Кармалюк.— А теперь познакомься с моим Иваном. Он восставал против царя в Петербурге, на Сенатской площади. Матрос из Кронштадта. Слышал небось, Прокоп?

— Неужто! Ох, матушка родная,— обрадовался тот и стал трясти руку Дроздова.— Вот какие гости у меня. Да если бы я знал... Ну, пошли же, братья, милости прошу. Я, как услышал о восстании, сам в Питер хотел бежать... А потом подумал, погрустил и остался...

— Повесили наших,— мрачно проговорил Дроздов.

— Царство им небесное,— Прокоп опустил голову.

— А других на каторгу,— вздохнул Дроздов.

Они шли в ряд по высокой траве, тропочка была слишком узкая. Шли как родные братья, встретившиеся после долгой разлуки, спеша к отчему дому. Кармалюк опомнился первым.

— Эй, Прокоп, опомнись. Люди глядят, а ты ведь с нами запанибрата.

Не оглядываясь, Прокоп бросил через плечо:

— Забыл! Как увидал вас, сразу показалось, что я уже свободен. Господ нет, воля для всех пришла. Словно сон...

— А ты не спи,— пошутил Кармалюк.

Молча дошли до имения. Прокоп провел их в старый флигель, где когда-то жил Тропинин. Нынче здесь разместилась убогая амбулатория, чулан с театральным реквизитом, комната для графского оркестра, а в тесной

каморке жил Прокоп. Старый диван, давно выброшенный из графских покоев, столик и шкафчик, источенные шашелем, осколок зеркала на стене, рядом несколько портретов. Девушка в венке, граф Морков с собакой, Прокоп в цилиндре. Все как живые.

— Тропинин писал,—пояснил Прокоп.— Вот и все воспоминания о нем. Был человек...

— Почему был? Он вот Ивана прятал у себя... Меня хорошо принял. Мы от него идем, из самой Москвы,—с гордостью сказал Устим.

— Родные мои! Так вы видели Тропинина? — обрадовался Прокоп.— Ну, как он там, в Москве?

— Хорошо! Не забывает нашего брата крепостного, ведь и сам недавно был в нашей шкуре. Тебе, Прокоп, кланяться велел.

— Спасибо,—Прокоп положил на стол хлеб, лук, старое сало. Из белого шкафчика с красным крестом вынул плоскую бутылку, поставил чарки, пригласил к столу.

— Нет,—Кармалюк сделал протестующий жест,— выпьем вечером, когда дело сделаем. Припрячь до вечера... Лучше поведай нам, как тут люди наши живут. Давно я не был на Украине, долго не видал вас. Может, господа опомнились? Как тут идет все после Кавуры?

Полдничали, жадно водой запивали черствый хлеб, а Прокоп рассказывал все, что помнил.

— Богатеи, Габлюк и Троян, бросились искать Кавуру, исправника привезли, следователей. А люди наши точно воды в рот набрали. И меня полиция таскала в уезд. А как вернулся граф, все началось заново. Но люди — ни словечка. Только весной, когда начали выгребать из закровов пшеницу, нашли Кавуру. Совсем сгнил и все зерно испакостил. Свиньям скормили. По одежде да по арапнику узнали управляющего... Граф, видно, испугался, больше уже не чинит самоуправства. И дворецкому приказал...

— Дошло,—повеселел Кармалюк.

— Вот именно,—подтвердил Прокоп.

— А как соседи графские живут? — спросил Устим.

— Не каются, атаман! Всюду плач стоит! Люди, словно в аду...

Кармалюк отодвинул еду, склонил голову. Перестал есть и Дроздов. Не сводил глаз с Прокопа.

— А чем кормят дворовых? Страшно даже сказать. Этот камергер приказал варить еду раз в неделю. Борщ без соли, а на второе гнилую тыкву или бузину... Непокорных на всю ночь запирает на псарне, среди голодных собак... Продает и покупает людей... Недавно камергер продал девку, Теклю Осадчу, за сто двадцать рублей серебром. И купчую выдал. Там написано, что камергер предоставляет покупателю право: «...владеть ею, то есть дать, продать, даровать, и в наилучшую пользу себе обратить». Я сам читал купчую, атаман. Я ведь завел себе черный список и записываю туда все господские преступления и произвол...

— Хорошо делаешь,— похвалил Кармалюк.— Легче будет господам их грехи припоминать... Теперь ничто не забудется...

— А когда крепостные пожаловались камергеру на ежедневную барщину и попросили дать хоть два дня для работы на себя, он ответил: «Этому не бывать. Когда покупаешь вола, он должен работать на тебя, пока не сдохнет, так и вы. Для этого я вас купил...» И продолжает своих людей пытать. Беременных женщин сечет розгами.

— О господи,— вздохнул атаман.— Прости нас за то, что покараем таких господ.

— А розги из шиповника,— продолжает Прокоп.— Привязывает голых людей к столбу, забивает в колодки, калечит. Меня иногда вызывают спасти несчастных, так что я все хорошо знаю. Страшно становится, когда читаю черный список... А податями так душат, что дышать нечем. Подати перерастают в недоимки, чем платить-то?

Губернатор приказал не выдавать жалования полиции, пока не соберет всех податей и недоимок. Мало им подушного налога, так дерут еще земский и мирской сборы. Земский — на почтовые дороги, на отопление и освещение казарм... Мирской — на оплату сельских выборов на сельское делопроизводство... А повинности какие? Водяная, дорожная, строительная, постоянная, и самая тяжелая — рекрутская повинность... А воли все нет да нет, атаман. Ждали мы ее после войны с Наполеоном. А что получили? Вот он, этот манифест!

Данилевский выхватил из шкафа растрепанную книжечку с царским орлом, раскрыл на заложенной странице:

— Может, позабыли, какую волю царь даровал, так я напомним. Вот его царское слово:

Прокоп принял нарочито напыщенную позу, медленно прочитал:

— «Крестьяне, верный наш народ, да получают мзду свою от бога... Пребывая верны своему долгу и званию своему, умножат прилежание свое к сельским трудам и ремесленным промыслам и тем исцелят нанесенные неприятелем разорения...» Вот какую волю царь даровал. А мы, дураки, надеемся, нового манифеста о воле ждем! Не ждите! Да разве я мог, атаман, после всего этого сидеть сложа руки, как ты приказал? Где там! И пошел я на барина с ножом и огнем! Тут-то и выпорхнули на свет божий мои кармалюковские молодцы, и начали гулять понемногу. Теперь суди меня, как знаешь, больше терпеть я не мог. И скажи, как дальше быть? Оставаться тут, в этом чаду, или вырваться на волю, в леса дремучие, в твою ватагу? Как скажешь, так и будет...

— А сам ты что хочешь? — спросил Кармалюк.

— На волю, в твою ватагу. Как в песне поется: конь мой сивый — брат любимый, сабля, трубка — вся родня... А там и в Москву пробьюсь, к деткам своим...

Кармалюк встал, прошелся по комнате, поглядел в оконце. Долго думал, опустив голову, и наконец сказал:

— Жаль брать тебя в ватагу, Прокоп, ты ведь свою заимел. Пусть господа думают, что Кармалюк и тут, и там объявился, и еще где-либо, пусть угадают, где настоящий. Но напрасно в драку не лезь, а то погубят. Посланцев моих, верно, не забыл? Вот и хорошо! Они тебе все от меня передадут. Ударим на барина с трех сторон. А о детках твоих мой совет таков: добудем денег и выкупим тебя на волю. Граф деньги любит. И пометишь тогда, Прокоп, к своим, в Москву...

— Атаман! Отец родной! Чем отблагодарю за такую заботу!

— Ты уже отблагодарил тем, что делаешь здесь!.. Большое тебе спасибо.— И он взял Прокопа за локти, прижал к груди, поцеловал в лоб.— А теперь води к тому камергеру. Как мы к нему, пешком или на конях? Ты, верно, обмозговал?

— Есть у меня думка,— тихо сказал Прокоп.— По-едем к нему и на телегах, и верхом, и пешком зашагаем. Сейчас и тронемся, коли не устали с дороги...

— С господами у меня устали нет.— Устим закурил трубку.

— Тогда побудьте тут минуточку, я своим знак подам.

— Смотри, не забудь черный список, куда господские плети вписаны,— напомнил Кармалюк.

— Не забуду, атаман. Он у меня всегда наготове,— похвастался Прокоп, выбегая за дверь.

Атаман немного помолчал, потом тихо спросил Дроздова:

— Ну, как он тебе, Иван?

— Умный! Все видит и знает! Таких бы побольше,— с завистью проговорил Дроздов.

— Если б! — Кармалюк вздохнул.— Поэтому я сразу протянул руку Прокопу, как только прослышал о его беде... Такой не продаст товарища, людское горе для него, что свое... О, нет, Иван, не продаст он, как тот беспутный Хронь...

24

Столбовой дворянин, камергер двора его величества Владислав Базилевич принимал дорогих гостей на широкую ногу. Он то и дело хлопал в ладоши, и на зов его бесшумно выбегали два казачка в бархатных туфлях, с острыми загнутыми кверху носками. Они несли на блестящих серебряных блюдах все новые напитки и закуски, убирали со стола посуду и остатки еды. Не часто в имение сурового и чрезмерно надменного камергера заезжали такие гости. И вдруг — сам исправник из соседнего уезда, господин Големба. А с ним и начальник уездной полиции капитан Юркевич. Они направлялись к губернатору, и по дороге завернули в поместье камергера. С уездным начальством был и чиновник по особым поручениям, прибывший из самого Петербурга. Он направлялся к губернатору для расследования какого-то неотложного и совершенно секретного дела. Их охраняли солдаты и полицейские, которые теперь отдыхали в господском саду. Хозяин не забыл и охрану. Он приказал вынести солдатам и полиции угощение и все поглядывал в окно, за которым те пировали под наблюдением усатого унтера. При такой охране камергер чувствовал себя совершенно спокойно, как в Петербурге при дворе,

где ему дали этот высокий титул. Сразу забылись вечные тревоги и проклятые листки с угрозами, которые ему подкидывали. В высоком зале за обильно уставленными столами сидели гости, весело позванивали хрусталь и серебро, искрилось в бокалах янтарное вино, пенился старый, выдержанный в погребах мед. Завистливые помещики и богатая шляхта сочиняют легенды, будто Базилевич скуп и чрезмерно надменен. Они просто завидуют его счастливой доле и богатству. Пусть же господа из соседнего уезда поглядят и расскажут всему дворянству, какой на самом деле радушный и хлебосольный хозяин камергер Владислав Базилевич. Для этого он ничего не пожалеет.

Захмелевший и возбужденный хозяин, стоя между креслами исправника Голембы и капитана Юркевича, беседовал через стол с чиновником по особым поручениям.

— Высокочтимый господин! Я должен предупредить вас, что завистливые обедневшие дворяне обязательно станут вам жаловаться на мою замкнутость и даже на жестокое обращение с крепостными. Как только вы упомянете при дворе губернатора мою фамилию, они так и зажужжат со всех сторон.

Чиновник, попивая липкий херес из высокого хрустального бокала, важно и значительно кивал головой, поглядывая на камергера в лорнет.

— Так, именно так,— не унимался Базилевич.— Им завидно, что я камергер, один на всю губернию, что я, находясь в Петербурге, всегда при дворе, что эти поместья дарованы мне волей его императорского величества. А отсюда и порядки в имениях самые строгие, страх и покорность должны вечно тяготеть над моими крепостными.

— Eh bien! ¹ — чиновник одобрительно кивнул головой.

— Это ваша обязанность,— проговорил исправник Големба.

— На том вся Русь стоит,— вставил и свое слово капитан Юркевич.

Хозяин налил еще вина, чокнулся с гостями. Все выпили, и он продолжал:

¹ Разумеется! (фр.)

— Телесные наказания я ввел по закону. За непослушание, за оскорбление, нанесенное управителю, за злостную неуплату податей. В нашей армии солдата карают четырьмя тысячами ударов шпицрутенами. Так, кажется, господа, если я не ошибаюсь?

— Так,— щелкнул шпорами капитан Юркевич,— четыре тысячи шпицрутенгов.

— Исходя из этого, я и ввел свое наказание... Не напрягай для имения положенного количества пряжи — получай тридцать розог. Оскорбил приказчика, а значит, меня и его величество,— получай пятьдесят розог. И я проверил, господа — для здорового мужика пятьдесят розог ничего не значат. Ими нельзя покалечить даже ребенка. А кое-кто поднимает на меня голос, жалуется губернатору. Почему же солдат не жалуется на четыре тысячи шпицрутенгов, я вас спрашиваю, господа? А мои крепостные, по сути, те же солдаты. Ведь мы форпост империи на Юге и Западе. Рядом с нами Польша и та проклятая Варшава, не дающая покоя Петербургу... Или, быть может, я неверно понимаю свою миссию в этом диком краю, среди этого проклятого и упрямого народа?

Чиновник отхлебнул вина и заговорил по-французски, словно запел:

— Eh bien, monsieur! Bravo! ¹

Базилевич учтиво поклонился всем и снова наполнил бокалы. Он не допускал, чтобы таким гостям вино подливали лакеи.

— И за эту строгость я терплю наговоры дворянства, а чернь подкидывает мне письма с угрозами. Вот, взгляните, недавно снова подбросили.

Он выхватил из внутреннего кармана желтый конверт, со всех сторон залитый сургучом, потряс над головой листом бумаги.

— И написано ни на какой-нибудь серой обертке, а на чистой гербовой бумаге! Чернь не станет понапрасну тратить на такую бумагу, запомните это! И рука умелая, каждая буква словно художником выведена. Где вы найдете такого писаря среди черни? Нигде. Стало быть, полагаю, что письмо написано в каком-то имении, с ведома обозленного шляхтича, а, возможно, и дворянина. В наш век зависти, козней и измены на этом про-

¹ О да, господин. Bravo! (фр.)

клятом Подолье все возможно. Поход Наполеона развратил шляхту, она размечталась о королевстве Польском, раскинувшемся до самого Днепра. Разбойник Понятовский, бряцая сабелями, посеял смуту... Шляхтичи и поныне грезят о его славе. Она не дает им спокойно спать. А все наше, русское, ненавидят, готовы растоптать, осквернить, только бы хватило сил. Вот откуда зависть и ненависть к нам, столбовым дворянам российской империи!

Он бы говорил еще и еще, но чиновник, погладив густую бороду, расправил усы и указал лорнетом на письмо, которым потрясал в воздухе Базилевич: читай, мол, чего ты тянешь? Камергер понял чиновника, откашлялся, подслеповато заморгал глазами, надел очки. Он уже давно плохо видел. Громко напыщенно хозяин произнес первые слова письма, где шла речь о его титулах:

— «Столбовому дворянину, камергеру двора его величества, ясновельможному пану Владиславу Базилевичу в собственные руки! Пане!...»

Тут голос хозяина осекся, стал тихим, почти заикаясь, Базилевич продолжал:

— «Ты раскуй вдовьего сына, Карпа Гаевого, он ведь один у матери, а красную шапку надень на сына богатея Миколы Черногуза, там четверо сыновей в семье. Так и закон тебе повелевает. А коли не исполнишь сего, жди нас к себе в гости. Кармалюковские молодцы».

Базилевич глотнул пересохшими губами воздух, с отвращением поморщился и протянул письмо исправнику Голембе. Тот взял листок, но почему-то держал его вверх ногами. Это заметил капитан Юркевич, он мигом выхватил письмо, бросил Голембе:

— Это моя парафия. Уж я-то знаю толк в этих холерных грамотках. Успокойтесь... Возможно, их пишет одна рука во всем уезде? Придется сверить...

— Милости прошу,— учтиво поклонился Базилевич и продолжал: — Рекрутская повинность — основа нашей армии, победившей Наполеона. Так имею ли я право ослаблять эту государственную повинность для моих крестьян хоть в ничтожной доле? Ни за что на свете, господа! Так повелевает мне моя обязанность дворянина, так приказывает мне его императорское величество. И я честно выполняю свою обязанность и приказ импе-

ратора. Добровольно никто не идет в солдаты, это не секрет, я вынужден заковывать в кандалы своих крепостных всякий раз, как подходит рекрутский набор. А уж кого заковывать, Петра или Ивана, это мое дело. Дайте разобраться в этом самому помещику. Угрозами меня не запугать! Пхе! Какие-то кармалюковские молодцы! Верно, молокососы! Да их Кармалюка давно и след простыл. Его черные кости давно сгнили под Тобольском. Один раз ему удалось обмануть стражу и бежать с каторги, но вторично такое не повторится. Будьте уверены, господа! Хотел бы я поглядеть, как они придут ко мне, эти его молодцы! Для встречи все готово!

С этими словами хозяин приблизился к стене и отбросил красную китайку, закрывавшую длинный, узкий стол. На нем лежали пистолеты тульской работы, новые штуцеры, сабли и кинжалы из дамасской стали, украшенные чеканным серебром, с позолотой на рукоятках. Среди оружия виселись кожаные мешочки, наполненные пулями и порохом, поблескивали наручники, ножные кандалы, ошейники, толстые цепи, которые сковывают каторжан от шеи до ног.

— О! Виват! — снова воскликнул чиновник.

— Так что я припас гостинцы для этих кармалюковских молодцов, — хвастался камергер. — Пусть не радуются мои соседи прежде времени. Не бывать по-ихнему! Им бы, моим соседям, сперва на себя поглядеть, а уж потом — ко мне в гости. Ведь кто такой мой сосед, граф Морков? Герой войны с Наполеоном? Как бы не так! Он видел бой, как я свои уши. Видел только, как французы пятками засверкали. А уж почестей, интриг всяких! А ныне что он делает? Заставил дворового живописца — своего крепостного — написать в церкви на местах ликов святых свои собственные портреты. Крепостные куда ни глянут — смеются, бог Саваоф уже не бог, а граф Морков. Пречистая дева Мария — не пречистая дева, а графиня Моркова. Святые апостолы на Тайной вечере не апостолы, а сыновья и родичи графа Моркова. А дальше по всей церкви, по всему иконостасу пошли дочки, внуки, близкие! Кошунство! Стоит одним словечком намекнуть в синоде — и все всплывет на поверхность! Скандал!

Гости молча слушали, а довольный хозяин продолжал. Отличное вино и обильная еда развязали ему язык:

— А возьмите надменного Ханенко, он хвастается своим гетманским родом, из шкуры вон лезет, взбираясь вверх. А с холопами у него нет твердости, распустил их, вот и собирает теперь ягодки. И я скажу вам, господа,— такие помещики приведут Россию к гибели, если их вовремя не приструнить... Своим позорным примером они расшатывают опору дворянства. Испокон века крепостной знал, что на земле есть люди богатые и бедные. Богатые живут в достатке, бедные в нужде. Это от бога. А когда граф Морков приказал написать себя вместо бога, крепостные и давай рассуждать, откуда же на земле появились богачи и бедняки. Воленс-ноленс, господа!...

— Воленс! — воскликнул чиновник и ударил кулаком по столу. Теперь, когда глаза его загорелись, ноздри стали раздуваться, в нем, даже невзирая на бороду, можно было узнать Прокопа Данилевского. Больше сдерживаться он не мог. Это был сигнал. Исправник Големба — старательно переодетый Кармалюк, и капитан Юркевич — Иван Дроздов в один миг скрутили Базилевичу руки, заткнули рот кляпом. И камергер упал в свое высокое кресло, даже не охнув.

— Ну, барин,— заговорил Кармалюк,— а ты наш приказ выполнил, расковал сына вдовы? Ведь мы и есть те самые кармалюковские молодцы, а я — сам Кармалюк, хотя ты и схоронил меня в Сибири!

Базилевич дернулся, побледнел и, тихо застонав, безвольно осел в кресле, словно мешок. Глаза закатились, только посиневшие губы шевелились, жадно ловя воздух.

— Ой, из него потекло,— Иван Дроздов с отвращением отступил, но скрученных рук камергера не выпустил.

— Они все такие,— бросил атаман.— Берите оружие!

Новенькие пистолеты тульской работы, сабли и кинжалы дамасской стали, лежавшие на столе у стены, очутились в руках у повстанцев. Прокоп открыл запасную дверь, ведущую в сад, и оттуда вбежал каретник Гарасим Танцюра с тремя побратимами, переодетыми солдатами. В саду и на господском дворе уже орудовали остальные повстанцы, связывали гайдуков и охрану, бывшую в имении. Не всех, правда, а самых злобных, тех, на кого указывал Гарасим Танцюра.

Ударили в набат, как на пожар, и крепостные побежали в имение, хоть там и без того было уже шумно и тесно от челяди и батраков, высыпавших на площадь перед дворцом. Там лежали связанные гайдуки. Все шло, как задумал Прокоп, даже лучше, ведь на расправу с извергом Базилевичем неожиданно прибыл сам Устим Кармалюк, со своим боевым побратимом Иваном Дроздовым. Весть о возвращении атамана уже разнеслась среди дворовых, долетела до села, люди бросали всю работу и, не чувствуя земли под собою, сбегались в имение. Со всех сторон звучало возбужденно и радостно:

— Кармалюк жив!

— Вернулся наш атаман!

— Слава богу!

— Теперь господам туго придется!

— Кармалюк! Слышите, Кармалюк!

— И войско у него свое!

— Поглядите, какие солдаты brave...

Сбиты замки со всех амбаров и сараев, настежь распахнуты двери в господские хоромы и подвалы. Вывели из домашней тюрьмы закованных в кандалы рекрутов, среди них и сына вдовы Карпа Гаевого. Стоят они, щурят глаза на солнце, никак в себя придти не могут. Уж не сон ли им снится? Нет, не сон, вот и матери их прибежали, плачут от радости, а гайдуки больше не лупят их плетями. К рекрутам подходят кузнецы с молотом и наковальней, сейчас раскуют вдовьих сынов.

Из дворца выводят связанного барины, и толпа затихает, лавиной валит к самым ступенькам крыльца.

Все молчат, только дышат громко и глубоко, как в церкви. Вперед выходит Кармалюк в необычной для него одежде исправника, и люди как-то настороженно и взволнованно разглядывают его. Но вот атаман сбросил фуражку с большой кокардой, рванул высокий ворот, словно ему жарко, и поклонился людям на все стороны. По толпе, словно гром, прокатилось:

— Кармалюк!

— Атаман!

— Он!

— Он!

Кармалюк поднял руку, и все стихло.

— Здравствуйте, земляки! Со святым воскресением вас! Простите, что такую одежду напялил, а иначе ваш

барин не стал бы со мной разговаривать. Очень уж он нос дерет и вас ни во что не ставит. На собак меняет, девчат бесчестит, тяжко вас истязает, сыновей у вдов в рекруты отдает. А они у матерей единственные кормильцы. Пристало ли столбовому дворянину, да еще камергеру царского двора такое творить? Не стыдно ему перед людьми, не грех перед богом? Выньте у барина кляп изо рта и пусть скажет людям, что он думает, как с вами дальше жить собирается.

Иван Дроздов вынул кляп из господского рта, коленом подтолкнул Базилевича поближе к людям. Тот вдохнул открытым ртом, словно собираясь зевнуть, и опустил голову на грудь. Штаны у него были мокрые, в толпе это заметили и захохотали.

— Молчишь? — спросил Кармалюк. — Ну, подумай немного. Я тебя не гоню. А пока раскуйте рекрутов и все замки на дверях сбейте. И берите себе в этом дворе все, что хотите. Оно ваше, вашими руками добытое, и бог не покарает вас за это. Свое не грешно брать. Оно у вас украдено... Не бойтесь, барин не тронет вас, хоть я и уеду отсюда. Пусть только попробует!..

Загремели кандалы, толпа расступилась, и перед Кармалюком встали раскованные рекруты. Рядом с ними вдовы, их матери:

— Отец родной!

— Спаситель наш!

— Век за тебя станем бога молить!

Атаман сбежал к ним по ступенькам.

— Будет вам, люди! Давайте лучше с барином поговорим. Видите? Все молчит. А ну-ка, молодцы, всыпьте ему полсотни розог, тогда заговорит. Да возьмите в конюшне те розги, что он для рекрутов приготовил, в солевом кипятке выпаривал... Да живо!..

Базилевич задрожал, пошатнулся, но его тотчас повалили и, сорвав одежду, распластали на дубовой скамье. Сытое тело обвисло складками, глядеть на него было противно, и люди расступились, отвернулись, опустив глаза в землю.

Голову камергера накрыли мешком, чтобы не видел, кто его сечет. А секли все, кто хотел. Да так отмеряли, что после первых же ударов барин завопил не своим голосом, запросил пощады. Он плакал, умолял, клялся, что отныне никого пальцем не тронет, что единственных сыновей у вдов никогда больше не отдаст в солдаты.

Пусть отныне уездный суд решает все его споры с крестьянами. А барщину они будут отрабатывать по царскому указу — три дня в неделю. Словно уж, извивался он на скамье, где каждый день истекали кровью его крепостные.

Когда камергеру отмеряли пятьдесят розог, атаман приказал:

— А теперь, барин, дай им расписку, слово чести столбового дворянина на бумаге, да с печатью, что исполнишь все, в чем поклялся на этой скамье. Согласны, люди добрые?

— Согласны! Согласны! — закричали кругом.

— Несите стол с чернильницей, да бумагу гербовую, и печать камергерскую! — велел Кармалюк. — Чтобы все по закону было.

Базилевича усадили на скамью, но сидеть он не смог, писал расписку стоя, чудно изогнувшись под серым рядом, которое на него набросили. Расписку диктовал Прокоп Данилевский, он стоял в толпе, за спиной у барина. Камергер только слышал твердый, неумолимый голос, но угадать, кому он принадлежит, никак не мог. Рядом с барином стоял Иван Дроздов и следил, чтобы камергер слово в слово писал то, что диктовал Прокоп.

Данилевский диктовал:

— Я, нижеподписавшийся, камергер двора его величества, столбовой дворянин Владислав сын Базилевич, законный владелец земель и поместий на Подолье, даю своим крестьянам высокое слово дворянина в том, что отныне не стану ни наказывать их розгами, ни пытаться, а в случае провинности буду отправлять к становому приставу. Еще даю слово дворянина, что не стану забирать у вдов единственных сыновей и отправлять в солдаты. Также клянусь честью дворянина, что не пожалуюсь и словом не обмолвлюсь о том, что сам принял наказание от своих крестьян — получил полсотни розог в своем имении, при людях. В чем и расписуюсь, камергер двора его величества столбовой дворянин Владислав Базилевич, собственноручно.

Толпа загудела, заволновалась, с облегчением вздохнула.

— Написал, барин? — крикнул Кармалюк.

— Написал, — ответил Иван Дроздов.

— А теперь печать приложи. Приложил? — распоряжался Кармалюк.

Базилевич приложил серебряную родовую печать, покачнулся и грудью упал на стол. Отчаянные, истерические рыдания вырвались у него из груди.

— Заприте его в темную и держите до вечера, пока не разберете хлеб из амбаров и кладовых. Все берите, не бойтесь,— приказал Кармалюк.— А расписку я отдам на сохранение в надежные руки. Пусть только попробует барин нарушить слово столбового дворянина, пусть попробует! На сем прощайте, люди добрые! Мне к другому барину пора!

Загрохотали господские возы, заржали оседланные кони. Повстанцы погрузили на возы оружие и амуницию, уселись на коней и только пыль стала столбом по всей дороге, до самого леса, в котором скрылся Устим Кармалюк.

Лес большой да густой, тянется он через все Подолье, до земель галицких и дальше, к Карпатам. Повстанцы разбили лагерь на знакомой поляне, переоделись. Всю солдатскую и офицерскую амуницию, взятую из театрального реквизита графа Моркова, Прокоп с парнями уложил в лекарский фургон, оружие и деньги поделили, золото положили в общую копилку для бедных и на приобретение пистолетов, пороху и пуль. Часть золота Кармалюк отдал Прокопу, чтобы собирал деньги для выкупа на волю. Десяток добрых молодцев,— все на конях,— присоединился к Устиму, и он был уже не один. На том и распрощались.

— А ты, Прокоп, хорошо придумал с этой распиской,— похвалил Кармалюк.— Видать, не даром среди господ терся да всякие науки проходил. Теперь нам тебя и подавно беречь надо. Еще не время, но скоро зажжем свечки, небесам станет жарко. А пока сиди у графа. Счастливо тебе оставаться. Да хранит тебя бог.

Он обнял Данилевского и трижды поцеловал.

Тот закашлялся, сдерживая слезы, опустил голову. Он уже снова был без бороды и усов, в своей свитке и лаптях. Чиновничий мундир и лорнет лежали на дне соснового сундука.

— Трогай, Прокоп, а то еще хватятся тебя в имении,— торопил Кармалюк.— А о нас, двух бродячих комедиантах, что-нибудь наплети дворецкому. Ну, скажи,

что стары, мол, не подходим графу, поэтому и прогнал нас...

— Спасибо за совет... Не забывайте меня... Я жду,— чуть слышно вымолвил Прокоп, забрался в свою бричку и покатил по лесной дороге.

Кармалюк стоял под дубом, прислушиваясь, как грохочут колеса по изогнутым корням деревьев, и не замечал, что над самой головой у него ворковала сизая голубка.

И полетела с этого дня по селам весть, что кармалюковские молодцы не одни бродят по господским именьям, а с ними и Устим Кармалюк.

25

Управитель комаровецкого имения Тадей Заремба помрачнел и похудел. Теперь в его кабинете по ночам горел свет, но сам он больше там не ночевал. Каждый вечер Заремба приказывал стелить себе на новом месте: то в столовой, то в бильярдной, а чаще всего на кушетке в гостиной, окна которой выходили в сад. Даже дворовые не знали, где ночует управитель. Он приказал челяди с вечера расходиться по своим местам и не слоняться по имению. Ночью господский дом замирал, вокруг него стояла надежная стража, во дворе гремели цепями злые от голода собаки, но, невзирая на все это, управитель дрожал от страха. Он ждал страшных и мстительных гостей, зная наверняка, что они придут, придут внезапно, обязательно среди ночи.

За две недели таких ожиданий Тадей Заремба заметно осунулся. Он уже не подкручивал, как бывало, своих шляхетских усов, и они, всклокоченные и порыжевшие, как клочья шерсти, лезли в рот. Он проклинал себя за то, что после суда над Кармалюком не уехал вместе со своим паном в Варшаву, а согласился, дурак, остаться здесь, среди этих дикарей, управлять имением. Они и так на него волками смотрят, а как услышат об этом головорезе Кармалюке, и вовсе голову задерут. А что может поделать с ними Тадей Заремба, если до ближайшего имения добрых верст двадцать? А может, он и в самом деле принял не все меры предосторожности? Нет, кажется, он сделал все, что было в его силах. Он снова обдумывает, припоминает все до мельчай-

ших подробностей: когда и как пришла к нему эта страшная весть.

Сперва он услышал ее в летичевском костеле, но отмахнулся от нее, да еще и посмеялся над вестником. Но в обед в Комаровцы примчался верховой из Головчинцев. Он привез коротенькую записочку от своего помещика. Господин Ханенко приглашал Зарембу немедленно приехать к нему; дело очень важное для обоих и не терпит отлагательства. Заремба выехал, даже не пообещав. На всякий случай взял с собой двух вооруженных гайдуков.

Гонец господина Ханенко ничего не мог поведать Зарембе, он только рассказал, что в последние дни его барин очень озабочен и зол, может быть, даже заболел, потому что уже второй день не выходит из дворца. И только когда подъехали к головчинецкому имению, Заремба сам все понял. До сих пор он привык видеть расположенное на высоком холме за селом роскошное имение господина Ханенко открытым со всех сторон, а теперь Зарембу поразила каменная стена, выросшая вокруг усадьбы и винокурни. Стена была новая, наверху торчали железные прутья с заостренными зубцами, в кирпич были вмурованы осколки битого стекла. На месте прежних ажурных ворот теперь стояли толстые железные, навешанные на высокие столбы. Тадея Зарембу поразило и то, что прибывших долго не впускали во двор, хотя стража и узнала гайдука, которого Ханенко посылал к Зарембе. Был вечер, и господин Ханенко приказал в такую пору никого не впускать в имение...

Беседа продолжалась не более получаса, но домой Тадей Заремба уже не поехал. Теперь он окончательно убедился, что следует ожидать нападения Кармалюка. Ожидать не только у себя дома, а везде по всему Подолью. Полиция уже настойчиво утверждала, что Кармалюк снова бежал из Сибири, и об этом уже знает вся голытьба на ярмарках и в шинках. К нему снова двинулись крепостные из многих сел и хуторов. Но полиция еще не знала, где и в каких лесах Кармалюк прячется.

Так к Тадею Зарембе пришла первая бессонная ночь. Он напрягал память, стараясь вспомнить лицо Устима Кармалюка.

Он припомнил свою первую встречу с атаманом в лесу, когда выслеживал его. Потом перед ним встал суд, в Каменце, на котором Кармалюк так и не признал-

ся, а выдал себя за беглого солдата Гавриленко. Все факты и события, связанные с Кармалюком, были еще свежи и живы в памяти Тадея Зарембы, но лицо разбойника виделось ему неясно, как бы в тумане. Тадею Зарембе казалось, что теперь он уже не сможет узнать Кармалюка, и это пугало его, от этого бросало в дрожь.

Вернувшись от Ханенко, управитель приказал согнать в комаровецкую усадьбу всех крепостных. Они подвозили на тачках глину, песок для каменщиков, подавали им камень и кирпич. Вокруг господского дома росла каменная стена, еще крепче и выше, чем у Ханенко, с высокой сторожевой башней над воротами.

Тадей Заремба на этом не успокоился, он помчался в летичевскую полицию. Там еще не знали мест, где скрывался Кармалюк, но успокаивали управителя, что не сегодня-завтра все выяснится и разбойника снова поймают. Но Тадей Заремба упрямо стоял на своем, требуя официального подтверждения, что Кармалюк действительно бежал из Сибири и находится где-то на Подолье. Он стал угрожать, что донесет в Варшаву самому наместнику Королевства Польского князю Константину о бессмысленных действиях и равнодушии полиции.

Угроза подействовала. Земский исправник вынужден был под величайшим секретом показать Тадею Зарембе письмо из Тобольской полиции. Письмо принес Матвий Барабаш и прочитал его Зарембе. В письме из Сибири сообщалось:

«Каторжник Устим Карманюк росту большого, 2-х аршин и 6 1/2 вершков, сложения плотного, волосы светло-русые, лицо кругловатое, глаза голубые, бороду бреет. Говорит по-русски чисто, а также по-польски и еврейски. Одет в армяке серого простого сукна, шапка с козырьком тонкого черного сукна, лет около сорока. Ушел из шахты медного завода при тобольском остроге. Пока не найден. Строгие меры к розыску приняты повсюдно».

Сомнения, которые согревали Зарембу хоть маленькой надеждой, окончательно развеялись. Кармалюк бежал и до сих пор не найден. Значит, он уже здесь, на этой земле.

Управитель примчался обратно в имение и насел на крепостных, возводивших каменную стену. Он чуть не рвал на себе волосы, безумствуя, как сумасшедший бегал по длинным пустым коридорам господского дома,

перестал спать по ночам. Оброчные и батраки, пришедшие из других имений, поодиночке и группами бежали от него. Куда ж им было бежать, как не в ватагу к Кармалюку? А тут жатва на носу, рабочие руки нужны до зарезу. Заремба разослал гонцов по селам искать других оброчных, отпущенных господами на заработки. «Раньше сами приходили, набивались, а теперь искать их надо, просить. Правда, это хороший признак. Значит, будет богатый урожай», — не раз думал управитель в спокойные минуты, когда не вспоминал о Кармалюке. И он снова принимался за хозяйство. Приказал гайдукам прибавить плату батракам, но охотников работать на жатве не находилось. Пришло только четверо оброчных, и они в ожидании уборки выполняли в имении разную работу.

Кармалюк в Комаровцы не приходил. Он жил и орудовал где-то далеко за Литином, появлялся одновременно в нескольких имениях, в одну ночь чинил расправу в различных селах. Обескураженная полиция сбивалась с ног. Кармалюк всегда вырастал там, где барин, его посessor или управитель издевались над людьми, продавали крестьян, разлучали детей с родителями, гоняли крепостных на барщину всю неделю. Там, где у крепостных упало терпение, там неизменно оказывался Устим Кармалюк. Последствия были уже налицо. Скрипя зубами от злобы, помещики осторожнее использовали свою власть и безграничные права на крестьян. Господа начали бояться своих крепостных; они знали, что о господском произволе и наказаниях завтра же станет известно Кармалюку, а разговор с господами у него был короток.

И по всему Подолью помещики, а вместе с ними и Тадей Заремба до поры затаили злобу на крепостных. Но пора все не наставала. Кармалюк был неуловим. Облавы по лесам и плавням не приносили ничего утешительного. Расставленная по хуторам и селам стража даже не встречала Кармалюка.

Приближалась жатва. Тадей Заремба с трудом собрал с десятков крепостных, отпущенных обедневшими помещиками на заработки. Теперь он мог приступить к косовице. Принимая оброчных на работу, он у каждого отбирал отпускную грамоту и приказывал допрашивать поденщика, не видал ли тот Кармалюка по дороге в Комаровцы. Приказ управляющего Зарембы выполнял-

ся точно, батраков принимали в имение осторожно. Увидав их у ворот, старший приказчик сам выходил навстречу.

И вот опять, на счастье, прибыло пятеро. Они стоят, опустив головы, мнут в руках соломенные брыли, низко кланяются. Приказчик стоит перед мужиками, высокомерный, надутый, словно они ему вовсе не нужны. Стоит и похлопывает себя плетью по высокому голенищу. — Будто и не знает, зачем они пожаловали.

— Что надо? — равнодушно вопрошает он.

— Наниматься пришли. На срок хотим, — отвечает стоящий впереди.

— А откуда вы будете?

— Издалека. Из-под Умани, барин.

— Бумага у каждого есть? — допытывается приказчик.

Они молча шарят за пазухой, и каждый вынимает завернутую в чистую тряпицу, старательно сложенную бумажку — отпускную грамоту своего барина. Приказчик долго рассматривает каждый документ в отдельности, словно он в самом деле грамотен и может прочесть хоть одно слово в этих бумагах. Потом плотно прикрывает за собой железные ворота и трижды поворачивает в замке большой ключ.

— Ждите меня тут. Я доложу барину, — говорит он и направляется к дому.

Надев брыли, батраки садятся на траву у стены. Неподалеку от них расхаживает караульный дворовый с высоким посохом. Батраки рассеянно смотрят на тихое село, отсюда им видно господское поле ржи и на горизонте синеватое марево жаркого летнего дня...

Молчание нарушает самый пожилой из пришельцев. Подняв голову в низко надвинутом на глаза брыле, он подзывает к себе караульного:

— Человече! — и ждет, пока тот подходит к ним. — Человече, говорю. А зачем барин вокруг такие стены нагородил? Воры завелись, что ли?

— Какие там, к черту, воры! Разве барина украдешь? — дворовый равнодушно покачивает головой и, таинственно оглядевшись вокруг, шепчет: — Кармалюк опять объявился, вот что!...

— А чего барину бояться этого Кармалюка? Разве ваш барин душегуб или изувер?

Дворовый внимательно разглядывает батраков, но в

глазах их заметно только мирное, обычное любопытство утомленных трудной дорогой людей.

— Скажете тоже! — говорит он. — Что у вас, что у нас — господа, они повсюду одинаковые. Да только у нашего барина заслуги есть. Он когда-то выследил Кармалюка и выдал его на суде.

— На то он и барин, — небрежно бросает батрак и набивает пальцем трубку.

— Выдал, а теперь поджилки трясутся, — осмелев, говорит дворовый. — Люди из-за этого света божьего не видят. Ночь не спим — все Кармалюка ждем.

— И хорошо караулите?

— Как коня накормят, так он и везет.

— А кормят, верно, плохо? — допытывался батрак, и в глазах его вспыхивает сухой, необычный блеск. Он медленно разглаживает русый ус, улыбается, щурит глаза. — Говори, человече, не бойся. Кто ж нам расскажет про вашего барина, коли не ты... Мы нанимаемся к нему на срок, и нам надо знать, какие у него харчи для косарей.

— Поужинаешь — сам увидишь. У нас заведено так: хлеб есть — соли нет, соль есть — хлеба нет. А чаще всего бывает, что ни хлеба, ни соли.

Батраки весело, раскатисто смеются, громче всех — старший из них. У него даже слезы на глаза навернулись, плечи задрожали, он закашлялся. Потом начал рассказывать дворовому о своем барине, на Умани.

Вот это барин! Сколько у него имений, какая роскошь в палатах! Он не стены строит, а целые скалы из камня выкладывает. На спинах крепостных целые глыбы к себе в сад перетаскивает. Богатый барин, очень богатый, графского рода. Но они все-таки ушли от него на заработки. Думают — может, найдут барина поласковее...

— Ищи ветра в поле, — безнадежно машет рукой дворовый.

— А мы вот ищем, — отвечает батрак.

Дворовый подозрительно оглядывается на батраков и пожимает плечами. К воротам спешит гайдук, и дворовый быстро отходит от батраков. Он что-то бубнит себе под нос, так, словно думает вслух, шагая вдоль высокой стены.

— Не знаю, что вы за люди и чего вам тут надо. Может, вы на ту сторону, через границу махнуть хотите,

под цесаря австрийского, а меня просто так о барине расспрашиваете... Глупые вы люди. Господа везде одинаковые,—плюнул наконец дворовый и пошел вниз к пруду, выставляя посох далеко вперед.

А меж тем приказчик пропустил батраков в железные ворота и снова трижды повернул в замке большой ключ. Он все расспрашивал их, не встречали ли они по дороге Кармалюка, не слышать ли о нем среди прохожих людей. Но, узнав что они этого Кармалюка десятью дорогами обходили, успокоился, привел их в просторный овечий загон, приказав располагаться тут на ночлег. Документы их останутся у барина до тех пор, пока не закончится срок косовицы. Барин добрый, он будет платить им на семь копеек больше, чем в окрестных экономиях. А харчи его будут. Сегодня воскресенье, и они могут отдохнуть, а завтра в поле.

Из загона несло прелой соломой и овечьим потом.

— Хата подходящая, харчи господские. За стеной овцы, на земле сухой навоз. Черт подери этого барина! — выругался батрак.— И как мужики все это ему прощают, почему не проучат его, палача?

Батрак сбросил с плеч котомку, внимательно осмотрел крышу, потом прикрыл двери, они громко заскрипели.

— Скрипят, проклятые,—буркнул один из пришедших.

— Может, их гусиным салом? — спросил второй.

— Не надо, вы отдыхайте, а я с Иваном на разведку пойду. Пойдем, Иван.

Вечернее солнце брызнуло из-за леса последними лучами, и восковая пшеница в поле, и молодая трава на лугу заалели. Ветер улегся на ночлег в густых камышах над прудом, чтобы завтра с утра вновь волновать рожь в поле, траву на лугу и шуметь ветвистыми кронами тополей в господском парке.

Теплая летняя ночь опустилась на село.

Заснуло имение, и в нем Тадей Заремба. Он спал час, а может, два, поставив в изголовье ружье. На сей раз управитель спал крепко, широко раскинув руки. И приснилось ему поле, густая пшеница колышется на нем, а повсюду, тяжело ступая, бредут, покачиваясь, косари. За ними следом, не разгибаясь,—вязальщицы. Тихо и весело позвякивают косы, и кажется, что в ответ им звенит и играет серебристое марево по всему гори-

зонту. В этом мареве Тадей Заремба ясно видит белые каменные дома Варшавы, островерхий дворец своего барина. Он даже слышит, как в пальцах у него хрустят новые ассигнации, как звенит на ладони золото. Ему, Зарембе, кланяются красивые панянки, жительницы богатых кварталов. Честь и слава ему, управителю Тадею Зарембе, который такую прибыль своему господину принес и сам разбогател. Управитель самовлюбленно улыбается во сне, не чуя близкой беды.

Если б он знал, что уманские батраки уже ведут старшего приказчика, крепко связав ему руки, он вскочил бы, поднял бы крик, стрельбу. Но батраки делают свое дело тихо, осторожно. Они уже отперли железные ворота, и на господский двор влетело еще человек двадцать. Иван Дроздов и Захар Блажкун хорошо разглядели с вечера, где что стоит в комаровецком имении, и теперь уверенно ведут своих, не сбиваясь с пути. Надо спешить, ночи теперь короткие.

Собаки знают старшего приказчика, ночная стража у господского дома узнала батраков и потому молча пропускает их на высокое крыльцо. Они идут по длинным коридорам, минуют одну комнату за другой и, наконец, останавливаются перед дубовой дверью кабинета. Два острых ножа прикасаются к ребрам приказчика, и он чувствует свою смерть на господском пороге, а ему хочется жить, и он смело стучит в дверь к управителю.

— Ваша милость! Проснитесь!

Тадей Заремба мигом вскакивает и босиком бежит к двери. Он узнает голос приказчика, но еще не понимает, что произошло среди ночи.

— Гонец от Ханенко! Записку привез. Срочное дело!

Дверь кабинета открывается. В темноте видна дородная фигура Зарембы в одном белье. Его схватывают сильные руки, рот ему затыкают клоком пакли. Пакля грязная, с кострикой. Тадей Заремба никогда не думал, что она так отвратительна и удушливо смердит. Он стал бы сопротивляться, но боится, что ему оторвут руки, так крепко его связали.

Бледным пламенем вспыхивает свеча, и Заремба чувствует, как ноги у него подламываются в коленях. Кажется, он не выдержит, упадет на пол. Но нет, держат его крепко, с места не сдвинешься, а уж об отпоре не может быть и речи. Пламя свечи вырастает перед ним, все приближаясь и приближаясь к его глазам, и он



видит за огоньком чье-то страшное лицо. Орлиный нос с горбинкой, ноздри трепещут, словно крылья, от частого и глубокого дыхания.

— Узнаешь меня? — гремит голос и приказывает: — Выньте у него изо рта кляп.

Тадей Заремба испуганно хлопает обезумевшими глазами и тяжело дышит. Приказчик окаменел на пороге.

— Опознавай! Кармалюк я или нет? Это ж твое ремесло...

Услышав эти слова, управитель пошатнулся и без чувств повалился на пол. Его подхватили на руки, побрызгали водой, привели в чувство.

В комнате нависла зловещая, тяжелая тишина. Большой медный маятник стенных часов однообразно и звонко отстукивал секунды. Тадея Зарембу посадили к столу, напротив сел Кармалюк.

— Давай батрацкие бумаги, — спокойно приказывает он Зарембе.

Управитель дрожащими руками вынул из ящика бумаги, положил их на стол. Кармалюк подал их Ивану Дроздову, спросил:

— Скажи, Черноморец, это они?

Матрос прочитал их, пересчитал и ответил:

— Так точно, атаман. Они.

Кармалюк шевельнул высокой бровью, снова приказал Зарембе:

— Вынимай долговую!

Управитель зашелестел в столе бумагами и вынул старую, замусоленную книгу в переплете из свиной кожи. Это была старая книга крепостных платежей и местных податей, по которой из года в год все крестьяне, приписанные к комаровецкому поместью, платили барину деньги. Здесь были записаны все крестьянские долги. Кармалюк жесткой ладонью погладил книгу и отдал Ивану Дроздову:

— А теперь, управитель, выкладывай кассу, — приказал он.

Заремба открыл кованый сундук. Люди Кармалюка вытрясли оттуда все векселя, ассигнации, золотые, серебряные и медные деньги. Они высыпали их в большой кожаный мешок, который, крепко завязав, взял Иван Дроздов.

Управитель сразу впился глазами в матроса Дроздова, словно навек хотел запомнить его открытое, красивое лицо с резко очерченным подбородком и густыми русыми усами. Но в такой катавасии запомнить что-либо было трудно, и Тадею Зарембе запомнилось только то, что Кармалюк назвал его Черноморцем. Видно, он был у атамана правой рукой, а может, и главным советчиком, если Кармалюк доверил ему все деньги и документы. Не обращая внимания на Зарембу, атаман наставительно сказал матросу:

— Вот так ты и будешь поступать. Сперва документы, долговую книгу, а уже потом деньги. Добро?

— Добро,— ответил Иван Дроздов и метнулся к Захару Блажкуну, который перетряхивал шкафы и сундуки с одеждой.

Кармалюк снова повернулся к управителю и крикнул:

— А ты чего встал? Сиди камнем, как посадили, и слушай, незудит! Я пришел к тебе не за свою обиду платить. Я за людей мстить пришел. Что ты с ними делаешь, ирод проклятый? Мало тебе их работы, так ты еще и батогами их? Своему барину на чужом горбу золото добываешь, а он в Варшаве его пропивает? Так дальше не пойдет. Смотри, где твое золото!

Кармалюк сорвал с окна тяжелую штору, и огонек свечки на столе сразу побледнел. Слабенький язычок пламени вытянулся и погас. Но в комнате стало светло, как днем. В окно ударило дрожащее высокое зарево. Это горели господские амбары и овины, посылая в черное небо огромные языки пламени и снопы ослепительных искр.

— Иди, управитель, во двор,— приказал Кармалюк.— Там тебе виднее будет. И помни: скоро на таком огне все господа разом сгорят. Вот как оно будет!

— Я должен одеться!..— взмолился управитель.

— Зачем? Нет, иди уж в исподнем. Ты что, людей стесняешься? Ты же их раздеваешь, когда розгами сечешь? Тогда тебе не стыдно? Так иди и сам такой,— сказал Кармалюк.

Тадея Зарембу и старшего приказчика вывели на крыльцо. На широкой площади перед господским домом, залитой ярким заревом пожара, уже толпились крепостные и челядь. Увидав своего управителя, люди загудели и подались к крыльцу. В толпе раздался гром-

кий хохот. Из-за спины барина вышел Устим Кармалюк, и радостный шум, похожий на вздох облегчения стоголосой толпы, прокатился над площадью. Кармалюк поклонился на все стороны, поднял руку, и толпа замерла, плотно обступив крыльцо.

— Люди добрые! — заговорил Кармалюк, указывая на управителя. — Этот лиходей построил вашими руками стену и железные ворота. Он хотел за каменной стеной спрятаться от нашего гнева. Но напрасно. Наш гнев одинаково рушит и железо и камень. Запомните это, люди добрые, и детям своим закажите. У царя в Петербурге не такие стены стоят, а повстанцы уже и до него добрались...

Кармалюк остановился и оглядел молчаливую толпу. Он знал, что эти слова по сердцу крепостным, что так думают они все, но не каждый отважится поднять руку на барина. Чего же они ждут и зачем позволяют мучить себя, на кого надеются? От этой мысли сердце его сжалось, и он по ступенькам спустился с крыльца к людям. Теперь он стоял среди них и словно отец завещал своим детям:

— Отныне работать на барщине будете три дня в неделю, а три — на себя. Бить вас он не имеет права. Слышишь? — крикнул Кармалюк управителю, и Тадей Заремба испуганно присел. — А ежели он нарушит этот закон, прошу послать мне весточку, и я снова прилечу к нему. Пусть знает, что я его и в Варшаве найду. Ну, вот и все. А теперь попотчуйте его, ребятушки, чтобы крепче запомнил наше слово.

Перед крыльцом на дубовой скамье разложили голого управителя, и над его спиной засвистели розги и плети, приготовленные на конюшне для крепостных. Кармалюк приказал накрыть Зарембе голову мешком — ведь били его не только молодцы Кармалюка, но и свои крепостные, каждый по разу, твердой рукой.

Кармалюк пошел со двора. Толпа обступила его плотным кольцом и проводила до самых ворот. Кто обнимал его за плечи, кто старался поцеловать руку. Он вырывался, приговаривая только:

— Не надо... Зачем вы так! Разве я святой?..

— Спаситель наш! — крикнула какая-то женщина.

— Ты нам отец родной, — шептал седой дед.

Со всех сторон к Кармалюку неслись искренние, горячие слова. Только произносили их тихо и осторожно,

чтобы, неровен час, не услышал кто-нибудь из приближенных дворовых. Кармалюк заметил это, и ему вновь стало обидно. Он остановился и снова заговорил:

— Сейчас вам раздадут господские деньги. Вы их поделите между собою, только поровну. Они ваши, и я законно возвращаю их вам. Выберите старшего, кому доверите эти деньги.

Пожар в имении разгорался. На дубовой скамье стоял Тадей Заремба, а у ворот уже стояли оседланные кони из барской конюшни, ожидая кармалюковских молодцов. Пока крепостные выбирали казначея, а Иван Дроздов передавал ему мешок с господскими деньгами, Устим вместе с толпой подошел к пожару. Мгновение он молча смотрел на пламя, словно грелся возле него, а потом протянул к нему руки. В руках его была старая книга в переплете из свиной кожи. Люди узнали эту книгу, и снова по толпе прокатился гул облегчения.

— Слушайте меня еще раз, — сказал Кармалюк. — В этой книге записаны все ваши подати и долги. Чтобы все это заплатить, вам и жизни не хватит. Долги переходят из рода в род, от отца к сыну. Умирает отец — платит сын, умирает сын — платят его дети, и так до самой могилы, пока есть на свете господа. Но теперь не будет у вас долгов. Слышите меня?

— Слышим, отец!

— Слышим!

Кармалюк высоко поднял руку, и страшная книга взлетела вверх, зашелестела листочками и упала в огонь.

Вокруг загудели, и в этом гуле уже не было слышно, как трещали и падали догоравшие бревна амбаров и овинов, как возле господского дома выли панские псы, как ржали, носясь по двору, перепуганные лошади.

К атаману подбежали Захар Блажкун и Иван Дроздов.

— Деньги людям отдали? — спросил Кармалюк матроса.

— Отдали, — ответил Дроздов.

— Ночь проходит. Рассвет близко, надо спешить, — сказал Захар Блажкун.

Кармалюк одобрительно кивнул головой и по его знаку над имением раздался громкий свист. Кармалюковская ватага в одно мгновение уселась на господских коней, и люди бросились за нею к железным воротам,

Кармалюк снова исчез так же неожиданно, как и появился, а мужики еще долго стояли у каменной стены имения, внимательно глядя на восток, туда, где шумела густая пшеница и подымалась над трактом пыль. Кармалюк скрылся за высокой пшеницей на опушке там, где испокон веков для крепостных комаровецкого имения всходило солнце.

Кармалюк сидел на дубовом пне, подперев руками тяжелую голову. Совет старшин уже окончился, все было решено. Атаман смотрел на гаснущий костер, где в теплой золе алели догорающие угольки, и, казалось, не слышал, о чем говорили побратимы. Качались могучие кроны вековых дубов, шумели ветвями высоченные сосны. Над лесом бушевал ветер, и деревья то гудели грозно и тревожно, то шумели тихо и таинственно. Но тут, за озером, на топком болоте, стояла тишина, словно в теплой хате под Новый год, когда на дворе воет метель, а на столе мерцает плошка и огонек ее даже не мигает от бешеного ветра, что бьет в окно. Уютно в этом лесу и безопасно, пока вокруг тебя сидят верные побратимы, а вокруг в кустах стоит надежная стража.

— Ума не приложу, что нам делать,— продолжал Захар Блажкун, то и дело поглядывая на опечаленного Кармалюка.— Что нам делать, атаман, с таким разбоем? Вчера в Кальней Деражне за одну ночь украли четыре пары коней. Всех из конюшни вывели. Сегодня в Ходоках у нас из-под носа конокрады увели еще шесть лошадей. И все больше у бедноты берут. Человек из последних сил тянулся, купил коня, а они свели. Кого ж они грабят, чертовы дети? Своих, что ли?

Иван Дроздов вопросительно посмотрел на Блажкуна, погладил усы.

— Нет, Захар, своих они почти не трогают. То, что конокрады до сих пор мало трогают богатеев и господ, ясно говорит, кто они такие. Свой у своего не крадет. Богач богача не обидит. Я уверен, что конокрады эти богатого рода, может, даже из шляхты,— спокойно и убежденно сказал матрос.

— Так-то так,— отозвался Блажкун.— А на кого черная слава падет за эти кражи? Ты разве не слышал,

о чем люди по селам гомонят? Кармалюка конокрадом называют. Шляхта в один голос трубит: «Кармалюк разбойник, по-уличному его называют — карман, значит, вор. Кто ж, как не он, и крадет коней?»

— Это-то нам и надо,— вскочил Иван.— Вот и выходит я прав, что коней у бедных крадут нанятые богатеями конокрады. Это их шайка. А чтобы не бросалось в глаза, иногда и у богачей берут.

Захар Блажкун не выдержал.

— Ну, и что толку, Иван? Людям-то все равно. У них уже Кармалюк закоренелым вором прослыл. Понял?

Кармалюк тряхнул головой, и все заметили, как побагровело его лицо, заходили скулы. Густой румянец разлился по вискам, и от этого ярко заблестела серебристая прядь над ухом.

— Врешь! — оборвал Кармалюк возбужденного Блажкуна.— И люди твои врут!

Он снова подпер ладонями голову и тихо, в глубокой задумчивости закончил:

— Честные люди так обо мне не скажут. Они хорошо знают, кто я такой. За людей меня на каторгу гнали, господа да полиция меня, как зверя, собаками травили. Господа все могут... Они даже книгу церковную украли, где о моем рождении написано. Там ясно сказано, что я Кармалюк, а в протоколах судебных они написали «Карманюк». Детей моих «карманами» прозвали... Жену... Что поделаешь? Собака лает, ветер носит...

— Это верно, атаман,— отозвался молчавший Илько Сотничук.

Захар Блажкун тихо вздохнул.

— Атаман, ты на меня не гневайся, я ведь правду говорил. Коли у человека последнего коня из конюшни сводят, он что хочешь в отчаянии скажет, он волком завоет от такого горя... Вот наговор и летит, как молния, по ярмаркам, по шинкам, от села к селу... За горло его не схватишь, язык ему не вырвешь... Ничего с ним не сделаешь.

Кармалюк встал и зашагал вокруг угасшего костра. Высокий, плечистый, в полотняной сорочке, заправленной в такие же штаны, только заплатанные и вымазанные смолой, он походил в эту минуту на атамана чумацкого обоза, с которым в степи приключилась беда. Оста-

новившись против Блажкуна, он подгреб ногой в покоробленном постеле золу к костру и сказал:

— Твоя правда. Только что нам делать — ты не сказал. А делать надо. На их поклеп и брехню надо ответить правдой... Что вы на это скажете, молодцы?

Поднялся Дроздов, решительно махнул рукой, словно в ней была сабля.

— Изловить конокрадов, вот и весь сказ, — проговорил он.

Кармалюк похлопал его по плечу.

— Верно, Иван, я только что подумал об этом... А коли одна мысль приходит двоим, это уже веселее... Стало быть, так и порешим. Захар с Иваном подберут людей и пойдут на это дело. Только помните одно: вы должны привести их живыми. Конокрадов надо судить при народе. Так я думаю. Ладно ли будет?

— Ладно, атаман, — поддержал Захар.

— Спасибо за совет! — подтвердил Илько Сотничук.

— Постараемся, — тихо проговорил Дроздов.

Старшина поднялась, и это означало, что все они одобрили решение Кармалюка и каждый должен приниматься за свое дело.

— Значит, Захар с Иваном пойдут нынче ночью, — напомнил еще раз Кармалюк о решении совета. — А ты, Илько, двинешься со своими молодцами поутру. Третья ватага пусть выходит сейчас. Каждый приступает к своему делу порознь, но в одно время, в один час, ровно в полночь, и заканчивает, когда запоют третьи петухи. Работы у всех будет много, и действовать надо быстро. Хотел бы я, братцы, поглядеть, как губернатор в Каменце будет рвать на себе волосы, когда узнает, что Кармалюк в одну ночь в трех усадьбах побывал. А имения эти одно от другого за сотню верст. Весело будет...

И атаман засмеялся, так крепко зажмурив голубые глаза, что из них даже слезы покатались, и зашелся долгим, мучительным кашлем. За Устимом дружно захохотали старшины, представляя себе, как растеряются полиция и войска, когда узнают о таком маневре.

Кармалюк загодя обмозговал все с Иваном Дроздовым и, собственно говоря, для этого и собрал совет. Становилось опасно действовать одной ватагой. Вокруг — засады, охрана, полиция, а тут еще и войска пришли. И все ищут, ловят Кармалюка. Пусть теперь попробуют поймать! Иван Дроздов недаром служил в гвардейском

экипаже. Он там поднаторел в военном деле и теперь матрос — драгоценная находка для Кармалюка. Это Иван первый подал мысль разделить на три отряда и начать партизанскую войну, как было при Наполеоне, когда партизаны и ополченцы стреляли во французов из-за каждого куста, дерева, пригорка... Хорошо, что Кармалюк встретил матроса в Москве, в мастерской Тропинина. Иван Дроздов пришел к художнику попросить денег за то, что Тропинин когда-то рисовал его в Петербурге. Тогда же он рассказал Василию Андреевичу, что хочет пробиваться на Дон и там создать партизанский отряд из беглых крепостных и солдат. Кармалюк позвал его с собой, художник горячо поддержал Устима, и теперь матрос Иван Дроздов нашел в лесу свою свободу.

Старшины раскурили трубки. Кармалюк заговорил снова:

— Только вы не думайте, что конокрадов можно изловить в одну ночь. Это ворюги хитрые, как черти, и быстрые, как ветер. Сначала надо разыскать их сообщников — тех, кто выдает, у кого надо и можно украсть лошадь и кто прячет и перепродает краденых коней. Договоритесь в селах с надежными людьми, и пусть они присматриваются и прислушиваются ко всему. Конокрады передают коней из рук в руки. Часто они даже не знают тех, кому передают, ведь их тут целая шайка. Передают по приметам. А какие это приметы? Под большим секретом выведал у одного конокрада. Приметой для конокрадов служит конский череп. Валяется такой череп в подворотне, никому и невдомек, а для конокрада это знак. Он пригонит в село краденых коней и ведет в те ворота, под которыми конская кость белеется... Вот как они делают. Присматривайтесь к этому.

— Спасибо за совет, — ответил за всех Захар.

— Да не позабудьте нашего Черноморца, Ивана Дроздова, познакомить с господскими усадьбами, — продолжал Кармалюк. — Надо свести его с нашими людьми в селах и хуторах. Только он очень горяч, вы его пока что вперед не пускайте. Пусть больше приглядывается да примечает, как тут, на Подолье, люди живут...

Сразу по прибытии Ивана Дроздова в отряд его прозвали Черноморцем в знак того, что он матрос и служил во флоте, хотя и на Балтийском море. Тут, на

Украине, близко было Черное море, и новая кличка сразу укрепилась в отряде и приросла к матросу.

Иван Дроздов покраснел и, тряхнув волосами, сказал:

— А что примечать-то? Что у вас, что у нас в Олонецкой губернии — все одно. Тут господа, и там господа. Тут крепостные, и там. Горе оно везде одинаковое... А нянька мне не нужна... Не лыком шиты... Раз решился, так не держите...

К нему подошел Захар Блажкун.

— Ты скажи нам, Иван, может, тебе у нас плоховато? Может, тебе недостает чего?..

Матрос расстегнул рубаху, словно ему стало жарко, и все увидели на его широкой волосатой груди крестик. Иван Дроздов коснулся крестика рукой и сказал:

— Ишь куда повернул. Мне и в голову не приходило, что мне тут не понравится. Мне порой даже жаль, что не было вас всех на Сенатской площади, в Петербурге... Ударь тогда вместе с войсками такой отряд на царя — так все пушки, и Петропавловская крепость, и весь арсенал с оружием были бы в наших руках. А царя, как вошь, — к ногтю со всем его родом!

Старшины замахали на Блажкуна руками, чтоб не затевал споров с Иваном Дроздовым, и стали прощаться. Они по очереди подходили к Кармалюку, низко кланялись ему перед дорогой. Кармалюк первым обнял Дроздова, трижды поцеловал его в колючую, небритую щеку.

— Будь тебе, Иван, густой лес отцом, а земля наша и люди — матерью... Держись их, не пропадешь.

— Спасибо на слове, — ответил матрос.

Кармалюк уже обнимал Захара Блажкуна, пожимал руку Ильку Сотничуку, как вдруг над лесом дважды прокричал филин. Все насторожились. Это был условный знак караульных. Что случилось? Кого принесло в лагерь в такую пору? Кармалюк прислушался.

По ту сторону болота зашелестели кусты, густые камыши раздвинулись, и на поляну вышел караульный, ведя за собой старого бандуриста Диброву.

Увидав бандуриста, Кармалюк насторожился. Перед ним сразу встали родные Головчинцы, родная рубленая хата, Мария, сыновья. Кармалюк внимательно всматривался в камыши, ждал — не появится ли вслед за Дибровой еще кто-нибудь? Один из сыновей или, может,

сама Мария? Но камыш был спокоен и тих, и ни один листок не качнулся на нем. Старый Диброва пришел в лагерь один.

Устим пошел навстречу бандуристу.

— Здравствуй, дедуся!

— Здравствуй, сынок, здравствуй! — низко поклонился Диброва.

Он топтался вокруг атамана и прикладывал шершавую ладонь к уху, чтоб услышать его речь. Дед отвечал Кармалюку невпопад и все рассказывал о своем, как он искал Устима по селам и ярмаркам, сколько дорог исходил, сколько людей повидал ради этого. Правда, он не решался спрашивать о Кармалюке первого встречного бродягу, но сердцем чуял, догадывался, знал, что Устим здесь, в этом краю.

Кармалюк посмотрел на старшину, грустно покачал головой.

— Как же он постарел! А кажется, еще вчера нам песни пел... На бандуре играл...

— И теперь играю, — приближает ухо старик.

— А здоровье у тебя как? — спросил Кармалюк. Видать, еще дебелый, не износился. Хороший еще дедок, говорю я молодцам, — сказал Кармалюк, наклонившись к самому уху Дибровы. — Говорю, еще дебелый дедок, не сдал еще.

Диброва недоверчиво посмотрел на атамана, смерил взглядом старшину, но, увидав на их лицах ласковую улыбку, отмахнулся:

— Где уж! Был конь, атаман, да изъездился. Погубил и меня сутяга.

— Кто?

— Да кто ж, как не Ханенко. С той поры, как сгорела его винокурня, а тебя поймали да повели на суд, просвета мы не видели. Тогда и меня обратно взяли в имение. До того-то я был отпущен на оброк. Ходил по селам и ярмаркам, пел людям песни и молитвы, подавание за это собирал. Барин мне оброк с этого подаяния назначил. Из милостыни я ему каждый месяц платил. А потом стали догадываться, что я с кармалюковскими молодцами знаюсь, выдала меня какая-то шельма. Били меня, крепко били по голове гайдуки. А я молчал. Не дождетесь, думаю, от меня слова. Все о тебе да о твоих побратимах допытывались. Кто они, да как зовут, да

откуда родом? Ничего я не сказал... От тех побоев и начал болеть... В прошлом году кровь горлом шла, а теперь новая беда... В груди словно что-то оборвалось. Хриплю все, кашель душит... Барин, как узнал об этом, выгнал меня со двора на все четыре стороны. На что барину глухой калека?

— Не печалься, дедусь! — ласково сказал ему Кармалюк. — Останешься у нас, будешь молодцам нашим петь... А ну, братцы, давайте споем ему нашу новую, ту, что Иван из Петербурга привез. Пусть дед ее выучит!

— А и верно, песня сердце радует, — присоединился Блажкун.

— Споем! — дружно поддержали все.

Диброву усадили на высокую колоду, сами расселись вокруг.

Иван Дроздов сел рядом с бандуристом. И громко и свободно полилась его любимая песня. Он отчетливо произносил каждое слово, близко наклоняясь к Диброве, чтобы тот все слышал:

Уж ка-а-ак шел ку-уз-нец да из ку-у-у-зницы.
Сла-а-ав-а-а!...

Диброва шевелил губами, тихо повторяя за Дроздовым слова. Потом снял с плеча бандуру, положил на колени, медленно, словно невзначай, коснулся огрубевшими пальцами струн, и скоро бандура вместе со всеми весело и протяжно запела, нарушив лесную тишину.

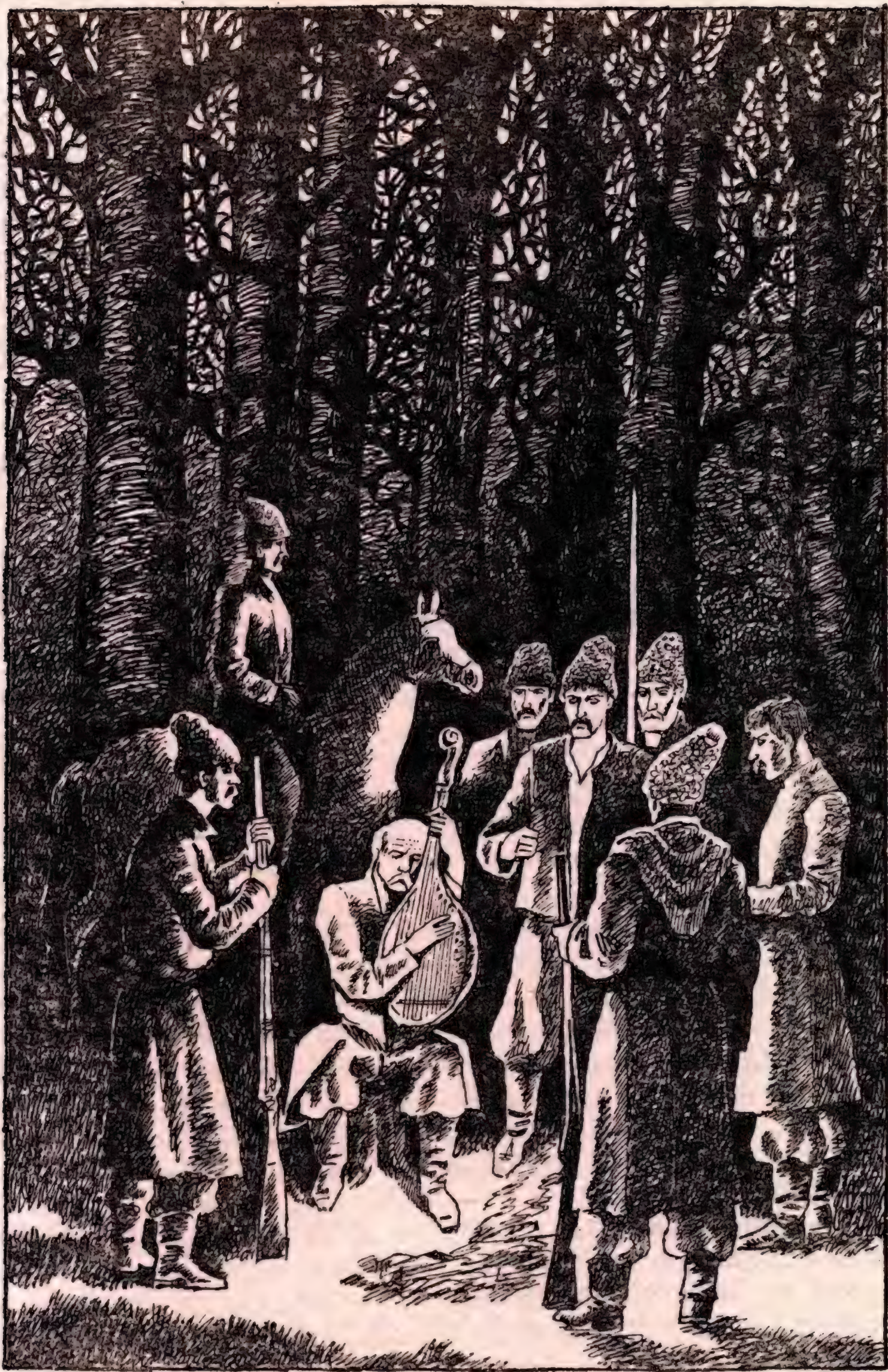
Иван запевал, а вся старшина и Кармалюк подхватывали сильными голосами:

Нес ку-у-зне-е-ец три-и-и но-о-о-жа.
Сла-аав-а-а!...

После каждой строчки бандура звенела все громче и громче, Диброва уже уловил мелодию песни, струны перепевали ее наново, когда хор затихал в ожидании запевалы.

А матрос вел дальше:

Пе-ер-вы-ый но-о-ж на боя-я-яр, на ве-е-льмо-о-ж.
Сла-а-а-а-ва!...
Второй но-о-о-о-ож на по-о-пов, на свя-то-о-ш.
Сла-а-а-а-в-а!...



Кармалюк со старшиной подхватывал полным голосом:

А мо-литву-у со-тво-о-ря-я,
Тре-е-ти-ий но-о-о-ож на ца-а-а-аря-я.
Сла-а-а-ва! ..

Песню допели, отголоски ее уже затихли в густых камышах над лесным озером, а старый Диброва все перебирал струны бандуры. Она откликалась ему серебряными голосами, гремела басами о народной силе и ненависти. Бандурист, чтобы не забыть, еще раз проиграл впервые услышанную песню. Когда он кончил и положил широкую ладонь на струны, Кармалюк спросил старшину:

— Ну как, братцы, примем деда к себе или нет?

— Примем! — выкрикнуло несколько голосов.

Дед поклонился на все стороны, поблагодарил за ласку и дал слово верно служить повстанцам. Было решено оставить его жить в первой ватаге, у Захара Блажкуна. Пусть снова ходит по ярмаркам и селам да спрашивает людей, какой барин больше всех измывается над крепостными. На коне скакать или в пешем строю Диброва уже не мог.

Захар Блажкун хотел было сразу увести с собой бандуриста, но Кармалюк задержал их.

— Садись, дед! Перед дорогой полагается присесть, — и сам опустился на влажную траву рядом с Дибровой.

Вслед за атаманом села и вся старшина. Кармалюк долго молчал, перебирая пальцами густую траву, словно искал в ней что-то, не отваживаясь заговорить. Он, верно, не хотел, чтобы побратимы слушали о его семейных невзгодах, но отослать их не мог. И потому начал стороной спрашивать старика о Головчинцах, о барине и вообще о новостях в уезде. Намекнул он, что собирается вскоре навеститься в родное село, посмотреть на Ханенко и на его винокурню.

— Ой, что ты, атаман! — замахал руками Диброва. — Позабудь и думать о Головчинцах. В селе полно солдат. Вокруг села день и ночь стража ходит, все тебя караулят. Ждут, пока ты придешь жену и сыновей проводить.

Кармалюк опустил голову, оперся локтями на колени. Лучше бы и не начинать этого разговора о жене и

детях, только сердце растравил, печальные думы проснулись. Но Диброва не знал этого и продолжал:

— По всем церквам уже второй месяц анафему тебе оглашают и попы читают публикацию, чтобы все люди приметы твои запомнили. Росту два аршина и шесть вершков, волосы русые, глаза голубые, бороду бреет, переднего зуба нету... Избави тебя бог появиться в Головчинцах в такую пору.

Кармалюк выпрямился и, сжав кулаки, подошел к Диброве.

— А как Мария живет? Как сыны мои? — крикнул он.

Его сильный голос прокатился по лесу, ударился о зеленую стену камыша. Утки испуганно снялись с болота и прошумели над головами. Кармалюк ходил по поляне, широко шагая, лицо его налилось кровью, ноздри раздувались. Все видели: в сердце атамана бушевала буря, следовало вовремя утихомирить ее. Захар Блажкун дергал бандуриста за полу, показывая ему глазами на грозного атамана... Диброва наконец понял, чего от него хотят, и переменял тон:

— Слава богу, жена и сыновья твои здоровы, — ответил Диброва. — Просили низко кланяться. Мария знает, как тебе трудно прийти к ним, не сердится. Дети растут, как трава после дождя. Иван скоро женится... А Остап вытянулся, как молодой дубок... Младший уже господских лошадей пасет.

Кармалюк вздохнул, и глаза его заблестели.

— А хозяйство как у них? — спросил он.

— Мария коня купила. Для Ивана, к свадьбе, — пояснил Диброва.

Кармалюк поднял голову, лицо его озарилось каким-то внутренним светом, который, казалось, шел из самой глубины сердца. Голубые глаза округлились, подобрели. Атаман ожил, повеселел и, казалось, позабыл, что вокруг него сидят люди. Он отошел в сторону и заговорил сам с собою тихо, с расстановкой, словно думал вслух:

— Сын женится... Свадьба скоро у меня в хате, а меня все нет. Ишь какое счастье — хозяевами стали, коня купили. Верно, денег заняли у шинкаря, свое что-то продали... И все сами без меня. Помогай им бог!.. Не печальтесь, дети, я скоро приду, — бормотал Устим. Но вдруг спохватился и, смущенно оглянувшись на старшину, весело спросил: — Чего замолчали да носы повеси-

ли? Разве не слышали — сын у меня женится! Поднимайтесь, молодцы! Дел у нас вон сколько набралось. Надо всюду поспеть. Кто ж рассчитается с барами, коль не мы!

Все поднялись и двинулись вслед за Кармалюком в густые камыши.

Гонец от Ивана Дроздова распрощался с Кармалюком на опушке леса и скрылся в густом кустарнике. Теперь атаман часто встречался на этой поляне с посланцами из своих отрядов, принимал от них донесения, передавал через нарочных новые приказы и советы. Так было безопаснее и удобнее. Теперь отряды его действовали по всему Подольскому краю, и бывать в каждом из них он не мог. Сведения, доставляемые гонцами, были утешительные. Крестьянское восстание разгоралось, грозной силой нависало над помещиками и богатой шляхтой. Полиция уже дозналась о появлении в ватаге Кармалюка Ивана Дроздова, и атамана это опечалило, хотя полиция толком не знала, кто же такой этот матрос. В одном перехваченном циркуляре начальник уездной полиции писал об Иване Дроздове:

«Литинская градская полиция благоволит уведомить земский суд, что с преступником Карманюком участвует некий Черноморец, его правая рука, по названию неизвестен, а по имени Иван. Говорит по-русски, росту посредственного, лица немного продолговатого, чистого, носа тоже продолговатого, волосы на голове, бровях и усах русые. Усы густые, глаз серых больших. Приняты строгие меры к разысканию».

Кармалюк насторожился, вспомнив об этом уведомлении, которое снова, уже вторично, только что привез гонец. Разостлав на траве две бечевки и напевая песенку, Устим пошел в лес собирать сухой хворост. Хорошо еще, что полиция до сих пор не знает всей правды об Иване Дроздове. Значит, его парни крепко держат язык за зубами. Скоро Устим собрал целую вязанку хвороста и, взвалив ее на плечи, не спеша пошел к тракту. Он думал о Марии, и ему казалось, что он никогда не стоял перед судом в Каменце, что на суд этот никогда не приходила жена и маленький Остап не видел отца в

арестантской одежде и кандалах. И казалось ему, что он совсем свободен, и эту вязанку хвороста несет к себе в хату. Сейчас навстречу выбегут дети, и Устим расскажет им сказку о хитром зайке, который обманул лису.

А вот и хата, да только не его. Стоит она у самого тракта, а перед нею возы да бричка. Устим искоса поглядывает на них, не поднимая головы. Он сбрасывает вязанку в дровяник, но в хату идти не решается. На порог выбегает хозяйка ходаковской корчмы, пышная, дебелая Татьяна. Вытирая фартуком мокрые руки, она кричит Устиму:

— Михайло! Положи хворост да натаškai воды в бочку. Вечно отлыниваешь от работы!..

Кармалюк берет деревянное ведро, крюк и шагает к колодцу. Хотя он носит воду по полведра, но бочка быстро наполняется. Он нарочно долго задерживается у колодца: в корчму идти нельзя, возы и бричка все еще стоят у ворот. Наконец к бричке подходит какой-то барин, на возах рассаживаются солдаты, и вот уже дорога пылит им вслед.

— Чтоб они сгорели! — Устим, даже не взглянув на Татьяну, бросает брыль на лавку.

Она прибирает со стола недопитую водку, закуску и лукаво подмигивает Кармалюку:

— Сам полицмейстер был...

— А хоть бы и царь, мне все равно, — гремит Кармалюк и надолго замолкает, усевшись на лавку у окна.

Татьяна знает его характер. Лучше не трогать Устима, когда он такой угрюмый. С той поры, как Захар Блажкун привез его сюда, все в корчме пошло по-другому. С появлением Кармалюка Татьяна словно ожила. Она земли не чуяла под собою, ухаживая за Устимом. Ей порою не верилось, что это и правда тот самый Кармалюк, о котором ходят легенды, поются песни. Ей трудно было привыкнуть к тому, что Кармалюк служит у нее кухонным мужиком и надо на людях ругать его, каждый день гнать на работу, чтобы никто ничего не заподозрил. На людях Татьяна была осторожна, но когда муж уезжал, старалась во всем угодить Кармалюку, обогреть его лаской. Но он был совсем равнодушен и холоден к Татьяне. Вот и сейчас он такой неприступный сидит.

Татьяна, хлопоча у печи, громко вздохнула. Кармалюк и не пошевелился. Слово ее и в хате не было.

Ну что он там увидел в окне, во что впился глазами? Осенние тучи низко плывут над серым лесом, ветер гонит по дороге пыль, и в клубах ее кружатся желтые листья. Близится вечер, и на дворе становится холодно.

— Может, печку протопить? — спрашивает Татьяна.

— Я сам.

Кармалюк поднимается и выходит из хаты. Он возвращается с охапкой хвороста и растапливает печь, присев на корточки в углу.

Вечереет. Кто-то стучится в хату, просясь на ночлег. Кармалюк открывает прохожему дверь и, не дождавшись, пока тот войдет, возвращается к печи.

— Славайсу! — кланяется белокурый мальчик. — А корчмарка дома?

— Навеки слава. Дома, — не оборачиваясь, отвечает Кармалюк.

Мальчик перешагивает порог, осматривается. Белокурые волосы низко спадают ему на лоб, в ясных голубых глазах притаилась усталость. Одежда на нем бедная, вся в заплатках, ноги босые, грязные. В руках длинная палка. Видно, пришел издалека. Кармалюк уже собрался заговорить с ним, но подоспела Татьяна.

— Скажите, — снова низко поклонился мальчик, — может, вы слышали... У нас коня украли... Я ищу его...

Татьяна приложила палец к губам, потащила мальчика в другую комнату. Кармалюка бросило в жар. Он подкрался к двери. Первых слов не удалось разобрать. Татьяна произнесла их шепотом, но постепенно разговор стал громче, и до Устима донеслись обрывки фраз.

— Сколько дашь? Конь пропал давно, искать придется далеко, — говорила Татьяна.

— Много дать я не могу. Отец у меня бедный, в Сибири был... Теперь, люди говорят, он вернулся, да я никак не найду его, — сказал мальчик.

— А кто твой отец? — спросила Татьяна.

— Кармалюк, — ответил мальчик и громче прибавил: — Шляхта говорит, что это он коней у людей ворует, а я не верю. Зачем бы ему у нас красть?

Татьяна встrepенулась от этих слов и задрожала. Неужели это правда? О чем же они думали? Ведь пан Янчевский строго приказал даже близко не подходить к хозяйству Кармалюка. Не трогать у Марии даже кури-

цу... Все перепутали, пьянчуги проклятые... Украли!.. Что же теперь будет?

Татьяна не успела даже сообразить, как ей быть.

Дверь распахнулась, чуть не слетев с петель. На пороге вырос Устим Кармалюк. Взгляд его был страшен, глаза пылали огнем. Впившись взглядом в мальчика, он, казалось, хотел еще раз услышать всю правду, боялся, что это призрак, что он снова обманут. На глазах его дрожали слезы. Мальчуган тоже стоял молча, недоверчиво, исподлобья меряя взглядом старого, сутулого батрака. Но постепенно лицо мальчика менялось, светлело. Вдруг он пошатнулся и тихо вскрикнул:

— Папенька!

— Остап! — И Устим кинулся к сыну..

Он поднял мальчика на руки, крепко прижал к груди и долго, горячо целовал. Потом опустил на пол и почувствовал, как по сердцу разлилось давно позабытое тепло.

Перед отцом был уже не тот Остап, который когда-то выдал его на суде. Перед ним стоял красивый, крепкий подросток с мягким пушком над верхней губой. От него веяло родным домом.

— Дитятко мое! Как же ты зашел так далеко? И не страшно было идти лесами? А как же конь? Где он, говоришь, поделся? — быстро говорил Кармалюк, усадив сына на скамью и присев перед ним на корточки.

Услышав о коне, Остап метнул взгляд на перепуганную Татьяну и опустил голову. Татьяна стояла посреди корчмы, растерянно перебирая оборку на фартуке.

— Выйди отсюда, молодница, — поднялся Кармалюк. — Не оскверняй своим взглядом моего сына. А о коне я потом с тобой поговорю...

— Атаман, это напасть на меня... Я от этого дела давно отказалась... Поверь мне! — молила корчмарка.

Кармалюк молча взял ее за плечи, выпроводил за порог и плотно прикрыл дверь. Остапу это понравилось, и он, закрыв рот ладонью, тихо рассмеялся.

— Эх, Остап, ну и отец у тебя, гостинца и того для тебя нет, — огорчился Устим.

— Ну его, гостинец, были бы вы сами живы да здоровы! — радостно ответил Остап.

Они уселись рядом, и полилась задушевная беседа о домашних делах. Хата у них еще крепкая, хлев, правда, покосился, но его взялся чинить сосед, дядько Опанас.

Коня вот купили, думали его в том хлеву поставить, а теперь вон что вышло. По всем селам коней угоняют, и молва идет, что это дело Кармалюка. «Да зачем же отцу единственного коня у своих детей уводить?» — не раз говаривала людям мать. Да разве ей верят?

Вот и разошлись они все коня искать. Иван пошел на Молдавский тракт, а он, Остап, в эти края. Трудно матери одной с ними, и надумала она женить Ивана после рождества. Невестка — еще одна работница в семье. Все полегче станет. Вот только ему, Остапу, легче не станет. Мать все гневается на него, простить не может. Он уж и из дому не раз убегал.

— Все в глаза колют: «Ты отца выдал», — угрюмо проговорил Остап. — А разве я хотел этого? Вот я и убежал, бродил по дорогам, по ярмаркам. Все вас искал, чумаков расспрашивал. Ну, полиция меня поймала да обратно к матери отвела. По этапу...

— Остап, что ты говоришь? погоди, погоди, — испуганно перебил его Кармалюк. — Ты, верно, придумал все это? Не может этого быть, не верю я...

— А вот было, — тихо сказал Остап и замолчал.

Кармалюк насупился, не зная, что и отвечать сыну. За окнами тоскливо завывал осенний ветер, стучали в стекла обнаженные ветви. Устим не заметил, как приехал из города муж Татьяны, не слышал, как они улеглись спать. Для него существовал только сын, удивительный и загадочный Остап. Порой Устиму казалось, что это вовсе не его сын, а какой-то чужой мальчик, не похожий на прежнего, послушного и ласкового Остапа.

— Хорошо, что я нашел вас, — шептал Остап. — Теперь я не вернусь домой. Я буду у вас служить... Я умею верхом ездить...

— Выбрось это из головы, Остап, и думать забудь, — сурово ответил отец.

Плечи мальчика дрогнули, и он тихо всхлипнул.

Устим постлал на пол рядно, кожух, уложил Остапа спать. Они долго лежали, крепко обнявшись, словно прислушиваясь к тому, как гудели в лесу сосны и стонала за окном осенняя ночь.

— Спи, сынок, я вам пару коней добуду. Да не таких, как ваша кляча!

— Нельзя нам сразу пару коней, — возразил Остап. — Все увидят, догадаются. Снова мать в полицию заберут...

— Ну, я денег дам,— успокоил его Кармалюк.

Остап не ответил отцу, он только крепче прижался к нему и вскоре уснул.

Они вышли из корчмы еще до восхода солнца. Кармалюк проводил сына до перекрестка. Попрощались. Трижды поцеловав Остапа, Устим сказал:

— Не приходи ко мне, сынок. Мал ты еще. Вот господ прогоним, добудем для людей волю — и я навсегда вернусь к вам... Будем жить вместе... А пока слушайся матери, не обижай ее...

Остап шел не оглядываясь. Он свернул с лесной тропочки на дорогу и уходил все дальше и дальше по обочине, а окаменевший Устим стоял, глядя ему вслед. Фигура сына двоилась и расплывалась у него перед глазами, но он даже не поднял руку, чтобы утереть слезы.

Подольский губернатор, зажиточная шляхта и полиция потеряли голову, гоняясь за Кармалюком. А он все появлялся там, где его не ожидали, налетая одновременно на несколько усадеб, находящихся одна от другой на расстоянии сотни, а то и более верст. Начальник литинской полиции лично по ночам наблюдал гигантские зарева, высоко поднимавшиеся над сонной землей. Господские имения, хлеб, уложенный в скирды, вспыхивали, словно по сигналу, в один и тот же час в противоположных концах уезда. Полиция думала, что, кроме Кармалюка, на Подолье появился еще какой-то атаман. Она не догадывалась, что Устим давно разделил своих молодцев на несколько отрядов и теперь только правил ими, всякий раз указывая, куда им направиться. Кармалюка знали в лицо, узнавали сразу, и он редко принимал участие в ночных налетах на усадьбы. Он служил в ходаковской, потом в бельчанской корчмах, батрачил у мелкой шляхты. Там его мало кто знал и легче было скрываться.

Так прошли дождливая осень и тяжелая, вьюжная зима. Зимой Кармалюк ушел из ходаковской корчмы. Он затаил в сердце горькую обиду на корчмарку Татьяну. Устим многое доверял ей, ведь она была для него такой желанной утехой в его трудной и беспокойной жизни. Корчмарка клялась перед иконой, что не связа-

на с конокрадами, что он, Устим, ее единственная надежда и любовь. Но атаман не поверил, перешел жить в другую корчму, потом нанялся в глухое село к бедному шляхтичу, но всю зиму не переставал возглавлять крестьянские бунты.

Простые люди не забывали Кармалюка. Они знали, что он где-то тут, среди них, и всегда может объявиться в нужную минуту. На посиделках парни и девушки пели о нем песни, упрашивали старших рассказать о Кармалюке и готовы были слушать эти рассказы без устали, до третьих петухов. Его именем девчата называли самых лучших и смелых парней. То там, то тут под звонкий хохот раздавались девичьи голоса:

— Ох ты, мой Кармалюга!

— Вот это Кармалюк! Орел-парень!

Парни с гордостью носили овечье имя, каждый старался заслужить его у девчат, принося на посиделки все новые и новые рассказы о Кармалюке, услышанные на ярмарке или в корчме от старых людей.

Когда в село заходил лирник или бандурист (чаще всего это был старый Диброва), его не отпускали до тех пор, пока не перескажет им всего, что сам знает или слышал от людей про Устима Кармалюка.

Именем его называли новорожденных. За него на крестинах пили первую чарку, щедро выплескивая в потолок недопитую водку. Чтобы рос Устим на счастье и славу родителям, чтобы был неуловимый, быстрый, как ветер, чтобы всегда были у него неведомые для полиции тропки. Пили за новорожденного Устима, а думали об Устиме Кармалюке.

Даже мелкая шляхта обожествляла его светлый образ. В ту пору не каждый шляхтич был врагом бедного люда. Шляхтич шляхтичу не ровня. Симпатии к Кармалюку и крепостным были особенно ощутимы в среде так называемой загоновой шляхты. Она ютилась по бедным хуторам, а чаще по селам, имея за душой только звучное имя да шляхетский гонор, клочок земли и ни полушки денег. Один надел на всю семью (надел — загон, оттого ее и называли «загоновая»), одна лошадь в пароконном фургоне, да изредка ветхая пароконная бричка. Правда, загоновая шляхта была вольная, барщину не отрабатывала, сколачивала себе на харчи да на одежду поденной работой и мелкой торговлишкой.

Насмотрелся за зиму Кармалюк на житье этой шляхты. Случалось, не раз улыбался, глядя, как шляхтичи, с продранными локтями, в рваных сапогах, при встрече высоко задирают головы, словно магнаты, и важно, горделиво шипят: «Пшепрашам пана», «Дзенькую пана»¹.

— Ох, паны, паны, на троих одни штаны, — добродушно посмеивался Кармалюк над этой загоновой, или, как он называл ее, загнанной шляхтой. Но он наблюдал среди них и другие человеческие черты. Их панычи и паненки собирались, подобно крепостным, на посиделки; пели песни и потихоньку рассказывали о страшных приключениях Кармалюка. Влюбленные паненки пели модные в ту пору песни о любимом, который где-то замешкался, а девушка ждет его и тоскует. Песенка была короткая:

Скушно мне одной весною,
Нет Кармалюка со мною.
День кукушка куковала,
А его как не бывало.
Без него, одна я буду!
Как тоскливо, тихо всюду...
Скачет Сивка через луг,
Примчись, примчись, Кармалюк!..

Не думали, не гадали панночки, что воспеваемый ими Кармалюк бродит среди них, заросший бородой, молчаливый и послушный, рубит дрова, носит воду, присматривает за скотиной, топит печи. Если б знали! Не раз Устим слушал их песни и рассказы о себе, и не раз ему хотелось выйти к шляхтянкам из своей тесной батрацкой каморки и рассказать всю правду. Но он не верил шляхте, даже и загоновой, опасался предательства. И весной окончательно убедился, что опасения его были не напрасны.

Пригрело солнышко, поутихли холодные ветры, а после первых дождей на лугах буйно взошла молодая трава. Из лесов повеяло пьянящими ароматами, защебетали птицы. Там, среди серых еще дубов, распустила свои ярко-зеленые косы гибкая береза, поднимался над болотом остролистый камыш, а у дороги пенистыми слезами плакала верба. Кармалюк часто выходил на луг, любовался широкими коврами озими, полной грудью вдыхал

¹ Пожалуйста, благодарю (пол.).

терпкий запах чернозема, и в сердце его просыпалась старая жгучая мечта. Взять бы сейчас чапыги в руки, налечь всем телом на плуг и зашагать босыми ногами по теплой борозде. Вырастить детям хлеба, чтобы хватило на всю зиму, чтоб им не пришлось больше заглядывать богатею в рот. От воспоминаний о родном селе и семье Кармалюк становился хмурым и молчаливым. Он думал об Остапе, укорял себя за то, что не сдержал слова, данного сыну. Вот и зима минула, а он даже весточки не подал о себе жене и детям. Как там у них теперь? Может, Остап снова убежал из дому? А как свадьба Ивана? Справили ее или нет? Если справили, кто же был за посаженного отца?

Все это было Кармалюку неизвестно. Одно только он знал. Хату его в Головчинцах стража не оставляла всю зиму, а весной и подавно не уйдет от нее. Но не велика беда. Надо непременно побывать этой весной в Головчинцах. А Устиму пора проститься со службой, и поминай, загоновая шляхта, как звали твоего бородатого, молчаливого слугу. Скоро уже и новые молодцы начнут собираться в лесу, он со дня на день ждет их посланцев. Пройдет ли кто, проедет ли по селу, а Устим уже в воротах, выглядывает своих.

И вот однажды, когда Устим поил скотину, до него донеслось едва уловимое бренчание струн. Ветер то приносил его во двор, то уносил на огороды, и трудно было угадать, откуда долетает этот звук. Выйдя за ворота, Кармалюк едва устоял на ногах. Вдоль тына по той стороне улицы плелся с бандурой через плечо старый Диброва. Он шел медленно, легонько перебирая худыми пальцами струны и напевая тягучую песню, похожую на церковный псалом.

Легкий ветерок овеивал его блестящую лысину и гнал песню вдоль улицы. Диброва был без шапки.

Кармалюк схватил деревянные ведра и пошел наперерез Диброве к колодцу. Надев ведро на железный крючок, он начал медленно опускать журавель, не сводя глаз с бандуриста. Диброва еще издали узнал Кармалюка, но плелся так же неторопливо, равнодушно, словно впервые видел этого слугу загоновой шляхты.

Поравнявшись с колодцем, бандурист поклонился Устиму.

— Дозволь, добрый человек, воды напиться,— попросил он.

Кармалюк поставил ведро на колодезный сруб, ответил:

— Пейте на доброе здоровье!

Ему хотелось крепко обнять старика, расспросить его о семье, о побратимах, об Иване Дроздове и Захаре Блажке, но окна хат выходили на дорогу, по дворам слонялись люди, и Кармалюк только ласково улыбнулся в русые усы и уже цеплял к журавлю второе ведро.

— Ждут тебя, атаман, нынче ночью за ходаковской корчмой, в Гнилом яру. Собрались уже все: Иван Дроздов, Захар Блажкун, Илько Сотничук. На их клич слетаются твои новые дети,— склонившись к ведру, шептал старик.

— Приду. А как живут мои в Головчинцах? — спросил Устим.

— Скоро свадьба у Ивана будет. Тебе передадут, когда и в какой день,— ответил старик.

— Спасибо, дед. Подождете меня за селом, вместе в яр пойдем,— предложил Кармалюк.

— Не могу. Мне приказано идти в Деражню...

К колодцу подходила соседка с ведрами. Диброва заметил ее еще когда она выходила из ворот, отер рукавом губы, поклонился Кармалюку.

— Спасибо, человек.

— Бога благодарите,— холодно ответил Кармалюк.

— Приходи конокрадов судить,— шепнул на прощанье Диброва и, закинув за плечо бандуру, поплелся вдоль сельской улицы.

Догонять его за селом было опасно, и Кармалюк не стал этого делать.

Он сказал своему шляхтичу, что завтра с утра собирается на богомолье в Киев, и, сложив скудные пожитки, поздним вечером вышел из села. Шел огородами до самого леса, а потом одному ему известными тропочками добрался до перекрестка дорог у ходаковской корчмы.

Рассветало, над лесом лежал туман. От земли поднималась целительная лесная прохлада. Почуввав лесной простор, сообразив, что скоро уже конец трудного пути, Устим широко раскинул сильные руки, словно хотел обнять все величие и красу утреннего леса. После холодной зимы, когда шляхта день и ночь держала его в черном теле, весенний лес казался ему настоящим раем. Все невзгоды, голод, издевательства, беспросветная

тоска по родным — все вдруг исчезло и забылось. Кармалюк снова стоял на пороге свободы, и ему показалось, что даже стоголосое птичье царство почуяло его радость, встречая первого лесовика громкою песней. Он заложил два пальца в рот и засвистел так, что в ушах зазвенело. Громкое эхо разнеслось по лесу и замерло где-то в чаще. В ответ слышался такой же свист, и Кармалюк побежал ему навстречу.

На опушке, под березой, Устим увидал Ивана Дроздова. На нем была длинная серая свитка, серая смушковая шапка, в руках острая пика. Густые русые усы отрасли и круто, по-запорожеки, свисали на подбородок. Друзья постояли с минуту, словно узнавая друг друга, потом матрос бросился Устиму на грудь и крепко обнял его широкие плечи. В первое мгновение ни один из них и слова не вымолвил — такой долгой и невыносимой выдалась им зимняя разлука. Из кустов выбежал Захар Блажкун и заключил обоих в крепкие объятия. Наконец Дроздов вздохнул полной грудью и весело заговорил:

— Ну вот и встретились! А ты, Устим, боялся за меня...

— Все могло случиться, Иван, — сказал Кармалюк.

— Чего уж там! — Матрос махнул рукой. — Меня везде как родного сына принимали. Даже собирались женить... Видят, что я не здешний, вот и жалеют, как сироту...

— Такие уж у нас люди, — улыбнулся Кармалюк. — А беречься все-таки надо. Объявление полиции о твоих приметах читал?

— Читал!

— И что думаешь? — спросил Устим.

— Сбрею усы, отпущу бороду... Пусть меняют, — Иван Дроздов засмеялся. — Мне нельзя попадаться в руки полиции. Они узнают, кто я такой, и сразу повесят. Господа и царь вовек не простят мне Сенатскую площадь.

— На то они и господа! — ответил Кармалюк.

Выслушав донесения старшин, обсудив все подробности о том, как и где принимать новых повстанцев, которые с наступлением весны потянутся в леса, Кармалюк угостил побратимов своим табаком, сам раскурил трубку.

— Послушай, Устим! Чуть не позабыл! У нас теперь сообщник нашелся в земском суде. Канцелярист Матвий

Барабаш. Бедовый парень. Он и переписал для меня эту бумажку,— радостно сообщил Иван.

— Какую бумажку? — удивился Кармалюк.

— Песню декабристов из Сибири.

— Песню? — строго спросил Кармалюк.

— Ну да, песню, — охотно пояснил Иван. — Литинская полиция по приказу губернатора арестовала в уезде одного поповича, бурсака из Киева. При обыске у него и нашли эту песню декабристов... А наш Матвий Барабаш догадался и переписал для нас... Через лирика передал. Помнишь, нам художник Тропинин читал в Москве послание Пушкина в Сибирь? Я еще переписал его тогда... А теперь декабристы ответ Пушкину прислали.

— Что ты говоришь? — встрепенулся Кармалюк. — Ну, читай! Чего же ты тянешь?

Они уселись под развесистой березой, Иван вытащил из ватной подкладки шапки бумагу, развернул ее, глубоко вздохнул и начал медленно читать, отчеканивая каждое слово:

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя, —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.

Он дочитал, и стало слышно, как заливисто щебечут в лесу звонкоголосые птицы. Устим поднял глаза к небу, расправил плечи, медленно проговорил:

— Святая искра!.. Пламя до неба достанет! Слышите, братцы, какая это сила?! Да она же одолеет все на свете. От одной свечи запылают тысячи свечей,

В этом огне все сгорят: и господа, и богачи, и их царь. Так чего ж мы стали? К оружию, братья!

Кармалюк повеселел, лицо его разрумянилось, в глазах запрыгали золотые блики. Он шел посредине, обняв за плечи Захара Блажкуна и Ивана Дроздова, рассказывал им о своих планах, делился заветными мечтами. Наконец не выдержал и похвастался личной радостью.

— Вот наладим дело, и махнем ко мне в гости. Даром что они солдат и собак понаставили вокруг моей хаты в Головчинцах. Как-нибудь проберемся. Сыновья ж у меня растут! Вот, увидите. Может, даже на свадьбу поспеем. Старшой мой, Иван, женится. Погуляем на свадьбе. Уже и Остап подрос, пушок на губе пробивается. Идут года...

— Идут,— печально сказал Иван Дроздов,— а я своих сыновей — не знаю, когда и увижу.

— Увидишь, Иван,— потрепал его по плечу Устим.— Даст бог...

Иван не ответил, и они молча шагали по слежавшейся мягкой листве. Когда выходили на дорогу, Кармалюк спросил Блажкуна:

— Зачем Диброву послал в Деражню?

— Новых людей в ватаги собирать да проводить имение шляхтича Янчевского. Говорят, он облаву на тебя готовит. Пусть Диброва разнюхает и приглядится к нему со всех сторон...

— Хвалю за догадку,— сказал Кармалюк.

Перед тем как войти в пещеру, Захар задержал Кармалюка в густом камыше.

— Атаман, я поймал конокрадов. Все трое загоновые шляхтичи. Это они ославили тебя. Паршивые людишки, а конокрады, видать, опытные. Этой весной уже снова пять пар увели.

— Как же ты их накрыл? — спросил Кармалюк.

— Через шляхтича одного, за деньги купил... Она, эта шляхта, за золото отца родного продать может, а не то что конокрада...

— Молодец, Захар! — похвалил Кармалюк.

— Правда, долго пришлось искать, но все-таки распутал. Шляхтич Пидгурский из Деражни на след навел, попросту выдал за деньги, — еще раз повторил Блажкун.

— Надо этого шляхтича теперь на примете держать. Он нам пригодится. Ты бывал у него? Каков он? Перейдет, может, на нашу сторону? — спросил Кармалюк.

— Покладистый. Я трижды с ним встречался, дома у него был. Думаю, что перейдет... Сам я, правда, не решался с ним об этом говорить,— сказал Блажкун.

— Ладно, как-нибудь на свободе заглянем к нему. Как будто отблагодарить прибыли,— пояснил Устим.— Ты намекни ему...

— Ладно, передам,— согласился Блажкун.

— А что конокрады говорят? — спросил Кармалюк.

— Все признались,— продолжал Блажкун,— да не порадовало меня их признание. Наша Татьяна из корчмы замешана в этом черном деле... Они, правда, ей давали самую малость, а себе брали хорошие барыши...

Кармалюк поднял голову, метнул взгляд на Захара.

— Так я и знал! Горе мое, да и только...

Острая боль подступила к сердцу, в глазах поплыл серый туман. Кармалюк прислонился плечом к могучему дубу, словно ища в нем опоры, чтобы не пошатнуться, не упасть. После встречи с Остапом в ходаковской корчме он все еще надеялся, что Татьяна не очень причастна к этой истории с конокрадами, а теперь все его надежды рухнули. Как же так? Кармалюк любит Татьяну, она предана ему душой и телом. Она поверяла ему все самые сокровенные свои мечты, желания, говорила, что согласна идти за ним хоть на край света,— и вдруг открылось такое. Не раз Татьяна, рискуя жизнью, прятала Кармалюка и его побратимов. Всегда откликалась на его зов, долгими ночами страстно и пылко шептала о своей любви. И сейчас еще у Кармалюка на губах огнем горят ее горячие поцелуи, а на шее он чувствует теплоту ее крепких, белых, словно литых рук. Боже мой, что ж это делается на белом свете? Неужели все это правда — и Устим должен с кровью вырвать Татьяну из своего сердца? Нет! Это страшно и тяжело...

Он больше не слушал объяснений о том, что Татьяна не так уж виновата, о проклятой шляхте, которая начала воровать коней, чтобы посеять в народе ненависть к Кармалюку. Думал о том, как отомстить врагам. Ибо только месть может раскрыть людям правду о конокрадах и их сообщниках — полиции, помещиках, богачах. У входа в каменную пещеру Кармалюк остановился, низко поклонился страже. Караульные дружно ответили на приветствие, сняв шапки.

Связанные конокрады сидели в дальнем углу и не

слышали слов Кармалюка о наказании. Он сказал им так тихо, что Иван Дроздов и Блажкун едва разобрали. Решение было крутое и суровое. Но возражать ему никто не отважился.

— Судить и повесить. А своей Татьяне скажи, пусть тоже собирается в дорогу. Сестра ее живет в Каричинцах?

— Да,— едва слышно прошептал Блажкун.

— Вот и хорошо,— Кармалюк кивнул головой.— Там, где развелись конокрады, не должно быть корчмы. Если мы не тронем корчму, люди ее не оставят. Видно, не один бедняк приходил в эту корчму искать своего коня... Пусть теперь люди узнают, кто такие были конокрады... А место, где стояла корчма, да будет проклято навеки...

Увидав Кармалюка, конокрады повалились ему в ноги, молили о пощаде. Устим с отвращением поморщился и отошел в сторону, словно боясь, что они своими руками замарают его новые постолы.

— Чего кланяться,— только и сказал он им.— Что я, царь или король варшавский?

Суд состоялся в тот же вечер, а ночью занялась ходаковская корчма. Татьяна ушла из корчмы еще с вечера, до пожара, захватив маленький узелок с одеждой, жестяную банку с деньгами да картину с журавлями. Она выскочила во двор, готовая зарыдать от горя, но то, что она увидела у ворот под ветвистыми тополями, заставило ее замолчать. Она только теперь поверила, что вчерашний посланец от Блажкуна сказал правду. Всплеснув руками, Татьяна бегом бросилась через огороды в лес.

Утром ее искали на пожарище, звали сотские по окрестностям, но так и не узнали, куда она подевалась в ту ночь.

У ворот на тополях висели три шляхтича-конокрада. За ночь они посинели, и утренний ветерок посыпал их головы золой. Люди, ехавшие на базар, со страхом оглядывались на повешенных. У каждого конокрада на груди был привязан белый конский череп. Разглядев, проезжие понимали все и уже спокойно ехали дальше. На сосновой доске, прибитой над повешенными, чья-то неумелая рука вывела смолой одно только слово: «конокрады». Люди хорошо знали ходаковскую корчму, ее хозяйку и догадывались обо всем, что здесь произошло,

Весть о расправе с конокрадами тотчас облетела всю Деражню. Деражненский помещик, капитан в отставке пан Янчевский серьезно забеспокоился. Какая наглость! Разбойник и каторжник Кармалюк объявил себя освободителем бедных, а на самом деле убивает людей. Да еще каких! Посмел, злодей, поднять руку на коронного шляхтича! Нет, это ему даром не пройдет! Пан Янчевский давно приготовил ему ловушку, надо только дождаться удобного случая. Он сделает это публично на глазах у всех панов и панянок. Нехорошо только одно: вдруг гости прослышали о повешенных да, испугавшись Кармалюка, совсем не приедут на его, Янчевского, именины? Это больше всего волновало помещика, и он нервно ходил по блестящему паркету зала, от двери до стеклянной веранды, которая выходила в густой парк. Здесь он принимал панянок из соседних имений, подписывал коммерческие контракты на продажу пшеницы и полотна, а когда ему становилось грустно, пил до беспамятства принесенную из погреба водку и выстоявшийся мед.

«Ужели гости испугались Кармалюка?» — думал пан Янчевский, то и дело поглядывая через двор на сельскую площадь.

На башне костела уже пробило три часа, а гостей все не видно. Что это значит? Но что бы там ни было, он хорошо придумал, как расправиться с разбойником Кармалюком. Черт с ним, что пшеницу придется продешевить, зато слава о пане Янчевском долетит до самой Варшавы, а может, даже и до Петербурга. Пусть знают, что старый вояка, заслуженный улан не заkis в провинции, что он с честью еще владеет своей саблей. Любуйтесь, панове, в своих сеймиках и сейме. Капитан Янчевский не утратил еще вкуса и способности к ратным подвигам.

На площади слышался звон бубенцов, и капитан выбежал на крыльцо. Вздывая тучи густой пыли, в ворота имения влетела бричка, запряженная четверкой белых коней.

Из брички выскочил Тадей Заремба в плотно застегнутом клеенчатом плаще. Низко поклонившись Янчевскому, он не осмелился поздороваться с ним за руку. Ну

и пылища в степи! Он должен сначала умыться с дороги.

Немного погодя к крыльцу подкатили еще две брички и окованный железом фургон. Но этих гостей уже встречали слуги. Пан Янчевский к гостям не выходил. С ним был Тадей Заремба, и Янчевскому было уже безразлично, сколько гостей и когда соберется в его усадьбе.

Один только Диброва запоминал всех господ. Он сидел на псарне, где по вечерам собирались дворовые послушать бандуриста. Они и забрали его с улицы на эту псарню с разрешения управителя. По вечерам старик пел чумацкие песни, а днем ходил по селу, просил милостыню. Подавали старику мелочь, но его это не очень и заботило. Он напоминал людям о том, что нельзя забывать бога, а пора собираться в древний Киев на богомолье, поклониться святым мощам в Киевской лавре. Безобидный призыв странника не привлекал внимания гайдуков и полиции, но те, кому надлежало знать, вслушивались в молитвы Дибровы и понимали, что это Кармалюк собирает в селах своих верных молодцов. Почти все хаты обошел Диброва. Всюду его принимали, подавали милостыню. Только в одной хате не приняли старого бандуриста — в хате шляхтича Пидгурского.

Он искал встречи со шляхтичем Пидгурским, который выдал Блажкуну конокрадов, и теперь в знак благодарности ждал к себе в гости самого Кармалюка. Хата Пидгурского стояла на околице, к нему можно было незаметно пройти с поля и даже из лесу.

Вчера утром, обойдя с молитвой село, Диброва заглянул и к Пидгурскому. Шляхтич мастерил грабли, но, заметив бандуриста, бросил их на землю. Диброва знал, что тут петь христианские молитвы нельзя, и уже заиграл на бандуре «Думу о турецкой неволе». Но шляхтич громко свистнул, и к нему подбежали два здоровенных пса.

— Бутек! — завизжал Пидгурский. — Кусай этого бездельника, кусай!

Собаки бросились на старика, и, не выскочи он через глухую калитку на улицу, неведомо, дошел ли бы бандурист обратно до псарни пана Янчевского. Дворня сочувствовала старику, и крепостные ругали себя за то, что не предупредили бандуриста о том, каков Пидгурский.

Тот отца родного за копейку продаст, где уж ему подать старику полушку.

— Откуда он такой взялся? — спрашивал Диброва.

— Черти в капусте нашли, — лукаво отвечали дворовые, намекая на подозрительные связи Пидгурского с ворами.

— Черти? — удивленно переспрашивал Диброва.

— Ага! Нашли, да и оставили жить на свете. Верно, веревку ему люди добрые не припасли, или, может, сук для него еще не вырос. Кто знает...

— А пан Янчевский разве не знает? — допытывался Диброва.

— А ему что? Только б пшеницу без хлопот продать. Ему все равно, кто ее купит — вор или честный человек. Вору продавать выгоднее, вор заплатит больше...

На псарне безлюдно и тихо. Вся челядь толчется в господском доме, прислуживают панам на пиру, и Диброва свободно разговаривает со старым псарем, который всю жизнь провел возле панских собак. Тот охотно рассказывает, радуясь, что нашелся разговорчивый собеседник и можно наконец вволю наговориться, пока господа пируют и не вспоминают о собаках. Да, верно, нынче уж и не вспомнят. Поздний вечер на дворе. Да и до собак ли панам, коли столы ломаются от снеди? На серебряных блюдах горы закусок, вино играет в хрустальных графинах и бокалах.

— А шляхтич Пидгурский, — продолжает псарь, — возит эту пшеницу на волах к морю в Одессу. Волонанимает по селам, панские-то и со своей работой не справляются. Из далекой Одессы нашу пшеницу за море везут, на золото ее там меняют. Пан золото любит.

— А кто его не любит, золото? — вздыхает Диброва.

В высоких окнах господского дома пылают огни, от туда доносится смех панянок и громкие пьяные крики панычей. Кто-то затягивает песню о золотой чарке, и каждый панок поет ее по-своему. Во двор долетают отдельные слова песни, которые охрипшими голосами выкрикивают пирующие: «Налей по второй...налей!...налей!...»

— Пьянеют уже, — равнодушно позевывает псарь. — Значит, скоро начнут буяннить. Я уж знаю их. Давай, старик, лучше спать ложиться. Так спокойнее. Коли хочешь, можешь совсем остаться у нас. Поживешь, пока не выгонят. Чего слоняться по свету?

Кто-то пробегает под окнами псарни. С грохотом распахивается дверь, и на пороге, пошатываясь, вырастает старший гайдук. Его прищуренные глаза тупо шарят по псарне, и ему кажется, что на лавке сидит множество стариков. Вот они, увидав его, вскакивают разом, почтительно кланяются. Держась рукой за косяк, гайдук выкрикивает:

— Гей, вы! Который из вас бандурист?

Диброва выходит на середину псарни и становится перед гайдуком, покорно склонив голову.

— Бери свою тарабайку. Живо! — приказывает гайдук.

— Куда ж ты его среди ночи? — подступает к гайдуку псарь. — Не гони его. Куда он сейчас пойдет?

— Знаем! — и гайдук раскатисто захохотал, покачиваясь на раскоряченных ногах. — Я господ музыкой угощу... Я покажу им такую песню!.. Такую песню!.. Ты умеешь... такую песню?

Какую именно песню, он так и не сказал Диброве, а потащил его через двор в господский сад. В кустах перед стеклянной верандой гайдук остановился и сунул старику под нос кулак.

— Стой тут и ни звука, пока пан в ладоши не хлопнет. Я спрячу тебя на этом крыльце, и ты стой тут. Слышишь?

— Слышу, — прошептал старик.

Гайдук незаметно провел бандуриста на стеклянную веранду, закрыл его полотняными шторами, которые спадали до самого пола, и запер дверь на ключ. Со стороны сада веранда была густо увита диким виноградом. Диброва притаился за шторами. Он видел, как гайдук прошел по веранде и скрылся в широко распахнутых дверях, ведущих в покой. Старику хорошо был виден залитый светом зал и сидящие за столом уже опьяневшие гости. Дверь, ведущая из зала в коридор, находилась как раз против веранды, и старик мог наблюдать за всеми, кто входил в дом и выходил из него. В дверях стояли слуги, а мимо них пробегали лакеи с медными подносами и фарфоровыми тарелками в руках.

Пан Янчевский стоял у стола, высоко держа в руках кубок. Его полную фигуру крепко стягивали специальный корсет и узкий военный мундир. На груди сияли старательно начищенные регалии многих войн и походов, которые пан Янчевский получил в наследство от

деда, отца и дядьев. На боку тонко позванивала шпага. Отставной капитан принимал гостей всегда в военной форме. Сейчас он был в приподнятом настроении и, должно быть, заканчивал свою речь. Гости стояли за столами, держа в руках хрустальные рюмки.

— Панове и пани! — продолжал Янчевский. — Эту мою руку, — он поднял правую руку над головой, — пожимал в Варшаве великий Наполеон Бонапарт. Он сказал мне вещее слово, и я всегда помню святое пожатие его незгбываемой руки. Сильная рука — это в ратном деле почти половина победы. И моя рука налилась этой волшебной силой. Она покарает разбойника, который именует себя Кармалюком. Его императорское величество Николай Первый растоптал жалких бунтовщиков на Сенатской площади в Петербурге. Слава ему! У него железная рука, и ее благоговейно целуем мы, коронные шляхтичи и русские дворяне. И я клянусь вам как шляхтич и дворянин, что выполню свой долг. Скоро настанет час, когда я снова приглашу вас, панове и пани, в этот зал. Мы будем пить вино и душистый мед, а у наших ног будет корчиться закованный в кандалы Кармалюк. Пан Заремба, выше голову! Я расплачусь и за нанесенную вам обиду. Слово шляхтича свято и нерушимо... Виват!

— Виват! — закричали вокруг.

— Нех жие крулевство польске!

— Нех жие вельки дух збройны! ¹

В зале задвигали стульями, громкий говор заглушил хрустальный звон бокалов. Диброве показалось, что от этих криков тихо зазвенели струны. Прижав к груди бандуру, он приглушил рукой тонкоголосые лады. Он заметил, что среди гостей нет господина Ханенко из Головчинцев и успокоился, что его не отправят назад к барину. Старик ждал, пока пан Янчевский не хлопнет в ладоши. Но пан, щедро потчuya гостей, не спешил. Вот к нему еще раз подошел пьяный гайдук, все время стоявший в дверях, за спинами лакеев, что-то шепнул на ухо. Янчевский равнодушно махнул рукой, и слуги распахнули стеклянную дверь.

Диброва зашевелился в своем укромном уголке, даже приоткрыл краешек шторы: может, ему почудилось? Нет! Шляхтич Пидгурский стоит у порога и низко кла-

¹ Да здравствует великий воинский дух (пол.).

няется пану Янчевскому. Капитан поднимается с кресла и, извинившись перед гостями, ведет Пидгурского на веранду. Он плотно прикрывает за собой дверь и отводит Пидгурского в угол, где притаился Диброва. Разговор, видно, секретный, и пан из предосторожности может приоткрыть полотняную штору. Что тогда будет? Диброва напряженно прислушивается. Бандура лежит у него на груди, и стук сердца, глухой и тревожный, словно эхом отдается в ней.

— Что случилось? — раздраженно спрашивает Янчевский.

— Скоро Кармалюк у меня в гостях будет, — наклонился к шторе Пидгурский.

— Матка бозка! Что ты сказал? Да ты с ума сошел? — испуганно отступает Янчевский.

— Езус Христус мне свидетель. Если б я разума лишился, так не пришел бы к вам, пане, — поясняет шляхтич.

Оба замолкают. О стекла веранды шуршат острые листья дикого винограда, бьется какая-то мошкара и жучки, но паны не слышат этого шороха — все заглушает пьяный гомон, раскатистый смех гостей, доносящийся даже через плотно закрытые двери.

Янчевский трясет шляхтича за плечи.

— Правду говоришь?

— Езус Христус, матка бозка свента, — клянется Пидгурский.

Он даже не надеялся, что его коварный план так быстро осуществится. Создав шайку конокрадов, чтобы скомпрометировать Кармалюка в глазах крепостных, пан Янчевский вскоре добился своего. Кое-кто из людей уже начал верить слухам, что лошадей у них крадут повстанцы. Но потом, когда был уведен конь жены самого Кармалюка, все планы Янчевского сорвались. Он рассвирепел, отругал конокрадов и шляхтича Пидгурского за такую оплошность, даже не заплатил им обещанных денег. И тогда же зародился у него новый план. Шляхтич Пидгурский должен выдать Кармалюку конокрадов, тем самым завоевать симпатии атамана и затащить Кармалюка к себе в гости. Во дворе шляхтича Пидгурского пан Янчевский настигнет Кармалюка.

— Где ж он? — не отступает Янчевский.

Шляхтич вздыхает, благоговейно закатив глаза.

— Кармалюк будет на днях в селе. Я б его и сам поймал. Но разве бедного шляхтича поблагодарят за это и одарят? Это вас, пане, за такое дело прославят. Вам достанутся в Варшаве все почести и награды. Вам и козыри в руки, пане. А я только хочу просить вас, чтобы ваша милость не забыла и моих скромных заслуг в этом деле...

— Пшеницу мою снова повезешь к морю. Я хотел другому продать, а теперь ты повезешь,— бросает Янчевский.

— Об этом я и хотел просить пана. Но цены на пшеницу теперь сильно упали, и, может статься, я ничего не заработаю на этом контракте. Вся надежда на вашу ласку... Продайте мне по два злотых за четверть...

— Это наглость! — топнул ногой Янчевский, и на его лакированных сапогах звякнули блестящие шпоры.

— Ваша ласка, пане,— покорно кланяется Пидгурский.

— В прошлом году ты платил пять злотых за четверть,— говорит Янчевский.

— В прошлом году, пане, пшеница в Одессе стоила по пять злотых и сорок грошей... А теперь и по три за четверть не дают...

— Ладно. Сначала ты выдашь Кармалюка, и я его поймаю, а потом забирай пшеницу по два пятьдесят. Ни полушки меньше! Слышишь? Ни полушки! — решительно бросает Янчевский, собираясь уйти, но шляхтич задерживает его:

— Согласен, ваша мосць. Я верю пану, что слово его закон. Только я прошу дать мне лучшего ценного пса.

— Еще и пса тебе дать? Нет, это уж слишком! — возмущается Янчевский.

— Нет, пане, вы меня не поняли. Ваш пес будет у меня на цепи, а как только Кармалюк появится, я спущу его. Он бросится к вам на усадьбу и это, пане, послужит сигналом, что Кармалюк уже прибыл.

Янчевский громко захохотал и похлопал Пидгурского по плечу. Он и думать не мог, что у этого неприметного шляхтича такая умная голова. Видно по всему, что он не только барышник, но и хороший филер. Янчевский открыл дверь в зал и бросил Пидгурскому:

— Пес будет. А сейчас беги из дворца и замри! У меня гости! Понял?

Шляхтич низко пригнулся и незаметно проскользнул

В зал, а там бочком пробрался к другой двери, возле которой стояли слуги и дремал на стуле пьяный гайдук.

Диброва едва устоял на ногах. То, что он сейчас услышал, бросило бандуриста в дрожь. Он начал ощупывать стеклянные стены веранды. Но они состояли из маленьких стеклянных квадратиков, рамы были крепкие, дубовые, и выбраться наружу не было никакой возможности. Дверь веранды, через которую его ввел гайдук, была на замке. Гайдук стоял у открытых дверей в зал, ожидая дальнейших приказаний пана Янчевского. Услышав о заговоре против Кармалюка, старый Диброва был бессилен что-либо предпринять сию минуту. Пидгурский выскочил из дома, а гайдук чуть не упал от внезапного крика.

Янчевский стал на пороге и во весь голос крикнул:
— Кар-ма-люк!

Загремели опрокинутые кресла, со звоном посыпалось на пол битое стекло, кто-то опрокинул бронзовый канделябр со свечами, и на столе затрещал огонь. Гости как безумные бросились врассыпную. Начался переполох. Панянки неистово визжали. Тадей Заремба свалился под стол, потянул за собой скатерть. Он весь дрожал и скулил, закрыв голову руками. Привел его в себя только громкий хохот пана Янчевского.

Капитан стоял в дверях и, широко расставив руки, хохотал во все горло, зажмурив от удовольствия глаза.

Тадей Заремба вытирал салфеткой облитый вином фрак, чихал и гневался:

— Это глупо! Зачем такие шутки? ..

— Воды! — визжала какая-то пани.

— Меду! — крикнул лакеям Янчевский и, вскочив на рояль, обратился к гостям: — Успокойтесь, пани и панове! Бал продолжается. У меня везде стоит стража. Никакой разбойник не пройдет сюда. За отчизну!

— Нех жие пан Янчевский! — вдруг закричал кто-то.

В хрустальных бокалах искрился душистый мед, гремела музыка крепостного трио, по залу плыл сизый дым от свечей. Гости все больше пьянели, и когда старый Диброва вышел из своего убежища, все уже осоловели и не могли подняться с кресел. Десятки сытых, прищуренных глаз равнодушно взглянули на ободранного бандуриста и снова уставились в тарелки.

Бандура пела тихо и печально, наполняя зал привольной песней о дикой степи и днепровских порогах, о турецкой неволе и о буйной головушке славного Морозенко. И впервые на своем веку старый Диброва не слышал, как рыдала бандура. Он уже видел себя в густом лесу, на глухой тропке. Ему казалось, что он уже бежит по этой тропке, растрепанный и страшный, бежит к пожарищу ходаковской корчмы, оттуда ближе всего до Гнилого яра. И тогда шляхтич Пидгурский никогда уже не спустит с цепи дворового пса!

Но так старику только казалось.

Прослушав песню, паненки в один голос снова и снова требовали, чтобы Диброва играл еще. И пан Янчевский приказал задержать бандуриста в имении до утра. Он приказал не выпускать его со двора и на следующий день. Диброва рвался в лес, чтобы предупредить Кармалюка, передать в ватагу об опасности, но все его старания были тщетны. Бандуриста стерегли и не выпускали со двора.

30

К воротам шляхтича Пидгурского в Кальней Деражне подкатил новый возок, запряженный парой резвых коней. Шляхтич давно ждал гостей и, услышав стук копыт, радостно распахнул перед прибывшими дубовые ворота.

В это время основные отряды Кармалюка уже перешли далеко на запад и север от Литина, поднимая там все новые и новые восстания.

Бандурист Диброва наконец вырвался от Янчевского, но, пройдя тяжкий путь по лесам и болотам, уже не застал повстанцев на старом месте. Он думал, что с ватагами ушел и Кармалюк. Это очень порадовало старика, и страх его рассеялся.

В окрестностях Деражни было спокойно. Войска и полиция также двинулись на север и запад нагонять повстанцев. Кармалюка тут не ждали, и он, воспользовавшись этим, решил поехать на свадьбу к старшему сыну Ивану. Путь в Головчинцы лежал через Деражню. Подъезжая к Деражне, он вспомнил о шляхтиче Пидгурском и решил поговорить с ним.

Когда ворота наглухо закрылись и возок остановился перед крыльцом шляхетского дома, с козел соскочил Захар Блажкун.

— Принимай гостей, пане,— сказал он и бросил Пидгурскому вожжи.— Коней распрягать не надо, ты им только овса в торбы подсыпь...

— Слухам пана,— изогнулся дугой шляхтич и закричал в дом: — Анельцю! Бронек! Ходзь тутай...¹

Шляхтич выбрал минутку, когда Захар Блажкун очутился рядом с ним, и, указав глазами на пожилого человека, сидевшего в возке, спросил:

— Это есть пан Кармалюк?

— Да. Разве не видишь? — сухо проговорил Блажкун.

Пидгурский подскочил к возку и протянул Кармалюку руку.

— Прошу в дом, пане. Такие гости у меня, такие гости, что я не знаю, чем их и угощать.

Кармалюк соскочил с возка и пожал Пидгурскому руку. Рука у шляхтича была холодная, и Кармалюк заметил, что она дрожит.

— Хорошее дело ты сотворил с этими конокрадами, пане,— сказал Кармалюк.— Хорошее, доброе дело...

Разминая затекшие ноги, Кармалюк медленно ходил по двору. Он заглянул в пустой коровник, в хлев, где похрюкивали откормленные свиньи. На цепи возле хлева заворчали два гончих пса. Кармалюк бросил им кусок черного хлеба, но они только понюхали его и не взяли. Из дощатой конуры возле погребка выскочила огромная охотничья собака на тонких ногах. Она оскалилась на незнакомых людей, забренчала посеребренным ошейником и стала на задние лапы.

— Хороший пес. Зачем тебе такой? — спросил Устим.

— Это, проше пана, подарок. Намереваюсь заняться охотой,— ответил шляхтич Пидгурский.

— А ружье у тебя есть? — снова спросил Кармалюк.

— Берданка старенькая... Отвез чинить в Камень,— пояснил Пидгурский.

— Вот и хорошо,— неведомо зачем сказал Кармалюк. И, подняв голову, внимательно посмотрел шляхтичу в глаза.

¹ Анелька! Бронек! Идите сюда! (пол.)

— А семья у тебя большая?

Шляхтич часто замигал рыжими ресницами, словно ему пыль попала в глаза.

— Нет, проше пана. То есть Анельця, моя жена,— и Пидгурский показал на круглолицую женщину, стоявшую на крыльце и вежливо кланявшуюся Кармалюку.— А это наш сынок... Бронек, ходзь тутай...

Мальчик подбежал к Кармалюку и тоже низко поклонился. Устим вынул из кармана несколько конфет в ярких бумажках, два медовых пряника и подал Броньку. Бронек схватил атамана за руку и ловко поцеловал.

— Ну что ж, пошли в дом,— сказал Кармалюк.— Только вот что, пане. Мы люди не гордые, и ты не хлопочи, угощай чем бог послал. Бежать в корчму не надо. Слышишь? Пусть все твои тоже в дом идут, пополдничаем вместе.

— Прошу ласкаво,— затарахтел Пидгурский.— Это большая честь для бедного шляхтича и его семьи. Может, пан думает, что я зло на него держу? Упаси меня боже.

— Ничего я не думаю,— и Кармалюк перешагнул порог.— Мы тебя еще мало знаем, и осторожность не помешает. Да к тому же мы спешим на свадьбу, и времени у нас мало.

Сели за стол. Кармалюк снял новую венгерку синего сукна и остался в одной жилетке с клетчатым шелковым платком на шее. Два пистолета тульской работы он положил справа от себя, на окно. По обе стороны от него сели Захар Блажкун и Илько Сотничук. Пидгурский с женой и сыном напротив них, спиною к двери.

Гости выпили за хозяина, за хозяйку, потом хозяева за гостей. Кармалюк похвалил выстоявшийся мед, поднялся из-за стола.

— Теперь выпьем за людей несчастных,— сказал он.— Господа называют их крепостными, это для отвода глаз, чтобы за морем дурно не подумали. А ведь они рабы, а не крепостные... Рабство, которого давно нет в других странах, у нас царит. Всюду нужду да горе терпят. Думаешь, пане, у вас в Польше лучше? Правда, им там волю дали, а землю, мол, бог даст. А от бога жди земли по три аршина на душу на погосте.

— Что вы, пане Кармалюк? — всполошился шляхтич.— Наместник великий князь Константин, властелин

царства Польского, ради нас от престола русского отрекся. Он любит великую Польшу и ее народ.

— Любит.— Кармалюк криво улыбнулся в усы.— Может; и ты видел его любовь? Один царь в Петербурге расстреливает декабристов, другой в Варшаве гнет твою Польшу в бараний рог. Один еще и на престол не взошел, а уже царскую корону в людской крови искупал. А ты знаешь, пане, что за теми декабристами по всем селам народ и мелкая шляхта на панов поднимались? Ты знаешь, какие это люди были?

— Подождите, пане Кармалюк. Я имею к вам очень важное дело,— встал шляхтич.— Чтобы нам было спокойнее, дозвоьте я собак с цепи спущу.

Кармалюк в знак согласия кивнул головой, и шляхтич выбежал из хаты. Устим следил за ним в окно. Вот шляхтич подбежал к собачьей конуре и отвязал цепь от серебряного ошейника породистой борзой. Тонконогая борзая встрепенулась и бросилась к воротам.

Шляхтич немного постоял на крыльце и вошел в хату.

31

Мирон Волошка пришел с каторги утром. Отбыв наказание на медном заводе под Тобольском, он вернулся в Головчинцы под наблюдение полиции. В Сибири остался только Тимко Гречка. Он ударил надзирателя, и ему прибавили еще год каторги.

Люди в селе сперва не узнали Волошку, и какая-то молодница даже вынесла ему несколько печеных картофелин, когда он хотел спросить у нее о чем-то. Сердце Мирона сжалось, и он чуть не заплакал. Хата его за эти пять лет совсем покосилась, по самые окна вросла в землю. Во дворе Мирона встретила Ярина. Она долго разглядывала сгорбленного, седого старика, не узнавая в нем своего мужа. Догадалась по голосу, ужаснулась и, зарывав, упала ему на руки. Она плакала как-то робко, словно кто-то жестоко обидел или обманул ее, а она старалась скрыть обиду.

Ярина ввела почерневшего от пыли мужа в хату и рассказала ему о сыновьях. Старший умер от горячки на сретенье, а в прошлом году перед жатвой и меньшого забрала оспа. Оба похоронены рядышком, под вербами,

в дальнем уголке погоста. Ярика говорила о смерти сыновей, как во сне, отирая концами платка покрасневшие глаза.

Мирон отодвинул от себя глиняную миску с борщом, налег грудью на стол. Перед глазами возникла господская винокурня, охваченная пламенем, разгневанный Кармалюк, холодные тела сыновей в гробу.

«Что изменилось в Головчинцах за пять лет? — думал он. — Одни умерли, другие родились, а барская винокурня как дымила, так и дымит. По-старому гонят людей на барщину, продают, как скот, а помещик богатеет на чужом, кровавом поту. Где ж найти силу, чтобы навеки порешить винокурню, а вместе с нею и барина? У кого искать помощи и совета?» За что ж он пять лет возил в Сибири тяжелую тачку с камнями и железом, так что ладони его и доныне ноют от ее дубовых ручек...

Ярина, как сонная, возилась возле печи, боязливо поглядывая на мужа, а он все сидел у стола, тихо всхлипывая. Она впервые видела, как плачет ее Мирон. А может, он не плачет? Но отчего же тогда вздрагивают его плечи, отчего он закусил зубами суконный арестантский рукав?

— Мирон, ты совсем пришел? — отважилась спросить Ярина.

Муж посмотрел на нее влажными глазами, ответил:

— Совсем. Отбыл свое и пришел. Только не знаю — зачем? Что мне теперь делать, коли сынов моих... И барщина вокруг...

— Боже мой! — всплеснула руками Ярина. — Совсем! Какое счастье, Мирон! Ты не пойдешь на барщину, я одна буду за двоих ходить, как до сих пор ходила... Ты будешь дома, хозяином станешь.

— Для кого хозяйничать? — Мирон стукнул кулаком по столу.

Ярина молчала, не хотела перечить в такое время. Рано или поздно она должна была сказать ему всю правду о сыновьях. Она не виновата, что так вышло. Бог дал, бог и взял.

Так и пошел Мирон из хаты в село, не услышав от жены ни слова против, ни попреков за грубость.

А Ярина, только он вышел, сразу бросилась прибирать хату. Подмазала ярко-красной глиной пол, вымыла окна, старательно выскребла ножом стол и лавку, перетерла глиняную посуду. Постлала чистое рядно на топ-

чан, открыла сундук — и зарделась — среди убогих праздничных нарядов никак не могла выбрать, что надеть ради такого дня. Собственно говоря, и выбирать-то было не из чего. Ярина вынула свой свадебный наряд: слежавшуюся запаску, вышитую сорочку, керсетку из черного бархата и нитку мелких кораллов с дукатом посередине — все свое богатство. Поверх очипка повязала новый платок. И вдруг заволновалась: что скажут люди? А что ей люди? Пусть говорят, что хотят, у нее сегодня праздник.

Вечером вернулся Мирон. Он был сильно навеселе. — Зовут нас, Ярина, на свадьбу, — ласково сказал он, обнимая жену за плечи. — Пойдем, мое сердце? ..

Ярина вся задрожала от его прикосновения, склонилась к нему на грудь.

— Пойдем, — прошептала она.

— Мария проеила меня быть посаженным отцом, благословить молодых. К другим не пошел бы, а тут не могу... Своих не дождался, так хоть Устимова сына благословлю, — вздохнул Мирон.

— Говорят, он где-то тут по лесам бродит, — заметила Ярина.

— У меня вся надежда на него, — ответил Мирон. Волошка и горячо прижал жену к груди.

Свадьбу праздновали в воскресенье. Иван посватал старшую дочь Опанаса — Марину, и барин дал согласие на этот брак. Молодожены после женитьбы остались у него в селе, а это означало, что в имении прибавлялся еще один крепостной двор со своей поденной барщиной и всеми податями. Барин обошелся с сыном Кармалюка ласково. Он даже коней одолжил на свадьбу (молодые потом отработают за них). Иван с Мариной покатили в церковь на кованом возу да на господских конях. Мирон Волошка вместе женою Кармалюка благословили молодых, подали им два новых образа, украшенных вышитыми рушниками. Свадебный поезд двинулся к церкви.

В хате стало тихо. У печи хлопотала Ярина с кухарками. В чугуне тушилась квашеная капуста, и от этого по хате распространялся острый запах. Мария сосредоточенно расставляла на трех столах миски, чарки, клала деревянные ложки. Мирон резал ячневые паляницы и ржаной хлеб. Нарезанные ломти он укладывал в боль-

шую глиняную миску и продолжал начатый еще накануне рассказ о каторге.

— И никто, Мария, кроме нас и Данила Хроня, не знал о сговоре. У нас с Устимом все уже было готово к побегу, и вдруг нас заграбастали. Устима поймали, когда он уже выходил на дорогу из лесу. Данила же Хроня в это время расковали в тюремном лазарете... А нас вечером в пересыльную тюрьму, а оттуда — в острог, на медный завод. Вот как дело-то было... Так что хочется мне дознаться у Данила, как и зачем он это все сотворил. Завидно ему стало, что не взяли его с собой, или послабления захотелось? Я еще тогда хотел поговорить с иудой, но меня не пустили в лазарет.

— А что ж мой Устим? — и в руках у Марии тонко зазвенели чарки.

— Обозлился и он на Данила... — рассказывал Мирон. — А перед тем как бежать из шахты, он все по вечерам песни пел и тебя вспоминал... Когда уходил, сказал: «Ты, Мирон, тут не засиживайся... Я с тобой не прощаюсь, а жду тебя дома, на Украине».

— Вспоминал, говоришь, песни пел? — повторила Мария и вдруг выпрямилась. В ее запавших глазах блеснул огонь, серое лицо, покрытое морщинами, побледнело. — Почему ж он в хату вот уже второй год не заглянет? На кого он сынов своих бросил? — чуть не закричала Мария, но тотчас прикрыла рот рукой, словно испугалась собственного голоса.

— Мама! — подбежал к ней Остап.

Он тяжело дышал, и его крепко сжатые губы слегка дрожали.

— Уйди с глаз долой! — закричала Мария.

Остап съежился и отошел к двери. Перешагнув через порог, чуть слышно сказал:

— Мама, опомнись...

— Вернись! — крикнула она ему.

Дверь глухо стукнула о притолоку, даже стекло в окне задребезжало. Мария бросилась за Остапом, но ее остановил Мирон Волошка и, взяв за локоть, отвел обратно к столу.

— Делай свое дело, — решительно сказал он. — Скоро молодые из церкви приедут, а у тебя еще порядка нет... Не серчай на Остапа. Что тебе сейчас от него надо? Мал еще, ветер в голове. Подрастет — одумается.

Молодицы принесли свежего бурьяна и рассыпали по хате. Трава приятно похрустывала под ногами, распространяя пьянящий запах весенних лугов. Для встречи молодых все было готово. Улучив минутку, когда Мария была одна в хате, Мирон сказал:

— Не говори так, Мария, про своего Устима. Он все знает, все слышит. Разрази меня гром на этом месте, коли Устим не прилетит сегодня на свадьбу. Я, Мария, знаю его характер.

— Приедет? Верно говоришь? — И Мария засуетилась, забегала по хате, то расправляя чистое рядно на топчане, то смотрясь в зеркальце, то пряча выбившуюся из-под очипка седую прядь. Седина у Марии проступила на висках и шла наискось ко лбу. Чтобы скрыть ее, Мария нарочно надела высокий очипок, старательно повязав его белым платком. Может, правду говорит Мирон? Она ведь сама тайком думала об Устиме, о его приезде на свадьбу, только никому не говорила об этом. Мирон, верно, что-то знает, коли так уверенно говорит. «Будем ждать его среди ночи, когда гости разойдутся... Это лучшая пора для нашего Устима...».

Занятая этими мыслями, Мария и оглянуться не успела, как молодые вернулись из церкви. Мирон отворил старые ворота, музыканты сразу заиграли на скрипке, бубне и сопилке свадебную. Иван сошел с воза и помог сойти молодой. Господские кони во двор не заехали, им там негде было развернуться. Высадив молодых, кучер сразу помчался в имение, как приказал барин.

Дружки песней встречали молодую. Иван, в вышитой сорочке из сурового полотна, степенно шел в хату, ведя под руку Марину... У порога молодые остановились. Навстречу им вышел Мирон, держа в руках обливную миску. Мария взяла из миски горсть пшеницы и осыпала ею молодых. Они не заслонялись от зерен, дождем сыпавшихся на них со всех сторон. Не к лицу молодой паре на пороге отчего дома чуждаться старинного обычая. Мирон Волошка, осыпая молодых, приговаривал:

— Чтоб земля родила щедро, чтобы дети плодились и росли густо, удача и деньги бывали часто, чтоб ссоры да беды обходили хату и не подходили к воротам!...

Он скупно кидал зерно и повторял слышанные еще в детстве слова встречи молодых, а сам с горечью думал,

что все это обман и ложь, а не пророчество. Не будет у них при барине ни счастья, ни денег, ни земли. Ссоры да беды невольно сами постучатся в дверь и окна, не для них будет обильно родить земля, пока живет и владеет всем в селе Ханенко и день и ночь дымит его винокурня, пожирая тысячи пудов пшеницы,— в том и будет их доля, этих крепостных.

Молодых усадили в красный угол. После третьей чарки водка всем развязала языки, хата наполнилась гомоном и криком, и уже не слышно было, кто что говорил — каждый беседовал со своим соседом. Иван склонился к Марине и шепнул:

— Мать у меня добрая. Погляди, как вокруг гостей хлопочет. Если будешь слушать ее, она тебя на руках носить станет... Хорошая мать...

— А я не гневаюсь на нее, — покраснела новобрачная.

— А может, и отец скоро вернется... Вместе жить станем.

Услышав краем уха их разговор, Мирон Волошка поднялся и замахал руками на гостей, чтобы утихли. В одной руке он держал чарку, а в другой зеленый граненый графин.

— Налейте все, — сказал он. — Налейте, и выпьем до дна. Выпьем за нашего атамана, за Марииного мужа и отца молодых. Одному богу ведомо, почему нет его на этой свадьбе...

За столом стало тихо, и все заметили, что во дворе полно набилось парней и девчат, охотников поплясать, а под окнами уже тесно от детворы. Ребятишки плотно прижались лбами к стеклам и не отрывали глаз от всего, что происходило в хате. Из-за этого в окна даже не могло заглянуть солнце, уже клонившееся к лесу.

Мария утерла слезу. Увидев это, Остап взял за руку Миколку и вышел из хаты.

Гости выпили до дна, но к капусте никто не притрагивался. Начатая беседа разом оборвалась. Гости молча опустили головы, не решаясь нарушить молчание.

На завалинке заиграла сопилка, ей ответил бубен, и запела скрипка. Гости вспомнили о музыке, и это рассеяло гнетущую тишину. Бояре выхватывали из-за стола своих дружек, мужья жен и все потянулись во двор. Музыка заиграла краковяк. Дети отхлынули от окон, и в хате сразу стало светлее и просторнее. За столом

остались только жених и невеста да пожилые мужчины и женщины.

Среди свадебной суеты Мирон Волошка не заметил, как к столу подошел пожилой высокий мужчина с русыми усами. Он поклонился новобрачным и выложил перед ними на белое полотенце черную смушковую шапку, трубку, две красные ленты и серебряный рубль.

— Примите на новое хозяйство... вы меня не знаете, да я вас знаю... Меня на свадьбу хозяин пригласил, а сам, вишь, не прибыл. Верно, задержался,— сказал Иван Дроздов и еще раз, по русскому обычаю, поклонился на все четыре стороны.

Молодые встали и тоже поклонились незнакомцу, выпив с ним по чарке.

Мирон Волошка потянул его за рукав и усадил рядом с собой. Сердце его учащенно забилося, кровь быстрее побежала по жилам. Он, и не расспрашивая пришедшего, понял, что тот прибыл от Кармалюка.

— Не бойся, брат, будь как дома,— сказал он Ивану Дроздову.

— А чего мне бояться? Я не вор,— смело ответил Иван.

За столом снова зашумели. Опанас, обняв за плечи Марию, расхваливал свою дочь:

— Не печалься, сватья. Я тебе такую невестку вырастил, что днем с огнем не найдешь. Работящая, послушная. А коли заартачится, так я ведь под боком... Приданого, правда, маловато, так ты же знаешь...

Повеселевший Мирон угощал гостя и рассказывал соседям:

— Страх сколько народу туда понагоняли. И все из-за господ такое терпят; всех языков, всякой веры люди оковами по Сибири звенят. Я и декабристов там видел. Великие это люди... Не от богатства на царя руку подняли... А разве я от богатства туда на пять лет пошел?

В хату вошел новый путник и робко встал у порога.

— Славайсу! — поклонился он.

— Навеки слава,— ответила Мария.

— Можно ли хозяйку повидать? — спросил пришедший.

Мария поднялась из-за стола, но Мирон остановил ее. Он пристально всматривался в пришедшего, подозрительно разглядывая его старые, густо покрытые

пылью сапоги и латаную свитку. Сомнений не было: перед ним стоял бывший побратим и каторжанин — Данило Хронь.

— погоди, Мария. Кажись, он ко мне пришел,— Мирон вылез из-за стола и подошел к порогу.

Увидев сжатые кулаки Мирона и налитые кровью глаза, Данило Хронь съежился и прижал к груди загорелые худые руки.

— Мирон, братец ты мой,— только и сказал он.

— Верно, угадал, меня сорок лет Мироном называют... Мария,— повернулся он к жене Кармалюка,— пусти нас в чулан. Мне кое о чем надо с ним поговорить. Старые мы приятели...

Мария заметила, как загорелись глаза Мирона и как он побледнел. Протягивая ему ключ от чулана, шепнула:

— Мирон, не забывай бога!

— Пошли, казак,— сказал Мирон.— А вы, гости, пейте и веселитесь, я сейчас вернусь.

Как только в сенях щелкнул запор, Ярина бросилась к Марии. Знает ли Мария, кто этот странник и зачем пришел? Может, он от Устима весточку принес? Но почему же Мирон так злобно смотрит на него, зачем он его в чулан уволок, если они давние приятели?

— Мирон же пьяный,— встревоженно сказала Мария.

— Успокойся, сватья,— остановил ее Опанас,— поговорит с человеком и придет. Какое тебе дело? У нас свадьба сегодня! Слышите, свадьба! — Он схватил бутылку и принялся угощать гостей.

Тем временем в чулане шла беседа. Опершись локтями на сундук, Данило Хронь стоял на коленях перед Мироном.

— Встань! Чего ты ползаешь вокруг меня? Что я тебе, барин аль судья? Атаман еще жив. Я сведу тебя к нему этой ночью. На суд поведу...

— Веди, кончайте... Не могу я больше терпеть,— глухо ответил Хронь.

— Ты у меня дозволения не спрашивал, когда тюремщикам нас выдавал. Чего ж ты сейчас хочешь? Я бы тебя, иуда, и сам порешил, да не хочу руки марать в такой праздник. Пять лет прошло. Верно, за эти годы ты еще не одного выдал? И судить тебя надо за всех...

— Мирон, крестом клянусь... — застонал Данило.

— Ты крест давно продал, — холодно произнес Мирон.

— Святой землей клянусь и небом — не выдавал! Я хотел тихо дожить свой век у киевской заставы, но не стало мне покоя с той поры, как увидел атамана. Каждую ночь ждал суда, мучился... Бросил службу и бродил по всем селам, по лесам, искал атамана, но все меня забыли, никто не указал пути к лагерю. Это самая страшная кара, Мирон.

— Молчи. Я плакать разучился. Твоя кара мне детей не вернет...

В чулане было слышно, как земля дрожит от танцев, как пиликает скрипка во дворе. Из хаты доносилась приглушенная песня про зеленые горы и бедную вдову да ее брата, который не узнал сестру. Песню пели родичи Кармалюка, а вместе с ними и Мария. Мирон не заметил, на каком слове оборвалась песня, но ясно услышал, как Мариин голос внезапно оборвался и в хате стало тихо.

Потом раздался ее отчаянный крик, Мария выбежала в сени и неистово забарабанила кулаками в дверь чулана.

— Мирон! Беда!

Мирон схватил за руку Данила Хроня и поволок его в хату. На лавке, зажав между коленями бандуру, сидел старый Диброва. Голова его была низко опущена, он даже не поглядел на Мирона. Старик был равнодушен ко всему и повторял только одно:

— Не поспел я, люди... А шляхтич гончего пса выпустил... Нет нашего атамана... В железа заковали, в Литин повезли... А он же на свадьбу к сыну ехал... на свадьбу...

32

Окно секретной комнаты, где работал канцелярист земского суда Матвий Барабаш, выходило на людную литинскую площадь перед тюрьмой. По вечерам, когда канцелярист при свечах переписывал судебные бумаги, а вокруг лежала густая тьма, на сердце у него было покойно. Но днем, когда вся площадь бывала залита солнцем, Матвий Барабаш утрачивал равновесие, чуть не плакал от лютой злобы, подступавшей к горлу давящим клубком.

Всеми своими помыслами и душой он был на стороне Устима Кармалюка и взбунтовавшихся крестьян, но помочь им не мог. Он видел сквозь зарешеченное окно своей комнаты, как с утра до вечера в литинскую тюрьму гнали под конвоем и везли на волах связанных мужчин, женщин и даже детей, заподозренных в причастности к делу Кармалюка, который снова сидел закованный в каменной одиночке. Измученные дорогой, почерневшие от побоев, крепостные шли понуро, подходя к тюремным воротам, крестились, и там постоянно раздавались неистовые вопли и надсадный женский плач. Тюрьма была уже забита арестованными, и земский исправник приказал приспособить под темницу еще и всю казарму инвалидной команды. А арестантов все вели и вели, чуть ли не со всех хуторов, экономий, имений. «Зачем их вести сюда и мучить,— думал Барабаш,— когда каждое село само по себе давно уже стало тюрьмой? Ведь теперь крепостные почти во всех селах делают с господами то же, что делал Кармалюк. То, что думает Кармалюк, думают и все крестьяне. Пусть исправник отправится в любое село и допросит первого встречного. Пусть он просто перенумерует села и считает их тюрьмами, как когда-то сделал граф Аракчеев с военными поселениями. На что ему такая морока в этой переполненной тюрьме?»

За окном слышится детский плач, и канцелярист, вздрогнув, бросает перо. Он видит оборванного мальчика Кондрата Шевчука, который упал посреди дороги и бьется головой о землю. Солдаты опять волокут его на допрос. Зачем? Кто разрешил палачам издеваться над ребенком? Матвий Барабаш затыкает уши, чтобы не слышать детского плача. Перед ним снова стоит кованный сундук, куда сложены все судебные акты, страшный сундук народного горя, крови и слез. До коих же пор будут издеваться над людьми, и без того уже обреченными на вечную барщину? Мальчик же совсем не виноват. Вот его бумаги. Матвий Барабаш листает бумаги и читает.

Мальчик рвет на себе латаную рубашонку, молит о спасении, но его волокут через всю площадь, в кабинет земского исправника. Канцелярист Барабаш закрывает старой свиткой зарешеченное окно, чтобы не видеть людского горя и не слышать плача возле тюрьмы. Он берет другой документ:

«...Мальчик Кондрат Шевчук, имеющий от роду лет 10-ть, спрашиван и показал: что он находится во услужении от зеленых свят у барского мещанина Василия Маниты, жительствоющего на хуторе, единственно за то, что жена одного лечит его от болезни, каковую он сносит. Будучи же всегда нездоровым, не примечал, с кем какое обращение имел тот его хозяин, ибо по большей части смотрел за скотом, которого, как днем в поле, сторонних людей в доме того Маниты никогда никаких не видал. Ничего не знает более, имеет мать родную в селе Комаровцах. При сем допросе присутствовал земский исправник».

Матвий Барабаш вынимает из сундука и складывает на столе акты допросов, протоколы повальных обысков и, стиснув зубы, начинает переписывать для будущего суда над Кармалюком показания пана Янчевского, который поймал атамана. Рука Барабаша дрожит, но он пересиливает себя, сваливая всю вину за неровный почерк на гусиное перо и загустевшие чернила.

Вот копия журнала Летичевского нижнего земского суда от 23 июня 1827 года. Сюда внесены сведения, пришедшие стороной от помещика Хлобовского, о том, что в селе Кальней Деражне 17-го числа сего июня помещик Янчевский поймал важного преступника Кармалюка, бежавшего с каторги. Для конвоирования Кармалюка было послано десять солдат во главе с офицером Летичевской инвалидной команды. Для этого выехал на место и заседатель Дудевич, который вместе с инвалидной командой и шляхтичами Витвицким и Вишневским доставили арестованных в суд.

А вот и рапорт шляхтича Янчевского.

В нем Янчевский докладывает, что шестнадцатого числа он был в селе Старая Гута, у пана подполковника Самойловича, услышал от него, что он, Самойлович, пятнадцатого числа, прогуливаясь в лесу около Старой Гуты, видел двух людей с ружьями и спросил, кто они такие. Те ответили, что лесные сторожа. Кроме этого, житель Старой Гуты Раймунд Прештрошельский четырнадцатого числа, проходя по лесу, встретил трех человек с ружьями, пиками и кольями. На одном из них была чемерка из синего сукна, на втором какая-то черная одежда, третий был в серой шинели. Прештрошельский спросил их, откуда они, и тот, что в чемерке, ответил: «Со всего света...»

Получив такие сведения, пан Янчевский вернулся домой и приказал всем своим людям быть осторожными, а в ночное время ловить всех бродяг. Кроме этого, он письменно дал знать об этом эконому Лесневичу, жившему на другом конце села, чтобы тот принял те же меры предосторожности.

Семнадцатого числа один шляхтич дал знать пану Янчевскому, что среди зловердных троих людей находится и Кармалюк и что они сейчас остановились в доме шляхтича. После такого известия Янчевский, не медля ни минуты, собрал свою дворню и, взяв с собой двух помещиков, гостивших в его доме, окружил дом того шляхтича. Когда он, Янчевский, вошел в дом, то Кармалюк схватил ружье и пытался выстрелить ему в голову, но Янчевский выхватил ружье у Кармалюка. Тогда тот схватился за палку и ударил Янчевского в грудь и в голову, приказывая товарищам добить Янчевского. Янчевский вцепился в палку и повалился на землю вместе с Кармалюком. Товарищи Кармалюка ударили Янчевского палкой по голове, ранили в руку и лицо. Тогда он, Янчевский, начал звать людей, стоявших во дворе, чтобы те поспешили ему на помощь. Но они, неизвестно почему, может, с перепугу или по какой другой причине, очень медленно входили в горницу. Только один шляхтич поспешил на помощь, и вместе с помещиками Качковским и Малишевским они едва одолели разбойников...

Но что это? У Барабаша потемнело в глазах...

Один из пойманных признался, что он Кармалюк, а потом в присутствии всех людей сказал Янчевскому, что он еще выйдет на свободу и отомстит ему. А крестьянам, стоявшим вокруг, завещал не покоряться своим помещикам. Когда связывали пойманных, Кармалюк сказал: «Почему вы не вяжете их (то есть помещиков) за то, что они вас так тяжело мучают?»

После этого Янчевский допрашивал Кармалюка — где его деньги и награбленные вещи? Кармалюк ответил, что вещей никаких у него нет, имел он при себе семь рублей серебром, да и те отдал какому-то бедному человеку, которого встретил по дороге.

Янчевский уложил связанных на телегу и отвез в кузницу, там заковал в кандалы и отправил в Литин. Сам Янчевский остался дома и больше ничего не знает,

и потому просит суд, чтобы Кармалюк никакими способами не мог бежать и отомстить ему, Янчевскому.

Шляхтич просит также принять во внимание плохое поведение крестьян из Кальней Деражни при поимке Кармалюка, заявляя, что надлежит наказать их на глазах у всех, чтобы не били баклуши, не занимались разбоем, а преследовали всех беспаспортных.

Просьбу шляхтича местные власти охотно удовлетворили и приказали непокорных крестьян наказать, а тех, кто задержит беспаспортного, награждать деньгами. Для розыска бродяг произвести по всему уезду повальные обыски.

Земский исправник, полицмейстер, все чиновники и даже жандармы получали за свою работу немалые деньги. Казна не скупилась на содержание тех, кто должен был держать в повиновении и страхе крепостных. Один только канцелярист Барабаш, происходивший из крепостных и сам крепостной, занесенный в ревизские списки, работал в суде бесплатно.

Когда ему такие же, как он, бесправные писаришки намекали на жалованье, угощая судейскими магарычами, Матвий Барабаш смеялся над собой: «Чего мне чужие деньги жалеть. У меня свое жалованье: тридцать дней в месяц — и на своих харчах...»

Сейчас он с горечью вспоминал эту свою шутку, потому что снова наткнулся на письмо подольского губернатора графа Грохольского по поводу того, чьими деньгами надо оплатить издержки почтовому чиновнику Андреевскому, который отправлял эстафеты в Каменец по делу Кармалюка. Тут казна была неумолима, и губернатор неусыпно стоял на страже ее интересов. Канцелярист читал эти документы, и горячий гнев против господ обжигал его сердце.

Подольский губернатор рапортует его императорскому высочеству цесаревичу великому князю Константину Павловичу в Варшаву. И речь идет в этом послании об оплате летичевскому почт-экспедитору титулярному советнику Андреевскому денег, которые тот заплатил в казну за доставку трех казенных пакетов, отосланных в Каменец коллежским советником подольского губернского правления Кельхнером специальной эстафетой. Экспедитор Андреевский пожаловался великому князю Константину, что эти деньги ему до сих пор не выданы, и цесаревич потребовал от губернатора безотлагатель-

ных объяснений. Губернатор, рассмотрев обстоятельства дела, пришел к выводу, что в упомянутых пакетах были донесения коллежского советника Кельхнера о появлении в Летичевском, Литинском и Могилевском уездах разбойничьей ватаги. За доставку этих пакетов эстафетой надлежало заплатить Андреевскому тридцать девять рублей и шестьдесят две копейки. Губернское правление еще тогда приказало литинскому исправнику Уловичу собрать эти деньги с арестованных разбойников и внести в литинскую почтовую экспедицию. Губернское правление и по сие время не имело сведений, выполнено ли это их распоряжение земским исправником Уловичем. Посему губернатор и запрашивает уездную канцелярию, чтобы она доложила, почему почт-экспедитор Андреевский в своей жалобе не говорит о выполнении этого распоряжения губернатора.

Напомнив со своей стороны земскому исправнику Уловичу, а также подольской почтовой конторе осылке извещений об этом для дальнейших распоряжений, губернатор немедленно сообщил обо всем его императорскому высочеству.

Вслед за тем шла бумага первому департаменту Подольского главного суда. В ней говорилось, что бывший советник Подольского губернского правления Кельхнер отправил из Летичева эстафетой заказные пакеты, в которых было донесение о шайке преступников, которые появились в Летичевском, Литинском и Могилевском уездах. На посылку этой эстафеты летичевский почтовый экспедитор Андреевский потратил из собственных денег 39 рублей и 62 копейки, и его императорское высочество цесаревич Константин Павлович повелел немедленно вернуть эти деньги Андреевскому.

А впрочем, из всей документации и до сих пор неясно, с кого надо стребовать эти деньги, а видно только, что следствие над преступниками велось в том же году. По этому делу проходили арестанты Устим Кармалюк, Остап Майданюк и Василий Добровольский. Их судили в Литине, в Каменецком уездном суде, а потом в Подольском главном суде по первому департаменту.

«Потому, — писал исполняющий обязанности подольского вице-губернатора Гирэ, — я прошу этот департамент немедленно выяснить из дела Кармалюка, с кого надлежит эти деньги стребовать, или надо отнести расход за счет казны. Приказываю сообщить мне об этом в

губернское правление в кратчайший срок, помня, что от этого зависит выполнение повеления Великого цесаревича».

Из всего этого Матвий Барабаш понял, что наместник царя, светлейший князь Константин Павлович, не очень-то вмешивается в государственные дела, если домогался заплатить деньги какому-то чиновнику и не видел того, как казну расхищали воры в украшенных золотом мундирах.

Наместник, верно, был доволен последним рапортом губернатора, в котором было написано так:

«Его Императорскому Высочеству цесаревичу, великому князю Константину Павловичу. Подольского губернатора рапорт...

Теперь стало известно, что означенные деньги истрачены по делу о преступной ватаге Устима Карманюка, осужденного на каторгу Подольским главным судом в первом департаменте. Но в приговоре этого суда нет решения — с кого надлежит взыскать траты для возвращения денег экспедитору Андреевскому. Вследствие этого я потребовал от первого департамента главного суда вынести специальное решение. Главный суд такое решение принял, и из него вытекает такой вывод: в означенном деле были обвиняемыми только Устим Карманюк и его жена Мария, поселенная на проживание в село Головчинцы. А потому департамент пришел к выводу, что если у Марии Карманюк есть какое-либо имущество, то надо выручить за него означенные в эстафете 39 рублей и 62 копейки. Если же такого имущества у жены каторжника Карманюка не найдется, то вернуть эти деньги экспедитору из казны. На основании этого Литинский нижний земский суд продал с публичных торгов найденное у жены Карманюка Марии имущество, за которое выручил 11 рублей и 90 копеек. Все эти деньги уже отправлены ретичевскому почт-экспедитору Андреевскому. О возвращении ему остальных денег в сумме 27 рублей и 72 копеек из казны Подольское губернское правление уведомило здешнюю казенную палату, а она дала распоряжение об этом литинскому уездному казначейству. Имею счастье покорнейше доложить об этом Вашему Императорскому Высочеству в ответ на данное мне повеление. Подольский губернатор граф Грохольский».

И завертелось канцелярское колесо. Цесаревич пове-

лел оплатить, губернатор приказал, а земский исправник выполнил. Налетела полиция с экзекуторами к жене Устима Кармалюка и продали с публичного торга все, что можно было продать. Теперь губернатор извещает цесаревича о том, что при этом выручено было одиннадцать рублей и девяносто копеек, которые и посланы экспедитору Андреевскому для частичного покрытия долга. Остальные деньги экспедитор получит после новых торгов, когда у Марии Кармалюк снова накопится что-нибудь для продажи.

Когда-то на Устима Кармалюка надели кандалы и ошейник, выкованные на его собственные деньги, теперь за счет имущества его жены и детей оплачивают расходы почтового чиновника, пославшего эстафетой бумаги, по которым атамана осудили на вечную каторгу.

Матвий Барабаш швырнул на стол перо, сорвал с окна свитку и посмотрел на площадь. Под каменными стенами уездной тюрьмы снова голосили женщины и дети, умоляя караульного солдата передать узелок с едой за ржавые решетки. Солдат отгонял от себя женщин, дул в роговой свисток, и толпа с плачем спускалась на некоторое время в глубокий овраг, где паслись городские козы и росла колючая густая дереза.

Канцелярист снова завесил окно, чтобы не слышать и не видеть людского горя. Он подошел к столу и, листая бумаги, начал набрасывать, сколько и чего они могли продать с публичных торгов у Марии Кармалюк, чтобы выручить одиннадцать рублей девяносто копеек. В ту пору подушка стоила рубль, конь — шесть рублей, кровать деревянная — пятьдесят копеек, воз — полтора рубля, корова — двадцать... Нет! Коровы у нее вроде бы не было. Да что у ней могло быть? Верно, все добро со двора продали. И коня, на которого она с таким трудом зарабатывала, и телегу, и подушки, и рядно. Вот и вся их справедливость и царские законы. Матвий Барабаш глухо вздохнул и склонился к дощатому топчану, что стоял у окна рядом с кованым сундуком.

Восемь месяцев изнемогал Устим Кармалюк вначале в летичевской, потом в литинской тюрьмах и наконец в каменец-подольской крепости, за неприступными стена-

ми так называемой Папской башни. Но крестьянские бунты против помещиков не стихали. Пока шел допрос многочисленных свидетелей, самого Кармалюка и его соучастников, полиция ежедневно пригоняла в тюрьму изо всей губернии все новых и новых узников. И следствие несколько раз начиналось заново.

Наместник Царства Польского великий князь Константин, которому был подчинен этот край, приказал подавать ему еженедельные подробные рапорты о следствии по делу Кармалюка и его сообщников. Вместе со следственными материалами цесаревичу Константину присылали также сведения о внезапных пожарах в господских усадьбах, о вооруженных нападениях на помещиков, дворян, зажиточную польскую шляхту. Повстанцы появлялись внезапно, словно Кармалюк снова был среди них. Они орудовали уже на обоих берегах Днестра, под Винницей и Житомиром, заходили за Киев, на левый берег Днепра, бывали в белорусских лесах. Полиция, войска и суд были бессильны против повстанцев.

Начиная с 17 июня 1827 года, когда Кармалюк был пойман, по май 1828 года, когда его снова отправили на каторгу в Сибирь, сотни следователей и судебных чиновников копались в мельчайших подробностях всего, содеянного Кармалюком, бросая в тюрьму тысячи узников.

Закованный Устим Кармалюк сидел в одиночной камере Папской башни. Эта башня, выложенная из глыб неотесанного гранита, высилась над стенами Каменецкой крепости, как страшный призрак босого кармелита в черной сутане. Каждое утро, становясь на дощатый топчан, Устим сквозь зарешеченное окно любовался, как за лесом вставало ослепительно красное солнце, а на лугах курился мглистый туман. Несколько раз в день противно скрипели тюремные ворота; Кармалюк вскакивал при каждом скрипе и через то же оконце видел, как в тюремный двор вводили связанных веревками, закованных в кандалы, крепостных, бедную шляхту, чиновников.

Однажды среди свежей партии арестантов он узнал Татьяну, корчмарку из ходаковской корчмы, на пепелище которой по его приказу были повешены конокрады. Он хорошо разглядел ее лицо, знакомый цветастый платок на голове. Татьяна, войдя в тюремный двор, подняла голову к высоким стенам и долго их разглядывала, словно хотела увидеть за решетками окон своих знако-

мых. Рядом с Татьяной стояла еще какая-то женщина, но ее Кармалюк не знал.

Теперь Устим уже не сомневался, — все, кого приводили в тюрьму, были взяты только по его, Кармалюка, делу. На допросах он окончательно убедился в этом и потому на все вопросы чиновников судебной палаты отвечал коротко и равнодушно: «Не знаю», «Не видал», «Вам виднее». Он снова упорно утверждал, что он беглый солдат со Станиславщины Василий Гавриленко. А когда ему надоедали среди ночи, не давая сомкнуть глаз, он вскакивал с табуретки и громко кричал:

— Чего вы хотите от меня? Я вам одно скажу, господа судейские, и больше от меня слова не услышите. Слушайте и пишите! Я беглый солдат. Никого не убил, не повесил, и вы не вправе меня судить. А Кармалюк поджигал имения, отбирал награбленные деньги, его и судите. Я один раз видел Кармалюка и слышал, и могу опознать, если вы мне его покажете. Он говорил, что не покается. Пока светит солнце, он будет карать господ. Вот и все, что я знаю и слышал. . .

Чиновник судебной палаты сидел за столом и записывал все в протокол. Кармалюка он близко к себе не подпускал, всякий раз приказывал усаживать его на табурете у самого порога. И все же Кармалюк догадывался, что дело разбухает, усложняется, что к нему привлекают сотни невинных людей. Кармалюк внимательно следил на допросе за чиновником и ясно слышал, как тот приказывал своему канцеляристу:

— Папка номер сорок семь. Лист дела тысяча пятый.

Канцелярист бежал в другую комнату и приносил чиновнику толстую папку, заложив пальцем тысяча пятый лист. Чиновник медленно и равнодушно снова перечитывал вслух всю историю нападения на управителя комаровецкого имения Тадея Зарембу, искоса поглядывая на Кармалюка.

Тот молчал, глухой ко всему. Каторга и тюрьмы, где побывал он за последние годы, научили его, как вести себя на допросах. Но тут он забеспокоился, встревожил тысяча пятый лист судебного следствия. Если расправа с комаровецким управителем записана на тысяча пятом листе, то сколько же еще надо листов, чтобы записать все, что он учинили после пожара у Тадея Зарембы? Конечно, они могут писать сколько им угодно, за то им

царь и деньги платит и наградные кресты на шею вешает, но ведь все написанное влечет за собой в тюрьмы и остроги сотни невинных людей. А человек, первый раз попавший в тюрьму, может с перепугу бог знает что наговорить. Так что надо помешать им в этом деле. Надо действовать быстро и решительно. И Кармалюк начал действовать.

Вечером он попросил, чтобы ему немедленно разрешили повидаться с Ильком Сотничуком. Надзиратель пошел в канцелярию за разрешением и не вернулся. Это означало, что свидание не разрешено. Кармалюк прождал надзирателя весь вечер и всю ночь, а утром начал отчаянно стучать в дверь. Запыхавшийся, бледный надзиратель открыл волчок и сказал, что свидание Кармалюку с Сотничуком не разрешено. Тогда Устим потребовал свидания с Татьяной-корчмаркой из ходаковской корчмы.

— Ее вчера привели... сам видел,— решительно заявил Кармалюк.

Надзиратель удивленно пожал плечами и, ничего не сказав, снова побежал в канцелярию. Он хорошо знал, кто такой Устим Кармалюк, и желал жить с ним в ладу. Пока еще тот суд начнется, и Кармалюка погонят в Сибирь, а на свободе еще гуляют его ватаги. От Кармалюка можно всего ожидать. Лучше быть с ним поласковее и по мере возможности давать ему поблажки. Свидания с корчмаркой Татьяной тоже не разрешили. Об этом сочувственно сообщил Устиму все тот же перепуганный надзиратель. Открыв волчок, он вежливо поклонился Кармалюку и передал приказ тюремного начальства.

— Господин Кармалюк, начальник приказал передать вам, что тюрьма есть тюрьма. У нее свои законы, и она не может превратиться в ярмарку. Разве господин Кармалюк первый раз находится в тюрьме? Разве он не знает, что до окончания следствия всякие свидания строго воспрещены? Только прошу понять, что я в этом не повинен... Я бы с дорогой душой,— лицо надзирателя расплылось в ласковой улыбке, и он быстро задвинул волчок.

В камере стало тихо, но надзиратель знал, что Кармалюк стоит за дверью и прислушивается к тому, что происходит в коридоре. Надзиратель даже слышал его прерывистое дыхание, со свистом вырывавшееся из груди.



— Открывай! — вдруг заревел Кармалюк. — Я тебе покажу ярмарку!

Надзиратель не отозвался, и это еще больше разозлило Кармалюка.

Дверь затрещала. Из камеры, где сидел Устим, доносился страшный грохот. Казалось, что над головой Кармалюка обвалился потолок и оттуда безостановочно сыплются камни, доски, железо. Кармалюк ломал кирпичную печь, крушил деревянные нары и, когда в каземате ничего уже не осталось, начал шырять в дверь кирпичи от разломанной печи.

Бледный, испуганный надзиратель стоял у стены в коридоре и без устали свистел. Сначала он слышал звон кандалов на руках у Кармалюка, потом затих и звон. По длинным коридорам изо всех камер уже доносились грохот, звон, отчаянные крики узников. Заключение догадались, что Кармалюк поднял бунт, и во всех казематах затопали, закричали, отвечая Кармалюку. В тюрьме нарастала буря.

Тюремная стража сбежалась к камере Кармалюка, чтобы немедленно водворить взбунтовавшегося каторжанина в другую камеру, если он, паче чаяния, выломает дверь и убежит в коридор. Впрочем, они надеялись, что Кармалюк и сам вскоре успокоится, испытав крепость двойной дубовой двери, окованной железом. Хоть он и обладает нечеловеческой силой, но куда ему в кандалах выломать такую дверь?

Но дверь зашаталась и упала, сорванная с петель.

На пороге вырос грозный, разгневанный Кармалюк с обрывками цепей на руках. На ногах тоже болтались разорванные цепи. Стража бросилась врассыпную, шаги караульных застучали по каменной лестнице, ведущей в тюремный двор. Кармалюк ждал нападения, но тюремщики не решались подступить к нему.

В соседних камерах все еще гремело, кричало, звенело, и тогда Кармалюк крикнул на весь коридор:

— Замолчите! Я уже вышел!

Шум в камерах медленно затихал, а Устим шел вдоль коридора, от одной камеры к другой, и сбивал железными цепями замки на дверях. Узники выходили в коридор и останавливались, увидав своего освободителя, но Илька Сотничука среди них не было. Раздались радостные возбужденные голоса:

— Кармалюк!

— Крест святой, он!

— Кармалюк!

Кое-кто знал его, все слышали о нем, но многие видели его впервые. По тому, как он шагал, волоча на ногах тяжелые цепи, и по тому, как он ручными кандалами рушил замки, даже не замечая крови на ладонях, узники постигали его огромную нечеловеческую силу. Они увидели, что Кармалюк был из тех силачей, которые иногда ходили по ярмаркам и на глазах у всех разгибали руками конские подковы, сплющивали медные пятаки.

А Кармалюк шел все дальше и дальше, даже не оглядываясь на узников, все искал Илья Сотничука, но того нигде не было. Тогда он остановился посреди коридора и громко крикнул:

— Иль-ко-о! Где ты-ы?

— Я ту-у-ут! — долетел голос Илья откуда-то с самого конца коридора.

Арестанты стояли вдоль стен, и никто из них даже шагу не ступил, хотя каждый долгими ночами только и мечтал о том, чтобы вырваться на свободу. Они видели, как Устим в один миг разбил своими цепями кандалы на руках Сотничука и кольца со звоном покатились по каменному полу.

Когда все узники собрались в коридоре, Кармалюк поднял руки и, загремев кандалами, крикнул:

— Братья! Скоро начнется суд, но они все еще приводят в тюрьму много народу. Господа хотят судить нас за то, что мы воли себе ищем. Так будем же добиваться этой воли и на суде! Помните: ни одного слова на допросе! Ни звука! Кто что знает — забудь навеки! Забудь и не говори господам... Я все равно скоро вернусь на волю, и горе будет тому, кто выдаст на суде своего товарища... Слышите меня, молодцы? Клянусь! Передайте мои слова во все камеры, когда будет прогулка. Всем скажите!...

— Хорошо, атаман! — загудели в коридоре.

— Передадим!...

— Пусть железом каленым пытаются, а слова не вырвут.

— Спасибо, молодцы! — ответил весело Кармалюк и пошел по коридору, мимо притихших арестантов, так, словно он был в этот миг их полновластным хозяином.

Арестанты зашумели, горячо заспорили, а Карма-

люк, перепрыгивая через три ступеньки, уже бежал в женское отделение. Устим хорошо знал расположение тюрьмы и скоро нашел дорогу. Сотничук едва поспевал за ним.

Запертая изнутри дверь в женское отделение скоро загремела. Там уже знали о бунте, и надзирательница тотчас отодвинула волчок.

— Я — Кармалюк, — спокойно сказал Устим. — Свидетелей нет, а ты будешь молчать обо всем. Трогать никого не стану. Приведи мне сюда корчмарку Татьяну из ходаковской корчмы. Только побыстрее...

Надзирательница знала, чем грозит теперь или позже непослушание, и шаги ее гулко отдались в темном коридоре. Скоро она вернулась с Татьяной и, приоткрыв дверь, отошла в сторону.

— Стань подальше! — сказал Кармалюк, и надзирательница послушно отошла в глубь коридора, чтобы не слышать, о чем они будут говорить.

Татьяна стояла в дверях, низко надвинув на глаза платок. Загорелые, обнаженные до локтей руки спрятала под передник.

— Здравствуй, Татьяна! — поздоровался Кармалюк. Татьяна молча поклонилась.

Устим подошел ближе, заговорил тихо, но сурово:

— Слушай что скажу. Скоро суд. Нашего брата полные тюрьмы нагнали. Если хочешь жить и выйти на волю, помни одно: все, что слышала от меня и моих побратимов в корчме, забудь! Слышишь, Татьяна? Забудь навсегда. На суде и перед судом говори только одно: «Не знаю».

— Хорошо, атаман, — чуть слышно прошептала Татьяна.

— Пусть что угодно с тобою делают — молчи. А только услышу хоть слово о тебе — пеняй на себя... Я, Татьяна, скоро снова на свободу выйду... не забывай этого...

— Хорошо, Устим, — кивнула головой Татьяна.

— А кто с тобой пришел вчера? — спросил Устим.

— Сестра моя двоюродная, Ганна, — ответила Татьяна.

— Из Каричинец? — спросил Устим.

— Из Каричинец, атаман, — подтвердила Татьяна.

— Стало быть, и Ганне молчать. Скажи, что я и ее прошу, — прибавил Кармалюк.

Татьяна стояла печальная и подавленная. Даже не взглянула атаману в глаза.

— Татьяна, Захар на воле остался. Убежал он, — сказал Илько Сотничук.

И Татьяна, на миг подняв голову, взглянула на обоих узников большими черными глазами. В них светилась глубокая печаль.

— Спасибо вам, — неведомо за что поблагодарила Татьяна.

На лестнице раздался топот, загрохотало железо у главных дверей, которые вели на тюремный двор. Освобожденные Кармалюком узники, опомнившись, бросились бежать. Но как только они приблизились ко входной двери, раздался дружный ружейный залп в воздух. Пришлось отступить. Возвращаясь обратно в свою камеру, Кармалюк крикнул:

— Куда ж вы на оружие лезете? Жизнь вам надоела, что ли? Герои! Не для того я вас выпускал... С дороги убежите, с этапа... Там воля, простор...

И арестанты покорно пошли за Устимом. Охрана долго не заходила в коридор к бунтовщикам. Боялась. Устим в камеру не вернулся, а поселился вместе с Ильком Сотничуком. Вдвоем доломали печь в камере Кармалюка, принесли оттуда кирпичи, доски и заложили свою дверь изнутри, чтобы не могла войти стража. Свободным осталось только окованное железом оконце в двери, через которое узникам подавали хлеб и воду. Кармалюк успокоился, и в коридор снова вернулись тюремная стража и надзиратель. На дверях появились снова замки, пришел кузнец и принялся заковывать тех, у кого кандалы были разбиты.

Но забаррикадированный Кармалюк не сдавался. Он сидел с Сотничуком уже пятый день и не подпускал к себе ни следователя, ни тюремщиков. К его двери приходил полицмейстер, потом прокурор, и каждый день являлся следователь. Они обещали Кармалюку свидание с другими узниками, уверяли, что не закуют его больше в кандалы и не разлучат с Ильком Сотничуком, но Кармалюк твердо стоял на своем. На допрос он и не думал выходить, следователю через оконце не отвечал. И тогда тюремщики решили заморить его голодом.

Семь дней не приносили ни хлеба, ни горячей похлебки. На пятый день Кармалюк уже не вставал с каменного пола. Ноги у него отекли. Железные обручи,

оставшиеся на руках и ногах, больно впивались в опухшее тело и жгли невыносимо. Илько все просил пить и тихо стонал. Глядя на его страдания, Кармалюк не выдержал и стал оттаскивать от двери кирпичи и камни. Он очень ослаб, и каждый кирпич теперь казался ему тяжелой каменной глыбой. На восьмой день, когда он сам открыл дверь, в камеру вошел начальник тюрьмы. Его громкий хохот прокатился по коридорам, эхом прозвучал в камерах. Тюремщики подняли обессиленного Кармалюка и отвели в его камеру. С Сотничуком его разлучили и приковали в одиночной камере к столбу. Теперь Кармалюк не мог даже лечь, а вынужден был стоять или сидеть на тяжелой колоде день и ночь.

Сквозь зарешеченное оконце в стене Устим видел ослепительный квадратик неба. Иногда по нему проплывало прозрачное облачко, щебеча, носилась у гнезда ласточка. Шли дни, небо чернело, хмурилось, а ласточка все не бросала своего гнезда. Она напоминала Кармалюку тот весенний день в доме Пидгурского, когда их схватили и связали. Кармалюка мучили сомнения, он искал предателя и не находил. У пана Янчевского, который так внезапно налетел, было добрых полтора десятка вооруженных гайдуков и целая толпа дворовых. Кармалюк, правда, стрелял, хотел даже прорваться, но в сенях было темно, и пан Янчевский подставил ему подножку. Связанного Кармалюка вытащили на крыльцо, и он не слышал, какими словами поносил шляхтича Пидгурского Янчевский, потому что над головой Кармалюка сновали испугнутые ласточки. Гнезда их были под стрехой, и Устим слышал, как пищали в них птенцы. Тюремная ласточка, что летала теперь за окном, всякий раз напоминала Устиму ласточек на крыльце шляхтича Пидгурского.

Наконец следствие, начавшееся в Летичеве и Литине, закончилось в Каменце. Судебные чиновники действовали энергично и решительно, еженедельно посылая в Варшаву рапорты наместнику Царства Польского, великому князю Константину Павловичу. Писать в рапортах было о чем. Перед судом предстало двести пятьдесят привлеченных по делу Кармалюка крепостных, которые участвовали в его отряде и вообще в восстаниях против помещиков, дворян и зажиточной шляхты. Все они покинули свои села и пошли на господ, неся в сердцах лютую ненависть. Среди них были и беглые крестья-

не из Умани, Тульчина, из Трилис под Фастовом, из Василькова, где в 1825 году восстал Черниговский пехотный полк декабристов во главе с Муравьевым-Апостолом. Крестьяне этих сел после разгрома декабрьского восстания бежали к атаману на Подолье. Далеко зашел в своем гневе и борьбе Устим Кармалюк, и господа не могли простить ему этого. Протокол судебного заседания составил две тысячи семьдесят листов, мелко исписанных целой гурьбой канцеляристов. На суде было допрошено около ста свидетелей. К ответственности привлечено пятьсот шестьдесят крепостных. Приговор утвердил сам наместник, великий князь Константин.

Его прочитали в глухом тюремном дворе. Кармалюка вывели туда со всеми арестантами и приказали стоять смирно, сняв шапки. Плешивый чиновник по особым поручениям, на мундир которого с головы сыпалась обильная перхоть, листая страницы, долго читал приговор.

«По указу Его Императорского Величества Польского главного суда в 1-м департаменте слушали подлинное дело, представленное на ревизию из Литинского поветового суда при рапортах от 31-го генваря, а полученное 9 февраля с № 111-м о содержащихся под стражею: о Устиме Карманюке, называвшемся ложно Василием Гавриленко выкресте Василии Добровольском, Ильке Петрове Сотникове (он же Сотничук), Александре Витвицком, Иване Вишниковском, Андрее Барском, Марии Добровольской, Романе Музыке, Василии Кривом, Феликсе Янковском и Матвее Вовконюке...

Для того — *первое*: Василия Гавриленка — Карманюка за побег с каторжной работы и деланные грабительства наказать вновь 101-м ударом кнутом, сослать под строгим караулом в каторжную работу.

Второе: выкреста Василия Добровольского за соучастование с Карманюком, наказав 101-м ударом кнутом, сослать в каторжную работу, а объяснение его, Добровольского, что усиливался поймать Василия Карманюка, так как сие не исполнил, признать неправильным.

Третье: крестьянина помещика Гдовского Илька Петрова, как соединившегося с Карманюком и де-

лом в преступлениях обвиненного, наказав 101-м ударом кнутом, сослать в каторжную работу.

Четвертое: крестьянина Ивана Литвинюка — Клаптийчука, с. Думенок, за соучастование и бродяжничество с Карманюком, наказав 101-м ударом кнутом, сослать в каторжную работу...

...Девятое: Марию Добровольскую, жену жительствовавшего в Старой Гуте выкреста, которая с вышесказанными разбойниками Карманюком и Ильком Петровым соучаствовала... наказав 25-ю ударами кнутом, сослать в Сибирь на поселение.

Десятое: крестьянина Старой Гуты Романа Музыку - Бондарчука; *одиннадцатое:* крестьянина Старой Гуты Василия Кривенького, пастуха, который пасши скот, встретил Ильяка Петрова и прочих разбойников Карманюка... за необъявление о том эконмии наказать обоих в пример другим по 50 ударов плетьюми, оставив на месте жительства...

Пятнадцатое: именующего шляхтичем Глембоцкого, который тоже к грабительствам с Карманюком принадлежал, по отыскании, тоже через полицию отдать под суд.

Шестнадцатое: помещика селения Кальной-Деражни Феликса Янчевского, который, употребив Качковского, эконома Лесневича и крестьян, схватил Карманюка, признать заслуживающим вознаграждения, а людей, к поимке разбойников там же созванных и находившихся, за невоспомоществование тому же Янчевскому к скорейшей поимке и повязанию разбойников, давших повод к драке с Янчевским, через что разбойники осмелились к обороне и искали средства к побегу, наказать в пример другим при земской полиции всякого по 25-ть ударов плетьюми.

Семнадцатое: жительствовавшего в Кальной-Деражне Антония Ольшевского, который к всегдашнему сотовариществу с Карманюком... с поводу того, что он к пойманию Карманюка летичевским исправником был упрощен и в дом отца своего разбойника привел, от наказания оставить свободным и отдать под надзор эконмии и общества...

А по справке оказалось, что по списку, препровожденному при повелении Его Императорского Величества, изъясненному в таковом же Его Императорского Высочества цесаревича на имя здешнего г. подольского губернатора от 25-го ноября 1827 года, следовавшим в числе 181-го арестантов в солдаты назначенных замещены под № 43 Илько Петров — 18 лет, под № 46 Арон Шмулиович Клебанский — 20 лет, под № 48 Василь Кривеньский — 30 лет, под 83 Феликс Янковский — 18 лет, под 84 Матвей Вовконюк — 22 лет...»

Чиновник закрыл папку, солдаты поднимали ружья, и Кармалюк глубоко и с облегчением вздохнул. Он радовался, что основные его силы во главе с Иваном Дроздовым остались на свободе, что арестанты не выдали всего на суде, что судьи не знают и о трети его дел.

Кармалюк снова избег смертной казни. Судьи не могли доказать, что он кого-то убил или зарезал. Повешенные конокрады в счет не шли, так как Татьяна ничего не сказала о них на допросах и на суде. Вместе с Кармалюком было осуждено много других крепостных, которые не были связаны с ним непосредственно, но принимали участие в крестьянских бунтах, которые поднимал Устим Кармалюк.

После наказания плетью и наложения клейма первая партия осужденных тронулась в дальнюю дорогу. Холодный ветер обжигал бледные лица каторжан, едкая пыль оседала на серых арестантских свитках, но люди шли не спеша, чтобы еще хоть денек побыть на родной земле. Впереди под усиленной охраной шел Устим Кармалюк. Он с грустью рассматривал пустующие села, узнавал родные леса и все боялся, что где-нибудь у ворот, на околице увидит сыновей. Но тракт на Сибирь пролегал далеко от Головчинцев, и Мария с сынами не вышла провожать Устима.

К вечеру графу Моркову стало хуже, он, правда, был еще в полном сознании, узнавал родных, разговаривал с медиками, даже отдавал хозяйственные распоряжения дворецкому Густаву Шредеру. Паралич прогрессировал, но граф был еще крепок и умирал медленно и тяжело. Уж кто-кто, а Прокоп Данилевский знал это

хорошо, потому что не отходил от графа, и профессора, прибывшие из Винницы и Одессы, прежде чем осмотреть больного, всегда расспрашивали Прокопа.

У графа отнялись ноги и правая рука, и кроме того, было ожирение сердца, да и весь он словно был залит жиром, от постоянного пьянства и сытной еды. Всю жизнь кажется только и делал, что пил до потери сознания и ел без роздыха. Даже по ночам, бывало, просыпался и приказывал подавать заморские вина, сытные закуски. Иногда засыпал за столом, пьяный, отяжелев от еды, тяжело дыша. А теперь и доктора уже не могли ему помочь. То, что годами наслаивалось на сердце, делало свою разрушительную работу.

Прокоп Данилевский не раз сталкивался с такого рода господской болезнью и точно знал, чем она кончается. Сегодня он снова спешил к графу. Может, хоть на сей раз тот будет милостив, снизойдет к великой просьбе своего придворного врача, примет наконец денежный выкуп и отпустит на волю. Деньги дал Кармалюк, их много. И за них можно отпустить на волю не одного Данилевского. Если граф берет даже по двести рублей золотом за каждого крепостного, у Прокопа денег хватило бы на десятерых. А ведь речь идет о нем одном. Неужели Морков снова повысит цену? Трижды просил Прокоп хозяина отпустить его на волю, и всякий раз граф отказывал, назначая все более и более высокие цены. Уже было собрано две тысячи рублей, граф умирал, и Прокоп надеялся, что он скоро обретет желанную свободу. Тогда он привезет из Москвы семью, поселится в деревне, станают лечить бедный люд. И ему будет вольготнее руководить повстанцами, наказывая жестоких господ. А пока он все устроит, кармалюковскими молодцами в Кукавинской волости будет командовать Гарасим Танцюра. Он уже набил себе руку, знает что к чему.

В графских покоях постелены дорогие пушистые ковры, они заглушают шаги врачей и слуг. Прокоп идет по коврам, а сердце в груди так стучит, что не заглушить этот стук никакими коврами. Что ответит ему граф на сей раз? Будь что будет. Черт с ним. Но на душе так тревожно, что Прокопа бросает то в жар, то в холод. Так было в академии, когда Данилевский шел на первый экзамен.

Окна в прихожей завешаны тяжелыми шторами, на столе, среди пузырьков с лекарствами, горят свечи. Три лакея стоят возле стола, дворецкий Густав Шредер дремлет в кресле у двери графского кабинета. Доктор подходит к нему, и немец тотчас просыпается, боязливо моргая покрасневшими от слез глазами.

— Что, там, Густав? — тихо спрашивает Прокоп. — Жив?

Дворецкий горько вздыхает и, скрестив на груди желтые, поросшие золотистым пушком руки, шепчет:

— Майн гот¹!...

Данилевский выпрямляется и медленно отворяет дверь. Она уже не скрипит, как прежде, Густав старательно смазал маслом все петли. Шредер все время сидит у графской двери. Он знает, что скоро граф Морков будет составлять завещание. Может быть, и ему что перепадет, если он будет на глазах у хозяина. Хитрый немец.

В нос Прокопу ударяет спертый воздух, пропитанный запахом лекарств и тошнотворного людского пота. Черные бархатные шторы опущены, и дневной свет сюда не проникает. Граф приказал наглухо запереть окна. В канделябрах потрескивают свечи, от их пламени на стенах покачиваются причудливые, горбатые тени. Морков лежит высоко на подушках, бледный, обросший бородой, тяжело дышит, положив поверх шелкового одеяла короткопалые руки. На толстых, словно опухших пальцах тускло поблескивают дорогие кольца с бриллиантами. «Любуйся, граф! Не спасут уже тебя твои бриллианты!» — думает Прокоп, глядя на фарфоровый камин, где красуются наполеоновские часы с рубинами. Они остановились еще вчера, в двенадцать ночи, да так и показывают полночь.

Граф ловит взгляд Прокопа, тихо говорит;

— И они стали, Прошка... Вот и конец нам... Что ты скажешь на это, хирург?

— Часы пойдут, ваше сиятельство. Сегодня привезут мастера, — поклонился Прокоп, боясь подойти к графу.

— Вот так, может быть, и я, Прошка, — шепчет граф, и пальцем манит Данилевского.

Бриллианты рассыпались на тысячи ослепительных осколков, словно солнце брызнуло из-за туч, и блеск

¹ Боже мой!... (нем.)

этот подчеркивал силу и могущество графа. А пальцы его шевелились, вяло, бессильно, но блеск, излучаемый кольцами, сам по себе велел и приказывал Прокопу покоряться.

Данилевский опускается перед графом на колени, покорно склоняет голову. Два чужих врача сидят у изголовья больного, и Данилевский не решается начать разговор. Помутившиеся глаза графа обращены к нему.

— Ну, голубь мой, где твои лекарства? Я жду, Прошка, а бог тебя вовек не забудет. Что хочешь бери, только бы мне встать... Забудь, Прошка, все обиды... Бог нас всех рассудит...

Прокоп наклоняется к кровати, горячо целует скользкую, потную руку.

— Я уже еду за лекарствами, ваше сиятельство, но я хотел бы поговорить с вами наедине.

— А-а-а,— шурится граф и указывает обоим врачам на дверь.— Там кофе, господа... Угощайтесь кофе... Пора... Я позову вас...

Врачи с недоумением переглядываются и покорно выходят.

— Встань, Прошка,— приказывает граф.— Я не забуду твоих стараний...

Прокоп подождал, пока за врачами закрылась дверь, и заговорил:

— Не встану, ваше сиятельство, ниц упаду... Смилюйтесь...

— Говори,— шепчет больной.

— Я письмо из Москвы получил... Жена пишет, что заложила все имущество, одолжила денег у добрых людей. Мы собрали на выкуп две тысячи золотом. Пожа- лейте, барин, моих сирот. Век буду бога молить... Какие угодно лекарства достану... Я спасу вас, ваше сия- тельство... Чистое золото, две тысячи... Да на них вы себе двадцать крепостных купите... Девушек, парней, комедиантов для театра... За меня одного, ваше сия- тельство, двадцать душ...

Граф взмахнул здоровой рукой, словно защищаясь от кого-то, задышал еще тяжелее, громче. Ярче засвер- кали кольца, рассыпая золотые брызги по дороговому рас- шитому одеялу.

— Не смей!.. Я уже сказал... Нет. Раз и наве- гда...

— Ваше сиятельство,— застонал Прокоп.

— Нет! У меня дети, внуки будут,— вздыхает граф.— Я выучил тебя... Должен быть благодарен... Встань и лети за лекарствами... О, господи, как трудно с вами со всеми, неблагодарными и корыстолюбивыми... И не смей упоминать!

Данилевский вскочил, сжал кулаки. Едва сдержался, чтобы не схватить графа за горло. Только и произнес:

— Ну зачем я вам, барин? Или на тот свет с собой заберете?

Граф повел синеватыми белками закатившихся глаз и как-то удивленно, словно из-под земли, выдавил:

— А? Что ты сказал, Прошка? А-а, ты так! Заберу! Всех с собой заберу! Всех! Никого не оставляю! Ни людей, ни золота, ни лошадей! Прикажу — и так будет! Слышишь?

Прокоп отвернулся и одними губами прошептал:

— Ирод!...

Граф не расслышал. Он протянул к Прокопу левую руку, растопырил пальцы, словно хотел схватить доктора за полу:

— Позови... Пусть кофе здесь пьют... При мне...

Данилевский рванулся к двери, выскочил в прихожую. До крови закусив губу, чтобы не вырвалось грозное и страшное слово, кипевшее в сердце, произнес тихо:

— Прощайте, коллеги... Я уезжаю за медикаментами. Он зовет вас... Идите туда пить кофе...

Густав вскочил с кресла, снова скрестил руки на груди:

— Майн гот... Что с ним, Прошка?

Прокоп безнадежно махнул рукой, и, спотыкаясь на мягком ковре, побежал к двери, вобрав голову в плечи — грудь вперед, только кулаки засунул глубоко в карманы. Ну, барин, прощай и берегись. Все равно не бывать по-твоему. Ты отправишься на тот свет, но за грехи твои нам заплатят другие, такие же, как ты. Камергер Базилевич уже навеки улетел из своего имения. Найдем кару и для других. Не хотите добром, так выйдет вам ребром. Прокоп и так долго колебался, чего-то ждал. Глуп был! Не жди от злодея добра, а от барина милости. Так и будет отныне. Конь мой сивый — брат любимый, сабля, трубка — вся родня.

Во дворе было безлюдно, точно все нарочно попрятались. Весь двор, от крыльца до ворот, устлан соломой, чтобы к графу не долетал шум людских шагов, конский топот, дребезжание возов. Вот и было тихо и безлюдно во дворе. Багряное солнце катилось к лесу, оставляя на соломе кровавый след. И казалось, что солома искрится, шевелится, каждую минуту готовая вспыхнуть высоким пламенем. Через двор, увязая в соломе и боязливо озираясь, бежал запыхавшийся казачок Гриц. Прокоп остановил его:

— Ты где был, казак?

— Разве я казак? Где уж мне,—махнул рукой Гриц.

— А почему бы и нет? Усы ведь уже пробиваются,—похвалил Прокоп и снова спросил: — Так где же ты был, Гриц?

— В корчме, барин...

— Зачем?

— За водкой бегал. Челядь графская и батраки посылали...

— Пьют? — удивился Данилевский.

— Ого! Чтобы граф скорее помер, за это и пьют! Над каждой рюмкой приговаривают, бога просят, чтобы поскорее на тот свет прибрал старого... Я уже дважды бегал в корчму,—похвастался мальчонка.

— А деньги откуда?

— Пхи! А зачем им деньги? — удивился Гриц.— Теперь что хочешь в имени бери. Пшеницу, кур, индюков, а в кладовых сало да полотно... Пока немчура отсиживается у графа под дверью, наши не зевают... Берут господское и в корчму. Идите и вы к ним. Там весело, только петь нельзя... Разговаривают тихо...

— Некогда, казак, скажи конюху, пусть коней запрягает. Цугом. Поеду лекарства для графа добывать,—сказал Прокоп.

— Зачем? — вырвалось у мальчонки.— Вы что, хотите, чтобы он, изверг этот, встал?

— Нет, казак, не хочу, поэтому и еду,—мрачно ответил Прокоп и медленно побрел к своему флигелю.

Гриц ухватил его за полу, приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха. Прокоп наклонился, обнял мальчонку за плечи.

— Ну, что там еще, Гриц?

— В корчме тот кобзарь играет,—сообщил казачок.

— Диброва? — горячо переспросил Прокоп.

— Ага! Он играет, а люди плачут, да все водку пьют.

— Зачем же пьют? Что у них и без этого горя мало? — в раздумье проговорил Прокоп.

— Так они ж бога просят графа на тот свет при-
брать. Ну, как вы не догадываетесь? Все села просят.
Серебриновка, Ираклиевка, Ломозово! Все графские се-
ла, — радовался мальчонка.

— Ладно, заеду в корчму, послушаю. А ты кучеру скажи, чтоб запрягал, как в прошлый раз. Понял?

— Еще бы! Запряжем! Змен, а не кони будут, —
Гриц подпрыгнул и побежал к дому, где пила челядь.

Прокоп вошел в свой флигель, бросился на диван. Вот и конец! С графом покончено. Диброва прибыл в Кукавку, коней запрягают. Плутать не придется. Кобзарь укажет самую короткую дорогу, а лошади мигом домчат Прокопа в ватагу. Не радуйтесь, господа, что Кармалюка заковали и погнали в Сибирь. Его молодцы не дремлют. А отныне в их полку еще прибудет.

Прокоп укладывает в чемодан пузырьки, хирургические инструменты, связывает одежду в узлы, пакует в сундуки реквизит графского театра, выдвигает из-под кровати два ящика с пистолетами, ружьями и порохом. Свой праздничный костюм и цилиндр прячет в саквояж, в последний раз осматривает комнату. Все в ней на месте, лишь под кроватью, в диване да в шкафу пусто. Но немец не догадается. На стене висят этюды Тропинина. Взять и их собой? Нет, пусть остаются, а то сразу станет заметно.

Приходят конюхи, красные, разгоряченные от водки.

— Выносите, — приказывает Прокоп. — Только тихо.

— Прокоп, — сбрасывает шапку конюх. — А нам как быть? Возьми ж и нас с собой, раз эти сундуки берешь? На святое дело ведь идешь. Как же без нас, Прокоп?

— Не знаю, дорогие, — глухо говорит Прокоп. — За вами гонец прибудет, ждите. А я должен ехать вперед, чтобы все для вас подготовить. Дорогу разузнаю, чтобы вам ближе ехать было. . .

— Ладно, — кивает конюх. — А нам как добираться?

— Верхами. Да седла хорошие берите и коней лучших. Чтоб не стыдно было кукавинским парням среди людей показываться.

— Да уж покажемся! Не бойся! Только бы граф окачурился!

Они выносят вещи, укладывают в широкий рыдван, прикрывают соломой.

Прокоп усаживается впереди, два кучера, два верных побратима, рядом с ним. Конюх ведет коней за уздечки до самых ворот, и графский рыдван медленно выкатывается из усадьбы. Конюх долго смотрит вслед, взволнованно покачивая головой.

У корчмы рыдван останавливается, Прокоп поднимается на расшатанное крыльцо. Сквозь раскрытую дверь он видит у стола старого Диброву, а вокруг тесно сгрудившихся крепостных. Люди даже о чарках позабыли, слушают кобзаря. И рыжий корчмарь слушает. С той поры, как он узнал Кармалюка, корчмарь стал как шелковый. Ни графу, ни полиции и словечком не обмолвился о том, что происходит у него в корчме. Прокоп незаметно разглядывает людей, нет ли среди них подъячего или подозрительных. Нет, нету. Все вроде свои, но Данилевский не решается зайти в корчму, чтобы не обрывать песню.

Кобзарь перебирает струны, бандура стонет и плачет, голос старика дрожит. Люди слушают, покачивая головами, кто-то тихо всхлипывает. Песня плывет печально, медленно и каждое ее слово тяжестью ложится на сердце:

Народился Кармалюк
В селе на Подолье,
Его маменька купала
В зелье на приволье.

Ой, купала, говорила:
«Расти, сынок милый,
Будешь ты за мать сражаться
С вражескою силой.

Будешь биться с господами,
Добиваться цели,
Чтобы на поле господском
Люди не потели.

На барщину б не ходили,
Слез не проливали.
Чтоб неволи, горькой доли
Бедняки не знали».

Прозвучал на высокой ноте последний аккорд, кто-то поднял чарку над головой, громко сказал:

— Дай боже, люди добрые!

К нему протянулись десятки рук с чарками.

— Дай боже, чтобы так было!

— Дай боже!

Прокоп незаметно вошел в корчму, встал в сторонке, но его тотчас узнали, потащили к большому столу. Рыжий корчмарь выскочил из каморки, стал кланяться Прокопу, но люди оттеснили его.

Со всех сторон слышалось:

— Ну, как граф, Прокоп?

— Скоро ли уже?

— Все ждем не дождемся!

— Хоть бы не поднялся!

— Прости нас, боже милостивый!

— Чтоб поскорей окошел...

— Чтобы так и остался: к земле плечами, к небучаю!

Налили Данилевскому, зазвенели стопки, все потянулось к нему.

— Так как же он там, Прокоп?

Тот безнадежно махнул рукой.

— На ладан дышит!

Чокаются люди с Прокопом, приговаривают:

— Слава тебе, господи!

— Дай боже, чтобы не встал!

— Собаке собачья смерть!...

Прокоп выпил до дна, громко сказал:

— Не радуйтесь! На его место другой сядет! Может, изверг еще пострашнее. Не так с ними надо, как вы здесь, за чаркой...

Люди притихли, засопели, плотнее сгрудились вокруг Данилевского. Кто-то не выдержал, возразил:

— Вон после Кавуры, глядишь, и немец добрее стал. Кричит, а не бьет. Ругается, да все назад озирается! Помогло, что Кавуру зерном засыпали. Помогло все-таки!

Кто-то крикнул:

— А камергер Базилевич так испугался, что совсем сбежал. Всыпали ему кармалюковские молодцы, да еще расписку взяли. Он и не выдержал! Так бы всех господ к ногтю!

Корчмарь тревожно застучал квартой, подавая знак:
— Ой, гвалт! Ой, не кричите мне тут!

Все замолчали, оглянулись. В дверях стоял подъячий, ласково улыбаясь и потирая руки. Поздоровался. Никто ему не ответил, и он, подойдя к стойке, приказал подать водки и тарань. Пока корчмарь болтал с подъячим, Прокоп успел шепнуть Диброве:

— Идите на околицу, за кладбищем ждите!

Старик встрепенулся, провел пальцами по струнам, затянул молитву.

Мимо рая прохожу, горько плачу и тужу.
Ой, горе, горе! Горе тяжкое! ..

— Куда ж вы, дедусь? Побудьте у нас,— засуетились кукавинские крепостные.

— Спасибо, люди, пора мне,— поклонился Диброва и заковылял к околице села.

— Эй, корчмарь,— позвал Прокоп.— Поддай мне бутылку на дорогу, а то времени нет. За лекарствами для графа лечу! Разве не слышишь? Кони храпят за окном. Да поживее давай!

Корчмарь выскочил из-за стойки, подал граненую бутылку, две тарани. Прокоп заплатил и побежал к рыдвану. В корчме наступила тишина, и Прокоп, прислушиваясь к ней, усаживался в рыдван. Когда выехали за село, сказал:

— Теперь пусть вынюхивает подъячий, пусть навострит уши! Черта лысого услышит.

— Мы видели, как он крался к корчме,— сказал кучер.— Хотел, верно, подслушать под окном, да нас заметил, и сразу вошел... Надо бы его проучить, Прокоп...

— После. Когда вернемся,— ответил тот.

Диброву они подобрали за селом, он велел Прокопу немедленно сворачивать в Комаровецкие леса,— там ждет его вся старшина кармалюковской ватаги. Надо посоветоваться о неотложных делах. Вот старика и послали в графскую усадьбу за Прокопом.

Коней гнали во всю мочь, Диброва показывал дорогу, и уже в сумерки на всем ходу влетели в Комаровецкие леса, словно в темную ночь. Вокруг темень, хоть глаз выколи. Было рано, луна еще не взошла, двигаться пришлось медленно. Лошади спотыкались на узенькой дороге о корни, торчащие из песка. Трижды прибывших

окликала стража, вырастая как из-под земли. Но, узнав Диброву, исчезала, пожелав счастливого пути. Ехали; долго, пока не увидели пламя костра, а вокруг всю старшину. Данилевский сразу узнал меж них Ивана Дроздова, Захара Блажкуна. Соскочил на землю, поклонился: — Добрый вечер, братья! Кланяются вам кукавинские молодцы!

Иван Дроздов протянул руку, обнял Прокопа за плечи, поцеловал. То же сделал Захар Блажкун, затем Прокопа познакомили с остальными побратимами. Они с завистью поглядывали на лошадей, запряженных цугом, хвалили. Захар приказал:

— А ну, казаки, распрягайте, а мы к огню подсядем. Вот так-то оно будет ладненько. Ну, как у тебя с графом, Прокоп? Дает вольную за деньги или нет?

— И слышать не хочет. Одной ногой в могиле, и ни за что! Не могу я больше там, друзья! Заберите меня. Я вот и деньги привез, те, что атаман дал на выкуп. Две тысячи, все до копейки,— и протянул Захару кожаный мешок с червонцами.

Тот взял мешок, передал Дроздову.

— Как быть, побратимы? Освободим Прокопа сами? Пусть отныне будет с нами свободный побратим кармалюковских молодцов на графских землях, а для нас лекарь хороший. Согласны?

— Согласны! Так тому и быть,— слышалось со всех сторон.

— А с деньгами как решите? — спросил Блажкун.

— В общую копилку. Пусть лежат! — посоветовал Дроздов.

Никто не возражал. Все только ближе придвинулись к Прокопу, словно отныне он стал им еще родней. Один протянул кисет с табаком, другой яблоко, третий баклагу с вареным медом. Угощайся, Прокоп, и не грусти о доме. Но снова заговорил Захар, и Прокоп не принял угощения, а лишь поклонился всем троим.

— Мы, Прокоп,— продолжал Блажкун,— решили запалить господам огни по всему Подолью: чтобы нашему атаману и в Сибири видно было. Со всех сторон поджечь. Хватит отсиживаться! Ты как, соединишься к такому решению?

— Душою и телом,— твердо сказал Прокоп.— Только есть ведь такие богатеи, которых и огонь не берет?

— Для того тебя и позвали, расскажи-ка нам, как

тогда вышло с камергером Базилевичем? Может, еще какому-нибудь барину такую грамотку подкинуть? Расскажи побратимам, а то молва бежит, а мы толком ничего не ведаем...

В огонь подкинули хворосту и пламя запылало высоко, осветив суровые лица, острые пытливые глаза. Прокоп даже почувствовал себя неловко под этими зоркими взглядами и тихо, смущаясь, заговорил:

— А что рассказывать, братцы, ведь сам атаман да Иван Дроздов были свидетелями, когда мы расписку у камергера Базилевича брали. Они все видели. Но камергер не раскаялся. Прошло немного времени, и он отдал в солдаты вдовьих сынов, начал по-прежнему издеваться над людьми. Что тут делать? Думал я, гадал и надумал. Переписал расписку камергера десять раз и разослал повсюду. Даже царю послал. Погляди, мол, государь, каков у тебя камергер, его крестьяне розгами бьют, а он им высокое слово дворянина дает, что покается. Губернатору послал, предводителю дворянства. Поглядите, какой у вас дворянин и как он дворянскую честь запятнал. Подбросил копию расписки и Ханенко, который ненавидит Базилевича, и своему графу тоже — тот тоже зол на камергера. Как там дальше было, не ведаю. Только расписка обрела гласность, и камергер двора его величества вынужден был покинуть свое поместье и совсем уехать в Москву. Но расписка полетела за ним и туда, попала к губернатору и предводителю дворянства. Нашего камергера, видно, так припекло, что он убрался за границу, без права возвращения в Россию. Это право может дать ему только царь. Вот как было.

— Ох, мать родная! — воскликнул Диброва. — Вот славно-то, вот смело!

— Не огнем, а словом барина убили, — добавил Захар. — Молодец, Прокоп. Выходит, можно их карать не одним огнем и мечом. Так прими же и от нас благодарность, побратим!

— Спасибо тебе, — поклонился Иван Дроздов.

— Спасибо, — слышалось со всех сторон.

Прокоп слегка поклонился старшине, отер рукавом вспотевший лоб, то ли от огня, то ли от рассказанного ему стало жарко. Весело потрескивал в костре хворост, похрапывали распряженные кони, а над головой шумели древние дубы.

— Пошли, братья, пошли! Пока господа и полиция спят.— Захар Блажкун поднялся.— Этой ночью пустим им красного петуха, да с трех сторон — пусть пылает день и ночь над их именьями, не давая покоя, вечно напоминая о нашем славном атамане. А тем временем выбирайте самого свирепого барина, и ему подсунем грамотку, как камергеру.

— Согласен. Исполним все, что порешили,— поддержал Дроздов.

Старшина встала, все стали готовиться в дорогу.

— А как же молодцы? — спросил Прокоп.— Они там в поместье остались и в Кукавке. Я тут один...

— Ничего,— успокоил Захар,— вот подожжем нынче ночью в трех концах уезда, тогда и ты подашь знак своим. Они ведь у тебя наготове?

— Наготове, давно ждут,— повеселел Данилевский.— Оружие и одежду я с собой привез. Все в рыдване. Разбирайте и переодевайтесь, братья!

Захар сжал Прокопа в объятьях, поднял над землей, закружил, приговаривая:

— И откуда ты такой взялся, Прокоп, нам на утешение? Тебя только на руках носить... Вот казачище!

Заржали оседланные кони, среди дубов прокатился шум людских голосов, забряцало оружие. В лагере гасли огни.

Спокойствие, которое можно назвать условным, царило на Подолье недолго. Судейские чиновники не успели еще дать ход своим бумагам, осужденные еще не дошли до Сибири, а с господами приключилась новая беда. На Шаргородском тракте появилась новая ватага «кармалюковских молодцов».

У полиции были точные сведения, что орудуют в этой ватаге какой-то Черноморец да два бывших каторжника, соучастники Кармалюка, Захар Блажкун и Мирон Волошка. По ярмаркам попозли слухи об этой ватаге.

Но не знала полиция, что в ватагу пришел новый повстанец — Прокоп Данилевский. И не один, а привел с собой добрых два десятка парней, которыми ныне командовал каретник камергера Базилевича, проворный и сильный Гарасим Танцюра. Среди повстанцев Прокопа

были люди из имения покойного графа Моркова, из экономии камергера и беглые батраки из Молдавии.

Граф Морков так и умер, не дождавшись спасительного лекарства, за которым помчался в Винницу Прокоп. Графа похоронили в родовом склепе у Кукавской церкви, а имением стал владеть зять графа, полковник Павел Чернышов. К нему скоро вернулся кучер, который возил Прокопа за лекарствами. Явился один, без графских лошадей и рыдвана, с одним кнутом. Кучер рассказал, что Прокоп сбежал от него еще в Виннице. Верно, пошел к своей жене и деткам в Москву. А его, кучера, когда возвращался в Кукавку, перехватили в лесу кармалюковские молодцы, забрали рыдван с лошадьми и все вещи, которые лежали в рыдване. Еще и расписку дали. Кучер подал полковнику Чернышову расписку, и его повели на конюшню сечь розгами. На следующий день наказанный кучер сбежал из именья. Полковник Чернышов написал в Москву о беглом Прокопе Данилевском, полиция чуть ли не каждую ночь ходила домой к жене Прокопа в Москве, но его там не было. Не нашла следов беглеца и подольская полиция, ведь даже не все кармалюковские молодцы знали Прокопа. В один из дней он появлялся среди них как офицер, на следующий был дьяком, а на третий ходил с Блажкуном в венгерке, как беглый повстанец из самой Варшавы. И говорил то по-французски, то по-немецки, то по-польски. Узнай такого! Ватага Кармалюка росла. Неясные и тревожные слухи расходились по всем ярмаркам. Их шепотом передавали друг другу крепостные и дворня в помещичьих усадьбах. Земский исправник Литинского уезда Улович сперва не придавал особого значения этим слухам, но когда ему донесли, что возле багриновецкой корчмы совершено нападение на чиновника Перетяткевича и у него отобрали двадцать одна тысяча золотых казенных денег, исправник заволновался. Не успел он опомниться от этой убийственной вести, как прилетела новая. Полиция донесла, что через несколько дней после нападения на чиновника Перетяткевича во многих селах крепостным розданы деньги. Раздавали их те же самые «кармалюковские молодцы». Раздавали не всем, а только тем, у кого отец или сын были осуждены по делу Кармалюка и пошли по этапу в Сибирь. Верно, кого-то из крепостных обошли деньгами, и тот донес в полицию. В нескольких селах полиции удалось отобрать

в семьях крепостных подаренные деньги, и они теперь вместе с протоколами допроса лежат в волостных управах как вещественное доказательство.

Перепуганный земский исправник Улович решил действовать неотложно и решительно. Он тотчас вызвал к себе потерпевшего чиновника Перетяткевича, чтобы лично убедиться в справедливости донесений и узнать о подробностях. Перетяткевич прибыл очень быстро. Протерев платком глаза, он начал рассказывать о спокойствии, которое воцарилось в их волости после суда над Кармалюком, помянул солдат, которые охраняли его и казну в дороге, но ничего не мог рассказать о повстанцах. Кто они такие? Какой имели вид? Говорили ли они с ним и если говорили, то о чем? Может ли он узнать кого-нибудь, если встретит вторично? Какие разговоры вели они между собой, как называли друг друга?

— Я ничего не слышал и не видел, — жаловался чиновник. — Они, верно, знали, что я вез казенные деньги; лошадей остановили так внезапно, выскочив из-под моста, что даже кучер вылетел из брички. Было поздно, темно. Солдатам они крикнули одно только слово: «Кармалюк!» — и те побросали оружие. Все было сделано так быстро, что я и оглянуться не успел...

— Что же вы делали в это время? — спросил Улович.

— Что я мог делать, ваше высокоблагородие? Они забрали деньги и надругались надо мной.

— Как это надругались? — спросил исправник.

— Очень просто. Один из разбойников держал у меня перед глазами пистолет, а когда они побежали в лес, то швырнули мне это оружие под ноги. Только возле корчмы я пришел в себя и крикнул солдатам, чтобы забрали этот пистолет. И что вы думаете? Это был не пистолет, а кусок дешевой колбасы... Это просто издевательство!...

Исправник резко встал и смерил чиновника убийственным взглядом.

— Как вам не стыдно? Где ваша дворянская честь? Вы, оказывается, отдали разбойникам не только государственную казну, но и оружие. А кусок гнилой колбасы приняли за пистолет! — гневно произнес исправник.

— Но, простите, — оправдывался Перетяткевич, —

все грабители были с пиками, настоящие пикинеры. Это я хорошо рассмотрел.

«Лопни твои глаза!» — подумал исправник и отвернулся к окну, показывая этим, что прием окончен. Перетяткевич попятился к двери. На пороге он чуть не столкнулся с канцеляристом Матвием Барабашем, вбежавшим в кабинет к исправнику.

— Что там еще? — спросил канцеляриста Улович.

Матвий Барабаш отдышался и как радостную весть сообщил:

— Новое донесение, ваше высокоблагородие.

— О чем? — Улович исподлобья бросил взгляд на своего подчиненного.

— Новое нападение, ваше высокоблагородие, — еще веселее выкрикнул канцелярист.

— Чему ж ты, дурень, радуешься? Читай быстрее! — заорал исправник.

— Слушаю, — поклонился Барабаш и, развернув зеленую папку, начал читать громко и медленно, смакуя каждое слово:

«В Летичевский нижний земский суд. Отставного подполковника Гилярия Дембицкого. Объявление. Сего месяца первого числа, проезжая через деревню Галузинцы, остановился в сей деревне на ночлег в корчме, названной «Выгода», где сего ж числа пополудни после десяти часов напали на меня и мою семью разбойники, от которых после долгого сопротивления, видя неравные силы, я с женою и грудным ребенком через окошко бокового чулана бежал, а малолетних два сына вынужден был оставить. Но всемогущему провидению угодно было спасти невинных, подъехавшие подводы заставили злых бежать, и так мои дети спасены».

— погоди! — громко крикнул Улович и властно поднял руку.

Канцелярист остановился.

— Какой это Гилярий Лембицкий? Я что-то не припомню, — спросил исправник.

— Это большой чин, ваше высокоблагородие, — пояснил Барабаш. — Он прибыл из Петербурга, от графа Аракчеева. Имеет при себе императорские указы и казенные ордена...

Исправник схватился за голову и закричал:

— Читай же, читай!

Канцелярист прокашлялся и продолжал:

— «При обороне я от разбойников в пяти местах пи-кою ранен, а взамен, первому, на меня бросившемуся, я саблею дал удар через правое плечо, от которого, предполагать должно, ежели на теле нет знака, то одежда, верно, изрублена, и сверх сего на пиках от сабельных ударов должны быть зарубины.

В лицо я ни одного признать не могу, а только приметить мог, что один, который хозяйничал, был росту большого, три, которые были противу меня, росту среднего, а прочих, бывших на дворе, я только и приметил, что от помянутого большого разбойника через двери вещи получали. О прочих подробностях объясню при следствии.

Честь имею оному суду о сем донести, прилагаю у сего ведомость ограбленным у меня деньгам, казенным орденам (которые принадлежат возврату в капитул), патентам на чины, грамотам на ордена и прочим бумагам и вещам, всепокорнейше прошу, что по сему делу до сих пор открылось, уведомить меня через почту на место моего жительства Могилевского уезда в деревню Ивашковцы. Ежели бы же нужным было мое присутствие, то сие не прежде моего выздоровления быть может. Сверх полученных при обороне ран, спасаясь бегством по лесам и оврагам и полям, как я, равно и жена моя, имеем так изранены подошвы, что с постели тронуться не можем. Гренадерского графа Аракчеева полка отставной подполковник Дембицкий...»

— Все? — забарабанил пальцами по стеклу исправник.

— Все, ваше высокоблагородие.

Матвий Барабаш, сдерживая радость, чуть не рассмеялся.

— Немедленно зови полицмейстера, — приказал Улович.

Барабаш ловко повернулся и выбежал из кабинета.

И снова начались розыски и облавы. Но полиция, войска и вооруженная шляхта всегда опаздывали. Они узнавали о нападении на корчму, на имение помещика или на хутор зажиточного шляхтича только на следующий день. И розыски никогда не давали результатов. Искали в одном месте, а повстанцы орудовали уже в другом.

На всех дорогах и заставах была расставлена стража. На ярмарки, в господские имения и придорозжные

корчмы двинулись десятки агентов тайной полиции, переодетые простолюдинами. Они шныряли по людным местам, выдавая себя за бродячих торговцев, батраков, а то и просто за страховых агентов. Ими руководил вышколенный агент Третьего отделения его императорского величества канцелярии в Подольской губернии, чиновник по особым поручениям господин Непорожный. Он рьяно принялся за розыски. Непорожного никто не знал в губернии, а тем более в уездах — он только начинал свою карьеру.

В имение отставного капитана Янчевского тоже были посланы для охраны солдаты. Деражненский крез превратил свой дом в настоящую крепость. Высокие окна и стеклянная веранда были зарешечены железными прутьями, на столах под окнами лежало оружие, порох, ножи и пики.

Покои деражненского пана напоминали настоящий арсенал.

День и ночь вокруг дворца ходила стража. Пан Янчевский сидел запершись, боясь высунуть нос даже в собственный двор. Гости к нему больше не приезжали, и не перед кем было похвастаться высокой наградой, которую пан получил от наместника, великого князя Константина из Варшавы за поимку Кармалюка.

Но однажды ночью на околице Деражни вспыхнул пожар, и пан Янчевский не выдержал. Он вскочил с постели и, накинув черный плащ, незаметно выскользнул через окно в сад. Разве он мог усидеть в зарешеченной спальне под надежной охраной, когда это был не просто случайный пожар — горел весь двор шляхтича Пидгурского? Хорошо еще, что он не согласился на слезную просьбу шляхтича и не принял его со всей семьей под надежную защиту в усадьбу. Ведь тогда кармалюковские молодцы подожгли бы имение Янчевского, а не обиталище шляхтича Пидгурского.

Они, верно, дознались бы, что шляхтич Пидгурский живет у пана Янчевского, боясь расплаты за предательство. А так, может, на сей раз они и минуют его, увидав вокруг имения надежную охрану из солдат и дворовых.

Так или иначе пан Янчевский до утра просидел в кустах, дрожа от страха. Он видел, как горело жилище шляхтича Пидгурского, как суежилась его, Янчевского, стража, прислушивался к тревожной тишине в селе. В этой тишине только отчаянно лаяли собаки, Людских

голосов не было слышно, никто из крепостных даже не подумал выбежать на пожар, спасти пылающий дом шляхтича. Не смел сделать этого и пан Янчевский со своей челядью, он сам ждал беды. Но в ту ночь к пану Янчевскому не пришли. Не найдя шляхтича Пидгурского с семьей дома, повстанцы подожгли все строения и исчезли так же неожиданно, как и появились.

Утром шляхтич Пидгурский прибежал в имение и упал перед Янчевским на колени.

— М^оя ж^она, моя Анельця, пане, тяжело заболела. Мое дзетко потеряло дар речи... Я прохам вашего при- тулку, я прохам захистку...

Янчевский с притворным сочувствием покачал головой:

— Горе, пан Пидгурский, всегда есть горе... Ты лучше скажи: кто был в той ватаге, кто поджигал дом?

— Поджигал, пане, Захар Блажкун, а с ним какой- то Мирон, да еще третий, высокий, с усами... Иваном его называли... Я сидел на вербе и все видел... Куда мне теперь деваться, что делать, паночку?

— А Кармалюк там был? — спросил Янчевский.

— Кармалюк? — испуганно открыл глаза шляхтич, боязливо озираясь. — Нет, Кармалюка я не видал. О, будь он там... месть обрушилась бы и на вас...

— Пся крев! — вскричал Янчевский. — Ты отвечаешь за свои слова или так мелешь? Я покажу тебе дорогу до дзябла!..

— Паночку, сжальтесь! Моя жена, мое дзетко! — молил шляхтич Пидгурский, ползая на коленях перед Янчевским.

— У меня своих хлопот с этими разбойниками достаточно. Сам день и ночь остерегаюсь их, — холодно буркнул Янчевский. — У тебя своя голова на плечах есть; поступай, как знаешь.

— Паночку, отец родной, — молил шляхтич. — Возьмите меня к себе в усадьбу!

— Напрасно просишь, встань. Не могу. Тебе надо немедленно выехать из Деражни. Пока не объявился Кармалюк, собирайся, складывай свои манатки и трогайся в путь. Немедленно трогайся, а то будет поздно! — властно сказал Янчевский.

— Да на чем же? — взмолился Пидгурский. — Возок мой сгорел, лошадей увели. Как же я теперь?.. Куда?

— Лошадей я тебе дать не могу, они нужны в име-

нин. Найми в селе,— холодно посоветовал Янчевский и отвернулся.

Шляхтич с минуту полными слез глазами глядел на капитана, словно не узнавая его, а потом отчаянно завопил, схватился руками за голову и помчался в село. Он бежал, спотыкаясь на ровной дороге, прижав к груди прожженный картуз. Янчевскому стало жаль шляхтича, он подозвал гайдука и приказал:

— Тут двадцать злотых. Догони сейчас же шляхтича Пидгурского и вручи ему. Скажешь, пан жертвует пого-рельцам. Марш!

Шляхтич денег не взял и из деревни Деражни тоже не уехал. Это встревожило Янчевского. Если шляхтич за деньги предал Кармалюка, так по злобе может предать и его, Янчевского. Не лучше ли подыскать в имение путного управителя, а самому на время выехать в Варшаву? Пропади пропадом такое житье! То был один Кармалюк, а теперь их бог весть сколько. Не знаешь, когда и откуда ждать нападения. А нападут обязательно. Ему не простят.

И пан Янчевский стал тайком готовиться в дорогу. Уже стояли наготове оба заново окованных рыдвана, в них упаковали самые дорогие вещи, и вдруг село облетела весть, что Кармалюк погиб. Если при жизни Кармалюк почему-то обходил Янчевского и не трогал, то теперь, после того, как капитан арестовал атамана, его побратимы-разбойники незамедлительно и страшно отомстят Янчевскому. В этом он не сомневался. Надо уезжать, пока не поздно!

Официальных сведений о смерти Кармалюка полиция еще не получила, но все данные о том, что такое уведомление скоро придет, были неопровержимы, и Янчевский невольно поверил им. Он был очень суеверен и принимал близко к сердцу предсказания гадалок, изучал хиромантию, каждый день заглядывал в оракул, часто звал к себе ясновидящих. Но весть о смерти Кармалюка подтверждалась и без гадалок. Тадей Заремба, которого трудно было заподозрить в мистике, сам уведомил Янчевского о том, что мертвый Кармалюк в белом одеянии каждую ночь является своей жене Марии и скрывается только после первых петухов. Заремба три раза ходил с охраной во двор к Кармалюку и сам видел привидение. Кроме того, в сельских церквах крепостные все чаще стали скидываться на панихиды за упокой ду-

ши раба божиего Устима, и пан Янчевский догадывался, что это была служба по умершем Кармалюке. Слава тебе, господи, что наконец это свершилось.

Слух о смерти Кармалюка полз с ярмарки на ярмарку, переходил из села в село, об этом открыто говорили в помещичьих усадьбах, пугая привидением маленьких детей. Докатился этот слух и до лагеря кармалюковских молодцов, больно поразив Ивана Дроздова и всех повстанцев. Принес печальную весть старый бандурист Диброва, он клялся, троекратно крестясь, что сам видел нетленный дух Кармалюка, который каждую ночь является Марии с того света, облаченный в белый саван. Наконец повстанцы сами решили проверить все это и однажды ночью двинулись в Головчинцы, к Марии.

— А может, братцы, атаман укоряет нас за Пидгурского? — вдруг спросил Мирон Волошка.

— Как это укоряет? — удивился Иван Дроздов.

— Ну, как тебе сказать... попрекает, что не покончили мы с предателем, — пояснил Мирон.

— А что же ты хотел? — допытывался Дроздов.

— Я хотел его, пса, на вербе повесить, как конокрадов на пожарище ходаковской корчмы. Да не нашел. Вы только поручите мне, и я этого подлюгу сам прикончу! — стукнул кулаком Волошка.

— Ого! — присвистнул Захар Блажкун. — А ты позабыл, Мирон, как люди в песне об атамане поют: «Никого не убиваю, душу сберегаю»? Зачем атамана в грех вводить, шляхтичу Пидгурскому мы и так отомстили. Хватит с него... Больше не станет вести себя так и другим закажет...

— Будет препираться! — прикрикнул на них Иван Дроздов. — Сами поедem к Марии и увидим, какой такой призрак является к ней по ночам.

— Согласен, — сказал Мирон Волошка, и они, пригнувшись, помчались из густого леса через глубокий ров на головчинецкие огороды.

По лесу проехали благополучно, но в Головчинцах надо было остерегаться. Оставив оседланных коней у огородов и расставив вокруг хаты Кармалюка надежную стражу, молодцы подошли к глухой стене Мариинной хаты и притаились за кустом густой бузины.

Село спало глубоким сном, только в имении протяжно перекликались караульные да на горе тарахтели в колотушки дворовые сторожа. Вокруг царила такая ти-

шина, что было слышно, как на пруду плещется рыба. Наконец покосившаяся дверь открылась и во двор вышла, сгорбившись, Мария. Она боязливо огляделась по сторонам, подняла глаза к звездному небу и медленно опустилась на колени перед порогом. Повернувшись лицом к востоку, она осенила себя широким крестом и начала класть земные поклоны, горячо, но тихо шепча молитву.

— Я пойду к ней,— зашептал Мирон Волошка.

— Не надо, пусть помолится,— остановил его Иван Дроздов, и они молча наблюдали, как благоговейно и горячо молится Мария.

Когда она поднимала к небу свое похудевшее лицо, Иван Дроздов ясно видел при ярком лунном свете блестящие слезы, катившиеся по впалым щекам. Острые, худые плечи Марии вздрагивали, она часто всхлипывала, тяжело вздыхая. Окончив читать молитву, Мария поднялась с колен и широким рукавом утерла слезы. Тут все трое, Дроздов, Блажкун и Волошка, выскочили из своей засады и встали перед нею, боясь, чтоб она не вошла в хату и не заперла сенную дверь.

— Свят, свят!.. — пошатнулась Мария, осеняя их широким крестом.

— Бог с тобой, Мария! Это мы,— сказал Мирон Волошка и вышел вперед.

— Что вам от меня надо? — тихо спросила Мария, отступая к порогу.

— Ты одна в хате? Господской стражи нет? — спросил Захар.

— Нет,— как-то равнодушно отвечала Мария и, немного помолчав, таинственно добавила: — Но скоро Устим ко мне придет. Прячьтесь в сенях.

— Какой Устим? — спросил Дроздов, вместе с побратимами входя в сени за Марией.

— Мой. Разве вы не знаете? Он теперь каждую ночь ко мне приходит. Вот подождите немного, сами увидите,— ответила Мария и, перекрестившись, добавила: — Царство ему небесное, бедняге...

Старшины молча переглянулись, удивленно пожали плечами.

— Только не спугните его, а то он и меня на тот свет заберет, а дети круглыми сиротами останутся,— зашептала Мария, прижавшись к плечу Мирона.

— Успокойся, Мария, ты вся дрожишь,— погладил ее по голове Мирон.

— Смотрите! Он уже пришел,— чуть не вскрикнула Мария, упав на колени. Она набожно простерла руки вперед и застыла в немой тревоге.

В глубине двора, прямо против сеней стоял полуразвалившийся хлев без дверей, туда и протягивала руки Мария, широко раскрыв полные слез глаза. Когда-то там стоял конь, водился даже поросенок. Коня украли, а поросенка барин продал с торгов. В хлеву сейчас гнездились летучие мыши, воробьи да залетные совы. Повстанцы подались к сенным дверям и затаили дыхание. Холодная дрожь пробежала по спинам, в горле сразу пересохло, и никто уже не мог сдвинуться с места. В черном проеме дверей стоял высокий, весь в белом, человек, окутанный серебристой кисеей. Лицо его скрывалось в мглистом тумане, но плечи и вся фигура четко вырисовывались на черном фоне. Серебристая кисея, прикрывавшая плечи, слегка шевелилась на легком ветерке, налетавшем из лесу. Опущенные вдоль туловища руки и ноги по колени тонули в густом мраке. Он стоял прямо, высоко подняв голову, широко расправив плечи.

— Святой боже, святой крепкий! — зашептала Мария и принялась бить поклоны.

— Спаси мя и помилуй! — перекрестился Мирон Волошка, отступая в глубь сеней.

— Что же это такое, Иван? — тронул Дроздова за плечи Блажкун, и Иван почувствовал, что рука Захара дрожит.

На погосте отчаянно закричал филин, где-то в вербах ухнула сова, а над крышей просвистели, рассекая крыльями воздух, две летучие мыши. Немой призрак не исчезал, а вырисовывался все яснее, словно выходил из темноты, приближаясь к порогу. Вот уже ясно обозначились его рука, еще больше побелели крутые плечи и он готов был переступить порог. Кисея на руках словно бы шевельнулась, и все услышали ее холодный шелест.

Иван Дроздов выхватил пистолет, сделал знак Блажкуну, чтобы тот держал Марию в сенях, и бросился через двор к хлеву.

— Ой, не троньте его! Не троньте! — тихо заголосила Мария и упала на порог, простирая вперед руки.

Дроздов вскочил в хлев, остановился в дверях напротив белого призрака и начал спокойно постукивать

пистолетом о дерево. Все видели из сеней, как Иван ходил по хлеву, приседал, потом снова поднимался, смотрел вверх, словно искал кого-то. Призрак стоял на своем месте, и это еще больше сбивало с толку Мирона Волошку.

— Ну, что там? — крикнул он Дроздову.

— Ведите ее сюда, — приказал Иван.

Мужчины взяли Марию под руки и силой подвели к хлеву, осторожно оглядываясь на дорогу. В хлеву было пусто, пахло гнилой соломой и сухим навозом, скрипел в трухлявой доске древоточец и громко пел сверчок. Марию била дрожь, и она безостановочно крестилась, испуганно поглядывая на Дроздова.

— Ну, вот и конец, — сказал Иван. — Обман да страх, и только... Посмотри сюда, — указал он на середину хлева. — Вон тот столб, что крышу подпирает, и нагнал на тебя страх. Лунный свет сквозь дырки падает на столб и бросает поперек столба тень от балки. Вот тебе и все. А ты людей напугала. Молва пошла, что нет нашего атамана... Разве так можно? Панихиды за упокой его души по церквам служат...

— Боже мой, боже, — качала головой Мария, прижавшись плечом к столбу.

— А зайдет месяц, и все пропало, — продолжал Иван. — Можно сейчас этот столб выкопать, и ты сама все поймешь. Ведь луна тогда и заходит, когда первые петухи поют. Так и скажи, Мария, людям, если будут спрашивать... Пусть придут завтра ночью, кто не верит, и сами поглядят... А теперь будь здорова... Мы тебе денег немного принесли для детей... Присматривай за ними, ведь скоро Устим придет...

— Придет? — встрепелась Мария и вытерла слезы.

— Придет, — ответил Иван Дроздов, и они, пожав шершавую, мозолистую руку Марии, скрылись в густых подсолнечниках, только листья зашелестели.

В январе тысяча восемьсот двадцать девятого года Устима Кармалюка с партией новых каторжан наконец пригнали в Тобольск. Закованный в ручные и ножные кандалы, он очень ослабел в дороге, исхудал. Почти

шесть месяцев длился этот трудный и, казалось, нескончаемый путь с Украины в холодную Сибирь. В то время по всему тракту, где шли каторжане, были еще живы воспоминания об осужденных декабристах, которых царские фельдъегери не так давно везли в Сибирь на казенных перекладных по этой ухабистой, кое-где мощенной колодами тряской дороге. Фельдъегери загоняли коней, останавливаясь только в крайних случаях, но людям запомнился этот страшный путь революционеров. В одной придорожной корчме, где-то под Вяткой, Кармалюку даже показали высокие крутые ступеньки, на которых споткнулся один из ссыльных. Кто это был — один из братьев Бестужевых или сам Муравьев — этого люди не знали. Они только помнили, что, когда фельдъегерь загонял в корчму погреться заочневших колодников, вокруг уже стояла толпа местных поселенцев, мещан и проезжих купцов. Декабрист, закованный в кандалы, споткнулся и рухнул на крутые ступеньки. Из толпы кто-то крикнул: «Привыкаешь, барин? Привыкай, старайся!..» И вслед за тем раздался пьяный хохот.

Ссыльный болезненно поморщился и, поднявшись, тихо, но так, что все слышали, ответил: «Ради вас, люди, стараюсь... Ради вас буду и привыкать».

В толпе стало тихо, а когда фельдъегерь погнал партию дальше, толпа набросилась на пьяного мещанина, тяжко обидевшего осужденного героя, и, если б не подоспела полиция, убила бы обидчика на месте.

Услышав этот рассказ, Устим Кармалюк печально покачал головой.

— Темный человек. Зачем убивать его? Он умнее станет, коли поживет среди таких людей. Зачем убивать?.. Он, верно, не знал, что за люди эти декабристы. Они волю крепостным несли...

— Несли, да не донесли, — крикнул кто-то из толпы. Кармалюк оглянулся, но не ответил.

Чем дальше продвигалась по сибирскому тракту партия колодников, в которой шел Кармалюк, тем чаще разносились среди арестантов слухи об этих первых русских революционерах. Николай Первый сослал их на каторгу, в самые отдаленные уголки Восточной Сибири, полностью изолировав от арестантов, переполнявших все тюрьмы и остроги. По всему каторжному тракту был учрежден усиленный надзор, как явный, так и тай-

ный. Вслед за декабристами добровольно пошли в Сибирь и их жены, навсегда покинув спокойную жизнь в Петербурге. Разрешив это женам декабристов, царь запретил им когда-либо возвращаться в столицу. Вдоль тракта вырастали все новые и новые остроги; там и сям у высоких дубовых частоколов, у полосатых столбов с двуглавым жестяным орлом в короне маячили одинокие фигуры часовых. Пригнанные из центральных губерний России каторжане работали на новых заводах и в рудниках с утра до позднего вечера, позванивая кандалами под землей и на земле.

Встречи с каторжанами из других губерний вселяли в Кармалюка надежду. Нет, теперь он не одинок. По всей России поднимался крепостной люд на бой за свои права, за волю.

На последнем привале возле Тобольска атаман услышал песню о декабристах, и она глубоко запала ему в душу. Песню пел слепой гуслиар, четко выговаривая каждое слово:

То не ветер шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник — червь подточил его.
Закатилась воля-солнышко,
Смертна ночь легла в поле бранное,
Как на поле том бранный конь стоит,
На земле перед ним витязь млад лежит.
Конь, мой конь! Скачи в святой Киев-град:
Там товарищи, там мой милый брат...
Отнеси ты им мой последний вздох:
И скажи: цепей я снести не мог.
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности...

Железные обручи на руках и ногах больно терли набрякшее от холода тело, по коже пошли кровоточащие волдыри, но Кармалюк в последние дни перехода, казалось, не испытывал боли. В ушах звенели гусли слепого певца, в голове роились золотые слова о воле, и он жалел, что не слышит этих песен старый бандурист Диброва. Он бы понес их по ярмаркам, пробуждая людские сердца, дремлющие в тяжелой неволе.

Тобольск встретил Кармалюка сумрачно и холодно, так же как и пять лет назад. В этом поселке обездолен-

них и обреченных почти ничего не изменилось. По-прежнему мела неугомонная выюга, трещали от лютого мороза кедровые бревна в срубах, дымили камельки в приземистых, низеньких домишках, а вокруг сплошной стеной лежала непроходимая тайга. Только посреди широкой площади выросли еще два новых острога, возле их ворот запестрели полосатые будки да появились сгорбленные фигуры часовых — солдат в рыжих башлыках из верблюжьей шерсти. В старом остроге, куда загнали Кармалюка, стояла все та же обмерзшая бочка, в которой арестанты возили воду на кухню, лежали поленицы нарубленных дров, а из кузницы доносился громкий перестук молотков. Кузнецы, как и прежде, ковали ошейники и обручи на руки и на ноги, нанизывали из железных колец длинные цепи.

Было воскресенье, все арестанты были в бараке, занимались своими делами. В праздник их на работу не гоняли.

В длинных и темных сенях, разделявших барак на две половины, одни арестанты, побрякивая железом, стирали в бадьях рубахи, другие вытряхивали вшей из одежды прямо в огонь, третьи на этом же огне пекли картошку. На голых, отшлифованных до блеска нарах сидели те, кто уже закончил свои дела. Резались в карты, слушали рассказы либо просто лежали на дубовых досках, безнадежно уставясь в черный, закопченный потолок. Порой сквозь приглушенный шум прорывались стоны больных, ругань картежников, да где-то в углу звучала тихая песня о Ермаке. Певцам аккомпанировал на роговом гребешке белокурый парень в красной рубахе. Над головами арестантов повисли клубы табачного дыма, и стоял спертый запах грязных тел, одежды и прокисшей вчерашней болтушки, объедки которой сливали тут же в ведро. Каторжане-мастеровые, сидя на своих нарах, шили сапоги, валяли валенки и мастерили на продажу еще какие-то нехитрые поделки.

Когда вошла в барак новая партия колодников, все каторжане побросали свою работу, игры и бросились к дверям. Они плотным кольцом окружили прибывших, загудели, заволновались. Вперед выбежал белокурый паренек в красной рубахе, тот, что играл на гребешке, и закричал:

— Эй, кто тут смоленские, давай ко мне!

Его перебил одноглазый арестант. Расставив руки, он во весь голос заорал с высоких нар:

— Тамбовские, полезай сюда, на верхотуру!

От печи подбежал кашевар с ухватами, тоже выкрикивая:

— Херсонская губерния, бери кипяток на всех!..

Из дальних углов все доносилось:

— А кто с Кубани?

— Саратовские, давай к нам!

— Полтавские, идите галушки есть!.. Для вас наварили...

— Эй, кто там из Воронежа? Отзовись!

— Нижний Новгород! Давай на ярмарку!..

На нары вскочил здоровенный узник и, подняв над головой руки, затряс кандалами, стараясь заглушить крик и шум. Железные кольца звонко загремели, гомон утих.

— Эй вы, коробейники! — крикнул он. — Молчать! Я не хочу отвечать за вас головой, когда прибежит офицер... Слышите, орлы? Сейчас же ступайте по своим местам. День долог, а ночь и того дольше, наговоритесь еще! Землякам расходиться тихо да не галдеть.

Арестанты сразу замолчали, засопели, громко закашляли. Кармалюк, вошедший одним из последних, даже на цыпочки приподнялся, чтобы получше разглядеть здоровенного узника, который так быстро угомонил разбушевавшихся людей. В его властном голосе, в грозной фигуре, возвышавшейся над головами каторжан, было что-то знакомое и родное. Кармалюк протер ладонью глаза, раздвинул локтями толпу и стал перед великаном, тяжело и возбужденно дыша. Сомнений уже не было — это был старый друг Устима Фома Гаврилов. Он искоса глянул на Устима, недоуменно поднял густые лохматые брови и спросил:

— Тебе чего?

Кармалюк бросил к его ногам котомку с сухарями, тихо ответил:

— Фома неверный... Скоро же ты своих побратимов забываешь... Теперь за святую правду можно и в штыки! Или, может, уже позабыл это, служивый?

— Мать пресвятая богородица! — тихо воскликнул Фома. — Неужто это ты, брат? А мне передавали, что ты в самом своем краю уж пошел на них в штыки... господ

добиваешь!... А оно, гляди, какое горе с тобой приключилось... Как же ты не уберегся?

— Продали,— глухо ответил Кармалюк.

— Кто продал?

— Шляхта паршивая, не свои,— пояснил атаман.

— Вот напасть... И надолго упекли? — спросил Фома.

Кармалюк подозрительно огляделся вокруг, потянул носом воздух, словно прислушиваясь к чему-то. Фома понял Устима. Он метнул взгляд на каторжан, уже сгрудившихся вокруг и прислушивающихся к их беседе.

И вдруг кто-то из толпы крикнул:

— Братцы! Да ведь это же наш Кармалюк!

— Погодите! Дайте подойти к нему!

— Неужто он?

— Он!

— Тише! Ничего не слышно!

Арестанты сбились вокруг Фомы и Устима, жадно впившись глазами в прибывшего. Радостный гул прокатился по толпе.

Кармалюк встал и низко поклонился арестантам на все стороны.

— Здравствуйте, братцы!

Толпа загудела в ответ:

— Здорово, Устим!

— Низко кланяемся тебе, атаман!

— Будь счастлив!

Арестанты и не думали расходиться.

— Чего сбежались? — бросил им Фома.— Не видите, что я земляка встретил? Принимайте гостей да язык держите на привязи! Ясно?

Каторжане, стоявшие поближе, тотчас молча отошли, почесывая в затылках. Фома усадил Кармалюка на свои нары, снял с него арестантскую свитку, подставил колодку, чтобы отдохнули ноги, закованные в кандалы, и присел рядом.

— Я у них старостой, вот и слушают,— пояснил он.

— Это хорошо,— похвалил Кармалюк.

— Что хорошего? — безнадежно махнул рукой Фома.— Начальство греет и в хвост и в гриву, на работу гонят вместе со всеми, хлеба дают ту же пайку... Только и радости, что они меня любят,— и Фома показал глазами на каторжан.

— Спрашиваешь, надолго ли меня упекли? — тихо спросил Кармалюк и, вздохнув, проговорил. — Навеки! Да это будет от тебя зависеть. Мне нельзя тут долго оставаться, больно уж велик пожар я у себя на Подолье разжег.

— Неужто все еще горит? — радостно спросил Фома.

— Горит, Фома, горит, так что небу жарко... Там у меня надежные молодцы остались... И среди них один такой, как и ты, служивый, только матрос, матрос из самого Петербурга... Бежал от расстрела на Сенатской площади... декабрист...

— Вот оно что! — мечтательно проговорил Гаврилов и, немного помолчав, прибавил: — Значит, надо тебя на земле где-нибудь пристроить. В шахту тебе уже нельзя идти. Ладно. Что-нибудь придумаем... За правду все можно. И в штыки, и на царя, и на подлог... Так я думаю...

— А начальство у вас прежнее? — спросил Кармалюк.

— Нет. Старых сменили, еще когда декабристов через Тобольск гнали. Всех сменили, так что тебя тут никто не знает... Не бойся... Мне, правда, всыпали за тебя соленых, но я на допросе ничего не сказал: кто знает, мол, куда он подевался из острога? «Я его принес на носилках, положил на нары, а куда он скрылся — не ведаю». Они так и не догадались, как ты бежал... Было тогда у меня хлопот!.. Едва выкрутился... Правда, они мне здорово подсобили, — Фома показал на арестантов, — горой за меня встали... «Не знаем, не ведаем, не слыхали», — вот и все...

Чувство глубокой благодарности засветилось в глазах Кармалюка, он нежно погладил по колену Фому. Гаврилова и, склонившись к его плечу, спросил:

— Скажи, Фома, а где мой паренек Тимко Гречка? Не потерялся ли у тебя часом?

— Нет, — весело ответил Фома. — Я его для тебя берегу... На винокурню спровадил... Может, и тебя удастся туда пристроить... Он весной домой собирается... Без оков ходит, — радостно подмигнул Гаврилов.

— Спасибо за дружбу... Ты мне теперь как брат родной... Вовек не забуду твоей открытой души... Внук родится — твоим именем назову... У меня сын женился, а я к нему на свадьбу так и не доехал...

Расскажи, брат, что-нибудь веселенькое, а то на душе так тяжело... — попросил Кармалюк.

— Не могу, Устим. Скоро опять придут.

— Кто?

— Царские посланцы. Вот увидишь. Уж третий день голову морочат, а не знают, будет толк или нет. Хитрые бестии. Потерпи до вечера, еще наговоримся, — пообещал Фома и, вскочив, побежал в дальний угол барака, где вспыхнула ссора и недалеко было уже до драки. Фома интуитивно почувствовал опасность, потому и побежал туда. Его басовитый голос прокатился по бараку, и каторжане притихли, пропуская старосту туда, где спорщики уже хватали друг друга за горло.

— Ведро воды! — загремел Фома. — Да студеной, с мороза.

— Атаман! — закричал парень в красной рубахе. — Он первый набросился на него. Я видел...

— Обоих — в сени! И водой на морозе с ног до головы. Марш! — приказал Фома и, спокойно раскурив трубку, прибавил: — Вы барина за горло берите, а не друг друга, орлы щипаные. Гости к нам прибыли, а они их так встречают, разбойники...

Забияк развели, схватили за плечи и под общий хохот начали подталкивать к сенным дверям. Но вдруг во дворе острога забили солдатские барабаны, труба заиграла сбор. Узники сразу замолкли, опустили головы, и Фома приказал:

— Отпустите их до вечера! А сейчас готовьтесь к встрече! Всем встать, как войдет царский посланец. Встать и слушать. Слушать и молчать! Ясно, братцы?

— Ясно, атаман! Ясно! — загудели со всех сторон.

Барабанная дробь приближалась, труба заливалась все громче, и вскоре в острог вошел царский посланец в сопровождении целой свиты телохранителей — тюремного начальства и чинов тобольских властей. Посреди барака поставили раскладной столик, накрыли его красным сукном и положили Евангелие и большой медный крест. К столику подошел царский посланец, плотный седоватый полковник в зеленом мундире, украшенном на рукавах и воротнике золотым шитьем, с крестом Владимира на шее. Старые каторжане выстроились в два ряда вдоль двухэтажных нар от двери до глухой стены, так же, как они это делали накануне. С ними в ряд стали вновь прибывшие колодники.

Фома Гаврилов весело оглядел свою тюремную команду и, довольный ее поведением, четко печатая шаг, подошел к полковнику, остановился за пять аршин от него и громко отрапортовал:

— Ваше высокоблагородие! В тюремном остроге его императорского величества в наличии состоит пятьсот сорок три арестанта. Кроме того с новой партней прибыло еще двести тридцать девять верноподданных его императорского величества. Все они, семьсот восемьдесят два каторжанина, как один, стоят перед вашим светлым взором. Сто двадцать лежат по причине тяжелой болезни и встать не могут. Артельный староста, отставной солдат его императорского величества Екатеринославского полка, третьей роты, Фома Гаврилов!

Кармалюк одобрительно смотрел на Фому и зачем-то мысленно повторял: «Екатеринославского полка! Екатеринославский полк! Екатеринославский полк!» Он словно навсегда хотел запомнить это название.

— Здравствуйте, братцы! — крикнул полковник.

— Здравия желаем, ваше-ство! — грохнули, как по команде, бывшие солдаты, за ними прогудели приветствие и все остальные арестанты.

Полковник откашлялся, вытер шелковым платком усы и тихим, надтреснутым голосом сказал:

— Дети мои, заблудшая паства! Именем его императорского величества еще раз заклинаю вас выйти из этой неволи на свет божий. Помазанник божий император всея Руси, его величество Николай Первый дарует вам свободу, если вы вернетесь в ряды доблестных воинов войска российского. Граф Аракчеев поселит вас с семьями в военных слободах, государство возьмет вас и детей ваших, обеспечит деньгами, харчами, одеждой. Вас тотчас раскуют, приговоры отменят, и вы снова будете свободными солдатами своего батюшки-царя... Кто хочет, пусть подойдет ко мне и примет присягу на кресте и Евангелии. Подходите, сыны мои!

Арестанты стояли как вкопанные, понуро опустив головы, как будто слова полковника были обращены не к ним. При одном воспоминании о солдатчине каждый из них втягивал голову в плечи, словно ждал удара и готовился к самозащите. Порой по толпе проносился легкий вздох да где-то тонко позвякивали кандалы.

— Подходите! Кто первый? — спросил полковник.

Толпа молчала, узники, тяжело дыша, исподлобья глядели на царского чиновника. Кармалюк стоял во втором ряду и видел, как у стоявших впереди сжимались кулаки и ходили набрякшие на скулах желваки. Ему даже казалось, что он слышит зубовой скрежет.

— Артельный староста! — обратился полковник к Фоме. — Покажи пример всем и подойди к святому Евангелию.

— Не могу, ваше высокоблагородие, — сухо ответил Фома.

— Почему, братец, не можешь? — удивился полковник.

— Я прежде должен искупить мой тяжкий грех перед богом. Я убил ротного штыком, — смело ответил Фома.

— Бог простит тебе этот тяжелый грех... Искупишь его в солдатах, — пояснил полковник.

— Совесть не позволяет... Царский суд меня покарал, — понуро отозвался Фома и переступил с ноги на ногу, звякнув кандалами.

Узники дружно закашляли, они были довольны поведением Гаврилова. В бараке нависла напряженная тишина, и Кармалюк услышал, как печально загудела от ветра глухая тайга и потрескивали от мороза в стенах кедровые бревна.

— Подходите, обездоленные! — Я жду вас, — нетерпеливо бросил полковник.

Толпа в серых арестантских кафтанах даже не шевельнулась. Ни один узник не поднял головы, даже не глянул на царского посланца, который нервно теребил усы и менялся в лице, то наливаясь кровью, то бледнея, как полотно. Сколько уже он объехал острогов, которой тысяче арестантов объявляет царскую волю, а добровольцев идти в солдаты все мало. Министр будет взбешен, услышав от него такой рапорт. Это наглый бунт, позор для заслуженного полковника. Нет, он этого так не оставит. Он покарает их именем царя, у него на то есть величайшие полномочия от министра.

— В последний раз спрашиваю: кто хочет идти в солдаты? — в бешенстве повторяет полковник.

Арестанты молчат, равнодушно посапывая, словно дремлют в строю.

Полковник выскакивает из-за столика на середину барака, трясет кулаками, злобно кричит:

— Я вчера приказал забрать у вас матрацы. На ночь у вас отберут и всю верхнюю одежду. Отныне будете спать на голых досках. Сегодня же я прикажу уменьшить хлебный паек. Подышайте с голоду! Завтра прикажу заковать вас по двое в одни кандалы! За непослушание на бунтарей будут надеты ошейники с шипами. В ошейнике не ляжешь на нары! Вас прикуют к тачкам и молотам навечно, как декабристов. Вы слышите, что я сказал, остолопы?

Арестанты молчали. Сзади кто-то громко зевнул, и это окончательно вывело полковника из равновесия.

— Это бунт?! — завизжал он. — Я вам завтра покажу, как не слушаться царского повеления, дармоеды!.. Даю срок до утра! Все!

Он пулей вылетел из барака. Вслед за ним двинулась и вся свита. Офицер сложил столик, взял Евангелие и медный крест.

Когда начальство скрылось за воротами острога, в бараке раздался дружный хохот, слышались громкие крики, оглушительный свист. Фома Гаврилов не останавливал людей, радость рвалась из наболевшей груди. Он сел рядом с Кармалюком на дубовую колоду и тихо сказал:

— Пусть и царю это станет ведомо. Пусть знает, подлюга, сколько растопленного сала залил он под солдатскую шкуру своими порядками. Видишь, колодники и те не хотят менять кандалы на солдатчину. Это что-нибудь да значит и для царя, будь он проклят!

— Конечно, значит. Богат он стал, царь-то наш, — заметил Кармалюк. — Где я ни проходил, всюду новые тюрьмы да остроги повыврастали. По всей России, по всей Сибири... Тюрьмы растут, стало быть, недовольных становится больше и больше. А скоро их станет столько, что никакой тюрьме не проглотить всех. Что тогда царь станет делать? Верно, подавится ими, ежели его самого люди...

— Дай боже нам с тобой дожить до этой поры. Дай боже, — перекрестился Фома и замолчал, верно, думая о своем, давно наболевшем и только ему одному ведомом.

Кармалюк раскурил трубку и, попыхивая дымком, неожиданно и задумчиво произнес: — Екатеринославский полк... Третья рота... Екатеринославский полк...

— Ты что, Устим? — спохватился Фома.

— Пустое, — улыбнулся Кармалюк. — Просто вспомнился полк, в котором ты за правду в штыки бросился...

— На что он тебе, этот полк? — удивился Фома.

— Пускай... Может, когда и сгодится... Чего на свете не бывает, — как-то загадочно подмигнул Кармалюк и обнял Фому Гаврилова.

Угрюмый и молчаливый Тимко Гречка сидел на развалинах отчего дома и безнадежно смотрел на безлюдную дорогу. Родной двор зарос бурьяном, повсюду торчали кусты колючего репейника. Над гибкими стебельками чертополоха сиротливо высились остатки разрушенной печи, кусок лемеха над припечком, а на нем следы синих цветов; их всегда перед праздником рисовала покойница мать. Вот и все, что осталось от его родимой хаты, пока он отбывал каторгу в Сибири. Барин разобрал хату, соседи растащили хлев и плетень, колодец обрушился сам, а несколько яблонь, верно, вымерзли либо высохли без присмотра. Вот и все владения засидевшегося в парнях Тимка Гречки. Сюда его прислала литинская полиция для постоянного пребывания под гласным надзором. Барина Тимко в имении не застал и теперь сидел на развалинах родной хаты, не зная, что делать, где приклонить буйную голову.

А как он рвался в эти края из Сибири, как спешил вместе с Кармалюком в родные Головчинцы! Дорогой они все обдумали и взвесили, счастливо обошли сотни сторожевых постов и застав, да под Нежином, уже на Украине, попались, и все пошло шиворот-навыворот. Устима Кармалюка снова погнали по этапу, и где он сейчас, этого, верно, и сам бог не ведает. Что ж теперь делать, где искать пристанища? Ну ладно. Барин скоро вернется с охоты, примет его казенную бумагу и снова пошлет Тимка Гречку к волам или на винокурню воду возить. Другой работы ему не дадут. А дальше что? Надругательства, плети, черное житье, не краше того, что было на каторге? Нет, верно, Тимко Гречка уже не годится барину в работники. Раз хлебнув воли, он не подставит голову под ярмо. И куда только этот Мирон

Волошка запропастился со своей ватагой, где Захар Блажкун?

Неужели они подались за Днестр, на молдавские земли? Не может этого быть. Господские усадьбы пылают каждую ночь — то возле Каменца, то в Немирове, а недавно прошел слух, что сгорел какой-то дворец под самым Житомиром. Тут дело не обошлось без кармалюковских молодцов. Они живы, бьются с помещиками, и Тимко Гречка любой ценой должен их найти. Он только покажется на глаза барину, засвидетельствует, что отбыл каторгу и вернулся в село. Хоть и под надзор полиции, но навсегда, а потом начнет расспрашивать людей, разыскивать свою ватагу. Там и будет его родной дом, его земля и хозяйство. Там, в ватаге, он найдет, что искал.

Тимко Гречка свободно расправляет плечи, вытягивает усталые, натертые ноги и тихо запекает свою любимую песню.

Жить мне горьким сиротиной:
Поле — сватом у меня.
Конь мой сивый — брат любимый,
Сабля, трубка — вся родня.

Головчинцы раскинулись в глубоком овраге над рекой, тихие, словно вымершие. На дороге ни одной души, во дворах пусто, все люди в поле, на барщине. Только вокруг господского дома снуют одинокие фигуры дворовых, режут волю у водопоя да пыхтит на холме новая винокурня. Все здесь точно так, как было шесть лет назад, когда Тимка вместе с Кармалюком посадили в тюрьму, а потом погнали в Сибирь на каторгу. Барщина, гайдуки, неволя... Волком взвоешь, Тимко, после того как столько повидал, идя по этапу в Сибирь и возвращаясь назад в родное село. Не свыкнешься больше с этой жизнью...

С горы в село спускается стройная круглолицая девушка. Она в чистой праздничной одежде. Клетчатая плахта до колен, из-под нее выглядывает белый, шитый серебром подол, рукава сорочки пестреют узорами. Толстая черная коса ниспадает с плеча на грудь, в нее вплетена голубая лента. В одной руке у девушки узелок, другой она поддерживает какую-то старуху. Вот чудо! Среди белого дня, когда все люди работают, девушка

разоделась, словно на праздник, и спокойно направляется к кому-то в гости. Что за притча?

Тимко Гречка не выдержал, поднялся с трухлявой колоды, вышел на дорогу и остановился под раскидистой вербой, что росла у въезда в село. Девушка и старуха приближались, молча ступая босыми ногами по пыльной дороге. Девушка была красивая. На смуглом, краснощеком лице, под густыми, но тонкими и черными, как ласточкино крыло бровями, горели большие карие глаза. Нитка красных бус поблескивала на тонкой белой девичьей шее. Тимко Гречка одернул свою заплатанную рубаху из домотканого небеленого полотна, сбил набок картуз с треснутым козырьком. Теперь он узнал дворовую Ханенко, застенчивую и ласковую Оришку. Она почему-то вела за руку бабушку Горпину.

Шли они долго, издалека. В пути хлестали их дожди и ветры, в степи палило солнце и пыль покрывала старенькую, латаную одежонку. Но перед родным селом Оришка умылась в речке, причесалась и надела самый лучший свой девичий наряд. То, что берегла на свадьбу. Она хотела придти в родное село после долгой разлуки чистой и неузнаваемой.

— Здорово, Оришка! — радостно приветствовал ее Тимко.

— Ой, кто это? — восторженно воскликнула девушка.

— Свят, свят! — перекрестила ее бабушка Горпина и, вытянув навстречу Тимку худую жилистую шею, остановилась.

— Не узнаешь меня, Оришка? — спросил парень подходя поближе.

— Нет, — растерянно отвечала Оришка.

— Ого! Значит, богатый буду, — засмеялся Тимко.

— А кто ж ты? — Оришка удивленно подняла брови.

— Вот тебе и на! — воскликнул парень. — Да я же Тимко, круглый сирота... Помнишь, как винокурня господская горела и меня ловили?.. А вот тут и хата наша стояла, а нынче одни развалины да лебеда растет...

— Ой, как же ты вырос, Тимко! Где ж тебя узнать? Настоящий казак, — похвалила Оришка, всплеснув руками.

— Я с каторги вернулся, из Сибири, — гордо проговорил парень и провел рукой по густым черным усикам над верхней губой.

— А мы из царской столицы, — в тон ему ответила

Оришка и, немного помолчав, прибавила: — Из самого Петербурга.

— Из Петербурга, говоришь? — недоверчиво переспросил Тимко.

— Из самого Петербурга, — повторила Оришка и горько вздохнула, пристально вглядываясь в паренька.

— Ого! — воскликнул он и, почесав в затылке, вдруг спросил: — А как там царь поживает?

Горпина отпустила Оришкину руку и, вытянув вперед ладони, осторожно нащупывая ногами дорогу, пошла на голос Тимка. Голова ее была высоко поднята, из-под очипка выбилась прядь седых волос, а глаза были неподвижны и смотрели куда-то в небо. Вот ее пальцы коснулись Тимка, пробежали по его плечам, и старуха сухо ответила вместо Оришки:

— Царь — царствует, барин — барствует. Так и живут...

Тимко испуганно посмотрел на Оришку, не понимая, что случилось с Горпиной, и девушка тихо пояснила, показав глазами на бабуку.

— Ослепла она там, в Петербурге.

— Вот горюшко! Как же так, бабуся? — растерянно проговорил Тимко и снял картуз.

— Бог его знает, — едва слышно пробормотала Горпина и простерла руки к Оришке. — Веди, дочка, не краем дороги и рассказывай мне, где новая хата стоит, кого из людей встретим... К самой усадьбе веди, мимо корчмы...

— И я пойду с вами, — сказал Тимко.

— Пойдем, сынок, нам веселее будет, — радушно проговорила Горпина и перекрестилась, входя в родное село.

Оришка вела старуху за руку, Тимко шел рядом с девушкой. Они уже приближались к середине села.

— Мы гобелены молодой графине в Петербурге ткали. Ну, а в гобелене нитка очень тонкая, как паутина. Не то что в коврах... В подвале темно даже днем, а граф свечей давал очень мало... Вот она и начала слепнуть... Сначала перед глазами словно мак просевали, потом туман какой-то поплыл, а потом и совсем видеть перестала... Мы эти гобелены день и ночь ткали... Уж молодая графиня давно замуж вышла, а мы все ткали... Граф Морков их продавал... Очень дорого они за морем ценились.



Горпина остановилась посреди дороги, перевела дух и, коснувшись Тимкиного плеча, сказала:

— Начала я слепнуть с того дня, как людей стреляли на площади в Петербурге. Я все видела, но тогда уж какие-то мошки перед глазами у меня закружились... Словно сквозь решето на свет божий смотрела... Люди в крови корчатся, и снег весь красный от крови...

— Так, выходит, вас барин продал графу Моркову? — спросил Тимко.

— Нет, выменял на вертеп, — равнодушно сказала Оришка.

— Ох, доиграется он! — заметил Тимко.

— Кто, сынок? — спросила Горпина.

— Да кто, как не барин? И барин, и граф, и все они доиграются... Вот только Кармалюк вернется... А может, и без него отплатим за все, — парень топнул ногой и замолчал.

— Оришка! — позвала старуха. — Что же ты мне не рассказываешь, где мы идем, что в селе видать. Говори, доченька...

— А что, бабушка, рассказывать?... Хаты все старые, новых не видать... Вон хата Марии Кармалюк, а хлева не стало, должно, разобрали... Тын повалился, а тополь растет... За ними двор Опанаса... да и дальше все как было... Корчма, холодная, церковь, усадьба... Вот и все.

— А чьи это голоса слышны? Вроде много людей по селу идет? — насторожилась Горпина, вытягивая вперед голову.

— Это в имение на работу народ сгоняют, — пояснил Тимко, заметив на плотине толпу крестьян.

— Веди меня, Оришка, к людям, — и старуха принялась застегивать кофту на впалой груди.

Люди уже заметили бабку с Оришкой, бросились к ним, загудели, заволновались, и скоро у корчмы, где остановилась Горпина, собралась толпа народа. Было слышно, как всхлипывали женщины, как кто-то громко вздыхал; все сочувствовали Горпине. Куда она теперь денется, слепая, верно, не примут ее обратно на господский двор? У нее ни роду, ни плоду. Была одна дочка, да и ту барин в Варшаву продал.

— Барин должен кормить ее до смерти! — крикнул кто-то в толпе.

— На господской работе глаза потеряла! — поддержал Тимко Гречка. — Пусть барин и заплатит за все.

— Где уж там! У нашего барины снега на рождество не выпросишь...

Горпина всякий раз поворачивала голову в ту сторону, откуда доносился голос, и, болезненно наморщив лоб, напряженно вслушивалась в каждое слово. Когда шум немного поутих, она вытянула вперед руки, словно искала кого-то в толпе, и медленно заговорила:

— Люди добрые! С чего это вы так горюете? Я теперь ведь больше не крепостная... Мне граф Морков вольную дал, отпустил меня домой, на Украинну. Ослепла я, вот и не нужна. А вольную кто возьмет? На барщину я не пойду, у меня бумага есть... Теперь Горпина вольна умирать, где хочет. Вот как, добрые люди...

Горпина вынула из-за пазухи платок, а из него гербовую бумагу с двуглавым орлом и высоко, чтобы все видели, подняла ее над седой головой. Старуха медленно поворачивалась во все стороны, помахивая бумагой в воздухе. Толпа притихла, насторожилась, со страхом глядя на костлявую руку старухи, в которой сухо шелестела отпускная грамота с царским орлом. В толпе, как всегда неожиданно, появился бандурист Диброва и стал проталкиваться вперед, приложив ладонь к уху.

— Пойдем ко мне жить, Горпина! — крикнула какая-то женщина.

Горпина прислушалась к ее голосу и, не узнав его, спросила:

— Чья же ты будешь, молодница?

— Я жена Мирона Волошки. Его нет, в бегах он, вот мы и будем вдвоем жить, — сказала женщина.

И тогда со всех сторон загудели:

— Ко мне идите, бабушка!

— Прошу в мою хату!

— К нам приходите. Как-нибудь перебьемся... Где три рта, там и четвертый прокормится...

Горпина растерянно поворачивала голову во все стороны, и по ее морщинистому лицу катились горячие слезы.

Оришка вынула из узелка белый платок, подала старухе, и пока Горпина отирала слезы, девушка сказала, обращаясь к людям:

— Граф ее не выгонял, когда она ослепла, но житья ей там уже не было. Горпина все к царю порывалась

идти. За правдой... Один раз ее жандармы возле самого царского дворца поймали и к нам привели... Ну, конечно, граф не стерпел такого. Дал вольную и приказал мне отвести слепую на Украину... Вот я и привела. Одежда бабушкина, свитка и то, что на смерть приготовлено, лежит в графской эконо́мии. Я после принесу.— Оришка как-то виновато взглянула на людей и прибавила: — А я, люди, к вам больше не вернусь. Продана графу навечно.

— Ой, боже мой! — вскрикнула какая-то женщина.

Тимко стиснул зубы и отвернулся, чтобы не слышать людского плача, не видеть слепой старухи и печальной Оришки. Он прислонился плечом к крыльцу корчмы и замер в нерешительности, крепко закрыв глаза. Его вывел из задумчивости старый Диброва. Он тихо, чтобы никто не видел и не слышал, сказал парню на ухо:

— Чего ты тут торчишь? Ступай к хате лесника в Хорошевский лес. Там тебя ждут.

— Кто? — встрепенулся Тимко.

— Мирон Волошка.

— Спасибо вам, дедушка, — шепнул парень и, еще немного постояв среди людей, незаметно выскользнул из толпы, огородами пробрался на луг, а затем уже в лес.

Как только он очутился под сенью ветвистых деревьев, сердце его забилося часто и ликующе, дышать стало легче, и на душе такая радость, словно он вновь на свет родился. Осень щедро укрыла дубовой листвой засохшие травы и пушистый мох на пригорках. Пожелтевшие листья осыпались с нижних ветвей, а вершины коренастых дубов еще шелестели на ветру зелеными, как рута, упругими листьями. Осень вступала в Хорошевский лес медленно, неторопливым, но твердым шагом. Меж оголенными кустами орешника, словно жар, полыхал спелый шиповник, тихо дребезжа ржавою листвой. Под ногами расстился пушистый ковер из травы и листьев. Ступать по нему было приятно, а из-под ног то и дело выскакивали тугие, словно литые желуди. Тимко Гречка зачарованно глядел на осенний лес, и ему казалось, что он снова очутился в глухой сибирской тайге. Тут были такие же темные и душистые листья, на которых можно печь хлеб, подостлав их на лопату вместо отрубей. Вспомнив о хлебе, Тимко почувал щемящую боль в животе и невольно проглотил слюну. С самого

утра у парня во рту маковой росинки не было. О, если б это была тайга! Он бы насобирал кедровых орехов. Поджарить их на огне, и они вполне могут заменить голодному хлеб. Тимко Гречка знает тайгу. Каторга приучила его прислушиваться к таинственному и зловещему шепоту чащ, распознавать повадки тайги, находить ее богатства. Кто знает, сколько верст прошагал Тимко вместе с Кармалюком, пока не выбрался сперва к Волге, а оттуда, обходя Москву, на южный Чумацкий тракт.

Что гнало на Украину простого дворового, который вместе со всеми не захотел носить воду на барскую винокурню и за это был сослан в Сибирь? Что влекло его сюда? Земля, родная хата, жена, дети? Да ведь у него ни кола, ни двора, а жена еще будет ли? Но Тимко не грустит, ему радостно брести по этому лесу, сбивая ногами сухой мох. Перед ним снова встает светлый образ Устима Кармалюка, и парень озирается вокруг. Может, Кармалюк опередил его и уже прячется в этой чаще? О, если бы так! Тогда, верно, и в Сибири повеселели бы, все, кто знал атамана или слышал о нем. Каторжане всегда так говорили о Кармалюке, словно он был сродни им. Они гордились его отвагой, силой, слагали о нем легенды, пели песни и, наконец, помогали ему бежать. А вот Тимко Гречка не сумел уберечь его... уже тут, на Украине, у самого Днепра... Что он сейчас скажет в лесной сторожке Мирону Волошке и всем побратимам в ватаге?..

Но в сторожку Тимка не пустили. Караульные встретили его еще на болоте и провели в глубокую пещеру, где у огня сидели Захар Блажкун, Мирон Волошка, Иван Дроздов. Тимко низко поклонился им и стал в сторонке, опустив голову.

— Садись,— сказал Мирон.— Садись и рассказывай, как все было... Говори всю правду, как ты мог допустить такое...

Тимко оглянулся, чтобы убедиться, что здесь нет посторонних, но вокруг никого не было, даже стража, что привела его сюда, куда-то исчезла. Парень присел к костру и тихо заговорил:

— Атамана пригнали в Тобольск, когда мой срок кончался. Работал я на винокурне. Ну, а в тюремном остроге старостой у арестантов был все тот же Фома Гаврилов. Вы же его знаете, дядька Мирон?

— Знаю. Хороший человек.

— Он и помог атаману перейти на винокурню. Тут мы и встретились. Атаман мне и виду не велел подавать, что я его знаю. Чтоб говорил всем, будто я его не знаю и никогда не видал. Так я и делал, выполнял все, что мне было велено. Я уже тогда без кандалов ходил, был совсем вольный. Атаман с первого дня так взялся за работу, что я диву дался... Словно это его винокурня была, а не господская... Всюду вмешивался, все делал, чтоб работа дружнее шла... Арестанты слушались атамана, выбрали его на винокурне артельным старостой... Хозяин сразу это заметил и приказал расковать атамана... В тот же вечер атаман и сказал мне: «Видишь, Тимко, как надо делать? Тут господ силой не возьмешь, на каторге они сильнее, мы-то в цепях. Стало быть, надо брать их лаской да покорностью, заслужить доверие... Вот и вышло по-моему. Сами расковали...

— Вот характер! Сразу видать Кармалюка,— сказал Иван Дроздов, и в глазах его вспыхнули огоньки.

— Без кандалов он еще крепче за работу взялся... Просто не узнать атамана... Я уже к тому времени отбыл свой срок, получил на руки подорожную и собрался домой. Атаман велел мне подождать и уходить из винокурни после того, как он бежит. Мы условились встретиться в лесной сторожке у тракта, что ведет до самого океана.

— Почему на Иркутск, на океан? — спросил Дроздов.

— А чтобы полицию сбить, когда она кинется за атаманом. Они пустятся на запад, по дорогам, что ведут в Россию. А он спокойно пойдет на восток, к океану... Мне путь везде открыт, у меня подорожная по всей форме, а он — следом за мной... Мне велено было приходить на место первым и, ежели там безопасно, подавать атаману знак. А коли кто спросит, почему не той дорогой на Украину иду, атаман научил меня отвечать, что, мол, хочу на океан выйти, там на корабль наняться и добираться домой морем через город Одессу. Так я и говорил на всех заставах... И мы шли на восток...

— Вот голова! Что хочешь придумает! — восхищенно хлопнул себя по колену Захар Блажкун и придвинулся ближе к рассказчику.

— А ведь неграмотный,— заметил Иван.

— Да уж! Не обучен, а учен! — прибавил Мирон Волошка, весело покачав головой. — Говори, парень, рассказывай.

— И долго вы так шли? — спросил Дроздов.

— Долго — пока не набрали на декабристов... Очень уж хотел атаман с ними поговорить... Так хотел, что даже сны ему такие снились... Ну, нашли мы их, они лес рубили, а подступиться к ним боязно. Тогда атаман напек картошки и, как они отдохнуть присели, давай угощать... Разговорился с одним о том, о сем...

— А как его звали-то, с кем атаман разговаривал? — вскочил с места Дроздов.

— Запомятовал, — ответил Тимко и продолжил: — Как атаман открылся ему, кто он таков, у того даже слезы на глазах выступили, и он начал говорить о земле, о воле для крепостных. И все о патронах поминал, которые они позабыли солдатам раздать, а потом про артиллерию, которую не захватили... Он крестик атаману подарил, а Кармалюк сказал ему на прощанье: «Эх, барин, барин! Разве так можно? Для нас хотели добро сделать, а вышло как-то шито-крыто».

— Так и сказал Кармалюк? — Иван Дроздов вскочил и впился в парня горящими глазами.

— Так и сказал, — подтвердил Тимко.

— А декабрист что на это?

— Заплакал и ничего не ответил. Видно, правду ему говорил атаман. После того повернули мы назад и пристали к большому купеческому обозу. Везли купцы заморский товар с кораблей до самой Волги. Атамана купцы взяли под крыло, а у меня бумага была... К тому времени на этапах начали забывать о Кармалюке, и на заставах нас ни разу никто ни о чем не спрашивал... С Волги двинулись мы на Украину...

— Ты расскажи, через какие города шли. По порядку. Или, может, забыл? — спросил Иван.

— Нет, не забыл, — ответил Тимко и попросил: — Вы только не перебивайте, я все назову. Проходили мы через Камышлов, Екатеринбург, Омск. Это все Пермская губерния. Потом на Казань, Чебоксары, Васильсурск, Нижний Новгород. Отсюда купцы повезли свой товар по Волге, а мы пошли на Горбатов, Гороховец, Вязники, Ковров, Владимир, Богородск, Покровск. Москву обошли стороной и вышли на Калугу и Козельск. Сел и хуторов я не помню, их мы сотнями проходили.

В Орловской губернии шли через Болхов, Орел, Кромы, Дмитровск, Севск и вошли на Украину, в Черниговскую губернию... Через города Глухов, Кролевец и Борзну и прибыли в Нежине. А в Нежине и свалилась на нашу голову беда... Облава была в лесу, далеко от города, и мы не заметили ее. Связали нас — и в острог. Утром давай допрашивать. Подступились к атаману, а у него «письменного вида» нет. Кто таков, откуда и куда? Он назвался Павлом Богдановым, беглым рекрутом из Екатеринославской губернии, третья рота Екатеринославского полка... Вот его и погнали туда этапом в кандалах. Меня отпустили, и я три дня слонялся вокруг острога в Нежине, ждал, пока атамана поведут. Их повели на четвертый день, и я пошел следом. Шел за ними до Василькова, а там Кармалюк приказал мне возвращаться домой... Я заплакал и пошел. Вот как все было...

— Боже мой! — вздохнул Иван. — Теперь мне все ясно.

— Что тебе ясно? — понуро спросил Захар.

— Пригнали его в Екатеринослав, привели в третью роту, а там не опознали такого... Значит, за обман снова судили и отправили в солдаты еще дальше, — пояснил Дроздов.

— Да он, верно, бежал с дороги! — возразил Волошка.

— Ой, нет, Мирон... Тогда он давно бы уж тут был, — печально покачал головой Дроздов, раскуривая трубку. — Придется снова посылать в Литин, к Матвию Барабашу... Не хотелось его беспокоить так часто, чтобы не заподозрили человека, а надо... Матвий уже должен знать из полицейских бумаг, где теперь атаман.

— Что ж, раз надо, я снова пойду, встречу с ним, — спокойно проговорил Волошка, подымаясь со старого дубового пня.

— Счастливо! — пожелал Иван Дроздов.

Канцелярист нижнего земского суда Матвий Барабаш, ошеломленный делом Кармалюка, которое не закончилось даже после его осуждения, вновь искал связи с кармалюковскими молодцами. Полиция проводила по

селах и хуторам повальные обыски, управители экономий и богатая шляхта строчили тайные доносы на соучастников атамана, и в тюрьму каждый день приводили все новых и новых арестантов.

Барабаш сидел на допросах, переписывал бесконечные протоколы, по ночам слышал, как кричали под пытками арестованные, и ему становилось жутко. Он потерял покой и сон, похудел, ослабел. Стоило открыть сундук народного горя и слез и перечитать новые дела, и Барабашу казалось, что он теряет рассудок. Из каждого дела явствовало, что подсудимый невиновен, что совершенное злодеяние только приписывают ему, что земский исправник Улович нарочито пытается и сажает в тюрьмы крепостных лишь для того, чтобы выслужиться перед губернатором и таким путем добыть себе новые усадьбы и земли. Своих крепостных он тиранит у себя в имении, чужих пытается в уездной тюрьме. Скоро он прикажет привести в тюрьму и старого отца Матвия, свяжет руки его седой матери, бросит их в холодный каменный подвал, где по ночам пытаются узников. Он способен заставить Матвия присутствовать на допросе, писать протокол на родного отца.

Нет, Барабаш не вынесет этого! Он хорошо помнит, в какой семье появился на свет, из какого круга вышел и с кем ему по пути в жизни. Нет, он не предаст своих людей, лучше поплатится жизнью, но предателем не станет. Надо что-то делать, надо спасти этих несчастных, на которых, что ни день, растут горы криминальных дел. Но как? К кому обратиться, кому рассказать?

По ночам ему снова снились страшные сны: осужденные и наказанные люди протягивали к его горлу худые руки, гремя кандалами, и тащили его с собой в холодную могилу, костлявая смерть громко хохотала у его изголовья, замахиваясь острой косой. Барабаш просыпался среди ночи в холодном поту, зажигал свечу и долго смотрел в одну точку мутным, неподвижным взглядом. Перед ним стоял кованый сундук, на столе лежали недописанные бумаги, сквозь зарешеченное окно доносилась перекличка тюремной стражи: «Слу-у-ша-ай!» Иногда его будил отчаянный крик, долетавший из подвала. Там снова пытали узников. В такие минуты Матвий готов был поджечь сундук с бумагами, шкафы, стол,— все, что находилось в канцелярии. Пусть сгорит, чтобы и следа не осталось для потомков.

Но за дверью в коридоре покашливал солдат инвалидной команды, приставленный сторожить кованый сундук с бумагами, а вместе с ним и его, Матвия Барабаша.

Что тут поделаешь? Как помочь этим обездоленным рабам? Отравить исправника Уловича?... Нет. На его место назначат нового, еще похуже... Ошибиться в протоколе? Найдут ошибку и загонят в Сибирь. А что, если завести близкое знакомство с молодцами Кармалюка? Ведь они роднее Матвию, чем исправник Улович. Они думают так же, как и он, Барабаш. Только они выполняют задуманное, а он лишь вздыхает...

Так разговаривает сам с собой Матвий Барабаш, который наконец достиг своего — установил связь с повстанцами. Читая судебные документы, он догадался, что многое связано со старым бандуристом Дибровой, и однажды, встретив деда на ярмарке, шепнул ему о близкой полицейской облаве, точно указав, где и когда она должна быть. Бандурист предупредил повстанцев, и намерения полиции были сорваны. Через несколько дней старый Диброва, встретив на улице в Литине канцеляриста, низко поклонился ему и протянул руку, словно просил милостыню.

— Спасибо тебе, барин, приходи в корчму на базар.

— В какую именно? — спросил Матвий, бросая в руку старика медяк.

— В ту, что на конном базаре, где барышники сидят.

В тот вечер канцелярист впервые встретился с Миром Волошкой. Выдав Мирона за своего дальнего родственника, Матвий угощал его на свои деньги, внимательно и с опаской разглядывал, словно не верил, что этот неказистый бродяга и есть посланец из ватаги Кармалюка. С того времени канцелярист повеселел, оправился, его уже не мучили по ночам страшные сны, в какой-то мере он уже стал искупать свою вину перед крепостными.

Он теперь трудился весело, шутил с писарями и даже иногда пел, запершись у себя в комнате с зарешеченным окном. Сведения, которые он передавал повстанцам, очень помогали им. Иван Дроздов был высокого мнения о Барабаше. Вот и сегодня канцеляристу передали, что его ждут в корчме, где сидят барышники.

Отодвинув тяжелую штору на зарешеченном окне, Матвий сидел за столом, перечитывая еще раз обе бу-

маги, касающиеся Устима Кармалюка. Копии этих бумаг прислал в Литин сам губернатор. Матвий проверял себя, хорошо ли он выучил бумаги на память, чтобы слово в слово передать их повстанцам. Он шептал про себя сухие канцелярские обороты.

В первой бумаге было написано: «Комиссия военного суда Екатеринославского внутреннего батальона Литинский нижний суд уведомила, что преступник Кармалюк в одной комиссии под судом не состоял, а был под следствием Павел; не Богданюк, а Богданов, а по снятию показания был наказан перед разводом палками, 100, который в числе подобных отправлен в резервную дивизию, 2-й корпус, в гор. Боровичи, Новгородскую губернию, Медведовскую волость, в Архангелгородский полк».

Отложив этот документ, Матвий прочитал донесение на память и тихо захлопал в ладони. Bravo! Как все хорошо складывается! Нежинский канцелярист перепутал выдуманную Кармалюком фамилию, и это спасло атамана. Его не привели из Екатеринослава в Литин. Сегодня у Матвия богатый улов, есть что порассказать Мирону. Он раскрывает вторую бумагу и тоже заучивает ее наизусть:

В ней говорилось: «Согласно предписания ко мне командующего резервной дивизией 2-го пехотного корпуса г. полковника и кавалера Макарова от 12-го числа сего июля за № 437-м сим оный суд уведомляю, что действительно состоял на службе в резервном батальоне Архангелгородского пехотного полка определенный из преступников в прошлом 1829 году, июля 21-го числа, Павел Богданов и учинил побег 14 августа того же года вместе с рекрутом Иваном Гайдою; который был пойман, но в батальон и до сего времени не доставлен, где же находится неизвестно. Павел Богданов бежал и унес казенную шинель, имея, вероятно, намерение пробраться через границу в Австрию».

Матвий прячет бумаги в сундук, прибирает на столе и приводит себя в порядок перед большим осколком разбитого зеркала. Старательно выдавливая угри на подбородке, припудривает эти места, причесывается, слегка смазав волосы маслом, какает на мундир душистой эссенции, чтобы заглушить запах дегтя и махорки. Сапоги блестят, картуз вычищен. Матвий еще раз оглядывает себя перед зеркалом. Сквозь окно доносится

неясный гул базарной площади, покрикивают на волов погонщики, они везут на ярмарку арбы с глиняной посудой, полотном, шерстью, арбузами, луком. Пастухи гонят на продажу отары господских овец, барышники ведут лошадей, волов, надо всем этим раздается стрекот охрипшей шарманки. Сегодня воскресенье, в церквах уже звонят к «достойно». Скоро закончится служба и откроется большая праздничная уездная ярмарка. На базаре снова появится бандурист Диброва, распевая то духовные псалмы о святом Лазаре, то печальную думу о Морозенке. Люди станут делиться с ним, кто чем может, а он будет тихо и незаметно делать свое дело, выполняя наказ Мирона Волошки. Хорошо, что таких, как Диброва, нет и, верно, никогда не будет на службе у тайной полиции. Там все люди знатные, присланные из Варшавы или из самого Петербурга. Их сразу можно узнать...

На крыльце звучат чьи-то быстрые шаги, гремит дверь, ведущая в сени, и, всполошив сонного караульного, в комнату Матвия Барабаша врывается дежурный канцелярист земского исправника.

Чиновник запыхался, волосы у него растрепались и вообще он походит на перепуганного шляхтича, которого собаками травили.

— Какой тебя леший калечит? — смеется Матвий Барабаш.

— Во-во! Калечит, говоришь? — выпаливает запыхавшийся канцелярист. — Беги немедленно к исправнику. Кармалюка привезли уже! Вот что!

— погоди! Что ты сказал? — бросается к нему Матвий, но канцелярист только тряхнул волосами и, хлопнув дверью, помчался дальше с этой страшной и неожиданной новостью.

Сосновые доски пола словно закачались под ногами Матвия Барабаша. За окном поплыл туман, и Матвий увидел в зеркале свое побледневшее, перекошенное лицо.

Шли и ехали люди на ярмарку, но он, казалось, не замечал их, спеша к канцелярии земского исправника Уловича. В садах красовались крупные румяные яблоки, отягченные плодами ветви свешивались через заборы, но Матвий Барабаш не видел их. Из костела шли местные шляхтянки. Они окидывали канцеляриста жаркими

взглядами, но он на сей раз не обращал и на них никакого внимания. Поднимая пыль, он перебежал широкую площадь, задержался на высоких каменных ступеньках, чтобы перевести дух, и медленно вошел в приемную исправника. Неужели Кармалюк снова попал в лапы полиции? Что за напасть! Кто ж его предал и выдал? Надо ему, Матвию Барабашу, любой ценой найти предателя и немедленно сегодня же уведомить об этом повстанцев. Надо все разведать, обо всем дознаться, раз такая беда снова свалилась на их головы.

В приемной на стоячей изогнутой вешалке висят штатские плащи, широкополые господские шляпы из рисовой соломки, суконные конфедератки с длинными большими козырьками, большие мужские зонты с массивными костяными ручками. Значит, исправник не один. Видно, у него на приеме местные помещики и шляхта. Этого еще никогда не бывало, чтобы в воскресенье с утра они собирались в канцелярии. Верно, дела серьезные и не терпящие отлагательства.

— Он ждет вас. Проходите,— поднимается из-за стола полицейский и указывает Матвию на высокую резную дверь, откуда несутся возбужденные веселые голоса.

— Что случилось? — остановился перед дверью Барабаш.

— Не ведаю,— уклонился от ответа полицейский, опустив глаза.

Матвий смело стучит в дверь и, услышав разрешение Уловича, входит в кабинет.

Он низко кланяется исправнику и останавливается в дверях. У стены в глубоком кожаном кресле, довольно покручивая усы, развалился помещик Ханенко, рядом с ним покачивается на длинных кривых ногах Тадей Заремба. У окна остановился капитан в отставке пан Янчевский; синяя венгерка плотно облегает его фигуру, на ногах лакированные сапоги, с блестящими шпорами. За широким столом, под портретом Николая Первого в бронзовой раме, стоит исправник Улович, положив пухлую руку на грудь.

— Подойди,— приказывает исправник.

И Матвий Барабаш чеканным шагом ступает по блестящему, скользкому паркету, искоса поглядывая на родовитую шляхту и дворян. Они равнодушно и свысока

смотрят на него. Ханенко зевает. Тадей Заремба рассматривает свои покрытые лаком розовые ногти, капитан Янчевский легонько позвякивает шпорой.

— Господа,— обращается к ним Улович.— Мой канцелярист был на всех допросах и хорошо знает его в лицо. Проверим себя еще раз.

Гости в знак согласия одобрительно кивают головами.

Исправник отдергивает зеленую шелковую штору, закрывавшую нишу, и глазам присутствующих открывается писанный маслом портрет в раме из палисандрового дерева.

— Узнай его и засвидетельствуй,— приказывает Улович.

Матвий Барабаш подымается на цыпочки, прижимает к груди фуражку и, затаив дыхание, смотрит на прекрасный портрет. Матвию тяжело, он не имеет права даже вскрикнуть от неожиданности, не может выдать и малейшей доли своего волнения. На него смотрят блестящие глубокие глаза, в которых светится небесная голубизна. Голова, стриженная в скобку и высоко подбритая на висках, гордо и величественно повернута вправо. Рыжая свитка с отложным воротом лежит на крутых плечах. Под нею белая вышитая рубаша, воротник под самой шеей подвязан косоплеткой. Он! Кармалюк!... Господи!...

— Ну? Кто это? — наступает на Матвия исправник.

— Не знаю.— Матвий удивленно разводит руками.

— Что ты сказал? — Улович покраснел и топнул ногой.

Пан Янчевский порывисто повернулся от окна, звякнув блестящими шпорами. Ханенко заерзал в кресле и застыл от неожиданности.

Матвий Барабаш еще ближе подошел к портрету, словно хотел вдохнуть крепкий запах масляной краски, потом отступил и тихо, смиренно повторил:

— Не знаю...

Господа молча переглянулись.

Улович закусил нижнюю губу, чтобы скрыть свою злость, и благодушно спросил:

— А ты, случаем, не пьян, Матвий?

— Что вы! Как можно? На такой службе, да еще в светлое воскресенье! Это ведь грех.

— Молодец! — Улович хлопнул его по плечу и под-

мигнул Ханенко. Тот утвердительно кивнул лысой головой.

— Разве ты не видел этого человека на допросах? Присмотрись получше, — настаивает исправник, подталкивая Матвня к глубокой нише, в которой стоит портрет.

Кармалюк глядит с портрета как живой, чуть отвернув высоко поднятую голову. Русые волосы по-подольски подстрижены в скобку, и даже видно, как они подбриты у висков. Усы спускаются к крутому подбородку, брови густые, лохматые.

Матвий узнает и его порыжевшую, со скошенным воротом свитку, в которой атаман сидел в тюрьме, бывал на допросах. В ней же его повели закованного в Каменец. Белая вышитая сорочка завязана у ворота шнурком. Боже мой! Где же они взяли этот портрет? Это же ужасно! Ведь художник графа Моркова, тот, что писал Кармалюка в тюрьме, давно уехал в столицу и должен был бы взять картину с собой. Что же теперь будет? Этот портрет — находка для полиции. . .

— Ну, кто это? — нетерпеливо спрашивает Улович.

— Что-то не припомню, ваше высокоблагородие. — Матвий удивленно пожимает плечами, испуганно хлопая глазами, словно ожидая за такую дерзость удара по голове.

Но исправник не ударил его, даже не накричал, а неожиданно расхохотался.

— Вот так судебный писарь! Вот так герой! Кармалюка не узнает! Слышали вы что-либо подобное, господа?

Матвий съежился, прищурил глаза и снова потянулся к портрету. Нет, дальше играть с огнем нельзя. Еще один отрицательный ответ, и все пропало. Достаточно. Сомнение заронено! Матвий сделал все, что было в его силах.

— Ну, чего ж ты молчишь? — наседает на него исправник.

Барабаш насилу отрывает взгляд от портрета и, утвердительно кивнув головой, говорит:

— Он, Кармалюк!

— Bravo! . . . — восклицает Тадей Заремба, хлопая в ладоши. — Теперь он уже не выкрутится. Не станет закипать. Я его сразу узнал. . . Тут ошибки быть не может. . .

— Где же вы раздобыли его, господин Улович? — спрашивает Ханенко.

— Ого! Моя полиция не спит. Покойный граф Морков дал адрес владельца, и я дошел по этому следу до Варшавы... Сам наместник императора приказал прислать его нам, — говорит исправник, барабанив пальцами по массивной палисандровой раме.

— А он талантливый, черт его побери, этот Тропинин! Говорят, его уже в академики избрали, — замечает Янчевский. — А был такой скромняга, все иконы писал, кареты графу Моркову расписывал, ограды.

— Почему скромняга? — возражает Ханенко. — Его иконостас в Кукавке и в моей церкви — просто шедевр... Его иконы, которые он писал даже мужикам, до сих пор стоят у них в хатах... Нет, господа, он талант...

Матвий Барабаш переступает с ноги на ногу и никак не может отвести глаз от портрета.

— А теперь ступай, — приказывает Улович, и канцелярист, опустив голову, медленно выходит из кабинета.

В кабинете наступает тишина. Ханенко вытирает клетчатым платком капли пота со лба, опасливо озирается.

— Господин исправник, а этот канцелярист не прикидывается? Мне что-то не нравится его поведение.

— Он слишком долго узнавал Кармалюка, — бросает Тадей Заремба.

— Видно, хитрая бестия! — добавляет Янчевский.

Улович выпрямляется и останавливает всех протестующим жестом.

— Что вы, господа, побойтесь бога! — восклицает он. — Это же самый честный из всех моих канцеляристов, невзирая на то, что крепостной.

— Крепостной? Что вы сказали? — вскакивает Ханенко.

— То, что вы слышите, — спокойно объясняет Улович. — Я взял его от родителей к себе в имение совсем ребенком и вышколил для верной службы, как гончего пса. Это было не так легко, господа, ведь его родители и поныне крепостные, живут у меня в имении. Со временем я обучил его грамоте, и он ни разу не подвел меня, когда я еще тоже занимался хозяйством. Все приказчики и купцы были у него на заметке. Ни разу не ошибся, вел весь учет в поместье. Знает, что такое дебет и кре-

дит. Для него я не только отец, но бог и царь. Я абсолютно убежден в этом.

— Похвально, господин Улович,— отозвался Тадей Заремба.

— И когда меня назначили на этот высокий пост,— продолжал исправник,— я, не колеблясь, взял его к себе в канцелярию. Он сообразителен и быстро усвоил и это сложное ремесло. Вскоре с разрешения губернатора я допустил его к секретным бумагам. Теперь у меня среди канцеляристов и писарей есть свое недреманное око. Это очень важно, господа, в нашем сложном ремесле.

— Так, так,— кивнул головой Ханенко.

— Вам это странно,— продолжал Улович,— но я желаю иметь верных и надежных слуг, которые понимают меня с одного взгляда. У вас, верно, такие, как мой Матвий, еще до сих пор без штанов носят, только бы не идти работать в имение. Надел штаны, значит, уже взрослый, айда на работу, а без штанов можешь бегать сколько угодно, и все будешь ребенком... Не улыбайтесь, господа, у меня есть на этот счет точные донесения... Такие вот дети, что давно уже парнями стали, на работу в имение не ходят. А когда барин выезжает из фольварка в карете, они выбегают на дорогу ему навстречу. Все в длинных рубахах по колено, подпоясанные ремешками, и давай собирать песок посреди дороги, в кучи, носят его в подолах рубах. Когда барин едет в их сторону, они начинают этот песок вверх горстями швырять... Такую пыль поднимут на дороге, что барин сразу велит поворачивать карету в другую сторону, чтобы объехать эту проклятую детвору. А каждому из этой детворы уже добрых семнадцать стукнуло... Вот так и обводят вокруг пальца нашего брата-помещика... Разве я не прав?

— Правы, господин исправник,— хихикнул Тадей Заремба.— Я и сам такое испытал. А как стал докапываться, узнал, что приказчики мои и гайдуки покрывали этих деток с усами...

— Значит, не всегда надо силу применять. Иногда надо и хитростью и умом заставлять крепостного работать на барской земле, так как он на своей работает,— закончил Улович и широким жестом пригласил высокопоставленных гостей к себе домой на воскресный обед.

После побега из Архангелогородского полка Кармалюк не решился пробиваться на Украину старой дорогой, через Москву, Орел и Нежин, куда о нем уже была разослана публикация, а пошел новыми дорогами. На этот раз его путь лежал через Новгородскую и Псковскую губернии, на Витебск, Могилев и Рогачев — в Белоруссию. Белорусскими лесами он вышел на Украину, к местечку Овруч, и направился в Райгородок и Янышпольскую слободку, находящуюся уже в Литинском уезде, потом свернул на родину Захара Блажкуна, в окрестности его родного села Новой Синявы, и отсюда начал свои нападения на помещиков и шляхту.

Весть о том, что Кармалюк снова объявился на Подолье, словно громкое эхо в лесу разнеслось по всем селам и хуторам. К атаману в лес потянулись обездоленные и обиженные крепостные, и боевые ватаги Ивана Дроздова, Захара Блажкуна, Прокопа Данилевского и Мирона Волошки снова начали расти, набираться грозной силы. Из уст в уста передавалась народная молва об Устиме Кармалюке. Одни видели его на ярмарке в Балте, другие встретили за триста верст от Балты, где он орудовал под самым носом у шляхтича Янчевского, третьи рассказывали, будто Кармалюк, убегая из Сибири, переплыл на воротах реку Урал. Ворота эти Устим снял ночью у одного богатого уральского казака. Так или иначе, а нападения на арендаторов, помещную шляхту и дворян участились. Полиция валилась с ног, но на след Кармалюка не могла напасть. Во все уезды и даже в Бессарабию войскам, вооруженной шляхте и полиции был разослан приказ снова ловить Кармалюка. Кармалюк был необычайно осторожен. Он твердо решил пополнить все четыре свои ватаги и начать неслыханное до сей поры восстание — одновременно в трех концах Подольской губернии; был совершен налет на литинскую тюрьму, из нее выпустили всех арестантов. А наутро атаман разослал по селам и хуторам своих молодцов, чтобы созывали людей на пепелище ходаковской корчмы. Для этого из лесу вышли Мирон Волошка, Иван Дроздов, Захар Блажкун. Отбирать в ватагу людей, которые соберутся в лесу, должен был сам Кармалюк. «Не может того быть, — говорил он своим молодцам, — чтобы горсточка господ вечно гнула мужиков до

земли, да хватала за горло. Ведь крепостных тысячи. Да что тысячи — миллионы! А господ кучка. Один барин на село, а то и на два один, да еще шляхта паршивая. Пусть-ка попробуют справиться с такой силищей, как взбунтовавшиеся крепостные! Довольно уже расправляться с господами поодиночке, то там, то тут. Громить так громить, со всего маху, чтоб не пикнули!» Побратимы с радостью поддерживали Устима Кармалюка, а Тимко Гречка, услышав такие слова из уст атамана, чуть в пляс не пустился. Он тотчас представил себя на быстром коне, с саблей на боку и пистолетом в руке. У них теперь будет настоящее войско. Вот когда барин отдаст отчет Тимку, куда он подевал его хату, кому продал землю.

Тихо и спокойно в лесу. Вся старшина с утра двинулась в села, и пещера под горой опустела. Пробираясь к ней через колючие и густые заросли терновника, Тимко несет уже вторую охапку мха. Мох сухой и пушистый. Если на него постлать кирею¹ или свитку, можно выспаться, как на перине. Парень кладет мох возле пещеры и громко зевает.

— Ты бы отдохнул, Тимко, — откликается из пещеры Кармалюк.

— Не могу, атаман. Руки чешутся, — отвечает Тимко, передвигая ногами сухой мох. — Отдыхайте лучше вы, а я покараулю. Дорога нам предстоит не близкая...

— Верно, — Кармалюк выходит из пещеры и садится на обгорелый пенек, — дорога дальняя. Только стемнеет — тронемся.

Тимко выносит из пещеры кирею из овечьего сукна и расстилает ее на ровно разложенном мху.

Кармалюк ложится, но долго не может уснуть и ворочается с боку на бок. Перед его прищуренными глазами проплывает облачная синева осеннего неба, трепещут желтые листья на деревьях, покачиваются на ветру гибкие, упругие ветви. Он думает о Марии, о свадьбе своего старшего сына, предвкушает радостную встречу с женой и сыновьями в родных Головчинцах. Устим нарочно до сих пор не появлялся в тех краях, чтобы сбить полицию с толку, верно она уже перестала следить за

¹ Верхняя одежда.

его хатой. Так или иначе, а скоро он будет уже на родине и с помощью Тимка сделает все так, чтобы наконец повидать своих.

— Тимко, а ты видал Данила Хроня? — спрашивает он.

— Видал. А что? — сразу настораживается парень.

— И говорил с ним? — допытывается Кармалюк.

— Не успел, атаман, — вздыхает Тимко. — Я пришел, когда его уже вешали. Он все плакал да просил... Нестоящий мужичонка оказался... Да и на что мне было с ним говорить, — равнодушно сплюнул Тимко.

— Не говори так! Замолчи! — замахал руками Кармалюк.

Он поднялся на колени, и на его высоком лбу залегла горестная морщинка, брови сошлись на переносье. Кармалюк тяжело дышал, глядя в землю.

— Напрасно погубили его, — проговорил он, словно обращаясь к самому себе. — Напрасно. Не было у них сердца в ту пору. Не говори о нем так, Тимко. Он бросил службу и пришел каяться, сам на суд пришел, не побоялся, — зачем же было его так? Он же не барин, наш человек. Должны же они были знать, что я никого не убиваю...

Кармалюк упал ничком на кирею. Он еще долго ворочался на мягкой постели, глубоко вздыхал, что-то бормотал. Наконец закрыл лицо от солнца картузом, и сон незаметно подкрался к нему. Тимко не заметил, сколько времени он спал, потому что сторожил покой атамана, чутко прислушиваясь к малейшему шороху в кустах.

В верхушках деревьев проснулся легонький ветерок. С нижних ветвей срывались сухие листья и, долго покачиваясь в тихом воздухе, беззвучно падали на землю. Порой сухой лист попадал в цепкую паутину, и тогда паутина покачивалась, поблескивая на солнце, словно тончайшее кружево в руках сказочной мастерицы. Монотонно постукивали падающие желуди, где-то далеко ворковал дикий голубь, да в овраге однообразно кричал одинокий коростель.

Тимко хорошо понимал таинственный язык леса, умел на далеком расстоянии улавливать шаги человека, подозрительный шорох в кустах. На него можно было спокойно положиться, поэтому его и поставили хранить

покой Кармалюка. Но на этот раз Тимко не смог разгадать лесную тревогу. Она возникла внезапно, и трудно было понять, откуда она, кто ее поднял.

Тихий, дремлющий лес словно ожил, зашумело зверье, и птицы откликнулись стоголосым криком.

Первыми промчались мимо пещеры, поблескивая зелеными глазами, перепуганные зайцы. За ними вдогонку, словно огненный вихрь, неслись лисицы. Одна, вторая, а потом одни только пушистые хвосты замелькали меж кустами. Можно было подумать, что голодные лисицы гнались за перепуганными зайцами. Малые и большие звери стремглав мчались за лисицами, прямо к пещере, но, почуяв человека, круто сворачивали в сторону, обходя гору, под которой стоял растерявшийся Тимко. За мелким зверьем гнались волки, низко пригнув морды к земле, словно нюхая кровавый след. Такой уймы зверья Тимко еще никогда не видел — и теперь не знал, что ему делать.

Он бежал вокруг пещеры, прислушивался к лесному гомону, непрерывно втягивая ноздрями холодный воздух. «Может, лес горит?» — промелькнула мысль. Но воздух был чист, вокругпряно пахло сухими травами, дубовой листвой и дикими яблоками.

Кармалюк крепко спал. Тимко подбежал к нему и принялся трясти его за плечо.

— Атаман! Проснитесь!..

Кармалюк вскочил и тотчас схватился за пистолеты. Казалось, он сразу понял, что произошло в лесу. Несколько секунд он зорко следил за безумным бегством зверей, прислушивался к воркованью диких голубей в кронах деревьев и словно не слышал слов Тимка, хотя тот без устали докладывал ему о лесном переполохе.

— Облава,— спокойно произнес Кармалюк.— Это они нам за нападение на тюрьму мстят. Ну что ж, начали, так получайте! Мне не привыкать. . .

Кармалюк мигом разулся, сбросил шляхетскую венгерку, опущенную серым каракулем, снял картуз и бросил все это на кюрею. Тимко видел, что атаман не очень спешит и воскликнул:

— Бежим, атаман! Что ж нам теперь делать?

— Поздно,— сказал Кармалюк.— Теперь от них не убежишь. Верно, там силища народу и полиции. Видишь, как звери бегут от них?

— Вижу,— чуть не плача, проговорил Тимко.

— Ну, а коли видишь, так бери,— Кармалюк протянул ему оба пистолета, а сам пошел к пещере.

Он пробыл там недолго, но вышел неузнаваемым. В лохмотьях, с мешком на плече, он напоминал юродивого.

— Вот теперь пошли! — приказал Кармалюк.

И они побежали по оврагу к густому дубняку. Шляхетскую венгерку, длинную пику и картуз Кармалюк нарочно оставил на кирее возле пещеры. В лесной чаще он выбрал ветвистый высокий дуб и сказал Тимку:

— Полезай, сынок, и замри на вершине, пока они не пройдут. Да привяжи себя веревкой, чтобы не свалиться, ежели задремлешь. Ночью, когда облава кончится и они выйдут из лесу, приходи к пепелищу ходаковской корчмы. Свистнешь один раз, не больше. Я буду ждать тебя там.

— Куда же вы, атаман? Как можно одному идти? — запротестовал Тимко.

— Лезь, говорю, да повыше! — приказал Кармалюк.— На самую верхушку полезай и в листву спрячься. А я тем временем погляжу, какие там охотники вышли на меня.

— Прощайте! — печально сказал Тимко, взбираясь на дуб.

— Не балуй, сынок. Их надо сбить со следа, иначе они весь лес обшарят и поймают нас,— сказал Кармалюк и пошел навстречу опасности.

Чем дальше он шел по лесу, навстречу облаве, тем меньше попадалось ему зверья. «Видно, всех уже спугнули господа,— думал Кармалюк, опустив голову.— Теперь зверье не скоро вернется на свое место... Не скоро... Да и меня, как зверя, гонят. Сколько прожил на свете лет, еще и дня спокойного не видал... Вот разлучили с женой, с детьми. Людей из-за меня на каторгу гонят... А чем я виноват? Камень и тот, кажись, закричал бы, глядя на господский произвол. А я человек, и у меня разум и сердце».

Облава приближалась.

Уже ясно доносились голоса людей, лай охотничьих собак, конское ржание. Кармалюк заколебался, прислонившись плечом к высокой сосне. Идти ему к ним в пасть или, как Тимко, влезть на дуб и переждать опасность? Нет. Идти! А то попадешь в облаву.

Шум все приближается словно далекая гроза, которую уже не остановишь. И Кармалюк, уложив на плечо вязанку хвороста, отделяется от сосны и смело идет навстречу. Хорошо, что опушка близко, а там и столбовая дорога, рассекающая лес на две половины. У дороги стоит корчма, в которой он служит. Пусть ведут его туда, если не верят, корчмарь сам скажет, что посылал своего слугу в лес за хворостом. Так было условлено, и корчмарь — свой человек, не предаст Кармалюка. Иди, Устим, медленно, спаси бог, не спеши, собирай сухую траву и хворост под кустами. Только не останавливайся перед облавой, не подавай виду, что ты боишься их и приглядываешься издали. Иди тихо, медленно, ты ведь устал...

Не поднимая головы, Кармалюк продолжает собирать траву, искоса поглядывая на облаву.

Вот они заметили его. Несколько всадников, прищиприв коней, мчатся к атаману. Кармалюк сбрасывает вязанку с плеч и низко кланяется офицеру и двум стражникам.

— Кто такой, бездельник? — грозно вопрошает офицер, и Кармалюк чувствует теплое конское дыхание у себя над головой. Лошади окружают его со всех сторон.

— Человек божий, барин... Вон там тружусь слугою, — показывает Кармалюк на тракт, где стоит знакомая корчма.

— В лесу встречал кого? — допытывается офицер.

— Как не встречать. Встречал, — атаман подобострастно кланяется.

— Кого? — Офицер приподымается в седле.

— Кармалюка, барин, встречал. Черт его подери, — таинственно шепчет атаман, боязливо озираясь по сторонам. — Так меня напугал, проклятый, так избил, не приведи господи... А когда вдосталь насмеялся над моим страхом, дал два злотых милостыни и пошел в кусты. Вот они, эти два злотых, — и показал на ладони деньги...

Офицер переглянулся со стражниками. Он не хотел, чтобы эту весть слышали шляхтичи, ехавшие сбоку от него и чуть впереди. Офицер решил поймать Кармалюка один, без помощи чванливой шляхты.

— Где ты его встретил? — уже ласковее спросил офицер.

— Под горою, барин, возле пещеры,— ответил атаман.

— Он один или с ватагой? — спешил офицер.

— Один, как палец, барин,— услужливо пояснял Кармалюк.

— Как одет?

— Одежда на нем шляхетская, барин. Венгерка синего сукна с серыми смушками, картуз с блестящим козырьком, в руках длинная пика,— поклонился Кармалюк.

В это время к ним подлетели на конях два шляхтича, и офицер крикнул им:

— Зачем строй ломаете? Вам надо быть на своих местах. Мы тут и без вас разберемся. Это слуга из шинка... Я уже допросил его... Иди, старик, прочь из лесу и не мешай нам...

Мимо Кармалюка промчались кони, за ними пробежала мелкая загоновая шляхта, ведя на поводу гончих псов, а уже дальше паводком шел народ, согнанный чуть ли не со всей волости. Все они, равнодушно обходя Кармалюка, разгребали колями листья и сухой мох. Может, сыроежка попадется, будет хоть гостинчик детям. Вот и вся польза от этой облавы. Верховые гайдуки, что ехали за крепостными, подгоняя их, пропустили атамана, даже не спросив, кто он и куда идет. Они полагались на офицера. Кармалюк медленно пересек дорогу, вошел в лес по другую сторону и скрылся в густых зарослях орешника.

Но не суждено было Кармалюку в ту осень осуществить свой план повсеместного крестьянского восстания на Подолье. На подольские села неожиданно обрушилась страшная беда — холера. То ли привезли ее с моря на своих чумацких возах чумаки, то ли занесли из-за Днестра торговые люди, возвращаясь с большой ежегодной ярмарки в Балте. Никто не знал этого наверное. Одно знали люди: черный мор надвигался с Черного моря, каждый день пожирая все новые села и уезды, уничтожая все живое на своем пути. Казалось, над землей разразилась страшная гроза и вот уже несколько дней как сыплет холодный град, буря с корнями выры-

вает вековые дубы и люди боятся выйти из хаты, в тревоге ожидая приговора. Села опустели. На голых нивах носилось воронье. Кое-где еще стояли почерневшие от первых осенних дождей копенки. Видно, их уже некому, да и не на чем было привезти в село, и воронье с криком расклевывало жалкие снопики, добывая из них добрый корм. Помещики и шляхта спасались от черного мора чесноком и уксусом. Чеснок просто ели, уксусом мыли руки, поливали одежду, жилища, думая убить этим страшную заразу. Цены на чеснок и уксус сразу подскочили.

Старый Диброва сперва думал, что эта страшная беда ненадолго, но чем дальше он уходил от нее, тем все больше поражали его картины печали и смерти в селах и хуторах. Он видел мертвецов, лежащих прямо посреди поля, замечал холмики свежей желтой глины на погостах. Мертвецов с дороги никто не убирал, крестов на могилах тоже не ставили. Некому было, да и некогда. Диброва пел под тынами свои песни, молился о спасении душ человеческих, но его никто уже не слушал, ему даже не подавали милостыни. Люди боялись выходить за ворота, опасались, что и он, Диброва, идет от самого моря, неся за плечами эту страшную беду. Вот уже второй день, как ему никто не протянул даже сухаря, и старик с бандурой за плечами плелся, обессиленный голодом. Бандура становилась все тяжелее, мучительно натирала плечо. Диброву мучила нестерпимая жажда, но он не мог раздобыть в селе свежей питьевой воды. Увидев старика, люди убегали от колодцев с полными ведрами. И Диброва пил теплую, зеленоватую воду из желобов. Он все терпел, только бы поскорее выбраться на Ходаковский тракт. Уже недалеко. Завтра вечером он будет там. Кармалюк радостно примет его, выслушает и успокоит. Диброва на этот раз расскажет атаману всю правду. Пусть Устим непременно прибудет хоть на день, чтобы утихомирить их. Диброва не может стерпеть, чтоб над хатой такого великого человека, как Кармалюк, глумились и смеялись люди. Устим теперь не просто холоп и беглый крепостной. Нет, теперь о нем, верно, сам царь знает. Кармалюка уже все господа боятся.

Правда, от таких слов Кармалюк разгневается и сразу почернеет, но Диброва знает, как успокоить атамана. Он запоем ему песню. Правдивая она и чистая.

Долгими ночами складывал ее Диброва, подбирая звучные слова. Песня вышла длинная, но берущая за душу. В ней поется о далекой Сибири, за которой всходит солнце, о Кармалюке, что не знает счастья-доли, о людях, брошенных в рабство.

Кому ж, как не Диброве, надлежало сложить эту песню! Кто же, как не он, знает своего Кармалюка таким, каков он на самом деле? Теперь песня была готова, и старый бандурист нес ее атаману, затаив в струнах еще никем не подслушанное звучание своего сердца. Диброва знал, что за такую песню Кармалюк обязательно похвалит его. И тогда он снова пойдет по селам, чтобы все люди слышали, на что способен старик, выгнанный как негодный калека из усадьбы помещика Ханенко. Это песня и погнала старика в трудный путь. И он шел одинокий, усталый, среди страшного моря, тихонько напевая свою песню.

У Деражненской заставы его задержали. Стража стояла на мосту и еще издали приказала ему остановиться. Диброва был уверен, что они ждут Кармалюка, и уже собрался объяснить им, кто он и зачем идет, но стража о Кармалюке и не спрашивала. Они требовали какую-то «бомагу», в которой было бы написано, что он, Диброва, идет из села, в котором нет той беды, от которой мрут люди.

Эту «бомагу» должен был засвидетельствовать сам барин или его управитель.

— Я божий человек, люди добрые! — крикнул из-за моста Диброва.

Но на него замахали кольями. И как ни просил старик пустить его в Деражню, сколько ни говорил им, что собирает милостыню да людей молитвой утешает, ему не поверили, да еще пригрозили тюрьмой за непослушание. И бандурист покорно повернул и, прикрыв ладонью глаза, пошел обратно. Перед ним снова лежала немая, безлюдная дорога, и старик видел на ней следы своих ног. Чем дальше он шел назад, тем менее заметны были его старые следы, а вскоре они и совсем затерялись в песке, на пустой дороге. Только теперь Диброва почувствовал, как он устал. Усталость ощутимо и грубо наполнила тупой болью натруженные ноги, каждый шаг глухим звоном отдавался в голове. Хотелось хоть на минутку присесть на зеленой обочине, где густо росли холодный спорыш и подорожник. Осенняя трава на влаж-

ной земле целительно прохладна и может оттянуть тупую боль от сбитых, окровавленных ног. Но старый Диброва боялся остановиться в поле даже на минуту. Ведь по ту сторону Деражни был лес, а в нем пепелище ходаковской корчмы. К этому лесу лежал его путь и он твердо решил добраться туда еще до захода солнца.

Далеко обходя Деражню другой дорогой, бандурист на время позабыл о черной беде, обложившей край, как градовая туча. По полю гулял холодный ветер, пригибая к почерневшему жнивью молодой пырей. Вслед за ветром неведомо куда летело цепкое, колючее перекасти-поле. Над безлюдными полями разносилось громкое пение жаворонка, в холодной синеве неба плавали тонкие нити бабьего лета, поблескивая на солнце серебристой пряжей. В поле не было следов беды, вокруг царила мертвая тишина. Это радовало Диброву, и усталость уже не так давала о себе знать. Дед ступал бодрее, но все время протирал кулаком глаза. Что-то мешало ему смотреть. Словно пыль попала под веки и мешала видеть синюю полосу леса, что уже вырос стеной вдалеке.

У того леса, в стороне от Деражни, и стоит нужная ему хата. Диброва подойдет к ней вечером, запоет под окном молитву во здравие. Хозяйка выйдет и, протягивая краюшку хлеба, скажет, где ему найти Кармалюка. А может, из хаты, на счастье, выйдет и сам Кармалюк? Дай боже! Диброва ускоряет шаг и все приглядывается к синеющей полоске леса, уже подернутой сероватым туманом. Присмотрится к какому-нибудь кусту или дереву,— и шагает вперед, к нему, другое выберет — и снова шагает... От этого дорога кажется короче и ноги не так болят.

Но что это у него с глазами? Сначала слегка качнулся лес, потом начали клониться к земле островерхие тополя, и вдруг появилось большое черное пятно, обведенное по краям красноватой каемкой. Пятно ширится, растет и начинает бешено плясать, закрывая собой лес, поле и воображаемую хату в лесу. Пятно расплывается, на Диброву надвигается густая мгла, душит его, сжимает голову, и к сердцу подкатывается дурманящий, давящий клубок. «Что за напасть, святой боже!»

Диброва останавливается, и пятно исчезает. Давящий клубок, уже подкатившийся к самому горлу, медленно отступает и словно рассыпается на тысячи обжигающих угольков внутри живота. Острая боль вспыхи-

вает внезапно. Кажется, что в тело вонзили серп и чья-то рука поворачивает его под кожей, рвет мускулы, острым лезвием касается костей. Неужели это страшная болезнь впиалась и в него? Нет, нет! Это, верно, голод и жажда. Он уже второй день ничего не ел, и его, должно быть, мутит от воды, выпитой из деревянного желоба. Надо спешить. Скоро лес, а там, в тени, сползет с него усталость, отдохнут натруженные ноги. Там, на перекрестке дорог, возле вербы течет холодный родник, Диброва напьется его свежей, целительной воды, и ему сразу станет легче. Старик напрягает последние силы и наконец входит в лес.

В лесу словно и ветра нет, но крепкий аромат опавших листьев, смешанный с запахами смолистой хвои, овеивает Диброву, ударяет ему в лицо, пьянит тяжелую от жара голову. Задубевшими ступнями бандурист чувствует мягкий покров лесной земли, и ему до боли в груди хочется упасть ниц и так лежать, позабыв обо всем на свете. Упасть на сухой мох, на пожелтевшие травы и сухие дубовые листья... Но он вспоминает о песне и, преодолевая боль в животе, ковыляет к одинокой хижине на опушке...

Когда он подходит к хате, боль немного утихает. Но как только старик раскрывает рот, чтобы затянуть молитву святого страдальца, к сердцу снова подступает горячий клубок, и слова застревают в горле, Диброва выговаривает их, но сам не слышит, и только бандура тонко звенит в лесной тишине, напоминая отдаленное жужжание пчелы. Он играет долго, упрямо преодолевая нестерпимую боль, но на его молитву из хаты никто не выходит. Держась рукой за стену, старик пробирается под окнами к двери. Все три окна плотно закрыты изнутри ряднами и платками. Старик на минуту останавливается перед дверью, удивленно рассматривает большой замок на ржавом кольце. Ему не верится, что это замок, и он робко ощупывает его рукой.

Какой же он холодный! От одного прикосновения ледящий холод пронизывает все тело, и Диброва чувствует, как мороз забирается в пальцы. Потом холод разливается по груди, и бандуриста трясет озноб. Ему уже трудно держаться на ногах, он хватается рукой за косяк и опускает голову. В груди у него все горит и трясет его от этого жара, а холодный замок на двери не при чем... Это не от замка его знобит. Он смотрит на поросший

травую мельничный жернов у порога. Видно, тут давно не ступала нога человека. Диброва силится припомнить, сколько времени прошло с того дня, когда он в последний раз переступал этот порог, но, так и не вспомнив, отходит от хаты и все дальше углубляется в лес. Ему видна проезжая дорога, редкие деревца вдоль нее и одинокая корчма вдалеке.

«Куда подевались сестры? — думает старик. — Неужели на ярмарку уехали? Но почему тогда камень зарос травой?» Диброва поднимает вверх мутные, уже подернутые туманом глаза, словно хочет спросить об этом у столетних дубов. Но дубы молчат, величественно покачивая упругими ветвями, изредка осыпая бандуриста ржавыми листьями и градом желудей.

Еще шаг, два, и вот уже недалеко родничок. Диброва собирает последние силы, чтобы перейти через дорогу на ту сторону и добраться до целительного источника. Старик то и дело спотыкается на ровной дороге, но находит в себе силы и поднимается вновь. Наконец тропочка оборвалась. Диброва грудью ложится на землю, припадает к родничку и долго пьет жадными губами холодную воду. Студеная вода приятно отдает мятой, и Диброве кажется, что он никогда не напьется вволю, не поднимется от ручья. Словно кто-то стиснул его железными руками, прижал к этому роднику и не дает подняться. Но вода не помогает. Острая боль расползается по телу, и оно извивается в корчах. Диброва уже чувствует приближение смерти и, сжав почерневшие губы, больше не стонет.

Ослепительное солнце повисло на вершинах деревьев, и его острые лучи бьют прямо в глаза бандуристу. Какое ж оно красное. Выходит оно или заходит? — недоумевает старик... Он вдруг забыл, какая теперь пора дня. Но первые слова песни всплывают в затуманенной голове:

Я три года побирушкой в Сибири скитался,
Через Волгу на быстрине я переправлялся.
Переплыл я через Волгу на доске сосновой,
Добрый день вам, господа, я к вам в гости снова!
Господа как услышали, каждый ужаснулся,
Что Кармалюк из Сибири снова к нам вернулся.

Посиневшая рука тянется за бандурой, но, не найдя ее, застывает с раскоряченными пальцами. Ослепитель-

ный луч падает в широко раскрытые глаза старика, но веки его уже не моргают, а зрачки светят холодным, стеклянным блеском.

А меж тем в лесу, по ту сторону тракта, до вечера не стихал шум. Тимко Гречка с высокого дуба видел, как шныряли между деревьями разъяренные шляхтичи, неистово ругая друг друга. Потом к ним на взмыленном коне примчался гонец, и шляхта затрубила в охотничьи рожки. Облава двинулась из лесу под вечер, забрав с собой одежду Кармалюка. Больше в лес они не возвращались, и Тимко, дождавшись глубокой ночи, вышел к пепелищу ходаковской корчмы. В разрушенном погребе он застал атамана, Ивана Дроздова, Прокопа Данилевского и Захара Блажкуна.

Кармалюк сидел печальный, подперев голову руками. Он знал о холере, свирепствовавшей на юге, но не думал, что она так далеко распространится по Украине и что все села на Подолье будут оцеплены стражей. Не ведая об этом, он и послал своих побратимов по селам и лесам собирать новые силы для великого восстания против богачей. Атаман словно и не заметил Тимка, даже не спросил, что произошло возле пещеры во время облавы. Парень понял, что, верно, у атамана есть дела поважнее, и тихо присел в углу:

— Как же теперь людей поднимать? — продолжал Кармалюк начатый разговор. — На погибель я их не поведу. Хорошо, хоть ты вернулся. Надолго, видно, это несчастье...

— Только начинается, — отвечал Иван Дроздов. — Я думаю, до заморозков протянется. Господам холера урона не принесет, а вот людям беды наделает. Уже по всем селам стражу расставили, ни пройти, ни проехать. А разве можно знать, где она схватит тебя, эта зараза? Беречься нам надо, атаман... Чеснок и уксус — это все пустое...

— А что ты, Прокоп, на это скажешь? Как твои медикумы думают?

Прокоп вздохнул:

— Уксус и чеснок — это не глупости, атаман, а вот если б еще сорочки и штаны дегтем намазать, как чумаки

когда-то делали. И чтоб сырой воды не пили молодцы, и зелени всякой не ели. Кипятком надо всю зелень ошпаривать. Эта зараза от воды и еды на людей переходит. А кто захвораёт, того тотчас надо забирать куда-нибудь от людей, из ватаги. Она, как огонь на ветру, холера... Только известью ее гасить, а не водой.

— Ну вот, видите,— сказал Кармалюк и, немного помолчав, спросил: — Но какие-нибудь лекарства против холеры у тебя есть, Прокоп?

— Черта с два,— глухо сказал Прокоп и наклонил голову.

— И долго она косить будет? — снова спросил атаман.

— Долго. Пока морозы не ударят,— проговорил Прокоп.— Я своим молодцам рассказывал. Они уже уксус и чеснок употребляют, кипятком ошпаривают всю зелень, дегтем сорочки мажут. Мой отряд бог еще миловал, атаман...

— Хорошо, но расскажи и им, как надо все делать,— атаман показал на Дроздова и Блажкуна.— Пусть и они заведут у себя твои порядки...

— Расскажу, атаман,— тихо промолвил Прокоп.— Лекарства мне нужны, порошки разные, а где их возьмешь? Они ж в Москве...

— Это далеко,— перебил его Кармалюк.— Ищите поближе.

— Поищем,— неуверенно сказал Прокоп.

Кармалюк, откинувшись назад, прижался спиной к земляной стене. В погребе было тепло, пахло прелым сеном. Сюда доносился приглушенный шелест ночи, да изредка пролетали над головами летучие мыши. Устим наблюдал, как мерцают в бездонном небе маленькие звездочки и среди них семизвездный Воз¹. Ему даже показалось, что звезды знают все тайны человеческой жизни и глумливо подмигивают с высоты, насмехаясь над его неудачей. Неудача и впрямь была горькая.

Именно на эту осень Кармалюк возлагал большие надежды. Всюду в селах недород, голод и люди на ярмарках открыто ругали помещиков. К этому еще прибавился царский указ о наборе в солдаты крепостных, живших в юго-западных губерниях, под властью на-

¹ В о з — так по-украински называется созвездие Большой Медведицы.

местника Королевства Польского великого князя Константина. Почва для большого народного восстания была хорошо подготовлена. Кармалюк уже все обдумал и взвесил. Восстание должно было вспыхнуть внезапно, одновременно в нескольких уездах. Туда, где пройдут повстанцы, придет и воля. Крепостные разберут помещичий хлеб. Они отберут у господ свое украденное счастье. А кто раз попробовал воли, уже не подставит свою шею под ярмо.

И вот все надежды, взлелеянные долгими ночами, рухнули. Сегодня вернулись из сел Иван Дроздов и Захар Блажкун. Завтра Кармалюка будет ждать в Каричинцах мрачный и молчаливый Илько Сотничук, который все же бежал из Сибири. А там вернется с Днестра и Мирон Волошка. Что посоветует им Устим теперь, когда пришла эта страшная весть? Он готовил восстание, грозное и могучее восстание, которое сметет господские усадьбы на всем Подолье, и вдруг путь ему преградила такая нелепая и неожиданная страшная беда — холера.

Кармалюку было ясно, что холера опустошит целые села. Долго не будет ярмарок и никто не приедет к нему в лес в такую пору. Эпидемия, занесенная на Подолье, должно быть, из черноморских портов, осенью 1830 года уже молниеносно распространилась в Литинском уезде и катила свои смертельные валы все дальше и дальше — захватывала весь край. Иван Дроздов рассказывал Кармалюку, что во всех селах уже читают строгий приказ подольского губернатора, повелевающий на всех заставах круглые сутки выставлять вооруженную стражу, чтоб она никого не выпускала и не впускала, спокойно ожидая, когда схлынет эпидемия. Право въезда в село или выезда из него имел только тот, у кого была засвидетельствованная подорожная, где написано, что едет он из местности, не захваченной холерой. Но кто ж поедет в такое время, чтоб заразиться этой хворобой в пути?

— Что же нам делать, Устим? — не выдержал гнетущего молчания Захар Блажкун. — Скоро зима. Надо о жилье подумать. А до тех пор надо бы еще не раз красного петуха господам подпустить. Они, Устим, на каждом шагу капканы для тебя порасставляли. Твой портрет, тот, что художник Тропинин рисовал, уже раздобыли и в Литин привезли. Опознавать тебя по нему будут... Канцелярист Матвий Барабаш говорит, что ско-

ро снова начнутся повальные обыски и аресты... Исправник собирается посадить в тюрьму твоего старшего сына Ивана...

Кармалюк встал, расправил плечи, словно пробудился от своих мыслей.

— Ивана в тюрьму? За что?

— А они не спрашивают, за что... Именем царя закуют — и все тут, — махнул рукой Блажкун.

— Давайте заберем его в ватагу, — предложил Иван Дроздов.

— Пустая затея, — печально покачал головой Устим. — Ивана заберем — они Остапа закуют. Остапа украдем — Миколу посадят... Жену поведут в острог, невестку, а хозяйство пустят по ветру, как вон у Тимка... Не о том я думаю, побратимы мои. — И он мечтательно посмотрел на небо.

Его голос пробудил у Тимка надежду, еще не твердую, но уже ощутимую.

— Не о том думаю, — продолжал атаман. — Спрятаться в лесу или пересидеть это лихолетье в батраках мы всегда успеем. А как дальше жить?

— Там видно будет, — робко отозвался Захар Блажкун.

На востоке медленно светлело небо, и на его посеревшем фоне вырисовывались кудрявые вершины еще темного леса. На озабоченном лице Кармалюка лежал тусклый отблеск утренней зари. Его загорелая кожа при этом свете казалась бледной. На переносье черный узел густых бровей, глубокая морщина между ними. Глаза Кармалюка блеснули.

— Слушайте, что будет. Снова пойдем ватагою по лесам. Нападем на барина или арендатора... Накажем того, кто обидел крепостного. Будем жить, как жили до сих пор, пока нас не переловят всех по одному. Хотим мы того или не хотим, а так будет, так должно быть. Ведь кто мы есть? Что за люди?

Произнеся последние слова тихо, чуть ли не шепотом, Кармалюк замолчал, затем подошел к Ивану Дроздову. Глаза его вспыхнули. Голос крепчал, наливался силой, словно перед атаманом стояли люди из целого села.

— Погибель наша в том, что мы одиноки. Вурдалаки, лесовики. Одна звезда в небе — это еще не звезда. А вот ежели полно в небе этих звезд и вспыхивают они

одним огнем, тогда земля от этого блеска ослепнуть может. А ты говоришь,— видно будет! Что там будет видно? ... Знайте, побратимы, одно: пока господа — господа, не будет нам ни житья, ни покоя. Это старинный закон. Крепостные, я уверен, пойдут за нами, потому что им дороже воля, чем рабство. Так будет, так должно быть. А теперь что? Вот когда б на всей нашей земле... Все разом... Все вместе...

Иван Дроздов поднялся с колоды, оглянулся на густой лес, со всех сторон обступивший погреб, и сказал:

— У нас по всей Олонецкой губернии дремучие леса... А возьмите нашу Смоленщину, пойдите на Волгу, где бурлаки стонут. Посмотрите на Урал, и дальше, на Сибирь... Пошлите меня туда, и я уж постараюсь.

— Об этом, побратимы, я не раз думал,— сказал Кармалюк.— Какой это край огромный — Россия! Какие там люди! Богатыри настоящие... Вот поднялся бы весь народ...

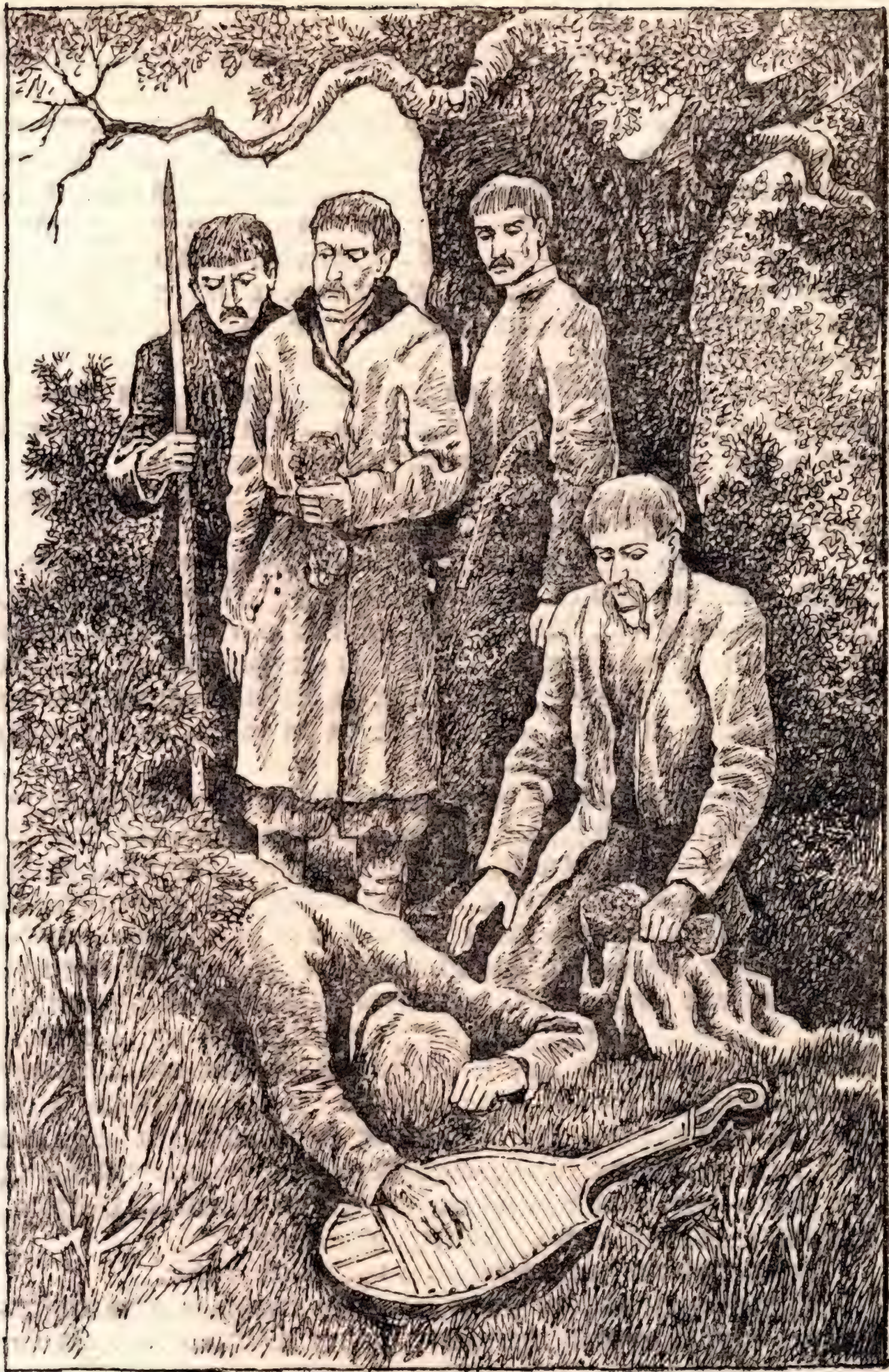
Наступило утро. Пора было расставаться надолго, но сказанные Кармалюком слова вернули давнюю мечту, хоть на сердце у каждого было горько: предстояла неминуемая долгая разлука. Атаман уже знал, что не пробьется в свои Головчинцы к сыновьям и жене. Но выхода не было. Надо было расходиться, пока не поздно. Может быть, расстаться до весны. Холера сковала им руки. Надо было расходиться на зимние квартиры. Другого выхода не было.

Кармалюк, помолчав минуту, точно распределил, кому куда идти.

В Каричинцах вместе с сестрой Ганной жила бывшая ходаковская корчмарка Татьяна. Одни говорили, что она откупилась от суда, другие уверяли, что ее оправдали, а только мужа-выкреста заслали в Сибирь, потому что корчма его была сожжена, и на ее пепелище повешены шляхтичи-конокрады. Так или иначе, а Кармалюк решил отправить к ней на всю зиму Тимка Гречку. Захару Блажкуну предстояло идти на хутора за Дс-ражню, взяв с собой Ивана Дроздова. Мирон Волошка с Ильком Сотничуком и Прокопом Данилевским устроятся по своему разумению. А молодцы, вернувшиеся в лес, узнают от лесника о приезде Кармалюка.

— А ты, Устим, куда пойдешь? — спросил Дроздов.

— Я? — странно взглянул на него атаман.— А вот



я-то и не знаю, куда мне идти... К сыновьям бы хотелось, к жене, да что поделаешь — опасно... И тут оставаться тоже нельзя... Вы уж сами посоветуйте, куда мне деваться...

— Устим,— сказал Захар,— иди в мое село. В Новую Синяву иди... Тебя там мало кто знает... Хата моя стоит у погоста, узнаешь ее по колодцу. У колодца два тополя и куст калины. Мой сын Кирило души в тебе не чает и что угодно для тебя сделает... Хороший сын. В тюрьме за меня сидел, ни словечка не сказал... Он уж спрячет тебя так, что никакой бес не сыщет... Там и братья мои живут...

Захар подробно рассказал Кармалюку, как безопаснее пробраться к его хате в Новой Синяве, и, услышав согласие, обрадовался, крепко обнял атамана.

Может, Кармалюк успокоит его жену, научит ее уму-разуму, наставит на верный путь.

— Только ты, Устим, в первый день не показывайся моей жене на глаза. Она какая-то дикая у меня и богомольная очень... Шуму бы не подняла... Все клянет меня на чем свет стоит, что я хозяйство бросил, пошел в ватагу и все такое... Ты, как придешь, сразу разыщи сына моего Кирила, а он уж тебе скажет, когда можно будет и жене объявиться...

Они распрощались с Кармалюком на опушке, трижды расцеловались, как братья. Сдали атаману все свои деньги, по давнему обычаю обменялись ножами, и Кармалюк быстро, не оглядываясь, ушел. Он стыдился своих слез. Горячие и мутные, они внезапно заволокли глаза. Он шел на ощупь, пробираясь через густой орешник, а слезы горячими каплями текли по лицу и остывали в усах. Кармалюк закусил губу, не отирал их. Казалось, все на свете стало ему безразлично — облава миновала, зато постигла людей на Подолье страшная беда, и родные Головчинцы были теперь от него еще дальше, а перед ним расстилался тревожный путь, размытый дождями, путь без хлеба и воды, по таким лесным дебрям, в которых даже зверь не боится человека.

Но вдруг по лесу пронесся громкий свист.

Кармалюк миготом отер мокрые глаза и прижался к земле, чтобы лучше слышать. Свист, громкий и настойчивый, доносился со стороны пепелища ходаковской корчмы. Сомнений не было, так мог свистеть только Тимко Гречка. Кармалюк хорошо знал это, и потому, не колеб-

лясь, побежал обратно. Через полчаса он уже снова был на опушке, ожидая опасности, притаился за толстым дубом, сжимая в руках пистолеты. Но опасности, как оказалось, не было. И он пошел через поляну к большой дороге, где стояли в чаще у родника Иван Дроздов, Захар Блажкун, Прокоп Данилевский и Тимко Гречка.

На холодной земле, вытянув растопыренные пальцы, лежал почерневший Диброва. Бандура валялась недалеко от него, и он мог бы коснуться ее струн, дотянувшись до них рукой. Все пятеро опустились на колени, сняли шапки, и так стояли молчаливые и задумчивые.

— Как же это? Что ж теперь? — шептал Кармалюк. — Может, он какую весточку нам нес? Вечная ему память... И его холера скосила...

Диброву уложили на свитку, отнесли в лес и опустили в яму, вырытую ножами. Под голову положили бандуру. Чтобы земля не падала мертвому на лицо, его прикрыли полой широкой свитки. Посыпались первые комья земли, и бандура застонала глухо и отчаянно.

Тропининский портрет Устима Кармалюка в руках полиции сделал свое дело. По нему на допросах узнавала атамана шляхта, свидетельствуя, что это и есть Кармалюк. Канцелярист земского суда Матвий Барабаш места себе не находил, все еще мысленно упрекая себя, что не настоял в разговоре с Мироном Волошкой, чтобы повстанцы выкрали тот портрет во время нападения на Литинскую тюрьму. А теперь уже поздно. Кармалюк сам, как зачарованный, разглядывал портрет, и сказал, что это и есть он. Свидетели тоже подтвердили, и следствие пошло очень быстро. Кармалюк уже не мог заператься и выдавать себя за какого-нибудь беглого солдата. Матвий Барабаш понял, как все произошло только теперь, когда последний документ оказался у него в руках. Переписывая в судебный журнал экстракт кармалюковского дела, он тщательно изучил все события, думая над тем, как бы помочь атаману снова очутиться на воле. Но придумать что-нибудь сейчас было трудно. Следствие затягивалось, полиция привозила в тюрьму все новых арестантов.

Судебные документы были страшны и неоспоримы. Матвий Барабаш, стиснув зубы, полностью признавал свое бессилие, молча переписывал их, подготавливая к суду. Некоторые из них, самые главные сейчас лежали на столе перед загрустившим канцеляристом.

Свидетель Прокоп Копчук показывал, что после ярмарки в селе Ворошиловцы, Винницкого уезда, означенный Кармалюк, именованный Головатым, был в селе Кальней Деражне, ночевал в церковной школе, о чем на следующий день рассказал сын попа Дмитро Мончинский: «Плохо, что не пришел вчера вечером. Увидел бы Головатого, он ночевал тут». После того он, Копчук, побывал с евреем Бенем в городе Балте на ярмарке и увидался там с ним, с Кармалюком, в заезжем доме, десятый или пятнадцатый дом от угла. Кармалюк был одет в суконный черный сюртук до колен, штаны из того же сукна, шинель тоже из черного сукна с висячим воротником, на котором три нашивки. Волосы он носил теперь длинные, подстриженные по-купечески: бакенбарды и усы имел большие, под шеей бритые.

Вот и все свидетельства. Простые люди не выдавали Кармалюка, а он нарочно не узнавал их на допросах. На очных ставках Кармалюка с Ароном Виняром, на вопрос тот ли это Арон, у которого он, Кармалюк, с товарищем своим в местечке Новом Константинове имел пристанище и скрывался, Кармалюк показал, что, за давностью, представленного ему воочию вышеупомянутого Арона узнать не может и думает, что это не он, потому что у того, в доме которого он находился, лицо чистое, а этот, которого он видит, темнорус и рябоват. При этом и Арон Виняр тут же пояснил, что он этого человека видит впервые, никогда до этого не знал и в доме у него ни Кармалюк, ни его товарищи не бывали.

Экономия села Новая Синява, препровождая 9 декабря 1830 года Устима Кармалюка в Литинский нижний земский суд, сообщала:

Вышеозначенная экономия, имея в виду указание господина земского исправника Литинского уезда о поимке Кармалюка, узнала от эконома Секлецкого, что этот Кармалюк скрывается у синявских крестьян братьев Блажкунов. Тогда было собрано несколько десятков вооруженной челяди, которая окружила все дома и постройки этих Блажкунов и поймали этого преступника в хлеву. Он, допрошенный в присутствии литинского

уездного стряпчего и начальника инвалидной команды, 9 декабря 1830 года показал, что он действительно и есть тот арестант, который в 1821 году по приговору Подольского главного суда первого департамента, после наказания в губернском городе Каменец-Подольском сто одним ударом и нанесения указных каторжных знаков, сослан был в Сибирь на каторжные работы, и по прибытии в город Тобольск тамошним общим по колодничей части присутствием был отобран и отправлен 29 января 1829 года на работу в Боровлянскую винокурню, из которой 1829 года 26 мая бежал, имея намерения пробиться за границу в Австрию.

После побега пробирался в Подольскую губернию и при проходе через Нежин в 1830 году января 2-го был задержан надзирателем на заставе за неимением письменного вида. В городской полиции был допрошен. Но тут вспомнил своего товарища из Екатеринославской губернии, с которым сидел в тюрьме в Орле, крестьянина Павла Богданова, назвался им, Павлом Богдановым, который бежал с рекрутской службы. В страстную субботу был отправлен в Екатеринослав в военно-судебную комиссию при тамошнем ордонанс-хаузе. По приговору этой комиссии был наказан ста палками и выслан в Новгородскую губернию в Медведковскую волость, в резервную дивизию, Архангелогородский пехотный полк на службу. Прибыл туда после Петра и Павла и находился в роте второго батальона один месяц. В первых числах августа месяца решил осуществить свое намерение перейти австрийскую границу. Бежал в казенной шинели, пройдя от Медведковской волости до Псковской губернии более 400 верст. Тут в неизвестном месте шинель бросил, а переоделся в свой полушубок и двинулся на Витебск, Могилев, Рогачев, пробрался через Райгородок в Янушпильскую Слободку, а из нее дорожным трактом двинулся в Литинского уезда село Новую Синяву. В это село он пришел по совету одного крестьянина, который сидел с ним в Нежинском остроге. Этот крестьянин сказал, что в Новой Синяве можно всегда укрыться во дворе у Захара Блажкуна. Фамилии этого крестьянина он, Кармалюк, не запомнил.

Итак, в субботу 6 декабря 1830 года ночью Кармалюк и попал во двор Захара Блажкуна. Тут он никому не показался, а спрятался в хлеву, где было сложено сено, и пролежал до восьмого числа. Но какая-то жен-

щина пришла брать сено, заметила его и, верно, донесла в экономию. Из экономии сразу прибыла вооруженная челядь с экономом Секлецким и забрала его, холодного, голодного и больного, без всякого сопротивления. А после того, как он признался, что он и есть Устим Кармалюк, он был доставлен в Литинский нижний земский суд.

В дороге кормился подаянием, которое просил у людей как странник. С братьями Блажкунами так и не виделся, не был с ними знаком и сговора об учинении какого-либо зла в Новой Синяве не имел. Больше никто его не прятал и разговоров о грабеже с ним никто не вел. О других арестантах ничего не знает, об арестованных Петре Ковчуке и Мокиевском также не слышал.

А руку за него, неграмотного, при даче пера прикладывал канцелярист Матвий Барабаш...

Допрошенный по этому делу эконом Новой Синявы Секлецкий свидетельствовал под присягой.

На вопрос о том, от кого первого он узнал, что Кармалюк прячется в хлеву у Блажкунов, ответил:

«У меня был приказ нижнего земского суда и исправника о поимке Кармалюка. Зная перед этим о плохом поведении крестьян Блажкунов, я по этому поводу сделал им серьезное предупреждение. Кроме того, тайно приказал богобоязненной и честной жене Блажкуна Параске, чтоб она немедленно сообщала мне о появлении в их доме каждого постороннего человека. Она точно выполнила мой приказ и немедленно сообщила мне, эконому Секлецкому, о том, что у них в хлеву кто-то прячется. Я немедленно двинулся с вооруженной челядью ко двору Блажкунов и там поймал вышеозначенного каторжника Устима Кармалюка в сене Захара Блажкуна, в чем и расписываюсь».

На повторном допросе в присутствии священника в Литинском нижнем земском суде Устим Кармалюк в дополнение к своему свидетельству от 13 декабря 1830 года признался, что в городе Нежин Черниговской губернии, когда он был там задержан в самый Новый год, то есть 1 января этого года, тут же, на заставе, был задержан вместе с ним и другой человек, чьего имени и фамилии он не помнит. Человек этот говорил Кармалюку, что он из Киевской губернии из местечка Ржищева, с тех пор как отлучился с места проживания, прошло двадцать лет. Когда их обоих посадили в острог, и они

там просидели все рождественские праздники, они за это время близко познакомились и сговорились, что им показывать на допросе.

На четвертый день их повели на допрос. Казенный человек, наученный Кармалюком, засвидетельствовал, что он из Литинского уезда, села Головчинцев, по фамилии Власенко Иван и что его отдали из этого села в 1813 году в рекруты в местечко Хмельник. А Кармалюк, наученный тем человеком, назвался тоже отданным в рекруты, только из Екатеринославской губернии. После побега из полка он, Кармалюк, действительно прибыл в Литинский уезд в последних числах месяца ноября прошлого 1830 года, но какого именно числа, не помнит. Пройдя мимо тираспольских шинков и выйдя на большую дорогу, он встретил возчика с парой лошадей и упросил, чтобы тот провез его через заставы, выставленные против холеры, в село Чешки. Когда подъехали к корчме, Кармалюк купил возчику водки, а сам пошел от села Чешек в соседнюю корчму. Там он не застал арендатора, а только его жену и еще какого-то сапожника с женой. В корчме он пообедал, и признался хозяйке, что он бродяга, но того, что он Кармалюк, не сказал. В этой корчме он пробыл дней шесть, впрочем, самого арендатора дома не было, и он не знает, есть ли у этой корчмарки муж или она вдова.

Пребывая в этой корчме, он на день уходил в лес, а на ночь снова возвращался, но товарищей никаких в лесу не имел и ни с кем не встречался. А отсиживался в корчме, дожидаясь, когда откроются дороги.

Когда дорога стала лучше, Кармалюк пришел в зофиопольскую корчму, к тамошнему арендатору Литваку. Тот арендатор был ему знаком, и Кармалюк пробыл у него несколько дней, имея постель и харчи. Оттуда он двинулся в село Новую Синяву, где и прятался по хлевам, так, чтобы хозяева не видели, до тех пор пока не нашел двор Блажкунов. Этот Блажкун был должен Кармалюку 16 злотых серебром.

Все написанное выше на предыдущем допросе он не показал по той причине, что был очень измучен дальней дорогой, три дня ничего не ел и вспомнить всего не мог.

Вслед за этим протоколом допроса Матвий Барабаш перечитал приговор Литинского суда всем братьям Блажкунам и жене Захара — Параске.

По этому приговору подсудимых крестьян Михайла,

Андрия и Никифора Блажкунов за то, что прятали у себя преступника Кармалюка и хотели вывезти его к австрийской границе, было решено покарать 35 ударами плетью и отдать в рекруты. А ежели они окажутся к воинской службе не годны, то сослать на вечное поселение в Сибирь.

Параску Блажкун, ее мать Ксению, Марию — жену Михайла Блажкуна и Палажку — воспитанницу Андрия как невиновных оставить на свободе. Но при этом, учитывая честность Параски, донесшей экономии на скрывавшегося в хлеву Кармалюка, благодаря чему он был пойман и дальнейшее злодейство приостановлено, — указано, что Параска не должна остаться без награды и поощрения и в дальнейшем.

Суд признал, что согласно указу, принятому в 1800 году от февраля 9 дня, вышепоименованная Параска должна получить из казны пять рублей серебром.

Матвий Барабаш тяжело поднялся из-за стола и подошел к зарешеченному окну. Руки у него дрожали, на щеках выступил болезненный румянец. Сдерживая слезы, невольно навернувшиеся на глаза, он горячо прошептал:

— Боже мой! За пять рублей серебром... Что господа делают? Что он себе думает, Устим Кармалюк? Зачем все рассказывает на допросах? Надо остановить его! Чего бы это ни стоило, остановить... Но портрет... Он, портрет, выдал атамана... Он... Теперь поздно...

За окном стояла ранняя весна. На вербах серебрились котики, и на голых ветвях еще лопались почки, а на пригорках уже пробивалась молодая зеленая трава. У тюремной стены снова толпились женщины и дети с узелочками и кузовками в руках, со страхом поглядывали на оконные решетки.

Прошло четыре месяца с тех пор, как Кармалюк был пойман в Новой Синяве и посажен в одиночную камеру литинской тюрьмы, но нападения на помещиков и арендаторов не прекращались. На свободе остались Иван Дроздов, Захар Блажкун, Прокоп Данилевский, Мирон Волошка. Они со своими ватагами действовали в разных уездах и это сбивало полицию с толку.

В уездные тюрьмы привозили все новых и новых арестантов. В одной только литинской тюрьме содержалось 618 «соучастников» Кармалюка. В большинстве это были беглые крепостные, участники крестьянских восстаний и бунтов, вспыхивавших в тех местах, где проходили со своими ватагами Дроздов, Блажкун, Данилевский или Волошка. Большая часть их была задержана прошлой осенью, когда на всем Подолье свирепствовала холера и голодные, измученные люди сами выходили из лесных убежищ на столбовые дороги. Их без боя и сопротивления брали под стражу местная шляхта и полиция. Повстанцы были вконец обессилены, готовы на все, лишь бы спасти жизнь. В одиночную камеру был посажен и старший сын Кармалюка, Иван.

Следствие подходило к концу. Приговор для всех узников был одинаков: солдатчина или вечная каторга в Сибири.

Но следователей и тайную полицию удивляло поведение Кармалюка.

На этот раз с первых же дней заключения он вел себя загадочно.

Вначале земский исправник заволновался и приказал неотступно наблюдать за каждым шагом узника, день и ночь подслушивать у камеры Кармалюка, но потом его опасения миновали.

Улович пришел к выводу, что Кармалюк на старости лет взялся за ум, и исправник впервые поверил атаману.

Утром пронзительно заскрипела тюремная дверь, и в камеру вошел агент тайной полиции, который вот уже четыре месяца был приставлен к Кармалюку под видом надзирателя. Сквозь небольшое оконце под потолком в камеру врывался поток свежего воздуха. До Устима долетал крепкий, волнующий аромат молодых трав, напоминающая вешнюю влагу лугов. За стенами тюрьмы расцвела весна, а он все еще сидел в одиночной камере, прикованный цепями за руки и ноги к толстому дубовому столбу.

Это была страшная кара, какой до сих пор не знал Кармалюк и только потому он и решил изменить свое поведение.

Его камера находилась на третьем, верхнем этаже тюрьмы, островерхая башня которой высилась над каменной оградой и буйными садами старого Литина.

Окно камеры выходило на глинистый обрыв, поросший багульником, на дне обрыва бурлила мутная вода.

Камера, где сидел Кармалюк, была неприступна, из нее не убежал еще ни один арестант. Вмурованный в камень дубовый столб, к которому приковали атамана, тоже был надежной гарантией от побега. Отсюда Устим не мог бежать, даже если бы на тюрьму напали.

Но напрасно полиция волновалась. Минуло четыре месяца, а Устим не подавал ни малейшего повода для беспокойства. Он внезапно притих, покорился в первый же день ареста и с тех пор сидел на цепи, молчаливый и подавленный.

Сперва он даже отказался от свиданий с другими арестантами, когда эти свидания были ему намеренно предложены. Потом попросил привести тюремного попа, и с того времени служитель церкви и тайной полиции заходил к атаману каждый день. Поп читал Кармалюку бесчисленные молитвы и уже дважды по настойчивой просьбе самого узника исповедовал его, как перед смертью. Кармалюк, вздыхая, рассказывал ему о своих тяжких прегрешениях, подробно описывал мученическую, одинокую жизнь беглого каторжника, проклинал день, в который начал вести такую жизнь, и отрекался от нее навеки. Горько плакал, вспоминая своих сыновей и жену, и покорно подставлял седую голову под благословение. В горячих молитвах атаман просил бога о счастливой доле для своих детей, заклинал их именем господина не идти по его стопам.

На допросах он тоже больше не таился, а рассказывал подробно и честно все, о чем его расспрашивали.

Переодетый тюремным надзирателем, агент тайной полиции дено и нощно следил за каждым движением, за каждым словом Кармалюка и неизменно докладывал исправнику земского суда обо всем виденном и слышанном. Но рапорты его были однообразны и вот уже четвертый месяц походили один на другой, как близнецы. Кармалюк снова и снова молил всевышнего простить ему его тяжкие прегрешения. Атаман просил батюшку прочесть за него в церкви покаянную молитву.

Он всякий раз завещал похоронить его по православному обычаю на погосте в Головчинцах, где погребены его отец и мать, и вновь повторял, что в четвертый раз не дойдет до Сибири, а умрет где-нибудь на этапе, искупив своей смертью грех перед царем и богом. Над-

зиратель видел искренность каторжанина и убеждал исправника, что Кармалюк наконец раскаялся. Он не замечая, приводил исправника к камере, и Улович слышал, как Кармалюк дрожащим голосом пел молитву о блудном сыне или громко читал псалмы.

Перед исправником лежали все бумаги, заведенные по делу Кармалюка, которые старательно вел Барабаш. Исправник внимательно перечитывал их, изучал но нигде не находил намека на такое странное поведение этого закоренелого преступника. Так не вел себя Кармалюк ни на предыдущих процессах, ни в тюрьмах, где сидел прежде. Это заинтересовало исправника, и он стал доискиваться настоящей причины этого необычного явления. Прикидываться можно день, два, наконец, неделю, но разыгрывать комедию целых четыре месяца — это уже чересчур, после этого наступает или сумасшествие или смерть. Нет, все это было непонятно. Впрочем, однажды исправник составил для себя по судебным документам любопытную справку, которая рассеяла его сомнения. В справке было немного арифметики. Видно, земский исправник любил не только допрашивать, но и складывать числа.

Из справки, основанной на проверенных и точных документах, вырисовывалась такая картина: Устим Кармалюк за сорок три года жизни получил более четырех тысяч ударов шпицрутенами и двести двадцать семь плетями. Никакой другой арестант не смог бы этого выдержать. История тюрьмы не знала подобных случаев. Идя в Сибирь и трижды убегая оттуда, Кармалюк прошел свыше пятнадцати тысяч верст, часто голодный и всегда пешком. При этом у него даже в бурю и выюгу не бывало теплого угла, и он не знал покоя и счастья. И вот жизнь, полная тревог и лишений, — решил исправник, — не только физически истощила Кармалюка, но и убила в нем необходимую для борьбы и отпора энергию. Он обессилел физически и пал духом.

Исправник старательно переписал свою справку, размашисто наложил на нее резолюцию для Матвия Барабаша: внести ее в очередной рапорт губернатору. Сомнений не было: каторга сломила Кармалюка, теперь он — живой труп.

Вскоре тюремный врач констатировал у Кармалюка острое воспаление легких, и земского исправника поразила выносливость арестанта, который даже не пожало-

вался на свою болезнь. Переодетый агент тайной полиции стал обращаться с Кармалюком мягче, но тот, казалось, не замечал этого, по-прежнему равнодушно трижды в сутки встречая надзирателя на пороге камеры. Когда дверь в камеру открывалась, Кармалюк жадно ловил свежий сквозняк, доносивший из окна душистые запахи весны. Надзиратель приносил оловянную миску с жидкой болтушкой и ждал, пока она остынет.

— А что, сеют уже в поле? — спрашивал его Кармалюк.

— Не бываю в поле. Может, и сеют, — тихо отвечал агент.

— А когда на суд поведешь меня? — едва слышно спрашивал Кармалюк.

Агент безнадежно махал рукой, сочувственно глядя на пожелтевшее лицо Кармалюка, на его мутные, глубоко запавшие глаза.

— Куда тебе на суд! Ты сначала очухайся от хворобы. На суд успеешь... Лучше бери, ешь, — и он подставлял Кармалюку миску, давал кусать хлеб из своих рук и кормил его, словно малого ребенка. Оковы не давали узнику есть самому...

— Потерпи немного, — таинственно шепнул однажды агент, искоса поглядывая на узника, чтобы узнать, как он отнесется к новости. — Тебя скоро раскуют.

Кармалюк равнодушно жует черный хлеб, глаза его закрыты, голова беспомощно покачивается на худой шее. Ни одного движения, ни одного изменения в лице. Словно не о нем речь.

— Сам исправник приказал тебя расковать. Вот те крест святой, — продолжает тюремщик, но Кармалюк равнодушен к его словам. Проглотив ложку мутноватой похлебки, он наконец откликается:

— Зачем меня расковывать? Я и так скоро помру... Недолго уже...

— Что ты надумал? Они не допустят... Ты должен быть на суде, — настаивает агент, но Кармалюк молчит, в изнеможении опустив седую голову.

Надзиратель еще некоторое время постоял в камере, но Кармалюк не отвечал больше на его вопросы. Он тихо дремал на дубовой табуретке у столба и даже не открыл глаз, когда дверь камеры со скрипом закрылась за ушедшим надзирателем.

Так проходят еще три томительных и однообразных

дня. Надзиратель повторяет, что Кармалюка скоро раскуют, а Устим словно и не слышит этих слов. На четвертый день пришел сам исправник, а с ним тюремный кузнец. Скоро суд, и Кармалюк должен окрепнуть к тому времени, набраться сил.

По коридору разносится дребезжание железа. Сначала с рук, потом с ног падают тяжелые цепи, и Кармалюк, пошатываясь, медленно отходит от столба. Не желая упасть и хватаясь руками за стену, он ступает шаг за шагом, словно учится ходить. Узкая и темная камера вдруг стала просторной, светлой, в жилах быстрее запульсировала горячая кровь. Кармалюк чуть не вскрикнул от радости. Он победил.

Наступила долгожданная ночь, а Кармалюк все не отваживается заглянуть в свой тайник. Он думает о приближающемся суде и окончательно решает, что следствие тянется так долго именно из-за него. Они хотят найти и выловить всех его сообщников. Верно, не одна сотня людей уже мучается в тюрьмах, а им все мало. Что ж! Пусть ищут! Расплаты господам не миновать. Кто ж виноват, что Кармалюка так глупо и неожиданно поймали? Он вспомнил Новую Синяву и шальную Параску, которая показалась ему в тот день юродивой.

Кармалюк добрался до Новой Синявы поздней осенью, сразу же нашел хату Блажкуна и повидал его сына Кирила. Парень принял атамана с радостью, спрятал в амбаре. Он успел рассказать Устиму о матери, которая осенью в церкви при всем народе отреклась от Захара Блажкуна и уже приглядела себе стареющего гайдука с барского двора. Как же было явиться на глаза такой женщине? Решили, что Кирило поищет безопасное убежище и Кармалюк пробудет в нем, пока не ударят морозы, не кончится холера и по селам не снимут стражу. Но Устим не дождался этой поры. Как-то пришла Параска за сеном и увидела Кармалюка. Устиму сейчас вспомнилось ее страшное, перекошенное от испуга лицо. Он хотел ласково поговорить с нею, объяснить все, но она бросилась прочь, как шальная. Почему он сразу не пошел в хату, не поговорил с нею? Зачем он решил ждать до вечера, когда уже после обеда пришли господские гайдуки и, окружив двор со всех сторон, крепко связали ему руки? Почему он не признался тогда людям, что он не вор и разбойник, а Кармалюк?

Все это глупая неосторожность. Кармалюк затаил черную злобу на предательницу, и когда его уводили со двора, Параска стояла в воротах, отирая слезы. Если б это сделал барчук или шляхтич, а то ведь крепостная, жена его друга Захара Блажкуна. Это горько поразило Кармалюка. Он стиснул зубы, и люди слышали только, как он тихо сказал ей: «Что я сделал тебе? За что ты меня?». . . Но теперь злоба на Параску прошла.

После того, как Кармалюка расковали, он первые две ночи лежал на топчане под свиткой и вил веревку. На третью ночь веревка была готова, и он обмотал ее вокруг тела под сорочкой. Потом вынул острый бурав и нож. Все это до сих пор было привязано снизу к нарам. И пеньку, и бурав, и нож принес Устиму канцелярист Барабаш, когда к камере Устима еще не был приставлен агент тайной полиции и атамана не приковали к столбу. Канцелярист тихо назвал Ивана Дроздова, и атаман все понял. Он как следует спрятал это сокровище, потому что руки его еще не были скованы и он свободно ходил по камере.

Потянулись нестерпимо долгие дни и короткие ночи. Теперь Кармалюку оставалось самое трудное: прорезать в потолке дыру на чердак. Он принимался за работу поздно, когда агент тайной полиции шел отдыхать. Сверлом провертывал одну за другой дырки в потолке, располагая их квадратом, стороны которого были не больше локтя. Перед рассветом он старательно залеплял дырки пережеванным хлебом и замазывал мелом. С потолка сыпался мусор. Кармалюк подметал его ладонями и складывал в печь. Днем, лежа на нарах, он тяжело стонал, громко читал молитвы. К счастью, в те дни его не водили на допрос, и он спокойно готовился к побегу.

В высоком оконце под потолком проплывало ослепительное голубое небо, изредка покрытое облаками, но Кармалюк не подходил к окну, чтобы не вызвать подозрений у тюремщика. А как ему хотелось влезть на табуретку и целый день не отрываясь смотреть на поле, на дремучие леса, слушать пение птиц. Дни, как назло, стояли солнечные, ясные. Кармалюк все ждал грозы, но она не приходила, гром грохотал где-то далеко, обходил стороной тюрьму, и побег все откладывался.

Кармалюк так и не дождался ночной грозы. Однажды поздней ночью, когда полная луна спряталась за ле-

сом, Устим снял сапоги и принялся разбирать печь. Украдкой вынимая обожженные кирпичи, разобрал верх печи и поднялся по кирпичному столбу к потолку. Одно мгновение — и он соединил просверленные в потолке дырки, ловко протолкнул на чердак квадрат вырезанных досок. Постоял с минуту посреди камеры, прислушиваясь. В коридоре громко пел сверчок, словно подгонял Кармалюка: «Беги! Беги! Беги!»

На чердаке было темно, только сквозь слуховые окна серело бледное небо, покрытое облаками. Луна зашла, и над землею лежал густой мрак. Веревка была накрепко привязана к столбу тремя узлами. Кармалюк, медленно разворачивая намотанную на колене веревку, спускался по глухой тюремной стене, которая выходила на поросший багульником обрыв. Высокая каменная ограда с этой стороны вплотную подходила к тюрьме, нависая над обрывом. Между тюремной стеной и оградой проход был так узок, что даже часовой не мог пройти по нему. Эту глухую часть ограды солдаты даже не охраняли. Устим уже стал ногой на каменную вершину ограды и вдруг замер. Крепкая длинная веревка неожиданно кончилась, ее не хватило даже до ограды.

Кармалюк заколебался.

Внизу, под ним, крепко спал старый Литин, шумели кроны густых садов и где-то отчаянно кричала сова. Атаман еще раз взглянул на черное дно глубокого обрыва и ощутил холод быстрины, изменчиво поблескивающей на дне обрыва. Чего ж он остановился, на кого надеется? Кармалюк измерил взглядом расстояние до дна обрыва и стал тихо раскачиваться вдоль тюремной стены. Веревка скрипит, касаясь железной крыши. Она может перетереться от такого раскачивания — и тогда конец, смерть. Кармалюк решительно отталкивается от стены. Раз, другой — и на полном разгоне, когда веревка, достигнув наивысшей точки, перелетела через ограду, срывается в пропасть, до боли сжав голову руками. Он ощущает холодное дыхание воды и крепко зажмуривает глаза.

Сестры уже спали, когда возле хаты слышались чьи-то шаги и в окно тихо постучали. Ганна первая услышала стук и, приподнявшись на локте, некоторое

время испуганно прислушивалась. Стук повторился — тихий, потайной. Ганна разбудила Татьяну, и обе замерли на жестком топчане. Кто мог прийти к ним в такую пору? Может, лесник с гайдуком? Но ведь он сегодня уже приходил. Может, прохожий ищет ночлега? Но зачем же ему стучать так тихо, да еще в боковое окно?

Сестры жили на околице Карицинец, у самого леса. Их хата боковой стеной выходила на дорогу, а глухой — к лесу. Ганна выросла в этой хате, привыкла, после смерти отца, к одиночеству и спокойно относилась к завыванию ветра, к тревожному шуму дубов. После пожара в ходаковской корчме к Ганне перешла жить ее двоюродная, тоже теперь одинокая, сестра Татьяна, и они поселились вместе. Вместе и в тюрьму пошли за Кармалюка, которого Татьяна хорошо знала, а Ганна и в глаза не видела. И вот по возвращении из тюрьмы лес наполнился для сестер тревогой. Тоскливо шумели дубы, и ветер, завывая под окнами, нагонял тоску. Сестры жили в вечном страхе, все ждали, что снова придут гайдуки и поведут их на суд.

Тихая и покорная Ганна сносила все ради Тимка Гречки. Парня прислал к ней сам Кармалюк, и он, молодой умница, прожив у сестер целую зиму, приворожил Ганну. Она души в нем не чаяла. Готова была на все, только бы он навсегда остался с нею. Но не суждено, видно, Ганне счастье. Весной из литинской тюрьмы неожиданно бежал Кармалюк, и Тимко Гречка тотчас ушел к нему. Обещал, что скоро вернется, раздобудет отпускное свидетельство от барина, заработает денег — а там и свадьба. Но где-то он теперь? Вон уж сколько времени прошло, а его все нет. После того как Тимко ушел, к ним в хату не раз заходил Блажкун, бывали Мирон Волошка и русый, высокий, похожий на гусара Иван Дроздов. Ганна расспрашивала их о Тимке, они говорили, что он далеко, находится при Кармалюке и, верно, не скоро завернет в эти леса. Но теперь и старшины куда-то пропали, перестали наведываться в лесную хату. В селах снова горели панские фольварки и экономии, Устим Кармалюк со своими ватагами летал по всей губернии. С ним был, верно, и Тимко. У кого же Ганне расспросить о нем, с кем передать ему весточку? Может, он позабыл ее, нашел себе другую?

— Не откликайся, Татьяна, — шепчет Ганна, но стук в стекло повторился громче, настойчивее.

Сестры вскочили, тихонько прокрались в сени. В сенях две двери. Одна выходит на дорогу к селу, другая, напротив — в лес. Сестры стоят у двери, выходящей в лес, и долго прислушиваются. В хате тонко дребезжит стекло.

Из-за двери до Ганны донесся приглушенный стон. Слабый голос тихо просит воды, болезненно стонет, и Ганна пытается узнать голос. Около порога о камень ерзают чьи-то ноги, несколько голосов успокаивают того, кто просит воды, и Ганна уже не слышит стопа. Она шарит дрожащей рукой, нащупывая деревянный засов. Наконец она его находит и дверь отворяется.

— Татьяна, не бойся... это мы, — доносится со двора в сени, и два человека, низко пригнувшись, вносят на руках третьего.

Сестры спешат в хату, позабыв закрыть сенную дверь. Ее притворяет четвертый гость, который остался во дворе. Ганна плотно завесила свиткой, платками и ряднами окна. Татьяна раздувает в подпечке жар, положив на угли сухую лучину. Больной тяжело стонет. Татьяна зажгла от лучины плошку и поднесла к больному. Дрожащий язычок пламени выхватывает из темноты хмурые лица людей.

— Устим! — всплеснула руками Татьяна. — Как же это? — горячо шепчет она, и в этом шепоте Ганна чувствует волнение.

Устим стоял на коленях перед Мироном Волошкой, прижимая к его губам кружку с холодной водой. Не оглядываясь на Татьяну, приказал:

— Полотенце чистое! Живее!

Ганна бросается к сундуку и выхватывает первый попавшийся под руку рушник. Уже потом она опомнилась, — это был не тот рушник — он был густо расшит, этот свадебный рушник, приготовленный для сватов, которые придут от Тимка с хлебом-солью. Но бог с ним, с рушником. Ганна сама не своя оттого, что увидела наконец Устима Кармалюка. «Какой же он старый! А я думала парень!»

И Ганна протягивает Кармалюку рушник, расшитый дубовыми листьями и желудями. По краям рдеет прозрачное кружево и широкая прошва.

Кармалюк выхватил нож и вспорол сапог на правой ноге Мирона. Из сапога на пол полилась кровь. Мирон стонет, когда рану заливают водкой, но тотчас затихает,

как только ему туго стягивают простреленную ногу. Сквозь узор проступает кровь.

— Больно? — спрашивает Кармалюк.

— Нет... Словно огня приложили... Мне спать охота... Спать... — шепчет Волошка.

— И Прокопа как назло нет, — досадливо бросает Кармалюк. — Где он там замешкался, наш Прокоп?..

— Прокоп вместе со своей ватагой остался в засаде у столбовой дороги, — поясняет Захар Блажкун. — Мы же так сами решили, чтоб Прокоп драгунам дорогу перекрыл, когда те, увидав пожар, вылетят на лошадях в Галузинцы из соседнего села. Вот, может, он и встретил драгун на опушке.

— И что ж встретил? — неуверенно спрашивает Кармалюк.

— Кажется, встретил, — отвечает Захар. — Я слышал выстрелы в той стороне и лошадиное ржание... Может, Прокоп до сих пор ведет бой с драгунами.

— Вот беда, — бросает Кармалюк и наклоняется к Мирун Волошке.

Тот тяжело стонет.

Его осторожно кладут на топчан и накрывают до подбородка кожухом. Мирон вначале прислушивается к разговору, рассматривая знакомую хату, но скоро его охватывает дремота.

— Зачем ты отпустил его от себя? — гневно спрашивает Кармалюк, подступая к Захару Блажкуну.

— Он со мной не был. Он шел за Иваном, — поясняет Захар.

— А ты куда смотрел, Иван? — Устим бросает сердитый взгляд на Дроздова.

— Виноват, — глухо отвечает тот. — Он по твоему приказу меня стерег, чтобы я на офицера не бросился. Вот сам и наскочил на него... Я и оглянуться не успел, Устим, как все это произошло... Ты же видел, какая там кутерьма началась...

Кармалюк, присев к столу, пожимает плечами.

— И на кой черт он сцепился с этим офицером? Они и так будут помнить нас до новых веников — комиссия, губернатор. Как же! Именем его императорского величества хотят поймать Кармалюка. Протоколы пишут, доносы строчат... Ну, Кармалюка вы еще можете схватить, он не вечен... А что вы с народом станете делать? Разве можно весь народ переловить да загнать в Си-

бирь или в тюрьму? Черта лысого!... Комиссию, вишь, придумали... Все Галузинцы испакостили, а какое чудесное село... И много там бумаг казенных было? — обратился Кармалюк к Захару.

— Да пудов десять, — отвечает тот.

— А ты хорошо видел — все потонуло? — спрашивает Кармалюк, поглаживая усы.

— Потонуло. Я сам бросил в воду два тюка. На шлюзах такой водоворот, что и человек не выплывет, а не то что бумаги в мешке. Пошли на самое дно! Мы все из шкафов и кованого сундука забрали. А самые главные бумаги Матвий Барабаш указал... Отбирать не пришлось...

— А он, этот канцерист, видать, парень честный, — говорит Кармалюк, вглядываясь в Захара и Ивана. — Такие редко попадаются среди чернильной братии... Надо бы его деньгами отблагодарить, как вы думаете?

— Зачем ему деньги? Он и так за нас горой стоит, — возражает Иван.

— Пусть будут у него деньги. Он взятки с простого люда не берет, а чтобы начальство не заподозрило, надо ж и ему чем-то это начальство ублажать... Ему ради нас своя рука везде нужна. И в полиции, и в суде, и в тюрьмах... На это денег не пожалею, — решительно говорит Кармалюк, поняв всю значительность внезапного ночного нападения на местопребывание чрезвычайной комиссии по делу о подавлении крестьянских восстаний и поимке Устима Кармалюка.

Галузинецкая правительственная комиссия была создана подольским генерал-губернатором по приказу наместника Королевства Польского великого князя Константина тотчас же после побега Устима Кармалюка, когда вновь участились нападения на усадьбы видных правительственных чиновников и зажиточной шляхты. Пожары возникали одновременно в нескольких уездах, и полиция с войсками всегда опаздывала, так что ей ни разу не удалось поймать повстанцев на месте преступления. По всем селам вновь расставили полицию, военные патрули и стражу из вооруженной челяди. Каждому, кто выдавал бунтовщика или беглого крепостного, заподозренного в связях с бунтовщиками, казна выплачивала десять рублей золотом. Во главе чрезвычайной комиссии генерал-губернатор поставил опытного чиновника Третьего отделения тайной канцелярии, снабдив

его неограниченными полномочиями. Чиновник немедленно выехал из Каменец-Подольска на место восстания, объединил Литинский и Летичевский суды в полном составе и целая свора чиновников, офицеров и полицейских осела в Галузинцах, где был центр, вокруг которого особенно усилились крестьянские бунты и действовал сам Устим Кармалюк. Галузинецкая комиссия, начав работу летом 1833 года, закончила ее только через четыре года.

Прибыв в Галузинцы, чиновник по особым поручениям выселил с главной улицы всех крепостных, и в их хатах разместились чиновники, полиция, канцеляристы и охрана. Глава комиссии остановился в господском имении, соорудив в трех каменных амбарах временную тюрьму. Выселенные из хат крепостные вынуждены были жить в хлевах и погребах. Им было запрещено даже выходить за пределы села. Комиссия допрашивала свидетелей — мелкую шляхту и потерпевших помещиков и арендаторов. Все свидетели утверждали, что во время нападения на господские имения они Кармалюка среди бунтовщиков не видели. Он, верно, сидел в лесу и руководил бунтовщиками издали.

Задержанные повстанцы и подозреваемые крепостные подтверждали тоже, что они Кармалюка не видели и не знают. Но комиссия уже составила длинные списки беглых крепостных, пребывавших в отрядах повстанцев, переписала сотни людей, которые, по доносам шляхты, сочувствовали Кармалюку или были его соучастниками. Вслед за этими списками полиции предстояло произвести повальные обыски и аресты, и канцелярист земского суда Матвий Барабаш не мог вынести такой неправды. Он встретился с Мироном Волошкой и обо всем ему доложил. Матвий просил немедленно передать все это самому Устиму Кармалюку. Ждать дольше было бы преступлением, и Кармалюк решил напасть на галузинецкую комиссию.

Первая ватага Мирона Волошки, в которой был Иван Дроздов, вышла из леса на луг и, спрятавшись в высоких арбах, доверху груженных сеном, прибыла незамеченной на господский двор, за винокурню, где складывали сено в стога. Уже стемнело, и, сославшись на это, крепостные, которые привезли сено на волах, не стали его копнить, а разошлись по домам. Итак, первая ватага очутилась в скирдах посреди села, под боком у

чрезвычайной государственной комиссии. Вторая ватага под командой Захара Блажкуна незаметно подобралась к Галузинцам из леса и засела у самого села в густых камышах. Прокоп Данилевский сидел со своим отрядом в засаде у тракта на тот случай, если драгуны из соседнего полка увидят пожар и помчатся на помощь галузинецкому гарнизону. Прокопу надлежало задержать драгун и скрыться в лесу. Лес тут густой, и драгуны не решатся заходить в него среди ночи. Когда стемнело и взошла луна, вспыхнули господские стога, а за ними винокурня. Мирон Волошка и Дроздов, как было условлено, подожгли высокие котлы со спиртом и мазут в машинном отделении. Вместе с винокурней загорелся и господский дом, амбары с хлебом и необмолоченные скирды пшеницы. В имении поднялся переполох. Чиновник по особым поручениям, приказав полиции и солдатам гасить пожар, бросился в глубокий погреб и просидел там всю ночь за бочками с капустой. Этим воспользовалась ватага Захара Блажкуна. Выскочив из камышей, повстанцы налетели на имение, забрали у барина все векселя, деньги, долговую книгу, потом бросились к казарме, захватили там оружие, брошенное солдатами, убежавшими гасить пожар. В это время в село верхами влетела чертвертая ватага во главе с самим Кармалюком. Сбив замки на амбарах, они выпустили всех узников, приказав им немедленно бежать в лес. Мирон Волошка и Дроздов завязали бой со стражей около главной канцелярии, где хранились все бумаги чрезвычайной комиссии. В этой суматохе были убиты три полицейских, ранены два канцеляриста; офицер, на которого бросился Волошка, ранил его в ногу, но Дроздов тут же снес офицеру голову саблей. Увидав смерть офицера, стража разбежалась, и повстанцы ворвались в канцелярию. Там был Матвий Барабаш. Он указал, какие бумаги надо немедленно взять и уничтожить. Блажкун бросился к сундуку и шкафам, совсем позабыв о канцеляристе, и, Матвий, схватив его за ворот, прошептал: «Ну, вяжите же хоть меня, вяжите на глазах у людей, ироды проклятые!» Захар расхохотался, сам связал ему руки и ноги и уложил на лавку. Других канцеляристов связали в сенях. Пробегая мимо них, Захар крикнул: «Я, братцы, Кармалюк! Передайте начальству, что буду вешать их, пока не перестанут пытать арестантов!..» Над селом

прозвучал троекратный свист, и все четыре ватаги разными дорогами вылетели из Галузинец. Они мчались в обозначенные Кармалюком для каждой отдельные пункты и только сам атаман со старшиной и раненым Мироном пробились к лесной хате.

Кармалюк прошелся по хате. Если б не ранение Мирона, налет на губернскую комиссию прошел бы блестяще. Но они и так заварили кашу! Верно, целый год чиновники двух судов писали протоколы допросов и списки тех, кого следует посадить в тюрьмы,— и вот за одну ночь не осталось у них ни клочка от этих бумаг. И, главное, никто не видел, как Захар швырнул их с плотины в воду, когда отряд мчался через мост. Господа думают, что Кармалюк унес эти бумаги с собой, а они уже совсем размокли на дне. Пусть начинают все сначала, пугливое воронье. Устим умело вывел своих молодцов из боя; как и было условлено, основные силы после стычки с полицией ушли на запад, в болота, и рассыпались в разные стороны. А они с раненым Мироном выскользнули из Галузинцев, незаметно отстали и напрямик пошли на Каричинцы. Если б не ранение Мирона, они, может, и не заглянули бы к Татьяне.

Кармалюк опустил голову. Он думал о том, правильно ли поступил, оставив свои ватаги на попечение заместителей старшин. Ватагам удалось уйти из Галузинцев и теперь они разными путями пробирались к месту сбора, назначенному в глухом лесу. Нет, кажется, правильно поступил. Тем более, что его очень волнует рана Мирона. Погоня бросится вслед за ватагами, думая настичь Кармалюка, значит, верно поступили его побратимы, спасая тяжело раненного Волошку. Дорога до Каричинцев казалась неопасной, убежище у Мирона будет, а всем остальным нетрудно будет добраться до места сбора через дремучие леса, окружающие Каричинцы.

Кармалюк ходил по хате, разминая ноги после долгой езды верхом, и время от времени бросал незаметный взгляд на Татьяну. Она сидела молчаливая и печальная, опустив глаза. Обнаженные по локоть руки приятно волновали Устима, напоминая о далеких днях в ходаковской корчме. Тогда в бравой корчмарке было что-то задорное, детское, а сейчас Татьяна словно постарела, стала хмурой, молчаливой. Атаман остановился перед ней.

— О чем грустишь, Татьяна? Для нашей печали ве-

ка не хватит, а он у нас и так короток... Рассказывай, молодница, как вы тут живете?

— Горькое наше житье,— отозвалась Татьяна.

— Это не новость,— Кармалюк сел между сестрами, и Ганна отодвинулась от него.— Житье теперь у всех одинаковое,— продолжал Устим.— Думаете, мы с побратимами по-барски живем? Врагу своему не пожелаю такого барства.

— У вас дорог много,— большие глаза Татьяны блеснули.— А мне как жить? Куда деваться? Вырвали меня, как березоньку в поле... Вырвали с корнем!

Ганна печально покачала головой, вздохнула. Кармалюк поднялся с лавки.

— Не говори так, Татьяна... Тебе, я вижу, твоей ходаковской корчмы жаль... Да что поделаешь, так надо было... Ну, об этом потом поговорим. А это кто — сестра твоя?

Кармалюк показал глазами на Ганну.

— Сестра двоюродная,— сказала Татьяна.

Устим подошел к Ганне и с легким поклоном сказал:

— Спасибо вам, Ганна, за все. Добрая у вас душа. Честная. Не знаю, как вас и благодарить.

Ганна в ответ низко поклонилась, а он, расхаживая по хате, продолжал:

— Попался вам, Ганна, хороший жених. Жаль мне отпускать его, да что поделаешь. Коли ваша воля на то, так отпущу. Вот только раздобудем ему вольную у барина — и можно сыграть свадьбу.

Ганна встрепелась, кинула быстрый взгляд на Устима, и в глазах ее вспыхнул огонь. А у помрачневшей Татьяны выступили на глазах слезы, и она низко надвинула на лоб платок. Кармалюк заметил это и обратился к Ивану и Захару:

— Братцы, гляньте-ка на коней! Тимка сменить пора, устал, верно, парень...

Иван Дроздов и Захар вышли из хаты. Ганна тоже вскочила и, накинув платок, бросилась за ними.

— Постойте, я вам что скажу,— обратилась она к ним, затворяя за собою дверь.

Татьяна прислушивалась. Вот они прошли в сени, вот вышли во двор, вот шаги их затихли в чаще кустарника. И она, словно обезумев, бросилась в ноги Кармалюку:

— Устим! Сокол мой... Не гони меня,— горячо шептала она, протягивая к нему руки.— Ты отнял у меня богатство, разрушил, сжег мое гнездо, но я не гневаюсь... Я люблю тебя, ты же знаешь. Все, что у меня есть, тебе отдам, только брось эту жизнь. Брось разбой. Убежим отсюда к морю... Там нас никто не знает, и мы счастливо заживем. Я сберегла немного денег... На первые годы хватит... Ну, чего же ты молчишь, Устим?

Кармалюк, давно ожидавший такого оборота, молча поднял Татьяну и усадил рядом с собой. Он знал: рано или поздно, а это должно произойти. Еще там, в ходяковской корчме, Татьяна не раз бросалась ему на шею, шепча жгучие слова любви, но за все эти ласки, за любовь требовала одного: чтобы Кармалюк бросил бродяжничать и бежал с ней в далекие степи, в Таврию. Она просила уюта и верной любви, а Кармалюк бежал от всего этого, отдавая свою жизнь другим, таким же, как он сам, бесправным крепостным. Он думал, что после истории с конокрадами Татьяна одумалась, а выходит — нет. Вот почему она смело пошла за него в тюрьму, сносила побои на допросах, уговорила и Ганну идти с собой и молчать повсюду о Кармалюке. Теперь она в последний раз пробовала силу своей любви, смело глядя правде в глаза.

— Я буду просить у церкви развода, со своим мужем-выкрестом. Трудно это сделать, но женам арестантов иногда дают развод,— искренно и откровенно говорила Татьяна.— Я, Устим, буду твоим сыном как родная мать.

Кармалюк, который слушал Татьяну как сквозь сон, вдруг пробудился. Что она сказала? От неожиданности Устим зажмурился, и перед глазами у него тотчас встала последняя встреча с сыновьями в Головчинцах. Зачем Татьяна напоминает об этом? Зачем? В тот раз, переодетый нищим, он в последний раз увидел свою Марию уже в сосновом гробу, когда ее выносили из хаты. Она лежала суровая, изможденная, крепко сжав губы, сложив на груди большие натруженные руки. А он стоял в толпе людей старый и оборванный, с лирой через плечо. Он проводил ее на кладбище, и никто из односельчан не узнал его в толпе. За гробом шли все три его сына, но Устим боялся подойти к ним на людях. Он слышал страшный и холодный стук земли о сосновые доски. В первый раз видел, как плакал Остап, прижав

шись головой к белой березе. Устим даже разглядел своего первого внука, кудрявого и курносого мальчонку, которого держала на руках жена Ивана — Марина. Это был трудный, мучительный день, а ночь оказалась еще тяжелее. В ту ночь Кармалюк прокрался к своей хате, и сыновья не узнали его, когда он вошел. Он принес им немного денег и гостинец Марине. Они проговорили до рассвета, и ему все казалось, что вот поднимется с топчана Мария и снова станет умолять его не бросать ее с детьми. Но Марии уже не было. В холодной опустевшей хате пахло душицей и воском да на ясеновой жерди одиноко висела Мариина белая свитка. Вот как все это было. Об этом не знают ни Захар, ни Иван, ни Мирон. Кармалюк один ходил в Головчинцы перед тем, как идти в Новую Синяву. Он сердцем чуял, что там стряслась беда... А неистовая Татьяна ничего не хочет знать и повторяет свое.

— Мы возьмем с собой Остапа... Он всегда будет с тобой... Он так мало знал любви и ласки, — шепчет она, прижимаясь горячей упругой грудью к плечу Устима.

В хате тихо, душно, на топчане, раскинув руки, сквозь сон стонет в жару Мирон Волошка.

— Замолчи, Татьяна! Не надо... Мария померла, царство ей небесное, а у тебя совести нет, — укоризненно говорит Устим.

— Померла? — чуть не вскрикивает от неожиданности Татьяна и сразу, опомнясь, наклоняет голову. — Царство ей небесное!

— Она сыновей мне вырастила, хозяйство сберегла... Нехорошо, Татьяна, так о ней говорить. На мертвых зlobиться не должно, — тихо говорит Устим.

Татьяна покорно склонилась ему на грудь, обожгла слезой его жилистую руку. Лучше б ей помолчать!

— Устимочко! Прости меня, — шепчет она. — Я так измучалась... Я буду ждать тебя... Только скажи мне всю правду — есть ли у тебя в сердце хоть маленький уголок для меня? Скажи, Устимочко, не таись...

Кармалюк ласково снял со своих плеч ее руки, дорогие, словно налитые, уже готовые крепко, горячо и надолго сжать его в объятиях. Он вдруг заходил по хате, о чем-то раздумывая, а Татьяна, сгорбившись, сидела на лавке, с жадностью ловила каждое его движение, так, словно в этот миг навсегда прощалась с Кармалюком.

— Татьяна,— сказал наконец Устим.— Сердце мое нераздельно. Одна в нем любовь — к тем, кого барская кабала берет за горло. И от этой любви к беднякам хлопочет у меня в сердце великая злоба на господ... А ты, Татьяна, добрая, хорошая женщина... Против тебя и слова не скажу... Только вот не разгадаю я тебя никак... Ты же знаешь, что выдалась мне тяжкая дорога — вышел я на неравный бой с господами. А ты толкаешь меня с этой дороги в сторону. Ты зовешь в теплую хату, к синему морю, хочешь, чтобы я променял пистолет на рыбачью снасть, острую пику на плуг. Как же мне теперь быть, сама подумай...

— Атаман...— молила Татьяна.— Я сгоряча тебе все это наговорила. Поверь мне. Я пойду с тобой в лес, на край света пойду, куда велишь. Мы будем вместе сносить все. Ты не думай, что я женщина... Я научусь... Когда горит хата, кошка всегда выскакивает из огня и бежит за хозяином... Так и я, Устим.

Татьяна потянулась к нему, но тут со двора донесся громкий свист. Тимко, что стоял на страже возле коней, свистнул раз, другой, да так громко, что от этого свиста проснулся даже Волошка. Увидав остолбеневшего Кармалюка, который схватился за пистолеты, Мирон хотел соскочить с топчана, но простреленная нога больно заняла, и он, застонав, снова опустился на подушку. Атаман взмахнул картузом, погасил плашку. Стукнула дверь, о порог споткнулась запыхавшаяся Ганна, испуганно крикнув:

— Солдаты! Их собаки по следу ведут.

Кармалюк подбежал к Мирону, прижался губами к его горячему лбу и щекой почувствовал слезы на лице побратима. Ему стало горько, что за весь вечер он ни слова не сказал другу. Вдруг мелькнула мысль: «Может, Мирон слышал его разговор с Татьяной?»

У двери послышался топот, суета...

— Прощай, Мирон,— жаркодохнул ему в лицо Кармалюк.— Сейчас не возьму тебя, а то кровью изойдешь, а потом приеду. Крепись! В тюрьму и то за тобой приеду...

В хате наступила мертвая тишина. Все прислушиваются и ждут чего-то. Стукнула оконная задвижка, и Мирона обдало холодным ветром. В окно тихо выскользнул Кармалюк. Из лесу донесся громкий крик, псд окном затопали, грянул далекий выстрел, за ним вто-

рой, третий, но Кармалюк на них не отвечал. Где-то далеко залаяли охотничьи собаки, ведя по следу солдат и полицию. Глухо ударили конские копыта и в темноте затихли.

Татьяна грудью упала на стол и громко зарыдала.

На отблески пожара, высоким заревом поднявшиеся в небо, на звонкие выстрелы, разбудившие ночь, из соседнего села в Галузинцы помчался сторожевой отряд драгун. Тревожно заиграла труба, заржали сытые кони и всадники уже в седлах стряхивали с себя теплый сон. Они летели по двое в ряд, по узкой тропочке, над которой нависла глубокая ночь. Она казалась густой, как смола, совсем непроглядной от черной громады леса, вздымавшегося по обеим сторонам. Всадники шурились, как это делают все, кто вдруг попал из освещенного дома в темноту двора. Но вскоре немного посветлело, далекое зарево бледными отблесками заиграло на кронах вековых дубов.

Прокоп Данилевский первый услышал драгунскую трубу, игравшую боевую тревогу.

Горячая кровь пробежала по телу, клубок подкатил к горлу. Прокоп взбежал на высокий ров при дороге, крикнул:

— Братцы! К оружию!...

Вокруг него закачались, ожили придорожные кусты, забряцало оружие, это поднимались повстанцы. Высокие молдаване в островерхих шапках держали длинные пики и штуцеры. Кое у кого были пистолеты, некоторые держали острые косы и железные вилы, проволокой прикрученные к крепким рукояткам. Несколько повстанцев были вооружены увесистыми кнутами, похожими на обычные цепи.

— Слышим, атаман! — хором ответили молодцы.

— Мы готовы! — Сын вдовы Карпо Гаевой взмахнул пикой.

Прокоп узнавал людей по голосам, ведь уже не один налет на господские усадьбы совершил он со своими братьями, как самостоятельно, так и в отрядах Кармалюка.

Тут были беглые крепостные, которых Прокоп увел с собой от графа Моркова, и обиженные оброчные из имения камергера Базилевича. В отряде сражалась и большая группа молдаван-батраков. Прокоп слышал их горячее дыхание, угадывал тревогу. Сегодня впервые его молодцы встретятся в неравном бою с регулярным царским войском, отборными драгунами. Это уже не полиция и не господские гайдуки, а настоящие драгуны. Кармалюк учел все и прислал Прокопу подкрепление из других отрядов, дал десяток новых ружей, штуцеров.

Данилевский со своим отрядом должен был задержать драгун в этом лесу, преградить им путь в Галузинцы, куда они помчатся на помощь чрезвычайной комиссии, завидев зарево пожара и услышав выстрелы. Драгуны не должны пройти этим лесом. А когда после стычки с повстанцами они повернут назад, чтобы прорваться в Галузинцы другой дорогой, через озеро, будет уже поздно. Кармалюк закончит дела в Галузинцах и успеет отойти с людьми в леса. Ради успеха этой операции Данилевский и прибыл со своими повстанцами в лес, и, разделив молодцев на два отряда, поставил их в засаду по обе стороны дороги.

Начать бой с драгунами должен был отряд Гарасима Танцюры, притаившийся в кустах по ту сторону дороги. Когда драгуны завяжут с ним перестрелку, а потом спешатся, Данилевский ударит им в спину, прорвет оборону и, соединившись с отрядом Танцюры, отойдет в глубь леса. Сквозь лесные болота они пробьются на соединение с основными силами Кармалюка. Вряд ли драгуны, после внезапного нападения на дороге, бросятся за Прокопом в незнакомый дремучий лес. Так решил совет старшин, и Кармалюк одобрил это решение.

Прибыв в лес с вечера, отряд Прокопа выжидал; молодцы выбрали четыре самых могучих дуба, росшие у обочин, по обе стороны дороги, и повалили их. Два дерева, спиленных на стороне Прокопа, свалились поперек дороги и кронами уперлись в глубокий ров, за которым засел со своими побратимами Гарасим Танцюра. Два же дуба, спиленных на стороне Гарасима, упали своими вершинами к ногам Прокопа. Теперь путь драгунам преграждали вековые дубы, закрывши дорогу непролазным плетевом из узловатых веток и толстых стволов. Тут и саблю не воткнешь. Подавай отличных лесорубов, только они могут расчистить драгунам эту лесную дорогу,

Прокоп сам выбирал самые лучшие дубы, чтобы зава-
лить ими путь.

Тревожно играет драгунская труба. Эхом откликает-
ся в темном лесу, пугает лесных зверей. Прокоп хочет
пробраться на эту сторону, к Гарасиму Танцюре, чтобы
окончательно взвесить, как у него обстоят дела перед
боем, но поздно. Земля уже стонет под ударами конских
копыт, драгуны вот-вот вынырнут из-за поворота.

— Эй, Гарасим! — кричит Прокоп через дорогу. —
Готовься!

— Готовлюсь! — над его головой вырастает коренастый
Танцюра, поднимая в воздух свой штуцер.

— За Грицком следите, — приказывает Прокоп.

— Сделаем, атаман, — отвечает Танцюра, и словно
лесной гул слышится в его голосе.

Графский казачок Грицко тоже бежал из имения и
скитался с повстанцами. Оружия у мальчика еще не бы-
ло, а для храбрости он носил на боку большой нож и
выполнял разные поручения повстанцев, поддерживая
связь с корчмарями и дворовой челядью в имениях.

Прокоп сам следил за Грицком, а когда уезжал из
отряда, поручал мальчонку Карпу Гаевому. Карпо бе-
жал из имения Базилевича в тот же день, когда его по
приказу Кармалюка расковали. Бежал от рекрутчины и
больше не попадался на глаза барину и его гайдукам.
Он так же, как и Гарасим Танцюра, стал побратимом
Прокопа Данилевского.

Горячие молодцы. Только и держи за руки, чтобы не
натворили какого лиха, когда отряд нападает на господ-
ское имение. Все трое хлебнули горюшка у господ.
У всех в отряде Прокопа на теле рубцы и шрамы от
господских пыток. Оттого и бежали к Устиму Кармалю-
ку. Вот и сейчас, как только вспыхнула экономия в Га-
лузинцах, слышались первые выстрелы, Прокоп с тру-
дом удерживает их. Повстанцы сразу позабыли, для
чего Данилевский привел их в этот лес, и чуть не броси-
лись в Галузинцы.

Теперь, заслышав драгунскую трубу, они опомнились
и притихли, сбились вокруг Прокопа, глаз с него не сво-
дят. Ждут сигнала, чтобы тоже начать. Данилевский
взмахнул обнаженной саблей, тихо, но так, чтобы слы-
шали все, приказал:

— Без меня не стрелять. Я знак подам.

— Знаем, — за всех ответил Карпо Гаевой.

— Только бы не опоздать, — бросил кто-то из молдаван.

— Не опоздаете! — успокоил Прокоп.

Снова заиграла труба, да так громко, словно над самым ухом.

Сильнее задрожала земля, слышался конский храп и из-за поворота показались драгуны.

Впереди ехал офицер, даже в темноте поблескивало золото позументов у него на груди. По обе стороны от него чуть позади держались два унтера, а за ними ровно покачивались в седлах статные драгуны. Они ехали быстро, не оглядываясь, уверенные в своей силе и отваге.

Карпо Гаевой перекрестился и, подняв ружье к плечу, прошептал:

— Господи, благослови на супостата... Неповинен я, господи...

Офицер взмахнул нагайкой, драгуны крепче натянули поводья, и чуть не налетели на сваленные дубы. Они их не заметили, дорога здесь круто поворачивала, пряталась в густой тени, и темнота становилась еще непрогляднее. Офицер рванул коня назад, но тут грянул выстрел со стороны Гарасима, и драгун, отчаянно закричав, грудью упал на шею коня. Гарасим Танцюра, лучший охотник камергера Базилевича, сразил офицера наповал. По команде Гарасима прозвучал первый дружный залп. На землю грохнулись две лошади, придавив своих всадников. Свалились замертво трое передних драгун. Задние с разгона налетели на передних — слышались отчаянные крики раненых, ржание коней, донеслись какие-то команды обоих унтеров.

Среди воплей и стрельбы Прокоп строго предупредил своих молодцев, готовых уже открыть огонь:

— Не смей! Я подам сигнал...

Все глядели на него горящими глазами, полными недоумения, крепче сжимали ружья. А те, у кого были пики и косы, выдвинули их вперед, чуть ли не за высокий ров.

— Молчать! Еще не время, — шептал Прокоп.

Со стороны Танцюры долетел второй залп, но драгуны уже опомнились. Бросив мертвого командира и раненых, они по команде унтера быстро спешили, уложили коней возле рва, спрятались за ними и открыли ураганный огонь по людям Гарасима. В темноте было трудно раз-

глядеть, где именно они залегли, и Прокоп догадывался об их расположении лишь по вспышкам ружейных выстрелов. Вспышек становилось все больше, вскоре в них потонули одиночные выстрелы молодцов Танцюры. Видно, там произошло какое-то замешательство, потому что драгуны уже взяли приступом высокий ров, зашли к повстанцам с фланга. У самого рва возле кустов завязался рукопашный бой. Наверно, убитые, раненые были и среди повстанцев.

Пришло время помочь Гарасиму Танцюре.

Прокоп выхватил саблю, взмахнул ею в воздухе, крикнул своим:

— Братцы, бей их в спину!

Разбежавшись на пригорке, он перепрыгнул через ров и помчался среди сваленных дубов через дорогу. За ним, чуть не наступая ему на пятки, летели повстанцы.

Но тут Прокоп совершил непоправимую ошибку. В темноте он не заметил, что драгуны заняли круговую оборону. И если основная их масса укрылась за лошадьми и стала обстреливать отряд Гарасима, то часть все же залегла с боков, повернувшись навстречу Прокопу.

Эта засада до сих пор молчала. Но когда Прокоп бросился на помощь своим, драгуны внезапно дали по нему дружный залп.

Высокое пламя ударило Прокопу в грудь, обожгло глаза горячей волной, подкатилось к горлу. Словно кто-то вылил на него ведро кипятка. Прокоп покачнулся, отчаянно закричал и стал медленно клониться к земле. Карпо Гаевой подхватил его на руки и услышал, как он болезненно застонал:

— Ох, детки мои... деточки...

— Атаман! Я здесь! — беспомощно воскликнул Гаевой.

Но Прокоп уже не слышал его слов. Он всхлипнул в последний раз и повалился на землю. Карпо грудью упал на атамана, заметил на его высоком лбу горячую кровь.

Повстанцы не заметили страшной беды. Они залегли среди поваленных дубов, ударили из своих штуцеров и пистолетов драгунам в спину. Стреляли не все сразу, а по очереди, как их научил Прокоп. Пока одни вели огонь, другие заряжали ружья и выстрелы звучали непрерывно.

Карпо Гаевой иступленно закричал:

— Бейте их! Они атамана нашего!.. Атамана!..

Гнев запылал в сердцах повстанцев. Они, как одержимые, ринулись на драгун, пустив в дело пики, кнуты, косы. Только и слышалось в этом жарком бою горькое, иступленное:

— Атаман убит!

— Атаман, боже праведный!

Глухо и тревожно зашумели кроны дубов, над ними прокатился ветер, и лес сразу заговорил сотнями голосов. Хлестали кнуты, звенели пики и косы, и еще раздавались одинокие выстрелы, которыми кармалюковские молодцы нагоняли драгун.

И вдруг все стихло. Только стонали раненые, да где-то тоскливо рыдала сова.

Горько плакал Карпо, склонившись над телом атамана. Повстанцы молча скидывали шапки, широко крестились, и, опустившись на колени, целовали мертвому руку. Горячие слезы катились у них из глаз.

Пожар в Галузинцах погас, выстрелы давно стихли — Кармалюк закончил свое дело и теперь уходил в леса, скрываясь от погони.

Карпо Гаевой поднялся и приказал:

— Соберите оружие драгун и ловите коней.

Повстанцы молча выполнили его приказ, так, словно это был приказ самого Прокопа Данилевского. Только опечаленный Гарасим с досадой бросил:

— Как же ты, Карпо, не уберег его?

Гаевой не ответил, только снова заплакал.

Гарасим обнял товарища за плечи, тихо сказал:

— Не плачь, верно, на то божья воля...

Повстанцы заарканили драгунских коней, собрали оружие, уложили в телеги своих раненых и отряд двинулся в глубь леса, к озеру, на место встречи с основными силами Кармалюка. Ехали и верхом, и на телегах, в задумчивости склонив головы.

Вперед с тремя всадниками помчался Гарасим Танцюра сказать Кармалюку о смерти своего атамана.

Когда рассвело, отряд Прокопа прибыл к глухим лесным озерам. А после восхода солнца туда на взмыленных конях примчался и Устим Кармалюк со своей старшиной.

Прокоп лежал на телеге, по грудь накрытый черной свиткой, вокруг горели восковые свечи, воткнутые в по-

лок. Прокоп был желт, как воск, так много потерял крови.

Кармалюк сбросил шапку, поцеловал Прокопа в сложенные поверх свитки руки и, словно не обращаясь к повстанцам, сказал:

— Не уберегли... А я же велел всем... Чуюло ж сердце, что не надо было посылать, а я не послушал его... Детей осиротил, жену вдовой сделал... Боже праведный, ты что, ослеп, не видишь моего горя?..

Телегу сняли с колес и словно гроб на шерстяных поясах опустили в свежую могилу. Все выстроились, держа наготове оружие, какое у кого было, но не стреляли, погоня все еще бродила где-то поблизости.

Кармалюк набрал полную шапку земли, высыпал Прокопу на грудь. То же сделали Иван Дроздов, Захар Блажкун, Илько Сотничук, а уж за ними и все повстанцы. Долго еще они сыпали и сыпали землю из шапок. Выросла одинокая могилка в лесной глуши. Высокую не велел насыпать атаман, чтобы господа не нашли, не поглумились над телом верного побратима. Потом ножами и косами срезали свежего дерна, обложили могилку, принесли куст калины и Кармалюк сам посадил его в головах. У кого в баклажках была вода, всю вылили под калину и тронулись дальше в путь печальные и усталые.

Василий Андреевич Тропинин стоял перед высоким зеркалом и старательно завязывал на шее большой черный бант. Накрахмаленный до блеска пикейный воротник был тесен и неудобен. Работать в нем трудно, а жена вдобавок к этому заставила надеть еще и белый жилет, и новую фракную пару, и даже втиснуть ноги в тесноватые лакированные штиблеты. Она, словно благословляя, побрызгала его из хрустального флакончика духами, которые резко пахли лавандой и медом, и, отойдя в сторону, залюбовалась мужем, словно отправляла его на пышный светский бал, раздумывая над тем, что бы еще добавить к торжественному туалету.

— Вот теперь, батенька, хоть под венец,— засмелась она, поворачивая Тропинина во все стороны перед зеркалом.

— Куда уж нам, голубушка, — отмахивался Василий Андреевич, — в такие лета — да под венец. Может, со стороны оно и красиво, а мне тесно, душно... Как же прикажешь мне работать в таком наряде, душенька?

— А ты помаленьку, не спеши, — советовала жена. — Не всем артистам такая честь выпадает, чтобы их приглашали к царскому двору... Редко кто увидит нашего императора так близко, как ты, батенька. С глазу на глаз, совсем рядом... Его императорское величество всякого не пригласит...

— Оставь ради бога, матушка, — холодно ответил Тропинин. — Император, как и все монархи, любит оставлять по себе славу. Для потомков... А мне безразлично... Для меня твой император такая же модель, как бубличница, калашник или купчиха, умирающая на своем сундуке, полном золота... Все тут смертно и тленно... Я только сперва поволнуюсь маленько, когда приду во дворец, а потом, как сяду к мольберту, все пройдет... Я, пожалуй, и жабо развяжу, расстегну жилет... Я, матушка моя, на работу туда иду, а не на прием... Они ж не меня зовут, а художника... Им безразлично, кто этот художник...

— Боже мой, Васенька, — заволновалась жена, — что ты говоришь? Я даже боюсь за тебя...

— Почему боишься? — спросил художник.

— Не смей развязывать жабо, не расстегивай жилет... — наставляла жена. — Это же скандал... Перед его императорским величеством надо вести себя, как перед богом, даже и думать нельзя при монархе о том, что ты только что мне сказал... Не смей и слова ему про то молвить. Ты же знаешь, что он сделал с Пушкиным... Не смей, батенька!

— Не бойся, голубушка, не бойся, — успокаивал Тропинин. — Я же на работу иду, а не лясы точить... Я нем для своей натуры. Будь здорова и жди меня к вечернему чаю.

Жена проводила его до двери, поцеловала у порога в чисто выбритую и напудренную щеку, и когда Тропинин выходил, низко поклонившись, перекрестила его спину. В окно она видела, как он подошел к стоявшей у крыльца императорской карете с позолоченными гербами на дверцах. Сгорбленный и совершенно седой Тропинин сел в карету, и она под охраной конных жандармов тронулась ко дворцу. Шестерка белых коней, запряженных

цугом, мчалась по улицам, жандармы, скакавшие впереди, разгоняли детей и случайных прохожих, которые останавливались посреди улицы, увидав царский выезд на этой глухой окраине. «Словно пожарная команда едет», — подумал Тропинин, придвигая к себе ореховый сундучок с красками.

По широким мраморным ступеням, мимо напоминавших каменные статуи стройных гренадеров из личной охраны царя художника провели в просторную гостиную. Навстречу вышел граф Бенкендорф, начальник третьего отделения императорской канцелярии. Тропинин тотчас узнал его по многим, видимым ранее портретам. Граф вышел из-за стола, глядя на художника маленькими пронизательными глазками, леденящими душу собеседника.

— Приветствую вас, господин Тропинин. Его величество оказал вам великую честь, пригласив к себе, — сказал он, беря художника под локоть. — Прошу раздеваться здесь.

— Благодарю, ваше сиятельство, — вежливо ответил Тропинин.

Бенкендорф увидал полированный сундучок в руках художника, окинул его подозрительным взглядом и предложил:

— Оставьте свои вещи здесь... Их вам потом принесут вместе с мольбертом.

Двое придворных в расшитых золотом камзолах схватили из рук Тропинина сундучок, цилиндр, плащ и скрылись за тяжелой черной шторой, висевшей на двери. Тропинин наморщил лоб, оглядываясь вокруг.

— Прошу вас, — сказал Бенкендорф и без стука ввел его в царский кабинет. Стража стала по сторонам, раскрыв двери перед графом.

В кабинете было пусто. Между двумя венецианскими окнами поблескивал свежим лаком широкий резной стол черного дерева. На столе под стеклянным колпаком высилась фигура русского солдата в новой летней форме, с полной боевой выкладкой, при ружье с прикинутым штыком. Солдат стоял как живой, воплощая в себе всю аракчеевскую муштру. Под другим стеклянным колпаком стояли фарфоровые часы с ангелами над циферблатом. В подставке из червленого кавказского серебра торчали гусиные перья, а между ними сверкала на солнце хрустальная чернильница.

У стен, на равном расстоянии одно от другого, словно солдаты в строю, стояли сафьяновые кресла. Паркетный пол блестел, как зеркало. По нему боязно было ступать.

— Простите меня, господин художник,— проговорил Бенкендорф,— но его императорское величество не сможет позировать вам долго и без перерыва. Большие государственные дела не разрешают этого. Вы должны писать портрет, не забывая об этом. Возможно, вам придется заканчивать работу в своей мастерской, и поэтому драгоценные минуты, которые его императорское величество сможет вам уделить, вы должны использовать как можно более успешно.

— Я предвидел это,— сказал Тропинин.

— Не исключено, что император и во время сеанса будет заниматься государственными делами,— уведомил Бенкендорф.— Прошу в такие минуты не очень напоминать его величеству о вашем присутствии, ибо это нанесло бы величайший вред...

— Понимаю, ваше сиятельство,— покорно, но равнодушно ответил Тропинин.

Два служителя внесли мольберт, полотно, поставили возле художника его сундучок с красками и бесшумно удалились.

— Прошу приготовиться. Я пойду докладывать о вас,— сказал Бенкендорф и, показав узкую, сутулую спину, вышел в боковую дверь.

Василий Андреевич боязливо огляделся, и невольный холодок пробежал у него по спине, когда взгляд его остановился на резном столе черного дерева. Может быть, именно за этим столом и был подписан смертный приговор декабристам. Этот немой черный стол, забрызганный кровью, так же достоин кисти мастера, как и его владелец, самодержец всероссийский! О, если б эти стены могли заговорить человеческим голосом и поведать обо всем, что слышали из царских уст... О, тогда многое бы стало понятно и ему, Тропинину. Но стол нем, а стены каменные. Они умолчат обо всем, что видели и слышали.

Тропинин ставит полотно на мольберт и, раскрыв сундучок с красками, возмущенно разводит руками. В сундучке все перевернуто вверх дном. Все пакетики с красками, лежавшие по порядку, по цветам, безжалостно перепутаны, кисти разбросаны, средняя переборка

перевернута, итальянские угольные карандаши и цветные мелки смешаны в одну кучу. «Бомбу искали,— думает Тропинин.— Какая подлость!... У меня в красках — бомба! Плохи же, однако, ваши дела, господа, коли уж мне и то не доверяете! Очень плохи дела!» Он быстро приводит все в порядок, протирает чистой тряпочкой измазанную во время обыска палитру и тихонько вздыхает. «Даже тайного обыска не умеете произвести... Повсюду пальцы видны...»

Открывается боковая дверь, и в кабинет неторопливо входит Николай Первый. На нем высокие лакированные ботфорты, белые лосины и черный мундир с большими эполетами. На груди аксельбанты и ордена, на шее массивный золотой крест с мечами. Николай ступает с носка, гордо подняв голову, словно хочет казаться выше, чем он есть. Так и чувствуется, что он решил очаровать художника с первой минуты. Не обращая внимания на Тропинина, царь проходит к своему столу и только тогда поворачивает голову к художнику.

— Здравствуйте, господин Тропинин! — говорит он, приветствуя Василия Андреевича легким кивком головы.— Если вы готовы, начнем...

— Готов, ваше императорское величество! — Тропинин кланяется и покорно застывает у своего мольберта.

— Приступим,— говорит царь и, садясь в глубокое, обитое кожей кресло, обращается к художнику: — Вам так будет удобно или пересесть поближе?

— Нет, так хорошо,— кланяется Тропинин и начинает быстро работать.

На контур царского портрета уже ложатся первые мазки. Краски на полотне оживают; с полотна уже глядят блестящие, настороженные глаза самодержца. Однообразно постукивает маятник за стеклом, царь нетерпеливо шевелится в кресле, зеваает, прикрывая пухлой ладонью рот. Он устал от сидения в одной позе.

В кабинет входит граф Бенкендорф и останавливается у порога, вопросительно поглядывая на часы. Царь бросает на графа довольный взгляд, с облегчением вздыхает.

— Ваше величество, прибыл министр юстиции Дашков,— уведомляет граф.

— Проси, батенька,— равнодушно машет рукой царь и поднимается с кресла.

Тропинин замирает с кистью в руке и вопросительно

смотрит на царя. Николай замечает его беспокойство, властно поднимает руку.

— А вы работайте. Я не буду особенно шевелиться. Государственные дела не терпят отлагательства, господин художник. Вся империя на этих руках,— и он протягивает вперед холеные белые ладони, любуясь ими.

— Понимаю, ваше императорское величество.

Тропинин кланяется и снова прищуренным глазом поглядывает то на царя, то на полотно. Кисть легко касается палитры, надолго прижимается к холсту.

Входит министр юстиции и останавливается перед царем, раскрыв элегантную сафьяновую папку. Сбоку между ним и царем встает граф Бенкендорф. Царь пожимает руку министру и снова опускается в кресло, кивком головы давая понять, что можно докладывать.

Тайный советник его императорского величества, статс-секретарь, министр юстиции и кавалер Дмитрий Васильевич Дашков важно прокашлялся и, четко произнося каждое слово, начал читать:

— «Самое дело о разбойничьей шайке Карманюка заключает в себе три тысячи; составленная из одного докладная записка изложена на восьмисот двух, а приговор более нежели на четырехсот листах. Кроме сочинения пространной и краткой записок, обширного журнала и приговора, количество преступников, к делу сему прикосновенных, разнообразные их противузаконные действия и разные степени их виновности, о чем надлежало Правительствующему Сенату постановить заключение, вынудило экспедицию для точности и ясности доклада и избежания упущений составить еще особый краткий список подсудимых, который заключал бы в себе все существенные обстоятельства преступления, каждым совершенного, улики и доказательства виновности, приговоры о том двух судебных инстанций и мнение начальника губернии — словом, краткую, но весьма верную картину дела, начертание которой требовало, так сказать, изучения всего производства и было необходимо для положения сенатской резолюции о каждом подсудимом... Сии причины, а между ними особенное количество подсудимых по настоящему делу, состоящее из 138 человек, частью содержащихся под стражей, частью находящихся на свободе, из коих о каждом Сенатом постановлено заключение, препятствовали ранее привести дело о разбойничьей шайке Карманюка к оконча-

нию по Сенату и представить на утверждение приговор, осуждающий к телесному наказанию и сосланию в Сибирь простолюдинов...».

Царь насупил брови, глаза его быстро забежали и остановились на лепном розовом ангелочке, украшающем плафон.

— Как все это неприятно! И почему сенат так долго задерживает?

— В сенате, ваше величество, накопилось много дел,— поясняет министр.

— Могли бы ускорить. Они должны наконец понять, что Подолье лежит вблизи Варшавы и две искры могут одновременно вспыхнуть в этом пороховом погребе. Я бы очень не хотел этого для Российской империи,— вздохнул царь.

— Ваше величество,— поклонился Дашков,— я передам сенату высочайшее повеление. Дело Карманюка будет ускорено.

— Передай, милейший, очень тебя прошу.— Царь зевнул и постучал острыми ногтями по лакированной ручке кресла.— Однако... я бы хотел знать — чего хочет этот, как его? ..

— Карманюк,— услужливо подсказал министр.

— Да, Карманюк,— повторил царь.— Какое у него образование, где он учился и вообще — в чем дело...

— Он земледелец, из крепостных, образования никакого, доныне подписывается крестиком. Речь идет о вооруженном бунте, об упразднении крепостного права. Среди простолюдинов это звучит приблизительно так: бог сотворил одного Адама, вольного и независимого, а господа и монархи сделали из него двух Адамов: господина и раба. Надо уничтожить Адама-барина, а оставить Адама, вольного и счастливого, каким сотворил его бог,— пояснил Дашков с поклоном.

— В походе против Наполеона он был? — сдерживая ярость, спросил царь.

— Нет, ваше величество. Он беглый солдат,— поклонился Дашков.

Бенкендорф, тихо звякнув шпорами, прибавил:

— Трижды бежал с каторги из Сибири, получил четыре тысячи шпицрутенгов, трижды заклеямен каторжным клеймом на лбу. Но не кается!

— Но теперь, надеюсь, его наконец поймали? — глаза царя сверкнули.

— Нет, ваше величество,— тихо проговорил Дашков.

Николай вскочил и подошел к столу. Опершись на спинку резного стула, приказал:

— К смертной казни через повешение. Это вооруженный бунт! Поляки поднимают голову, а тут опять этот Карманюк!

Тропинин схватился за мольберт и широко расставил ноги, чтобы не покачнуться. Перед глазами его поплыли мутные круги, заслоняя и царя, и обоих сановников, и белый холст с контурами портрета самодержца. Откуда-то из глубины воспоминаний всплыла старуха Горпина: в протянутой дрожащей руке поблескивают сто кармалюковских золотых. Потом встал в памяти тихий Опанас. В ушах зазвучала чуть слышная мелодия песни, заполняя собой этот холодный, неприступный кабинет, посреди которого, словно гроб, высился резной стол, мертво постукивал за стеклом маятник и стоял окаменевший царь. Песня крепла, казалось, она разливалась уже по гулким коридорам и Тропинин припоминал ее слова:

За Сибирью солнце всходит...
Други, не зевайте,
На меня, на Кармалюка,
В беде уповайте...

Василий Андреевич метнул взгляд на царя и, увидав его большие, округлившиеся глаза, в которых застыл холодный стеклянный блеск, стал быстро смешивать краски на палитре. Кисть играла в его руке, молниеносно перескакивая с палитры на холст. Глаза на портрете округлились, налились кровью, холодно и безумно поблескивали, напоминая образ Николая-чудотворца, писанный Тропининым в церкви Ханенко. Как давно это было! Василий Андреевич округляет редкие брови царя, кладет под ними глубокую тень, и глаза постепенно загораются, в них пробивается что-то похожее на жизнь, но смотрят они с портрета мертво, холодно, словно дула взведенных пистолетов, которые безжалостная рука нацелила в чье-то сердце. Быстрее, не копайся, Василий Андреевич, клади этот холодный блеск на полотно, а то скоро царь снова опустится в кресло и задремлет. Кисть набирает зеленоватую краску, прикасается к черной — и царские глаза становятся безумными, в них замер страх. Художник накладывает желтоватые белила на

узкий лоб, проходит кистью по щекам, запечатлевая на холеном лице следы болезненного румянца. Царь еще стоит перед сановниками, и его глухой, раздраженный голос все еще звучит в кабинете:

— Поймать! Повесить! Остальных — в Сибирь...

Министр юстиции Дашков покорно склоняет голову, отступает на шаг. Граф Бенкендорф сопит в подстриженные усы, сжимает кулаки, правая щека у него подергивается.

— Но, ваше величество, я поеду... — произносит он.

— Никаких «но», — обрывает его царь и устало опускается в глубокое кресло. — Вам, граф, ехать для этого в Малороссию не надо. Это позор для третьего отделения и всего жандармского корпуса. Если вы поедете туда, это окончательно подорвет ваш престиж, унизит ваше достоинство. В Европе снова скажут: третье отделение бессильно погасить огонь в этом проклятом вулкане, называемом Королевством Польским...

— Я не о том, ваше величество, — оправдывается Бенкендорф.

— Молчите! — приказывает царь. — Я вас снова спрашиваю: есть у нас третье отделение и жандармский корпус при нем или нет? Есть ваши люди там, на Подолье?

— Есть, ваше величество, — кланяется Бенкендорф.

— Так повелите же им от моего имени. Чтобы я больше не слышал об этом, как там его! .. — Император нервно поводит плечами.

— Карманюк, — ваше величество, — услужливо подсказывает Дашков.

— Да! — царь решительно ударяет рукой по колену, и эхо этого удара еще долго слышно в мрачном кабинете.

— Ваше величество... — Бенкендорф показывает на часы.

— У вас есть опыт ликвидации тайного общества в Тульчине. Вспомните, кто привел к вам Муравьева-Апостола?

— Офицер Майборода, — напоминает Бенкендорф.

— Нет, я думаю, он уже не подходит. Пьяница и картежник, — царь отрицательно качает головой. — Нужен кто-нибудь поумнее. Крестьянская среда... Тут нужны деньги, а может быть, даже женщина. Я знаю характер своих верноподданных...

В кабинете наступает тишина. Звонко постукивает маятник.

— Мне пора.— Николай поднимается и усталотирает большим платком капли пота с желтоватого лица.

Тропинин поспешно кладет последние мазки, чуть не заливает царскую грудь золотом: эполеты, аксельбанты, все ордена. Тупое, деревянное лицо императора на фоне этого серебра и золота, сияющего на груди и плечах, становится еще холоднее, угрюмее. Только глаза пылают каким-то нечеловеческим, безумным блеском. Василий Андреевич еще раз сравнивает портрет с живым оригиналом и, с облегчением вздохнув, отходит в сторону.

— Отдохни и ты, братец. Закончишь в другой раз,— говорит ему император.— Пусть тут все так и стоит.

— Ваша воля.— Тропинин поклонился и, накрыв белым покрывалом мольберт, укладывает краски в ореховый сундучок.

— Можешь идти.

Царь чуть заметным кивком прощается с Тропининым, и художник уходит. За порогом его подхватывают под руки двое придворных и провожают до кареты.

Пусть безумствует самодержец. Теперь ему воздано за все вместе. И за Кармалюка, и за декабристов. Василий Андреевич отразил на полотне все, что мог. Он уже не видит, не слышит, как Николай Первый мнет белое покрывало, в бешенстве швыряет его на блестящий паркет и топчет ногами.

— Крамола! — кричит он на Бенкендорфа и Дашкова.— Я сам дознаюсь, кто он такой, этот художник! Как вы смели пригласить его ко мне во дворец, не зная, что творится в его черной душе?! Отвечайте!

— Ваше императорское величество,— поясняет граф,— все было проверено. Он чистейший из чистых. Ни в каком вольнодумстве не замечен. Он верный раб вашего императорского величества. Все агентурные данные за это... Я головой ручаюсь... Портрет еще не окончен, он выправит его...

— Убрать прочь! — указывает царь на мольберт.— В потайную келью под замок. Ключи отдать мне, чтобы ноги человеческой там не было. Такие вещи надлежит предавать огню... Боже мой, какая наглость!

Тимко Гречка навзничь лежит в траве, и ему кажется, что вокруг нет больше полей и лесов, только глубокое небо опрокинулось над ним, сомкнулось вокруг высоких стеблей. Трава на барском лугу выросла по колено, и Тимку не видно за ней ни села на востоке, ни густой стены ржи, вплотную подступившей к тракту, склоняя тяжелые колосья. Рядом, подперев руками небритый подбородок, лежит Кармалюк.

— А тебя, Тимко, не узнали? — спрашивает он.

— Ого! — гордо улыбается парень. — Меня, да чтоб узнали? Так я и дался им. Подождут. Там народищу тьма-тьмущая, кое-кто даже ночует под воротами. Ждут, может, кого выпустят из тюрьмы и он расскажет о тамошнем житье-бытье. Хорошо знают, что никого не выпустят, а ждут. Чудной народ.

— А тебя спрашивали, кто ты таков, когда передачу передавал?

— Спрашивали. Я сказал, что брат, — хвастается Тимко.

Кармалюк хитро подмигивает ему, но Тимко не замечает.

— Брат, значит? — переспрашивает Кармалюк. — А что ж подумает Ганна? Она ж не знает, кто передал ей все это.

— Как это не знает? — удивляется парень. — Я написал.

Кармалюк громко смеется, покачивает головой. Да и как не посмеяться. Тимко написал! Да ведь он сроду пера в руках не держал.

Парень не выдерживает, переворачивается на живот.

— Дьячок мне написал, вот что, и смеяться тут не над чем, атаман! — обиженно говорит он.

— Как, у тебя уже и дьячки свои завелись? — Кармалюк поглаживает Тимка по плечу. — Ой, гляди, парень!

— А чего глядеть? — гудит нахмурившийся Тимко. — Тот дьячок, что писал, такой же мой, как и ваш. Шел я лесом, вижу, он едет на возу. Ну, я забежал незаметно вперед, под мостик. Только он на мостик, а я тут как тут. Коня за уздцы, а ему: «Стой!» Испугался он, а как услышал про Кармалюка, так чуть не упал. Вот он мне и написал на платке, в котором была передача: так,

мол, и так, передайте в женскую камеру Ганне от брата Тимка. Он еще и подвез меня до самого Летичева, и я сказал ему: ежели кому слово обо мне сболтнет — пусть тотчас же исповедуется и причастится...

— Молодец! — хвалит Кармалюк.

Тимко довольно улыбается и снова переворачивается на спину. Все новости он успел рассказать атаману еще в дороге, когда пробирались на этот луг. Мирон Волошка до сих пор в тюремном лазарете. Ганна и Татьяна сидят в отдельных камерах. А люди у тюремных ворот говорят о Кармалюке разное. Одни называют его чародеем. Говорят: нарисует он мелом лодку на тюремной стене — и стены тотчас расступаются, кругом вода плещется, и Кармалюк выплывает из тюрьмы в лодке, так что и стража не слышит. Другие рассказывают, что Кармалюк уже не ходит по земле, а перепрыгивает с дерева на дерево в лесах, и поэтому господа не могут его поймать. Чудные люди! Ну какой же он чародей? Хотелось Тимку сказать у тюремных ворот всю правду о Кармалюке, очень хотелось, да побоялся. Там, среди людей, «вороны» из тайной полиции шныряют, подслушивают каждое слово, следят за всеми. Теперь их там расплодилось, как комаров на болоте.

Солнце медленно склоняется к земле, жара спадает. Атаман и Тимко лежат молча, каждый думает о своем. Скоро наступит вечер, с господского поля в село пойдут люди, и можно будет тронуться в путь. Теперь уж не так далеко. Перед рассветом выйдут на головчинецкие поля.

— Атаман! — окликает Тимко. — Хочу спросить вас об одном деле.

— Снова что-то надумал? Ну, спрашивай, — отвечает Кармалюк.

Взволнованный Тимко приподнимается на локте, в глазах загорается огонек.

— А что, если б люди сами себе царя выбрали? Не такого, как теперь, а настоящего, народного царя? — спрашивает он.

— Ну какой же царь из простого крепостного? — удивляется Кармалюк.

— Ну, такой, чтобы простому народу руку протянул. Наш царь, — поясняет Тимко.

— Нет, — возражает Кармалюк. — Царь должен

быть грамотным, должен все знать... Где ты такого сыщешь?

— А что, если б вас выбрали царем? — вдруг выпаливает Тимко.

Кармалюк замолкает, сбитый с толку неожиданным вопросом. Много лет он прожил, а такое ему в голову никогда не приходило. Всегда этот Тимко что-нибудь выдумает и прицепится. Хоть брани его за это, хоть кричи, он не отстанет. Цари ведь переходят из рода в род, а он плетет бог весть что.

— Меня, Тимко, не выберут, — смеется в густые усы Кармалюк.

— А ежели б выбрали, тогда что? — не отстает парень.

— Да отцепись ты от меня! Что тебя укусило? — отмахивается Кармалюк и заговаривает о другом.

Тимко не слушает, отворачивается и, не поднимая головы, начинает разговаривать сам с собой. И слова-то у него все мягкие да ласковые, говорит он их протяжно, словно напевает:

— И настанет день, проснутся люди, а по селам весточка летит: Кармалюк царем стал. По всем церквам в колокола звонят, люди песни от радости поют. Страсть что на Подолье делается. Уже прослышали ту весть каторжане в Сибири и кандалы свои разбивают, в дальнюю дорогу, в край родной собираются. Кармалюка просят — в царский дворец.

— А где дворец мой стоит? — серьезно спрашивает Кармалюк.

— В Варшаве, атаман, — не задумываясь, отвечает Тимко и продолжает: — Но атаман не хочет уходить с Подолья, все здесь ему любо, все дорого. И приказывает он своим слугам царским ставить хоромы посреди леса, на широкой столбовой дороге, чтобы в эти царские хоромы всякому зайти было вольно, чтобы всякий мог сюда свои кровные обиды принести...

Кармалюк перебивает Тимка и в тон ему мечтательно продолжает:

— И заходит бедный человек в те хоромы царские, а Кармалюка уже и нет там. Отравили его аль задушили слуги царские вместе с господами да шляхтой... И уже снова звонят по всем церквам колокола, и везде ровными шпалерами стоят солдаты... Новый царь, богатого дворянского рода, берет в руки окровавленную корону,

на голову надевает... Настоящий царь, такой, как господам надо. И снова они запрягают людей в ярмо, ловят по всем дорогам арестантов, в кандалы заковывают... Вот, парень, как Кармалюк царствовал!

Голос атамана крепнет, и Тимка вдруг охватывает страх. Парень смотрит в ясные, широко открытые глаза Кармалюка, видит в них глубокую синеву бездонного неба, даже облачка белые замечает. В зрачках вспыхивают ослепительные искры, они напоминают Тимку молнию, рассекающую тучи.

— Что же ты молчишь, Тимко? — совсем тихо спрашивает Кармалюк, обнимая парня за плечи.

Но тот, зажмурив глаза, уткнулся лицом в душистую траву, съежился, поник и лежит неподвижно. На поле спускается вечер. Тучей налетают комары, наполняя воздух надоедливym жужжанием. На дороге оседает едкая пыль, серая и мутная; солнце давно закатилось за лес и больше не красит пыль багрянцем. С господского поля, напевая тоскливую песню, прошли последние косари. Они удаляются, и песня чуть слышна, словно ее поглотила синяя темень ночи.

— Тимоша, нам пора, — Кармалюк трогает парня за плечо. — Не горюй, сынок, и на меня не гневайся. Ты ведь сам заговорил об этом.

Тимко вскакивает, и они шагают по лугу, прижимаясь к густой ржи. Тимко идет за Устимом, срывая мелкие колоски. Он старательно растирает их на ладони, выбирает восковые зернышки и кладет в рот. Рожь приятно хрустит на зубах и сладко пахнет.

— Сдуру я все это затеял, — кидает Тимко вдогонку Кармалюку. — Наслушался в детстве сказок, вот и начал плести небылицы про царя. А оно вон как против меня обернулось. Разрази его гром на широкой дороге, этого царя!

— И я давно так думаю, парень, — откликается Кармалюк, и они сворачивают с луга в хлеба, на межу, заросшую меж короткими полосками.

Они идут всю ночь и на рассвете добираются до головчинецких лугов, у самой опушки. Поздно, как и всегда, в жатву всходит месяц и освещает безлюдное поле и застланное ночным покровом тихое село.

Кармалюк останавливается на меже под развесистой грушей и стоит, потупив глаза. Дикая груша ше-

лестит на ветру крепкими листьями, покачивает обильными плодами.

— Вот это, Тимко, и есть мое поле,— вздыхает Устим.— Гляди, как груша разрослась. Я сажал ее с покойным отцом, еще мальчонкой. Вывезли весной навоз на поле, а в навозе пророс грушевый росток, вот мы и воткнули его тут на меже. Хороша груша выросла!..

— Дикая груша где не вырастет,— позевывает Тимко.

Кармалюк привлекает к себе паренька, обняв его рукою. Потом, прищурив глаза, долго глядит на свое село и часто, глубоко дышит. Может, таинственный шепот дикой груши напоминает ему далекое детство, такое веселое, беззаботное, а может, два тополя, что высоко поднялись над селом, навевают воспоминания о сыновьях. Эти тополя растут около его хаты у колодца.

— Погляди, молодец, вон на те тополя,— протягивает руку к селу Кармалюк,— возле них моя хата стоит. У ворот они растут, над колодцем. Старая уже хата, ветхая...

— Чудно мне, атаман,— пожимает плечами Тимко.— Чего ж нам раздумывать, раз так? Перескочим через поле,— и дома. Я проберусь в село огородами и все тайком разведрую... А потом и вы пойдете, если безопасно. Тут же рукой подать. Сынов увидите, невестку... Пойдемте. Я постерегу на огороде возле хаты.

Кармалюк сдерживает готового уже идти Тимка, пригибает его к земле, сам садится рядом с ним, разостлав свитку. Потом вынимает из-за пояса два пистолета, расстегивает широкий пояс, и кладет все это рядом с собой. Красный месяц низко плывет над землей, озаряя их лица холодным тускло-бронзовым светом.

— Нельзя нам в село, Тимко,— говорит Устим.— Они уже дознались, что я был на похоронах Марии, что к сыновьям ночью заходил, и теперь повсюду стражу поставили. В имении полно солдат. Ждут меня день и ночь. Побудем здесь до утра, а утром сыновья сюда придут. Мы про все у них разузнаем. Мои сыновья встают на заре, а сегодня еще суббота, мужицкий день. Каждый выйдет на свое поле, и они придут к этой груше...

Тимко дремлет, положив голову на ладони. Кармалюк сторожит его сон. На востоке загорается алая полоска, и по небу уже плывет бледно-желтый отблеск

скрытого еще солнца. Медленно тает мгlistый туман, и на горе возле села сереет извилистая дорога. Скоро по этой дороге пройдут первые косари. Кармалюк не сводит глаз с дороги. Своих сыновей он узнает издали. Они пойдут рядом, покачиваясь, с граблями на плечах. Остап с Миколой, а Марина, верно, с внуком на руках — за ними. Не будет только старшего, Ивана, он еще в тюрьме. Они придут на поле, сложат свои пожитки под грушей, станут на борозды; Марина посадит в тени сына и примется вязать снопы вслед за косарями. И никто из них не догадается, что там, где кончается их поле, у самого леса, в овраге сидит отец. Устим нарочно уйдет отсюда в овраг, спрячется там, а как сыновья пройдут по одной борозде и остановятся у оврага перекурить, Кармалюк позовет их. Он обязательно возьмет у Остапа косу и сам пройдет по родному полю несколько борозд на всех полосах. Пусть поглядят, как косит их отец! Он еще не забыл этой работы. Так до вечера всю рожь и выкосят.

Кармалюк будит Тимка. По дороге из села уже идут косари и вязальщицы. Каждый сворачивает на свой клочок, и скоро над колосистым полем там и сям мелькают соломенные брыли, пестрые платки, очипки. Дорога постепенно пустеет, косарей на ней становится все меньше и меньше, и скоро розоватая от солнца пыль оседает. Где ж его сыновья? Почему так задержались? Над полем разносится приятный звон железа, косы вызванивают тонкую и громкую песню, а сыновей все нет.

Наконец в долине показывается еще гурьба косарей. Часть из них сворачивает в сторону леса, а трое идут на поле Кармалюка. Устим дергает Тимка за рукав, и они прячутся во ржи. Чтобы не помять колосья, идут по меже, часто оглядываются на дорогу. Но что это? Где же, наконец, его сыновья? Старый Опанас, отец Марины, и его жена подходят к полю Устима. Марина, сноха Кармалюка, укладывает на разостланное рядом сонного ребенка.

Некоторое время они стоят молча, наклонив головы, а потом Опанас кидает Марине — «Бог тебе в помощь, дочка!» — и идет с женой в сторону.

Пока они идут полем, Кармалюк видит их, но потом они спускаются в низину и скрываются. Марина подсекает серпом первую, вторую, третью горсть тощих колосков и, не разгибаясь, откидывает их в сторону.

— Погоди, сынок,— горячо шепчет Тимку атаман.— Ты ведь ничего не знаешь. Посиди во ржи, а я пойду и все у нее разузнаю... Может, моих сынов погнали сегодня на барщину?..

Кармалюк пригибается к земле и ползет по меже к груше.

Вот он уже совсем близко, раздвигает руками колосья и встает перед Мариной, старый, растрепанный, с котомкой через плечо.

— Ой! — испуганно вскрикивает Марина, роняя сверкающий серп.

— Марина! Доченька моя,— бросается к ней Устим.— Опомнись, это же я пришел к вам...

— Свят, свят! — отступая, крестится Марина. Потом медленно овладевает собой, протирает глаза, узнает Кармалюка. Это его орлиный нос и голубые, прозрачные глаза, теперь они глубоко запали под кустистыми бровями, но блестят так же горячо и ласково, как у Ивана. Так и есть, это старый Кармалюк пришел.

Марина от неожиданности опускает длинные ресницы, словно боится поднять на него глаза. Две большие слезы скатываются у нее по щекам и замирают на горячих, растрескавшихся губах. Марина крепко сжимает зубы, но слезы сами текут по лицу горячими струйками, и она не оттирает их.

— Забрали и их обоих,— всхлипывает Марина.— В тюрьму забрали, сразу после Ивана. Миколу без кандалов увели, а Остапа заковали... Одна я теперь, отец...

Устим склонился над внуком, настороженно озираясь на дорогу.

— Чего ж вы оглядываетесь, отец? — спрашивает Марина.

— Такая у меня жизнь, дочка. Лихих людей остерегаюсь,— вздыхает Кармалюк.

— Не бойтесь, они все еще ночью из села уехали,— говорит Марина, махнув рукой.

— Кто уехал? — удивляется Кармалюк.

— Стражники, полиция и солдаты. Все выехали, кто вас, отец, поджидал тут день и ночь. Думали: придет Кармалюк к своим в гости, как тогда на похороны жены приходил, а они его сразу схватят и снова закуют в железо... А оно, вишь, как вышло, ждали, ждали, да все жданки растеряли,— засмеялась Марина.

— Куда же и зачем они поехали? — спросил атаман.

— Куда-то под Каменец. Говорят, отец, что на вас большую облаву начали по всем лесам и селам. И наш барин Ханенко с ними. И всех своих гайдуков и приказчиков захватил. Собак с псарни и тех почти всех взяли. Словно на охоту собрались. Так что, в селе их теперь никого нет. Не бойтесь, отец.

— А я и не боюсь, дочка.— Кармалюк расправил плечи.

— Вот и хорошо,— всплеснула руками сноха.

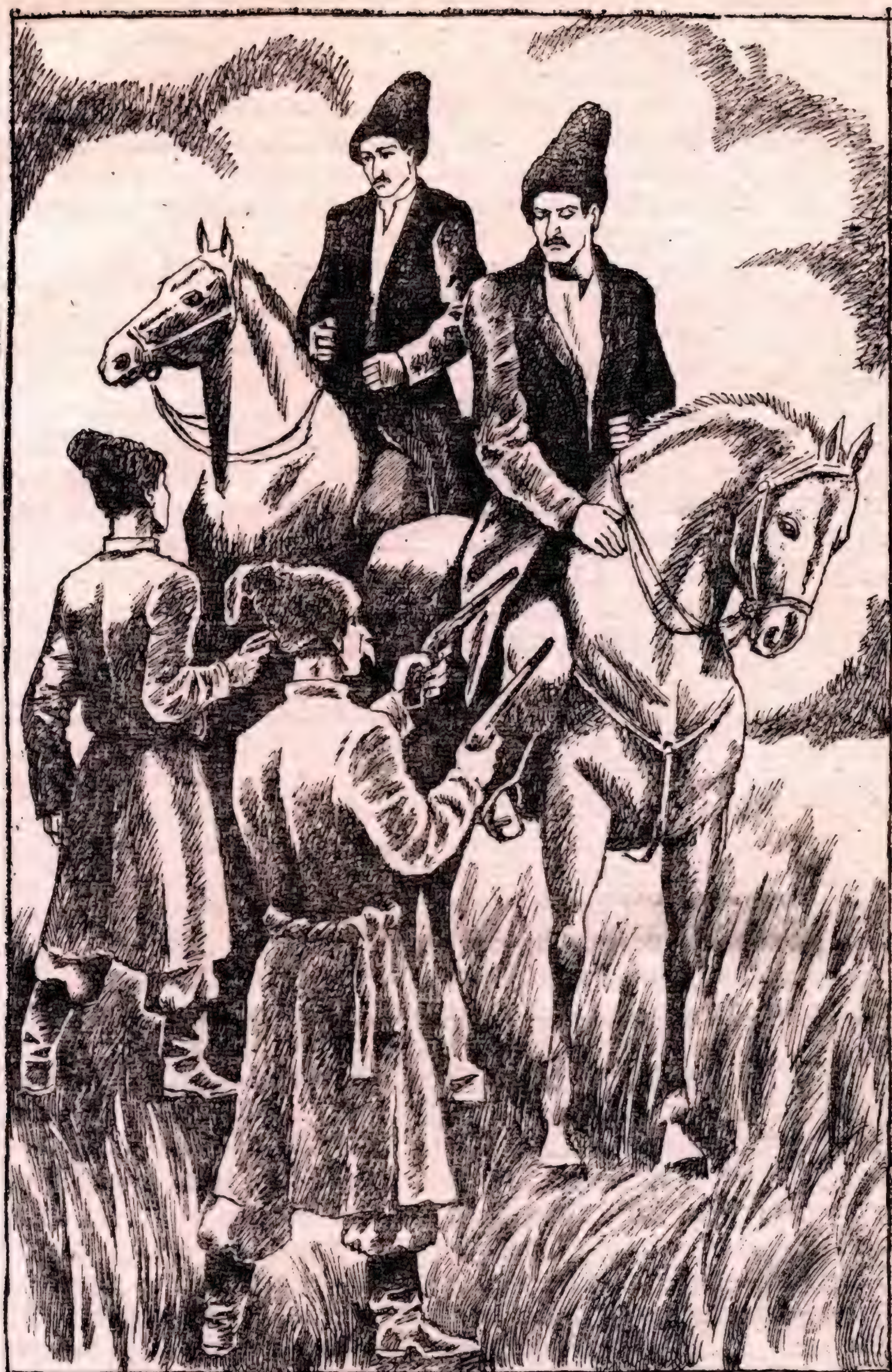
Она рассказывает Устиму, что сыновей его забрали в тюрьму вскоре после похорон Марии. Верно, кто-то в ту ночь приметил Кармалюка у них в хате, когда он говорил с сыновьями. Мало ли паршивой шляхты развел теперь в Головчинцах Ханенко! Каждый шляхтич ненавидит Кармалюка за то, что он против пана восстал, за то, что другой веры... Всякий шляхтич себя паном величает. А какой это пан известно. Это из тех панов, что в соломе спят, зубами щелкают, да при месяце вшей бьют... Такие за злотый продадут отца родного. Они хотят Королевства Польского, а украинские хлопы чтоб у них быдлом были, крепостными работали на них... Марина слыхала от людей, что братьев забрали за отца. Барин и в церкви грозился, что пока не покорится Кармалюк, его сыны из тюрьмы не выйдут. Там и сгниют! Может, их и на каторгу погонят, в Сибирь. Кто знает, как оно обернется?

— Барин приказал гайдукам наше поле сторожить, чтоб никто мне не помогал,— жалуется Марина.— Сама должна жать. Хорошо, если сожну. А кто снопы привезет во двор, коли барин не велит? Коня нет... Хоть сама в телегу впрягайся... Даже отец родной не может ступить на мое поле... А что я одна сделаю? Хорошо хоть сегодня гайдуков в поле нет...

— Пусть он себе локти кусает, этот барин,— не выдержал Тимко и вышел из ржи.— Вот возьмем да и выкосим!

— Выкосим, Марина. Выкосим, дочка,— говорит Устим, развязывая котомку.

Он осторожно вынимает из нее кусок пестрого ситца и подает Марине, потом кладет к ее ногам новые ботинки на пуговицах и большой платок-каменичку. Из широкого пояса высыпает на ладонь добрый десяток червонцев и бросает их на платок.



— Возьми, дочка, только не признавайся, кто тебе дал. Носи на здоровье и деньги трать смело. Пока я жив, не пропадешь. . . За внуком присматривай.

Он вынул из котомки две детские рубашонки, расшитые мережкой, бархатные детские штанишки, а потом достал игрушки: стеклянную лошадку, кусок ленты, какие-то блестящие погремушки, деревянный сундучок, украшенный серебром. Все внуку.

— Ой, боже мой! На что же столько! Люди увидят, догадаются! — всплеснула руками Марина.

— Не бойся, люди не выдадут! А шляхту в хату не пускай, — посоветовал Кармалюк.

И пока младенец спал, они втроем взялись за работу.

Коса была одна — ее оставил Марине отец, — и они косили посменно. Два ряда — Тимко, два — Кармалюк. Мужчины косили. Марина вязала. Всякий раз, передавая Тимку косу, Кармалюк спешил в тень, под грушу, к внуку и радостно забавлял его, одаривая все новыми игрушками. Нива быстро пустела. К полудню должен был прийти Опанас, но они его не дождались. Устим и Тимко даже не успели поесть. Откуда ни возьмись, вихрем налетели на них два барских гайдука, отрезая дорогу к лесу. Первый заметил их Тимко. Он бросился наперерез и мигом схватил одного коня за уздечку. Громкий свист пронесся над полем, эхом отозвался в лесу. Кармалюк, держа наготове пистолеты, поспешил к Тимку. Увидав у него оружие, гайдуки не испугались, только крепче стали наседать, но когда атаман подбежал совсем близко, замерли, беспомощно опустив руки. Перед ними стоял сам Кармалюк, грозный и неуловимый, тот самый, на которого вышли войска, охотилась полиция. Сомнений не было, это он, Кармалюк. Два его пистолета смотрели невооруженным гайдукам прямо в глаза, от каждого дула веяло смертельным холодом.

Все произошло так неожиданно, что гайдуки с перепугу остолбенели. Они еще ночью вместе со всей облавой на Кармалюка двинулись в Каменец. Но в дороге Ханенко вдруг вспомнил, что забыл захватить из дому бочонок старого меда, которым давно собирался при случае угостить губернатора. Вот он и послал двух гайдуков за этим бочонком. Те, проезжая через поле, увидели на ниве у кармалюковской снохи каких-то косарей. Они думали, что это односельчане, и уже предвкушали

поживу. И вдруг — на тебе! — перед ними вырос сам Устим Кармалюк. Знай они, кто там косит, ни за что не осмелились бы идти на него. Вот угораздило, будь оно неладно!

Кармалюк приказал гайдукам спешиться, и они покорно слезли с коней.

— Когда я скроюсь в лесу, делайте что хотите, — приказал Кармалюк. — Но предупреждаю, кто мою сноху или внука тронет, прощайся с жизнью. Со свету сживу! .. Так и барину своему передайте! Слышали?

— Слышали, — глухо отозвались гайдуки.

— Тогда поступайте, как я приказал, — и Кармалюк вскочил на коня.

— Слушаемся!

Кони рванулись и помчали новых всадников в лес. Гайдуки бросились на дорогу. Они пробежали мимо Марины, даже не заметив ее. Марина, прижимая к груди ребенка, стояла на своей меже как вкопанная. Перед глазами ее двоился затуманенный лес, шелестело свежее жнивье и разбросанные по полю снопы. Снопов было много. Марина уже не могла их пересчитать.

В полночь, когда весь острог уже спал и только стража перекликалась за высокими каменными стенами, Татьяну снова повели в канцелярию начальника тюрьмы. Как и каждую ночь, к ней в одиночку вошел старший надзиратель и поднял над головой старый, поржавевший фонарь. Это означало, что Татьяне снова пора собираться на ночной допрос к чиновнику особых поручений, господину Непорожнему из тайного третьего отделения царской канцелярии, которое официально называлось жандармским корпусом. Татьяна поклялась Непорожнему на Евангелии держать все их беседы в великой тайне, не обмолвиться о них ни Ганне, ни мужу-выкресту, который уже почти отбыл свой срок каторги в Сибири и скоро должен был вернуться домой. Если Татьяна нарушит клятву, об этом тотчас узнает Третье отделение и ей грозит смерть на виселице или, в лучшем случае, вечная каторга. Уже на первом допросе Татьяна убедилась, что это страшное царское Третье отделение

знает о ней и Кармалюке почти все и шутить с господином Непорожним очень опасно, даже смертельно. Он знал о Татьяне такие подробности, от которых у корчмарки по телу пробежал мороз и замирало сердце. Татьяну ужасало все это, и ей казалось, что господин Непорожний ясновидец или знаетсся с нечистой силой. Откуда же еще он мог узнать о ее сокровеннейших связях с Кармалюком?.. Этого даже ее муж-выкрест и сестра Ганна не знали.

Надзиратель посветил фонарем в угол одиночки, где стоял дощатый топчан и спала Татьяна. Но она не спала. Она сидела на грязном тюфячке, набитом гнилой соломой, опершись подбородком на поджатые к самой груди колени. Ветхое рядно закрывало ее округлые белые плечи, прятало от постороннего глаза обнаженные полные руки и спадало на дебелые крепкие ноги. Татьяна снова, как каждую ночь, ждала прихода старшего надзирателя и даже не ложилась. На каменной стене кишели блохи, от них и спасалась корчмарка, кутаясь в старенькое ряднышко. Кожа у тюремного надзирателя невольно зачесалась, он опустил фонарь, чтобы не видеть мерзких пятен на стене.

— Собирайся, молодница, на всенощную,— подмигнул он.

— Боже, чего они еще хотят от меня? — перекрестилась Татьяна и тихо, по-кошачьи, спрыгнула на каменный пол.

Надзиратель, которому было приказано обращаться с узницей мягко и бережно, недоуменно передернул плечами.

— Чего ты боишься? У нас тебе роскошь, приволье, не то что другим. Тебя ж не водят по ночам в подземелье, где в горне калят щипцы да гвозди и к дыбе подвешивают. Тебе и чай подают с белыми сухарями. Вина ли сладкого, леденцов ли попросишь... мне все приказано подать...

— Не надо. На что мне это все? Не ровня я господам. Камышу с лозняком в мире не жить. Они и без ветра ссорятся. А ты хочешь мужика с паном помирить,— вздохнула Татьяна.

— Я ничего не хочу. Я службу несую. Дают кусок хлеба детям — и все тут! — ответил надзиратель.

— Горек у тебя хлеб, батюшка. На чужой беде испечен,— гневно повела глазами Татьяна.

Надзиратель вскипел, хотел прикрикнуть на нее, но вспомнил приказ господина Непорожного и молча проглотил свою злость. Вспомнил и то, что Татьяна близка к Устиму Кармалюку, а с ним шутки плохи. Надзиратель хоть и служит в остроге, да жена его и дети живут на далекой окраине, у самого леса. Прогневишь эту бабу, потом горя не оберешься. Он почесал в затылке и предупредил Татьяну:

— Молчи. Чтоб ни звука, когда по коридору пойдем. Если хочешь что сказать, говори тут, в камере, а там нельзя.

Татьяна скривила тонкие губы в горделивой усмешке, спросила:

— Как там моя Ганна?

— Жива и здорова. Давно спит. Ее уже по ночам в канцелярию не водят. Уперлась и молчит, как камень. Говорят, слова от нее добиться не могут. Хоть бей, хоть режь, такая проклятая, — доверительно сообщил надзиратель.

Татьяна встрепенулась от радости, но сдержалась:

— Напрасно таскали ее по ночам. Она ничего и не знает, а чужого греха на душу никогда не возьмет. Я уж про свою Ганну точно скажу...

— Зато ты все знаешь, — печально покачал головой надзиратель. — Тебе, верно, до самого суда спать не дадут, пока не скажешь. Зачем тайшься? Коли попала в руки господина Непорожного, не выскользнешь. Мы его давно знаем. Не завидую тебе. Лучше признайся, он тебе все равно спокойно жить не даст.

Татьяна равнодушно махнула рукой.

— Пусть не дает. Нечего мне рассказывать твоему Непорожному, он и сам все знает... Только время тратит попусту. И сам не спит, и другим не дает... Я тоже не приму на себя чужого греха. Так можешь и ему донести!

— Пошли! — надзиратель прижал палец к губам, чтоб Татьяна умолкла.

В длинном коридоре было тихо и мертво, стоял тошнотворный запах от немытых тел, прокисшей капусты и распаренных кожухов. Тускло поблескивали желтоватые сальные площадки, выхватывая из темноты окованные железом двери по обе стороны коридора, большие замки на них и вытянувшиеся фигуры часовых, которые время от времени вздрагивали, борясь с одолевавшим

их сном. На штыках солдатских ружей мерцали желтоватые блики.

Татьяна шла, низко опустив голову, заложив за спину руки, как и надлежит арестантам, которых ведут на допрос. Она слышала тяжелое дыхание и стоны, доносившиеся в коридор из тесных и душных камер. Кто-то горько всхлипывал во сне, кто-то кричал, моля о спасении, откуда-то доносились отчаянные вопли больного. А может, это и не больной, может, кого-то пытаются и голос страдальца долетает сюда из каменного подземелья, где всю ночь калят на углях клещи и гвозди, скрипит дыба, выворачивая людям ноги и руки. Но нет. Подземелье глубоко под землей, стоны и отчаянные крики истязуемых не могут долететь сюда, на верхний этаж острога. Когда выходили на тюремный двор, Татьяна ясно расслышала слабый крик младенца, и ее обдало холодным потом, больно полоснуло по сердцу. Она даже остановилась, глядя на высокие тюремные стены с зарешеченными окнами, словно хотела угадать, из какого оконца донесся этот детский крик. Но он вдруг затих, словно младенцу закрыли рот.

— Что это? — испуганно озираясь, спросила Татьяна.

— Э! Тут одна арестантка на сносях была, — равнодушно бросил надзиратель. — Родила, значит. Вот тебе новая забота... Осудили в Сибирь, на каторгу, а вот на тебе...

— За что? — не выдержала Татьяна.

— Да за то же самое, за Кармалюка. Говорят, прятала его у себя, деньги бедным передавала... Полный острог таких у меня, — как-то виновато, словно жалуясь, проговорил надзиратель.

— Боже мой, боже, — горько вздохнула Татьяна, не в силах сдвинуться с места.

— Пошла, чего стала! — тронул ее за плечо надзиратель.

— Дай в себя прийти, а то голова кружится на свежем воздухе, как у пьяной. Разве не слышишь, как пахнет рожью да травами... Верно, жатва началась...

— Давно, — тихо ответил надзиратель и вдохнул полной грудью пьянящий холодный воздух, напоенный ароматами береговой мяты, любистка и душицы.

Теплый ветер заносил на тюремный двор крепкий аромат ранних яблок, запахи свежего хлеба из печи,

пьянящий настой лесных трав и лугового сена, сладко пахнувшего лепехой. Было слышно, как плещется на пруду рыба, шумит у плотины вода, шелестят листьями ветвистые осоки. Трещали колотушки в руках ночных сторожей, которые ходили по пустынным улицам городка, охраняя дом земского исправника, лавки и ларьки на базарной площади. Там, за тюремными стенами, откуда налетал теплый летний ветерок, была воля, и Татьяну снова охватила печаль. Она вспомнила свою ходяковскую корчму, которую сжег Кармалюк, подумала о тихой, уютной хате в Каричинцах на опушке, где они жили с Ганной, и на глаза навернулись горячие слезы. Теперь она не увидит этого привольного света, не станет, позабыв обо всем, гулять на чужих свадьбах, не будет по воскресеньям ходить в церковь, позванивая дорогим монистом и монетами на высокой груди. Не судилось, видно, Татьяне больше бывать на веселых танцах в имении, слушать гомон разночинного люда в своей корчме, звенеть посудой, отмеряя квартами водку, подавать проезжим господам мед и закуски. Ох, трудно будет тебе, Татьяна, забывать свое бывшее беззаботное житье. Она всхлипывает, вытирает концом платка глаза, злобно говорит надзирателю:

— Веди! Что ж ты стал, как пень,— и быстро идет к тюремной канцелярии, где светятся два больших зарешеченных окна.

Там сидит господин Непорожний, а окна зарешечены. В тюрьме на них решетки, чтоб арестанты не убежали, а здесь, чтобы никто не залез со двора в канцелярию. Тюрьма в тюрьме. К тому же у входа в канцелярию стоят двое часовых. Стоят солдаты и в коридоре, у двери в кабинет начальника тюрьмы, где по ночам сидит Непорожний.

Татьяна ступает босыми ногами по мягкому ковру и останавливается у двери, ведущей в кабинет. Солдаты скрещивают перед ней два штыка, чтобы она не смела входить одна. Они пропускают к двери надзирателя, и он, сняв фуражку и пригладив густо смазанные маслом волосы, тихонько стучит. Из-за двери доносится короткое и категорическое «да».

Надзиратель пропускает вперед Татьяну, кланяется с порога господину Непорожнему и, плотно прикрыв дверь, остается с часовыми в коридоре. Ему, возможно, придется ждать всю ночь, подремывая на расшатанной

табуретке у бочки с водой. Такая теперь у него служба. Когда-то спал спокойно, а появился этот Непорожный — и пошли одна за другой бессонные ночи. «Провалился он с этой работой», — вздыхает тюремный надзиратель.

Татьяна останавливается на пороге, щурит глаза от яркого света. На столе, покрытом красным сукном, бронзовые шестисвечные канделябры. Стол чистый и пустой. На нем ни клочка бумажки, ни пятнышка. Нет и стаканчика с гусиными перьями. В глубоком кожаном кресле сидит господин Непорожный и беззаботно чистит серебряной пилочкой ногти. Он в просторном штатском сюртуке из тонкого зеленого сукна, на ногах лакированные башмаки. Белая, как снег, блестящая крахмальная манишка, на шее бархатный бант. «Верно, в столице все так ходят, а в наших краях редко кто так одевается», — подумала Татьяна и едва слышно произнесла:

— Славайсу, барин...

— Навеки слава, — тихо отвечает он на приветствие. — Садитесь поближе... Я думаю, мы сейчас все закончим, и вы завтра будете на свободе... Не так ли, моя очаровательная собеседница? Одно ваше слово перед святым крестом на Евангелии — и всему конец. Я смогу спокойно спать, а вы с Ганной вернетесь в свою хату в Каричинцы...

Татьяна знает, что ей долго не выдержать, стоя на ногах, и опускается на стул по другую сторону стола. Она поднимает на Непорожного полные слез глаза и умоляюще шепчет:

— Барин, что вы со мной делаете? Неужто на мне свет клином сошелся? Или Каинова печать на мне? Не могу я этого сделать и не стану! Я повешусь или утоплюсь... Боже мой милостивый!...

Непорожный смотрит в сторону, пропускает мимо ушей слова Татьяны. Он равнодушно и спокойно ждет, пока она выговорится. Упрямая и слезливая корчмарка попалась ему на сей раз. Он, Непорожный, с ног сбился на этом проклятом Подолье, пока поймал нитку и размотал запутанный клубок. Но праздновать победу еще рано. Клубок размотался, из него выскочила эта Татьяна, а дальше нитка оборвалась. Где-то тут, возле Татьяны, совсем близко лежали сотни других ниток и клубков, которые должны привести к самому Кармалюку, но нащупать их Непорожный никак не мог. И он решил держаться Татьяны, не выпускать ее из рук. На ноги

была поднята вся тайная полиция Подольской губернии, вся секретная агентура в имениях и корчмах, были посланы запросы в сибирские остроги, где трижды сидел Кармалюк и до сих пор отбывали каторгу его сообщники и единомышленники, где, наконец, отбывал свое наказание муж Татьяны, выкрест, осужденный по делу повешенных у его сожженной корчмы конокрадов. Наконец долгожданные бумаги из Сибири прибыли. И господин Непорожний сегодня не очень торопился.

— Зачем плакать и убиваться, Татьяна? — сказал он. — Сегодня я получил из Сибири точные сведения о твоём муже. Он скоро вернется к тебе в Каричинцы.

— Ко мне? — вскинулась Татьяна.

— Конечно. Или, может, ты не рада мужу?

— Я не люблю его. Я все равно сбегу от него! Слышите, барин?! — крикнула Татьяна, срывая с головы платок.

— Он хвастался в Сибири, что закопал на пепелище своей корчмы золотой клад. Там лежат и твои цыганские сережки с брильянтовыми камешками и жемчуг, который он подарил тебе к свадьбе. Были у тебя такие сережки и жемчуг?

— Были. Так они не пропали, барин? — всплеснула руками Татьяна.

— Как видишь. У меня есть точный план, где закопан клад, и это золото в твоих и моих руках. Если ты согласишься дать клятву, золото завтра будет у тебя.

Татьяна сразу съежилась и опустила голову.

— Не могу... Я же вам сказала, что не могу донести на Кармалюка...

— Не можешь? — с ударением спросил чиновник.

Татьяна отрицательно покачала головой.

Непорожний встал и, пройдясь раз-другой по кабинету, от окна до двери, остановился возле Татьяны. Она видела, как сжались и дрогнули его кулаки; даже пальцы, на которых сияли два драгоценных перстня, поблели.

— А я хотел избавить вас от наказания на площади, отдать на поруки, — заговорил он снова. — Но раз дело оборачивается так, буду откровенен. Встань! — вдруг крикнул он и Татьяна вскочила со стула, скрестив на груди руки.

То, что он сжал кулаки и перешел на ты, ничего хорошего не предвещало. Теперь, верно, станут

бить, или чего доброго, поволокут на пытки в подземелье.

— Ты просила у церкви развода с мужем-выкрестом,— холодно и сурово начал Непорожний,— и церковь обещала развести вас. Но теперь ты развода не получишь. Это раз,— и он загнул один палец на руке, блеснув перстнем.— Муж твой вернется, и ты должна жить с ним. Убежишь от него — полиция найдет и силой приведет,— загнул он второй палец.— Кроме того, твоему мужу дадут в полиции список всех твоих грехов. Там будет все, что я тебе уже перечислил: с кем жила, гуляла, кого принимала, как в первую свадебную ночь от мужа к эконому бегала... все как на картине распишут. За это уж я ручаюсь! — загнул он на руке третий палец.— Представляю, что за жизнь будет у тебя, когда выкрест обо всем узнает. Хочешь этого или нет?

— Барин, смилуйтесь! Не губите! Я ума лишусь! — молила Татьяна, ладонями сжимая голову.

— Клянись!

Татьяна упала на колени, глаза ее забегали по комнате в поисках иконы, но иконы в кабинете начальника тюрьмы не было, и она в мольбе простерла руки к царскому портрету в позолоченной раме.

— Отец родной! Я поклянусь, я все сделаю, что скажут... Помилуй меня и заступись... Но на Кармалюка у меня рука не поднимется, язык у меня отсохнет, отец наш родной...

— Встань! Не оскверняй портрет государя, блудница несчастная! Выпей воды и приготовься. Сейчас придет батюшка, и ты поклянешься на кресте,— решительно сказал Непорожний.

— Стойте! Не надо батюшки! Не надо! Я не поклянусь! — Татьяна отшатнулась и вытянула вперед руки, словно собиралась защищаться от нападения. — Меня люди проклянут, земля разверзнется, и ад поглотит меня.

Непорожний подошел к окну, отдернул край тяжелой шторы и загляделся на глубокую звездную ночь. Его в этот миг не привлекала тихая, душистая ночь, дрожащие зеленоватые звезды, легкий вздох прохладного ветерка. Прижавшись разгоряченным лбом к холодному стеклу, он торжествовал победу, готовя Татьяне еще один удар. Он уж будет для корчмарки последним и неотвратимым. Когда Татьяна успокоилась и ста-



ла прикрывать платком растрепавшиеся волосы, Непорожный медленно повернулся к ней.

— Садись и слушай. Если до сих пор я тебя просил, то теперь, кажется, ты меня попросишь. Сегодня я получил один документ, о котором еще никто не знает.

Татьяна насторожилась, часто заморгала ресницами.

— Помнишь, в твоей корчме была ограблена государственная казна? Сто тысяч злотых, государственные деньги? Полиция и суд до сей поры ищут грабителей. Все пути ведут к Кармалюку, а доказательств нет. Но сейчас есть и доказательства. Они у меня,— спокойно сообщил Непорожный, похлопав себя по внутреннему карману сюртука.

Татьяна словно окаменела, грудью навалившись на стол. Она вцепилась в стул и не могла разжать пальцы. Глазами так и впиалась в Непорожного.

— Теперь у меня есть письменное свидетельство, данное под присягой в церкви. Ты была соучастницей Кармалюка в ограблении казны. Вы вместе ответите перед судом за это.

— Боже мой, какая напасть! — воскликнула Татьяна.

— Молчи и слушай дальше, а то позову солдат.— Глаза Непорожного сверкнули, и он медленно продолжал: — Ты пустила в корчму Кармалюка и Захара Блажкуна, когда Тимко Гречка уже сидел в потайном погребе. Потом туда полез Кармалюк, а Гречка с Блажкуном ушли расчищать дорогу от снега. А вечером ты открыла погреб, и все бунтовщики пробрались подземным ходом под корчму. Ты напоила водкой с дурманом уездного казначея, обоих кассиров и всю охрану. Потом открыла подполье под стойкой, и бунтовщики связали сонных солдат с казначеем и забрали государственную казну. Ганна кричала тебе с печи, что это воры, но ты приказала ей молчать, объяснив, что это пришел Кармалюк.

Татьяна побледнела, губы ее задрожали, в горле сразу пересохло. Хриплый голос Непорожного то затихал, то становился громче, иглами вонзаясь в самое сердце.

— Они и вас с Ганной связали, чтоб не было подозрений. Тебя вязал сам Кармалюк, и ты его тогда впервые поцеловала.

— Господи! Да кто вам сказал? — простонала Татьяна.

— Не мешай! — прикрикнул на нее Непорожный. — Когда утром вернулся от барины твой выкрест и заплакал в отчаянии, ты клялась ему, а потом и на всех допросах, что это был не Кармалюк с ватагой, а какая-то другая банда. И Ганну научила так говорить. Тебе тогда поверили. Но теперь ты уж не отвертишься. Будет суд. Ты хорошо знаешь, что за такое преступление карают виселицей, в лучшем случае, вечной каторгой в Сибирь. Выбирай, что тебе милее. Виселица, Сибирь или вольная волюшка в корчме. Выбирай сейчас, завтра будет поздно!

Татьяна покачнулась на стуле. В голове с быстротой молнии пронеслась одна мысль, за ней вторая, и все закружилось перед глазами. Кто выдал? Тимко и Захар не могли. Данило Хронь? Но ведь его давно повесили! А может, он, еще когда был жив, там, в Сибири, когда выдал Кармалюка, а сам в лазарет укрылся? Хронь вязал Ганну на печи. Боже мой! Что ж теперь будет? Все пропало. Пропало! Татьяна посмотрела на Непорожного и заметила, как в глазах его зажглись торжествующие огоньки. словно из густого тумана, возникло перед Татьяной пепелище на месте родной корчмы, где-то в бурьяне засверкали цыганские сережки с брильянтами, блеснула холодная, как змея, нитка даренного к свадьбе жемчуга, зазвенело, переливаясь, золото.

— Выбирай! Одно из двух, — властно сказал Непорожный.

Татьяна упала головой на стол и горько зарыдала. Она плакала долго и беззвучно, только конвульсивно вздрагивали плечи да поднимались и опускались две тугие, толстые косы, спадающие до самого пола. Потом она затихла, и Непорожному показалось, что она уснула. Он налил из графина воды, подошел к Татьяне. Погладил ее по волосам, тронул за плечо, и она, вздрогнув, поднялась.

— Выпей воды и приведи себя в порядок. Сейчас придет батюшка, — сказал он и подал ей стакан.

Татьяна жадно пила воду большими глотками, а капли текли по ее крутому, полному подбородку. Потом она отошла за штору и стала прихорашиваться. Непорожный позвонил в медный звонок, стоявший на окне.

Солдаты принесли из тюремной церкви аналой, положили на него Евангелие в окованном латуною переплете и большой медный крест,

Осенью, когда кончилась жатва, из летичевской тюрьмы вышли Татьяна и Ганна. Сестер освободили, даже не приведя в исполнение судебный приговор, по которому они были присуждены к публичной экзекуции розгами в базарный день посреди площади. Им было объявлено, что барин берет их на поруки в свое имение. Ганна не была у начальника тюрьмы, но Татьяна рассказала, что начальник очень гневался и кричал, пригрозив под конец, что если еще раз уличит их в связях с Кармалюком, им уже не миновать каторги. Сибирь, мол, давно по ним плачет. А пока что их будут сторожить в селе полиция и молодой управитель, племянник капитана Янчевского, учтивый гость из самой Варшавы — Юзеф Рудковский. Отныне они будут жить под гласным надзором полиции. Начальник тюрьмы приказал Татьяне, как только они придут в Каричинцы, явиться к Юзефу Рудковскому. Паныч знает уже, что они находятся под надзором, и точно расскажет им, что можно делать, чего нельзя. Ганна чувствовала за собой меньшую вину и не спрашивала, почему Татьяну водили к начальнику тюрьмы и почему начальник велел Татьяне одной явиться в имение к пану Юзефу Рудковскому. Да и раздумывать об этом было некогда, радость освобождения заслонила все.

Выйдя на волю, сестры словно второй раз на свет родились. Казалось, что даже тяжелые обложные тучи скоро развеются, снова надолго выглянет солнце, настанет душистая, милая сердцу весна, такая же, как и та, когда их повели в тюрьму, забрав вместе с раненым Мироном Волошкой.

Ганна все прижимала к груди узелок, завернутый в белый цветастый платок, в котором ей принесли передачу от Тимка. На платке до сих пор были видны написанные проезжим дьячком слова о том, что посылка предназначена только ей, Ганне, в третью одиночную камеру. Ганна будет беречь платок, даже стирать его не станет, чтобы эти слова остались там навсегда.

— Он добрый, Татьяна, мой Тимко. Гляди, не забыл,— радуется Ганна.

— А меня все забыли... Не нужна стала! — с сердцем отвечает Татьяна, отворачиваясь от сестры.

— Молчи! Разве можно так говорить? Он же на двоих принес. Не одна же я все это съела,— старается успокоить сестру Ганна.

Татьяна и слушать не хочет.

— Знаю я это — на двоих! Знаю! — гневно бросает она.— Ноги его теперь не будет на моем пороге. Хватит! Мне еще жизнь не надоела, чтобы я за него на каторгу пошла...

— Опомнись, сестра! — бросилась к ней Ганна.— Несешь сгоряча бог знает что... И о хате не след так говорить... Хата ведь моя, мне от отца досталась. Ты в ней вроде соседки живешь.

— Гонишь меня? — Татьяна зло сверкнула глазами и замолчала.

— Нет! Я тебя не выгоню. Только жить будем по правде,— спокойно ответила Ганна.

С пыльной дороги они свернули в лес и до самых Каричинцев шли молча, разгребая под кустами опавшие листья. В ту осень уродилось великое множество белых грибов, так что, когда сестры добрались до дому, у каждой был полный подол грибов. Увидали свою хату, и сердце у каждой возбужденно забилося. Сестры остановились у покосившихся ворот, посмотрели на заросший бурьяном двор. Ни тропочки на нем, ни следа людского. А дикая лебеда и полынь гроздьями стучат в окна.

— Пусто как! Даже страшно! — Ганна заглянула сестре в глаза.

— Ничего, хорошо хоть это есть,— повеселела Татьяна.— Счастливо, мы, сестра, избавились от тюрьмы. Могло быть хуже. Ну, ты посиди тут, а я к леснику сбегая,— и помчалась напрямик через лес к леснику, который стерег хату. Уходя в тюрьму, сестры ключ ему оставили, заплатив на всякий случай три злотых за хлопоты и присмотр.

Пока Татьяна ходила за ключом, Ганна несколько раз обошла вокруг хаты, попробовала заглянуть в окна, но они были плотно закрыты изнутри. Дожди пооббивали со стен глину, и хата стояла рыжая, облупленная, кое-где обнажилось трухлявое дерево. На весь день завтра хватит работы.

Татьяна принесла ключ. Открыли дверь, и Ганна собралась уже переступить порог, но Татьяна вдруг удержала ее.

— Прости меня, сестра, я сгоряча все наговорила, — сказала она. — Нехорошо нести в хату ссору. Нехорошо, — и Татьяна дважды поцеловала Ганну, и только тогда они переступили порог.

Упали с окон рядом, и сквозь пыльные стекла заглянуло в хату вечернее солнце. В его косых лучах колебался серый столб пыли, поднявшийся от ряден. Пахло гнилой картошкой, сухими лечебными травами.

На топчане, где когда-то лежал раненый Мирон, Ганна увидела пятна засохшей крови. Это больно поразило Ганну, и она невольно зажмурила глаза.

— Смой кровь, Татьяна. Я не могу, — попросила она сестру, и всю ночь не спала, хотя и была убаюкана легкой дремой.

Несколько раз она пыталась сомкнуть отяжелевшие веки, но за окном всякий раз возникал подозрительный шорох. Это ветер раскачивал склоненные ветви, и они назойливо стучали в окно. Осенний шум рождал тревогу, напоминал о смытой с лавки крови. Ганна хотела забыть пережитое и не могла. Перед глазами вставал улыбающийся Тимко. Где он теперь? Постучит ли снова в боковое оконце? Подаст ли о себе весточку? Если б Ганна знала, на какой дороге встретит его, она, не задумываясь, кинулась бы навстречу. «Мой, мой»... — шептала Ганна, заткнув уши, чтобы не слышать лесных шорохов, не растравлять своего сердца. Так и не уснула до самого утра.

Утром Татьяна пошла в имение, и Ганной снова овладели тревожные мысли. Все началось с сестры. Зачем она, собираясь в имение, надела свой лучший, свадебный наряд? Ведь не в церковь пошла, а на покаяние к молодому Юзефу Рудковскому. Как ей только не стыдно! И тут же вставала другая мысль: Татьяна красивее, что ни наденет — все ей к лицу, и это тебя, Ганна, грызет зависть, а не тревога...

Ганна вышла на порог и долго стояла, глядя вслед Татьяне, пока та не скрылась среди верб на околице Каричинцев. Имение было по ту сторону села, и Татьяне пришлось идти через все Каричинцы. Люди узнавали ее, низко кланялись, печально покачивали головами.

После отъезда из Деражни в Варшаву отставного

капитана Янчевского в Каричинцы приехал его племянник Юзеф Рудковский и стал экономом обоих имений. В Деражне еще жил старый управитель капитана Янчевского, и поэтому племянник поселился в Каричинцах.

Уезжая навсегда в Варшаву, пан Янчевский говорил своему племяннику:

— Я тебе ничего не обещаю наперед, Юзик. Поживешь, увидишь, как достаются деньги. А если справишься с хозяйством и хлопотами, имение завещаю тебе... Я обещал это твоей матери, а моей сестре, перед ее кончиной...

Юзеф Рудковский, памятуя это, ревностно принялся заводить новые порядки. Скоро о нем узнало начальство, сперва уездное, а потом и губернское. Молодой эконом крепко скрутил крепостных и новыми поборами и жестокостью и тем прославился среди соседних помещиков. Он окружил себя вооруженными гайдуками, которых набирал не в Каричинцах, как это водилось раньше, а в самых дальних селах,— обучение в иезуитской школе не прошло для него даром.

Рудковский вышел к Татьяне из кабинета, плотно прикрыв за собой дубовую дверь с медными кольцами. Он махнул рукой гайдуку, который привел Татьяну и теперь стоял у порога, и тот незаметно скрылся.

Татьяна подала письмо от начальника летичевской тюрьмы. Письмо это жгло ей пальцы, как раскаленное железо. И теперь, когда оно оказалось уже у паныча, у ней разом отлегло от сердца, и она вздохнула с облегчением.

Склонившись в кресле, Юзеф Рудковский читал письмо. Татьяна разглядывала его статную фигуру с округлыми, как у женщины, плечами, волнистую прическу, которая спадала на правую сторону огненно-рыжими прядями. «Должно быть, пуглив»,— подумала она почему-то и перевела взгляд на роскошный стенной ковер, увешанный охотничьим огнестрельным оружием.

Юзеф, дочитав письмо, пронзил Татьяну маленькими колючими глазками.

— Отныне, молодница, ты будешь под моим надзором. Это значит, что тебе ни на шаг нельзя отлучаться из хаты без моего дозволения,— холодно и сурово сказал он.

Татьяна в знак согласия поклонилась, не подымая опущенной головы, и Юзеф Рудковский заметил ослепи-

тельную белизну тонкой, точеной шеи, а под кофтой угадал пышные, упругие груди.

— А сама ты кто будешь? — уже ласковее спросил он.

— Корчмарка на оброке, — произнесла Татьяна, не поднимая глаз. — Торговала водкой и пивом в Ходаках от пана Янчевского. Жила вольной корчмаркой. Отец крепостной.

— А до корчмы где была? — допытывал шляхтич.

— Горничной в имении. Панне прислуживала, — ответила Татьяна.

— А корчма как же? — не унимался Юзеф Рудковский.

— Сожгли корчму, — грустно ответила Татьяна. — Там конокрады были повешены. . .

Юзеф прошелся по гостиной и остановился за спиной Татьяны.

Она стояла, опершись всей тяжестью тела на одну ногу, вторая была немного согнута в колене и отставлена назад. Шляхтич, взглянув на круглую женскую пятку, грязную и потрескавшуюся, с отвращением поморщился.

— Не было сердца у твоего Кармалюка, молодича, если он корчму своей любовницы спалил. У нас, шляхтичей, на такое бесчинство один ответ: отравы и смерти изменнику за разбитое женское сердце! В Королевстве Польском так было и будет вовеки! — решительно произнес Юзеф и гордо поднял голову.

— Пане! — вскрикнула Татьяна. — Не говорите так, прошу вас! . .

Юзеф подошел к Татьяне, хотел тронуть ее за плечо, но она, угадав его намерение, отстранилась. Она уже хотела выбежать из покоев, но то, что он сказал дальше, ошеломило ее окончательно.

Перед глазами вдруг встала летичевская тюрьма, и Татьяне показалось, что перед ней не Рудковский, а чиновник по особым поручениям, агент тайной полиции Непорожный. Она как будто вновь испытала прикосновение его рук, таких же холодных и скользких, как и крест тюремного священника, который она целовала.

— Ты поклялась на кресте, — продолжал Юзеф Рудковский, придвигаясь к Татьяне. — Тебе за это даровали свободу и не били розгами при народе. Я взял тебя, а чтоб не бросалось людям в глаза, и твою сестру Ганну,

на поруки под надзор полиции. Если ты откажешься от своей клятвы, то у тебя одна дорога — в Сибирь, на каторгу... Я все знаю и можешь не таиться от меня. Скоро вернется с каторги твой муж. Что он тебе тогда скажет?

Татьяна подняла глаза на управителя. Он стоял перед ней совсем уже не страшный и как будто не угрожал, а только просил. Просил ласково и настойчиво, словно вырывал из сердца Татьяны самое заветное, сокровенное.

— Как тебе, Татьяна, не стыдно? — допекал ее шляхтич. — Где твоя женская гордость? Падать на колени перед разбойником, бросать сердце к ногам грубого, одичавшего бродяги, который тебя и слушать не хочет. Это безумие, дорогая моя пани!

Татьяна до боли в глазах напрягает память: не видала ли она в тюрьме на допросах этого шляхтича рядом с чиновником по особым поручениям господином Непорожним? Не подслушал ли он Татьяну на исповеди? Она очень хочет припомнить, но никак не может и покорно следует за Юзефом Рудковским в его кабинет. Она слышит, как у нее за спиной захлопывается дубовая дверь с медными кольцами и большим ключом в замке. Татьяна сидит в кабинете час, а может, и два. Беседа ведется вполголоса и сквозь дверь совершенно не слышна. Не слышно также ни плача, ни криков Татьяны. Она верно совсем успокоилась, обретя конец своей неволе.

А тем временем облава на Кармалюка, начатая поздно ночью, вышла из лесу и свернула в противоположную сторону, к селу Красноселкам, где уже догорало имение помещицы Поплинской. Старухе Поплинской Иван Дроздов мстил за крепостных, проданных в Херсон помещику Тренбицкому. Иван Дроздов налетел на нее, когда она уже подписывала купчую и собиралась считать деньги. Дроздов услышал о продаже людей из этого села слишком поздно и решил не дожидаться возвращения Кармалюка из Головчинцев. Подпалив все скирды с хлебом и амбары, он порвал купчую и забрал деньги. Поплинская отдала ему все, что имела, бросилась на колени, умоляя Кармалюка даровать ей жизнь. Иван Дроздов, которого дворяне и поляки принимали за Кармалюка, поверил Поплинской и даже приказал развязать ее. Пока молодцы грузили господское добро и

деньги на возы, развязанная Поплинская выскользнула в окно. Она побежала по огородам к соседнему помещику, владельцу второй половины Красноселок, и тот помчался верхом в Деражню. Ночью из Деражни выехал отряд солдат и несколько десятков вооруженных шляхтичей. Они-то и повернули головчинецкую облаву Ханенко, догонявшую Кармалюка, в противоположную сторону, вдогонку отряду Дроздова.

Третьи сутки солдаты прочесывали лес, но никого не находили. Пересидев облаву на высоком и густом дубе, голодный, измученный Кармалюк на третью ночь выбрался к Каричинцам. Железный обруч из войск и шляхты, которым власти окружили южную часть Подолья, сжимался все теснее. Надо было немедленно из него выбраться. Куда податься, Кармалюк еще сам хорошо не знал, и весть, которую принес от Ивана Дроздова Тимко, была очень своевременна. Дроздов предлагал уходить за Днепр. Верно, об этом знал уже и Блажкун, и не сегодня-завтра кто-нибудь из них обязательно наведается в хату к Татьяне. Только вот внезапное освобождение Татьяны из тюрьмы казалось Кармалюку подозрительным. И он решил больше не встречаться у нее со своими старшинами. Сегодня там должна быть его последняя встреча. Устим и Тимко целый день следили за Татьяниной хатой, притаившись в густых кустах на опушке леса, но, не заметив ничего подозрительного, вечером направились туда.

Не спрашивая, кто стучит, Ганна открыла дверь и отшатнулась, увидав в темноте двух людей, увешанных оружием.

В хате тоже было темно, и отблеск огня из печи бледно освещал стены. Увидев Кармалюка, Татьяна бросила возиться у печи и отошла в угол к окну, а Ганна так и застыла посреди хаты, не зная, куда девать дрожащие руки. На приветствие гостей сестры молча поклонились.

Кармалюк сел у стола и, сняв картуз, весело заговорил:

— Ну, что, Татьяна? Отвертелась от полиции, а теперь нос повесила... О чем же они тебя спрашивали?

— О вас. Не знаешь, что ли? — блеснула исподлобья глазами Татьяна и тихо вздохнула. — Но мы с Ганной от всего отреклись...

— Чего ж ты вздыхаешь? — спросил Устим.

— А что мне делать? — огрызнулась Татьяна. — Муж доныне на каторге, а я одна, как палец... Нужда поедом ест... Просвета не вижу...

— Не печалься, Татьяна, — уговаривал ее Кармалюк. — Муж скоро вернется, а деньги у нас найдутся. Скоро на Украине такой пожар вспыхнет, что всем, даже панам в Варшаве, жарко станет.

— Глядите, как бы самим в нем не сгореть! — бросила Татьяна.

— За нас не бойся. Нас ни огонь, ни вода не берет, — пошутил Кармалюк.

— Поскорее бы, атаман, начался этот пожар, такая тоска без дела, — мечтательно проговорил Тимко.

— Подожди, парень, — ответил Кармалюк, — всему свое время. Все равно твою свадьбу этой осенью сыграть не успеем.

При этом Кармалюк взглянул на Ганну, стоявшую у печи и залитую отблесками огня. Картошка в печи закипала, вода в чугунке была ключом, но Ганна, слушая слова Кармалюка, словно не видела этого.

— Некогда и свадьбу справить... — насупилась Татьяна. — Вам, верно, даже умереть некогда будет.

— Это верно, — глухо сказал Кармалюк. — На тот свет не спешим, на этом еще дел много...

В хате нависла зловещая тишина. От слов Татьяны на Кармалюка повеяло ледяным ветром. Опустив голову, он прислушивался к завыванию осеннего ветра за окном. Дождь хлестал в окно сплошным потоком, и атаману чудилось, что противные ледяные капли заливают ему глаза, добираются до тела. Перед ним лежала осенняя ночь, насквозь пронизанная резким ветром и сыростью. Кармалюк увидел себя посреди этой дождливой ночи, и ему так не захотелось уходить из теплой хаты, где было уютно и в огне приятно потрескивал сухой хворост. А в лесу и огня не разведешь в такую ночь. Но атаман сдержался, не выдал Татьяне своего гнетущего настроения.

— Беда мне с вами, да и только! — сказал он успокаивающе. — Что с вами случилось? Насупились, как сычи перед бурей, да и голоса. Давайте лучше ужинать, есть хочется, живот подвело. Да поживее поворачивайтесь!

Ганна засуежилась у печи, подала чугун с картошкой, плотно обмотав его полотенцем. Татьяна достала из посудного шкафа краюшку черствого хлеба и поло-

жила на стол, но так холодно, равнодушно, словно милостыню нищему подала, и снова отошла к окну. Кармалюк заметил и это, но снова поборол себя.

— Может, плошку зажечь? — спросила Ганна.

— Не надо. Вы лучше угостите нас, а то, выходит, что мы в вашей хате вроде как непрошеные гости или враги, — сказал Устим. — А ну, Тимко, достань очищенной, немного погреемся.

Тимко одним махом выхватил из котомки граненую бутылку, ловко поставил ее на середину стола и, прижав правую ладонь к сердцу, по-шляхетски поклонился сестрам.

— Вот это герой! Вот это рыцарь! Минуй тебя виселица! — рассмеялся Кармалюк. Смеялся он мягко и от всего сердца.

— Кушайте на здоровье! — Ганна присела к столу.

Кармалюк с жадностью ел горячую картошку, густо посыпая солью. Разговор не клеился. Татьяна всякий раз отодвигала свою чарку, едва пригубив ее. Кармалюк пил один, изредка наливая Тимку, пил много, но не пьянел.

— Ну вот и все, — сказал он, допив последнюю чарку. — А теперь прощайте. Спасибо за ужин, за теплую хату, а нам пора.

— Куда ж вы, на ночь глядя? Хоть переночуйте, — встрепенулась Татьяна. Слова Устима, видно, вывели ее из глубокой задумчивости.

— Спасибо, Татьяна, за ласку, — поклонился ей Кармалюк. — Только наша хата в темном буераке, небом крыта, листом выстлана, ветрами согрета, дождями омыта...

Он надел картуз и, задержавшись на пороге, сказал Татьяне:

— К тебе на этих днях зайдет Захар или Черноморец. Знаешь его, не забыла еще?

— Знаю, — тихо ответила Татьяна.

— Так ты им скажи: пусть поджидают меня в субботу в полночь. Я приду сюда. Очень срочное дело у меня к ним. Скажешь?

— Скажу, — тихо ответила Татьяна. — Скажу, когда придут...

— Только не забудь. В субботу в полночь, — повторил Кармалюк.

В сенях Ганна задержала Тимка и, прижавшись к его плечу, прошептала:

— Скажи ему, пусть не ходит сюда больше. За нашей хатой, похоже, следят... Горенько мое, Тимко, любимый...

— Не плачь. Мы тоже не лыком шиты. У нас везде свои уши да глаза. Свадьбы жди! — он обнял Ганну на прощанье и пропал за порогом среди темени и дождя.

В лесу бушевал порывистый ветер, глухо и таинственно гудели обнаженные кроны древних дубов. Холодный дождь косыми потоками заливал сени, а Ганна все стояла на пороге, не закрывая двери, словно кого-то ждала.

50

Когда после разгрома галузинецкой комиссии Кармалюк утопил в пруду самые важные бумаги, в уезд с особыми полномочиями прибыл чиновник по особым поручениям Непорожний, непосредственно подчиненный Третьему отделению. Он был переодет в штатское, но иногда носил форму мелкого почтового чиновника, и Матвий Барабаш не на шутку встревожился. Канцелярист хорошо знал, что такое жандармский корпус графа Бенкендорфа и его Третье отделение. Чиновник Непорожний не именовался официальным званием, но имел свободный доступ в тюрьму и ко всем самым секретным бумагам и следственным материалам. Около него увидался земский исправник, к нему часто присылал нарочных сам генерал-губернатор из Каменец-Подольска. Матвий Барабаш не спускал глаз с Непорожного, искал следы его деятельности в бумагах следственной комиссии. Но не находил.

Канцелярист день и ночь переписывал копии старых дел, приводил в надлежащий порядок новые протоколы допросов, показания свидетелей, тайные донесения и сведения о деятельности Устима Кармалюка и его побратимов, которые действовали по всему Подолью. Вот и сейчас Матвий Барабаш сидел, согнувшись над столом, и скрипел гусиным пером при тусклом свете сальной свечи.

«Сего месяца, с 12-го на 13 число, ночью злоумышленники, вооруженные ружьями, пиками, пистолетами и ножами, напали на владелицу села Красноселки госпо-

жу Поплинскую и учинили разбой. Принятыми мерами часть этих злоумышленников была поймана и посажена в острог. Главнейший из них, их начальник — Устим Кармалюк с товарищем Андреем, прозвание неизвестно, от погони бежали и при розысках не пойманы. Приметы сих преступников: Кармалюк росту среднего, собою плотен, лицом потемнел, волосы темные, напущены на лоб, дабы закрыть каторжные клейма, одет в чемерку и темные суконные штаны, камзол, картуз; шинель черная, старая, с висящим воротником. Андрей, прозвание неизвестно, по кличке Черноморец, высокого роста, лицом округлый, нос длинный, волосы русые, подстрижены низко, усы малые, верхняя губа грубая, одет в шляхетский простого серого сукна капот, обшитый черной тесьмой, картуз с козырьком, штаны белые, имеет при себе две пики, два ружья и один пистолет.

Исходя из сего, земский суд предписывает порядковым писарям, управителям экономий, а также сотским и шляхетским наместникам учинить в ведомствах своих розыскания для нахождения и поимки означенных преступников. А когда они будут пойманы, немедленно доставить их в сей суд. Заседатель Комарницкий, канцелярист Матвий Барабаш».

Матвий весело выводит свою подпись и громко хохочет.

Пусть ищут ветра в поле! Кто, кто, а уж он хорошо знает, что это не Кармалюк был у Поплинской, а Иван Дроздов. Но все же надо предупредить Ивана, чтобы почаще переодевался и мазал лицо сажей. А то, что он записан во всех актах Черноморцем, не беда. Пусть ищут Андрея Черноморца!

Матвий Барабаш берет чистый лист бумаги, затачивает новое гусиное перо и продолжает писать:

«Неведомые злоумышленники, напав среди ночи на владение посессорки Поплинской в селе Красноселки, забрали много денег и ценного имущества. По свидетельству Поплинской и ее слуг, злоумышленников было более шести человек. Трое, те, что орудовали в доме, были одеты по-шляхетски, в сюртуках, подпоясаны поясами, в серых шляхетских картузах. А те, что окружали дом со двора, были вооружены пиками. Приметы злоумышленников, находившихся в горнице, таковы: один высокого роста, волосы светло-русые, лицо вытянутое, лет около 25-ти, одет в сюртук желтоватого цвета,

подпоясан красным поясом, в серой шапке. Двое других — роста среднего, волосы темные, а других примет не замечено. Все они после нападения направились на Деражню.

Исходя из сего, земский суд предписывает немедленно, тотчас собрать несколько десятков верховых и благонадежных людей и броситься по столбовым дорогам, особенно по лесным, и обыскать их вместе со всеми хатами подозрительных людей. Ежели во время облавы будут задержаны сомнительные люди либо найдены подозрительные вещи, немедленно представить их в суд, заведенный на угодьях села Красноселки. Надлежит также уведомлять суд обо всех результатах обысков и облав в этих местах. Кроме того, надлежит вести строгое наблюдение за корчмами, находящимися в ваших владениях, а также за всеми подозрительными и неблагонадежными жителями, среди которых могут скрываться преступники и содержаться награбленные вещи и деньги. Все это должно быть немедленно представлено в суд под вашу ответственность.

Это оповещение, по прочтении и расписке в получении, не задерживая, тотчас не отправлять далее по тракту, чтобы можно было видеть действия каждого сельского управителя».

Канцелярист земского суда Матвий Барабаш листал старые бумаги, заноса их в судебный журнал. Работу свою он выполнял почти механически, радуясь тому, что Устим Кармалюк снова на воле, что все усилия полиции и войск поймать атамана все еще остаются тщетными. Он опечалился только, когда переписывал извещение о смерти сына Кармалюка. Перекрестясь на восток, он записал: «Привлеченный по делу об ограблении полковника Дембицкого в корчме, арестант Иван Кармалюк, дело коего находится в оном суде, этого месяца 17-го августа волею божей помер...»

Не знает и не ведает отец, что сына его ночью закопали на тюремном кладбище без креста и панихиды. А Иван ведь был совсем невиновен и никакого отношения к ограблению полковника Дембицкого и корчмы не имел.

Барабаш грустно покачивает головой и берется за новые документы:

«Предписание Киевского гражданского губернатора городничим: Черкасскому, Черниговскому, Звенигород-

скому, Липовецкому, Махновецкому, Радомышльскому, Таращанскому, Сквирскому, Богуславскому и Васильковскому. Всем нижним судам Киевской губернии. Опасный преступник Устим Кармалюк, пребывавший под стражей в литинской градской тюрьме, в ночь с 14 на 15 апреля бежал. Его приметы: росту высокого, плотный, волосы светло-русые, лицо округлое, глаза серые, в нижней челюсти передний зуб выбит, говорит на русском, польском и еврейском языках. Одет в кафтан из простого серого сукна, шапка с козырьком тонкого черного сукна, лет 47. Получив извещение об этом от господина Подольского гражданского губернатора, я предлагаю городской и земской полиции произвести тщательные розыски для поимки вышеозначенного злоумышленника. По поимке препроводить его под строжайшей стражей в местечко Литин и доложить мне. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант граф Левашов».

— Безумствуйте! Ищите ветра в поле! Не найти вам нашего Устима Кармалюка! — радостно шепчет Матвий Барабаш и уже записывает первый из полученных ответов на это предписание.

«Его превосходительству исполняющему должность Киевского гражданского губернатора, господину Киевскому вице-губернатору действительному статскому советнику и кавалеру Дмитрию Степановичу Пасеку. Чигиринского городничего рапорт. Во исполнение предписания Киевского губернатора и кавалера от 17-го минувшего мая имею честь доложить вашему превосходительству, что бежавшего из литинской градской тюрьмы преступника Кармалюка после тщательных розысков в Чигирине не найдено. Городничий, майор Плеханов».

Такие же ответы о том, что Кармалюк не найден, были получены от Богуславского городничего, Махновецкого и Звенигородского нижних земских судов, от Киевской полиции, Липовецкого земского суда и от городничих всех уездов Киевской губернии.

Матвий Барабаш переписывал их не торопясь, как вдруг, среди тех бумаг увидал совершенно неведомую ему секретную папку земского исправника. Вероятно, Улович по ошибке передал ее среди других бумаг в общую канцелярию. Матвий раскрыл папку и похолодел. В ней, среди тайной переписки, вдруг мелькнули следы чиновника особых поручений Непорожного.

В папке были не оригиналы, а разрозненные копии

тайной переписки Непорожного с Подольским губернатором по делу какой-то Татьяны Зелинской. Но уже и по этим копиям Матвий Барабаш сразу догадался, что означенная Татьяна Зелинская, о которой он и слыхом не слыхал, замышляет против Устима Кармалюка страшное дело. Перелистав несколько бумаг, Матвий Барабаш пришел к выводу, что копии этих секретных документов губернатор специально переслал земскому исправнику Уловичу для ознакомления, чтобы исправник был в курсе всех дел, коими занимался на Подолье господин Непорожный. Боже мой! Только бы исправник не кинулся сейчас за этой секретной папкой. Матвий молниеносно прочитает все копии переписки и положит папку на место. Он даже поклянется потом Уловичу, если тот спросит, что не заметил этой папки. . .

Барабаш заперся, завесил брезентом зарешеченное окно и стал быстро перечитывать один за другим страшные документы.

«Секретно. Его превосходительству господину действительному статскому советнику, Подольскому гражданскому губернатору и кавалеру Григорию Сергеевичу Лошкареву. Летичевского уездного суда рапорт. Арестантка Татьяна Зелинская, находящаяся в заключении в летичевском тюремном замке, через тюремного надзирателя в присутствии одного уездного стряпчего заявила, что, прослышав среди арестантов, что Устим Кармалюк снова появился в этих краях, она с сестрой Ганной берется выдать его.

Для этого она просит, чтобы их обеих выпустили из тюрьмы на поруки помещика Стецкого или кого-нибудь другого, а она уверена, что Устим Кармалюк сразу прибудет к ним. Тогда они смогут тайно забрать у него оружие, дадут ему вволю водки, и, когда он заснет, его легко можно будет взять и представить в суд. Она обязуется, если будет выпущена, непременно поймать его, только просит сохранить это в великой тайне, потому что, если об этом дознается Кармалюк, то покарает ее и сестру смертью. При этом она еще просит начальство, чтобы ей было дозволено проживать в той же хате, в которой она проживала вместе с Ганной до заключения в острог. На поимку Кармалюка ей нужно не больше месяца, а может, посчастливится и скорее. Ежели она этого не выполнит, то сама отдаст себя в руки правосудия и согласна отвечать по всей строгости законов».

В это время была приведена из тюрьмы арестантка Ганна, которая показала, что, действительно, тот человек, что проживал у них в доме, очень влюбился в Татьяну Зелинскую, но о том, что он — Кармалюк, она, Ганна, не знала и узнала об этом только в тюрьме.

Из имеющихся в деле подсудимых Татьяны Зелинской и Ганны данных выяснилось, что первая из обвиняемых, Зелинская, призналась в том, будто тайно переходила австрийскую границу. Из следствия стало известно, что она первая познакомилась с Устимом Кармалюком и его побратимами и привела их в свой дом, где у них был сборный пункт. Вторая, Ганна Остапова, обвиняется в том, что была в доме Зелинской, видалась там с Кармалюком и другими преступниками, прятала у себя награбленное.

Постановлено подать протокол допроса подсудимых с их обязательством поймать Кармалюка на решение и резолюцию вашего превосходительства. Докладываем, что нижний суд этим делом неотступно занимается, и, как только будет от вас получено повеление, приступит к окончательному решению по делу. Уездный судья и кавалер Пухальский. Уездный заседатель Бетковский. Земский писарь Станислав Миславский».

Матвий Барабаш еще раз прочитал копию рапорта и заметил на полях пометку подольского губернатора. В ней было написано: «По разрешению исправника выпустить на благонадежное поручительство, а поимку Кармалюка поручить Непорожнему».

«Вот оно что! Значит, они уже начали охоту на Кармалюка. Значит, капканы расставлены», — со страхом подумал Барабаш. Из последующих документов он понял, что предательница — это Татьяна Зелинская, а ее двоюродная сестра Ганна о предательстве ничего не ведет.

Где же они теперь, эти сестры? В тюрьме или уже на воле? Хорошо, если в тюрьме. В документах ясно сказано, что суд не может отпустить их на поруки, пока приговор не будет приведен в исполнение. За связь с Устимом Кармалюком сестры присуждены к публичному наказанию розгами. Приговор уже оглашен. Сестер выведут на базарную площадь среди бела дня, когда ярмарка кишит народом, и там при всех выпорют голых розгами. Но если их накажут, Татьяна может отказаться от своего слова и не выдать Кармалюка. Если же ее

выпустят, не наказав, об этом в первую очередь узнает Кармалюк и насторожится. Вот почему губернатор и отдал чиновнику по особым поручениям Непорожнему распоряжение не настаивать на освобождении сестер на поруки. Их освободят позже, а Непорожнему надлежит терпеливо ждать, даже не напоминая в уездном суде о Татьяне Зелинской. Допрашивать же ее следует, как и прежде, по ночам, так, чтобы никто не видел и не знал об этом.

Матвий Барабаш отшатнулся от стола и, схватив страшную папку, забегал по комнате. В первую минуту его охватил ужас. А что, если Улович уже обнаружил отсутствие копий секретных документов и ищет их по всему земству? Тогда канцеляристу не миновать беды! А если Татьяну Зелинскую и Ганну уже выпустили из острога и Непорожний расставил вокруг них свои сети? О боже праведный!

Голова у Матвия закружилась, ноги подкосились, сердце так колотилось в груди, словно он пробежал целую версту. Матвий не мог понять, как эта папка тайной переписки попала в его сундук. Верно, земский исправник ошибочно положил ее в свои бумаги и, забыв об этом, вместе с другими делами передал Барабашу для переписки. Что ж теперь делать? Нести папку исправнику? Нет! Исправник сейчас же поднимет переполох, впускает в это дело и самого Непорожного. Тогда хлопот не оберешься. Но надо что-то предпринимать! Что он бежит, как сумасшедший, по своей канцелярии? Время не ждет. Тут дорога каждая минута. Надо спасать, пока не поздно!

Он кладет папку на самое дно сундука, накрывает другими бумагами, словно вовсе и не прикасался к ней, убирает со стола недописанные листы и, заперев сундук, останавливается перед зеркалом. Завязывает белым платком щеку, морщится, словно от боли, громко стонет и, закрыв окно, выходит из канцелярии. У двери дремлет часовой из инвалидной команды. Матвий Барабаш при нем накладывает восковую печать на замок и, приказав солдату караулить, выбегает на крыльцо.

— Куда ты? — кричит ему вслед солдат.

— Ты что, ослеп, вояка? — стонет Матвий. — Ой, зубы! Ой, помру!..

— Да, вижу,— отвечает солдат.— Только что мне сказать, когда тебя станет искать исправник?

— Ой, зубы! — снова стонет Матвий и безнадежно машет рукой.

— Ага! Знаю! — радостно покашливает солдат.— Побежал в корчму зуб sprыснуть, а потом помчится к цирюльнику... Кровь будут пускать, раз зубы... Так и скажу...

В корчме стоял невероятный шум, дребезжала старая, надтреснутая шарманка, сизой тучей плыл синий табачный дым. На лавках сидели барышники. За отдельными столами — управители имений, между ними почтовые чиновники и полицейские. Матвий Барабаш глянул в дальний угол на тот стол, за которым он встречался с людьми Кармалюка, и похолодел. Там никого не было. Не нашел он в корчме ни одного нищего, ни одного бандуриста, которых так часто присылал в Литин для связи Захар Блажкун. На этот раз не было даже конюхов и ямщиков с почтовой станции.

— Ой, вей мир! — тихо вскрикнул корчмарь, увидав перевязанного Матвия Барабаша.— Что это с вами? Неужто зубы? Ой, горюшко! У меня есть для этого хорошая полынная настойка. Положите на зуб — и как рукой снимет...

Матвий Барабаш указал глазами в дальний угол, на пустой стол, тихо спросил:

— Не были?

— Нет, ваша милость. Я сам жду,— таинственно шепнул корчмарь.— Уж не случилось ли чего, не приведи господи! — И он поставил перед канцеляристом рюмку зеленоватой сивухи.

— Вот что,— сказал ему Матвий.— Ставь вместо себя жену, а сам тотчас беги к мельнице, пошли кого-нибудь в церковь... Из-под земли найди мне кого-нибудь из них... Гонцов разошли! Дело идет о жизни и смерти! Слышишь?

— Слышу, ваша милость,— поклонился корчмарь и побежал за пеструю ширму.

Матвий Барабаш взял со стойки полкварты сивухи, воблу и, болезненно морщась, прошел в дальний угол, к знакомому столу. Он долго сидел там, вздрагивая при каждом стуке открываемой двери, но желанных посланцев от Кармалюка все не было и не было. Не возвращался и корчмарь.

В полночь в субботу Кармалюк к Татьяне не пришел. Наткнувшись на облаву возле Ходаковского тракта, он круто свернул к болоту и там переждал сутки, пока усталые солдаты и крепостные окрестных сел не вышли наконец из лесу. Облава окончательно убедила Устима, что полиция обдуманно и последовательно закрывает перед ним все дороги к жилью и поместьям. Надо было немедленно уходить в другие края, на Житомир или в Винницу, а может, и на Белую Русь. Завтра они двинутся за Днепр вместе с основными своими силами, подберут по дороге новых повстанцев и ударят господам в спину. Но это завтра. А сегодня у Кармалюка еще много всяких дел. Ему надо еще раз увидаться с Блажкуном, сговориться, какими дорогами они двинутся с Подолья. Губернаторская облава прошла для них счастливо и можно спокойно поторопиться в Каричинцы.

Ночь темная, хоть глаз выколи, они идут вдоль дороги, ступая след в след. Сквозь голые ветви деревьев на землю падает беспросветная мгла. Холодный туман забирается под одежду, сводит озябшее тело. Кармалюк часто останавливает Тимка, чтобы тот не так спешил. Трудно идти за молодым парнем состарившемуся Кармалюку. Лета уже не те и здоровье пошатнулось. Мучит одышка и резкий кашель. В такие годы пора на отдых, куда-нибудь на пасеку или на баштан сторожем. Но где ж он найдет такой отдых? Да и будет ли отдых Кармалюку, когда на всей земле рабство беспросветное, да произвол господский! Ой, не будет ему покоя! Вкусил ты, Устим, воли, узнал, почему продают ее господа, и уж вовек не подставишь свою шею под крепостное ярмо. Может, погибнешь одинокий посреди дороги, как погиб старый бандурист Диброва, но никто не обидит тебя обжигающим словом, никто не упрекнет, что прожил ты свой век бессловесным рабом. Господа, правда, будут кричать, что Кармалюк разбойник. Но что ему до них? На то они и господа, чтобы на людей клеветать да в железо заковывать.

Однако зачем он об этом думает? Помирать, что ли, собрался? О, нет! Готовить возы в дальний путь еще рано. Слишком много дел у Кармалюка... Да кто это поймет? Вот беда! Верно, Мария и перед смертью не поняла этого, проклинала его. Теперь ходаковская Тать-

яна то же поет. Бросай ради нее все и беги вместе с ней в невенчанную губернию¹, на теплую печь. Гляди, как нахмурилась! Кармалюк думал: может, хоть тюрьма немного успокоила ее, отрезвила горячую голову, угасила сердце. Но нет! Сдурела она, что ли? Куда ж ему в сорок восемь лет о женитьбе думать, когда сыновья до сих пор в остроге, а сноха и внук без угла скитаются? Куда ему ехать, когда кругом неправда и неволя? И думать-то грех о таком! А она не хочет этого уразуметь, глупая баба!

Хватит таиться от нее. Кармалюк на сей раз скажет ей всю правду. Он выложит перед ней свои неуемные думы такими, какие они были и будут у него.

Пусть сама взвесит все и решит, как ей быть. Она сообразительная, ловкая. Должна сразу понять, что идти ей за ним в леса и чащи — безумие, да еще теперь, когда он собирается в дальнюю дорогу, в неведомые края. Устим обязательно напомнит ей снова о законном муже-выкресте, и она окончательно согласится с ним. Скоро муж вернется с каторги, и они снова заживут тихо и смирно, как и все оброчные корчмари. Не беда, что старая корчма сгорела. Корчму можно и новую поставить. Только уж на сей раз без конокрадов. Кармалюк уверен, что если корчма у Татьяны и будет, то без конокрадов. Его наука не прошла для нее даром. Татьяна добрая, сердечная женщина, но деньги любит и злится, когда не по ее выходит. Кармалюк сегодня мирно распрощается с ней, и они будут помнить друг друга долго-долго, может, всю жизнь...

Чем дальше они идут, тем мокрее становится дорога, под ногами громко чавкают листья, хлупает в лужах вода. В лесу стоит крепкий дух дубовой коры и прелого мха. Дубовая кора пахнет кожей, и этот запах напоминает Кармалюку вонючие кожевенные заводы в Сибири, где каторжане в кандалах разминают тяжелые воловьши шкуры.

— Атаман! — говорит идущий впереди Тимко и протягивает Устиму руки. — Какая темень в лесу...

— А что там? Может, людей услышал? — спрашивает Кармалюк.

¹ То есть туда, где можно жить не венчаясь, не вступая в церковный брак.

— Нет! Какие теперь в лесу люди? — с досадой говорит парень и останавливается.

— Так чего ж ты стал? Пошли. Нам только людей остерегаться надо, а зверь нам не страшен. Не бойся, сынок, зверья ночью, — рассуждает Кармалюк, продвигаясь вперед.

— Да нет, я, было, спросить хотел... Только боюсь, может, неладно выйдет, — поясняет Тимко.

— Спрашивай.

Тимко берет атамана под руку, и они шагают рядом, не замедляя шага. Полночь давно минула, и семизвездный Воз опустил дышло к земле, ночь проплывает над лесом и гонит на запад разорванные куски осенней тучи. Надо спешить. Захар Блажкун, верно, уже беспокоится. Хоть бы глупостей не наделал от нетерпения.

— Так вот, я хотел спросить вас... — начинает Тимко, склоняясь к плечу Кармалюка. — Выбираться надо нам отсюда, слов нет. А куда, в какой бок, в какую сторону удариться? Ну, пойдем мы на Житомир или на Белую Русь — а что там? Кусты да леса, а болота такие, что только стал ногой — и поминай как звали. Что мы там делать станем?

— А ты куда ж хочешь? — спрашивает Кармалюк.

— Я, атаман, хочу на Днепр, — мечтательно произносит парень. — Там ведь простор, вокруг плавни бескрайние. Сядем на лодки, и только прошумит за нами невидимый след. Ищи тогда барин ветра в поле! Переплывем днепровские пороги и осядем всем отрядом на Запорожье, где когда-то Сечь была... Там и зиму перебыть можно... Я слыхал, там беглых полны степи... Так я говорю, атаман?

— Ох, сыночек, — вздыхает Кармалюк, — твоими бы устами, да мед пить...

Тимко улавливает в его голосе чуть заметную насмешку и представляет себе, как поблескивают сейчас хитро прищуренные глаза атамана.

А Кармалюк продолжает:

— Ну и что с того, что выйдем на Днепр? Днепр скоро замерзнет, и мы до Запорожья не доплывем... Ты позабыл, а может, не знаешь, что на Сечи немцы давно картошку сажают... На широком Днепре нас сразу переловят, как выпавших из гнезда птенцов. Еще в Киеве переловят.

Тимко вздыхает с досадой и молчит до самых Каричинец.

На опушке возле села они залегли, внимательно вглядываясь в Татьянину хату. Во дворе тихо, в окнах темно. Только стены белеют среди обнаженных деревьев.

Просидев в засаде целый час, Кармалюк поднимается с земли.

— Ну, парень, я пойду,— говорит он.— А ты оставайся тут. Следи.

— Ладно. Только скажите Ганне, чтоб вышла. Попрощаться хочу,— просит парень.

— Добро,— тихо отвечает Кармалюк и сползает в ров.

Вот он уже по ту сторону рва, пригнувшись, переметнулся в огород и скрылся за сухими стеблями подсолнухов, словно растаял в измороси.

Краешек на востоке заметно побледнел, так что на нем уже можно разглядеть серую пелену разорванных ветром туч. За ночь ветер нагнал их целые сугробы, и они громоздятся над лесом в ожидании, пока солнце разгонит их своими лучами и развеселит землю и людей.

Устим Кармалюк подходит к хате сбоку и прижимается ухом к мокрому стеклу. В хате сонная тишина. Устим даже слышит, как кто-то храпит, постанывая во сне. Он крадучись обходит хату вокруг и снова останавливается под окном. Постучал раз, второй и неслышно подошел к двери, выходящей в лес. В хате кто-то закашлял, потом по сеням протопали босые ноги. Устим услышал по ту сторону двери прерывистое дыхание, «Должно, скоро утро»,— почему-то подумал он.

— Кто там? — тихо спросила Татьяна.

— Свои, открой,— нетерпеливо произнес Устим.

Татьяна открыла и встала на пороге. Она была в длинной белой сорочке, распахнутой на высокой груди. Прижав к груди руки, женщина стояла на пороге, загораживая собой всю дверь, словно боялась впускать Кармалюка. От нее пахло парным молоком и лобистком.

— Ты одна дома? — спросил Кармалюк.

— Нет, вдвоем с Ганной,— тихо ответила Татьяна.

— А мой Захар приходил? — снова спросил атаман.

— Не приходил,— равнодушно и как-то холодно сказала Татьяна.

Кармалюк прислонился к косяку, вздохнул:

— Где это он задержался? Может, он передал тебе, что не придет? — допытывался Устим.

— Нет, атаман, не передавал, и вестички от него не было.

— Тогда я подожду его,— сказал Кармалюк и отстранил Татьяну.

Взойдя на порог, он случайно коснулся Татьяниной руки и почувствовал, что она дрожит.

— Ты, я вижу, вся трясешься. Что с тобой? — спросил Кармалюк.

— Зябко... Лихорадка,— ответила Татьяна.

— Пошли в хату. Замерз и я, скитаясь по болотам. Черт бы побрал такую дорогу! Две ночи не спал...

В сенях под жерновами, где стояли мешки с желудями, слышался едва уловимый шорох.

— Что там? — отшатнулся атаман, выхватив пистолет.

Шорох не повторился.

— Что это, Татьяна? — снова спросил он.

В сенях было темно, и Устим не мог видеть бледного, испуганного лица Татьяны.

— Это овцы,— неуверенно ответила она, но тотчас встрепелась и крикнула: — Ганна! Выгони овец во двор, уже светает... Пусть пасутся.

— Не надо,— остановил ее Устим.— До утра еще далеко... Постели мне, Татьяна.

Кармалюк заткнул пистолет за пояс и пошел в хату. В сенях он споткнулся о мешки с желудями. Споткнулся и замер от неожиданности. Прямо против него за мешками сидел какой-то человек, наставив на него ружье. Он даже не успел выхватить пистолет.

Грянул выстрел. Устим отшатнулся и даже не вскрикнув, повалился на пол. Пуля попала ему в голову. Юзеф Рудковский испуганно вскрикнул и выскочил во двор из своей засады. Вслед за ним из хаты протопали два гайдука, державшие на печи Ганну, а за ними еще пятеро дворовых, вооруженных палашами, кольями, дробовиками, толстой веревкой, предназначенной для того, чтобы вязать Кармалюка.

В отчаянии закричала Татьяна. Ее истерический вопль звучал среди осенней ночи, пока она не свалилась

на порог без чувств. Но Ганна даже не подошла к ней. Склонившись над мертвым Кармалюком, заливаясь слезами, она шептала:

— Убили... Атамана убили... Он же тебе, Татьяна, добра хотел, а ты...

Над лесом раздался тревожный свист. Раз, другой. Притаившись за стрехой на хате, господские гайдуки ждали молодцов Кармалюка из лесу. Юзеф Рудковский, напуганный столь внезапным убийством, притаился в кустах за хатой. Но лес молчал, кармалюковские побратимы не показывались. Только громкий свист перекатами звучал среди ночи, и в этом свисте слышалась тревога, призыв о помощи. Он звучал непрерывно в настороженной лесной тишине и, казалось, доносился со всех сторон. Тимко Гречка свистом звал атамана. Звал долго и настойчиво, пока не взошло солнце, облив холодным золотом почерневшие вершины дубов.

52

Весть о трагической гибели Кармалюка принес нарочный от земского исправника, положив перед Матвием Барабашем три фатальных документа. Канцелярист со страхом прикоснулся к ним рукой, быстро пробежал глазами и, упав головой на стол, горько зарыдал. Солнце в окне внезапно потускнело, комната закачалась, погружаясь в какой-то страшный и холодный мрак. Зачем он положился на корчмаря, к чему целый вечер прождал в корчме посыльных из лесу, чтобы через них предупредить об опасности, поджидающей Кармалюка? Надо было самому вскочить на коня и мчаться в лес, искать кого-нибудь из повстанцев, чтобы передать атаману о страшном сговоре, которым онутали Кармалюка губернатор и чиновник по особым поручениям Непорожний. Теперь они победили и будут хохотать на весь уезд. Победили только потому, что не доглядел он, Матвий Барабаш, что не догадался броситься в лес на поиски людей атамана.

И вот эти убийственно страшные бумаги лежат перед ним, и канцеляристу кажется, что на них проступает кровь. Матвий листает их дрожащей рукой, глубоко всхлипывает, и перед ним возникает картина гибели

Устима Кармалюка, следствие, обыски. Он содрогается, перечитывая документы.

«В земский суд. Дворянина Юзефа Рудковского. Оповещение. В доме арендатора села Карицинец господина отставного капитана Хлопицкого вчерашнего числа получено сообщение от помещика Волянского, что, по доносу крестьянки его Татьяны Зелинской, в доме ее должен быть Устим Кармалюк с товарищем своим Андреем. Они должны сговариваться там о новом нападении на владения господ Кузьминского и Волянского. В связи с тем, что господина капитана Хлопицкого не было дома, я сам предпринял шаги к поимке Кармалюка и выдаче его властям. Собрал надежных людей из челяди господина Хлопицкого, среди коих были вооруженные ружьями, пистолетами и пиками, имевшие при себе веревку, чтобы связать преступника. Петро Кухер, Войцех Статкевич, Сильвестр Жмуриковский, Семен Мельник, Трохим Драганчук и другие. При том господин Волянский предупредил меня, что по приказу земского исправника за хатой Татьяны Зелинской установлено тайное наблюдение и поставлена стража и что Кармалюк с сообщниками всегда вооружены ружьями, пистолетами и пиками. На случай их сопротивления исправник приказал применить оружие. Итак, взяв с собой двустволку, вооруженных людей из челяди, я незаметно прокрался вечером 9 числа в хату крестьянки Татьяны Зелинской, где, укрывшись, стал ждать прибытия Кармалюка с ватагою. Мы ждали долго, почти всю ночь. Наконец, перед самым рассветом, часу в четвертом, означенный Устим Кармалюк подошел к дому крестьянки Татьяны Зелинской и начал сильно стучать в окно, требуя, чтоб его пустили внутрь. Татьяна Зелинская вышла из горницы в сени, чтобы отворить дверь, а вместе с нею вышел тихонько в сени и я с людьми своими.

Когда Татьяна отворила дверь наполовину, я увидел одного только Кармалюка. Он держал в руке пистолет и, опершись снаружи на дверной косяк, сразу спросил Татьяну: «А что, тут Захар Блажкун?»

Зелинская ответила, что тот был вчера и ушел домой.

Кармалюк на это сердито молвил: «Я же тебе говорил, чтобы он был непременно»,

Зелинская начала перед ним оправдываться, говоря, что Захар Блажкун в самом деле был и ждал, но не дождался и ушел, сказав, что придет два дня спустя на третью ночь. Во время этой беседы Кармалюку послышался тихий шорох в сенях. Это я с челядью готовился схватить его, как только он войдет в сени.

Услышав тот шорох, Кармалюк спросил Татьяну о причине его. Татьяна Зелинская объяснила, что у ней в сенях ночуют овцы, и сразу крикнула в хату сестре, чтобы та выпустила овец из сеней, а то уже рассвет настает. Но Кармалюк возразил, сказав, что до дня далеко еще. Затем он поправил пистолет в руке и сказал: «Надо выспаться». После этих слов Кармалюк широко отворил дверь, собираясь войти в сени, но тут он заметил меня с гайдуками и хотел выстрелить из пистолета.

Я понял, что мне угрожает смерть, и для спасения своей жизни опередил Кармалюка и выстрелил ему в голову первый, после чего он, Кармалюк, повалился мертвым.

Я позвал своих людей, и мы побежали из сеней наружу, чтобы поймать его товарища Андрея, но такового у хаты не оказалось. Вернувшись в горницу, я приказал зажечь свечу и при обыске нашел у Кармалюка один заряженный пистолет со взведенным для выстрела курком и коротенький карабин, тоже заряженный, а также нашел пику, припертую к стене хаты. Все другие вещи, а сверх того девять рублей серебром значатся в реестре. О чем честь имею оному суду сообщить. Казимиров сын Юзеф Рудковский. Октября 10 дня, 1835 года, село Каричинцы».

Матвий Барабаш в ярости стукнул кулаком по столу и заскрипел зубами. Вот она, шляхта паршивая! Даже этот родовитый дворянин не смог выполнить повеление губернатора. Было же ясно приказано изловить Кармалюка живым. Испугался, олух, кишка тонка. Выстрелил! Десять против одного да еще из засады. Рыцари вонючие! А еще героем себя выставляет. Награды захотел, холуй несчастный! погоди, Матвий Барабаш сделает хорошую копию с твоего оповещения и отдаст ее в руки самому Ивану Дроздову. Ты ответишь им, щенок с варшавской помойки!

Но время не ждет. Надо, надо читать дальше. И канцелярист снова склоняется над бумагами, раскрывает другой документ.

«Реестр вещам и деньгам, найденным у убитого Устима Кармалюка. Карабин короткий, заряженный картечью, пистолет французский, пика. На Кармалюке одежда: тулуп нагольный, поношенный, чемерка темно-серого сукна, старая, штаны синие, поношенные, картуз суконный, простреленный, платок простой, в цветах, фабричный, два жилета, оба старые, пара сапог простых, на шее крестик матовой работы. В карманах у Кармалюка: ножницы маленькие женские, тесемка узкая, белая аршина с два, другая, черная, тоже аршина два, кисет из разных кусков сшитый, кисет на деньги простой, бритва простая и малое зеркальце, перчатка лосевая, старая, на правую руку, котомка маленькая с гвоздями для сапог, другая котомка, старая, пустая, ремень кожаный, на котором правится бритва, гребешок простой черный, нож складной, два ключа, девять рублей серебром».

А вот еще более страшный документ. Матвий со слезами на глазах читает протокол об освидетельствовании тела атамана:

«1835 года октября 11 дня, в с. Каричинцах освидетельствовано мертвое тело преступника Устима Кармалюка, имевшего от роду лет 50 и телосложение крепкое. Сей преступник 10 октября застрелен из ружья, и на месте, на котором получил он огнестрельную рану в голову, имеются следы большого количества крови, истекшей из его раны.

При наружном осмотре тела оказалось:

1) Волосы на голове русые, стриженные по-шляхетски, подбородок чисто выбрит, усы русые, подстриженные.

2) Лоб широкий открытый, глаза большие серые, скулы выдавшиеся, нет двух нижних передних зубов.

3) На лбу и на обоих висках по два синеватых рубца от каторжного клейма, какое ставят преступникам после наказания кнутом.

4) Часть левой височной кости, половина левой теменной кости спереди и сзади, часть лобной и часть затылочной кости раздроблены.

5) Большой рубец над правой лопаткою и по одному рубцу на обеих ягодицах от каких-то ран.

6) Очень приметные полосы вдоль спины от наказания кнутом.

Грудь и живот не были вскрыты, потому что разру-

шение черепа и выпадение мозга есть достаточная причина для смерти.

Осматривал уездный штаб-лекарь Петров.

При сем присутствовал земский исправник Ковалевский».

Матвий Барабаш складывает все бумаги и склоняется над последним приговором земского суда по делу Устима Кармалюка. Он читает его медленно, тихо произнося каждое слово:

«1835 года, октября 11 дня. По указу Его Императорского Величества Летичевский земский суд, на грунте селения Карицинец-шляховых учреждений, по освидетельствовании убитого в том селении дворянином Рудковским человека, сверх признаков, описанных в протоколе свидетельствования, доказывающих, якобы сей убитый человек есть преступник Карманюк, нижеподписавшиеся члены и секретарь, по производившим прежде делам, зная лично Карманюка, уверились, яко сей убитый человек есть действительно преступник Устим Карманюк, а потому определено: о убийтии оного Карманюка поставить в известность соседственных уездов г.г. земских исправников и полицмейстеров с требованием принятия мер к поимке товарища его Андрея, прозвания неизвестного, дабы и г.г. помещики и управляющие именьями их, а в особенности смежные с Каричинцами, тотчас распорядились насчет сделания строжайших поисков по сумнительным домам и лесам за означенным товарищем Андреем, по кличке Черноморец, послать повестки, тело ж убитого преступника с сбруею, как-то: пикою, ружьем и пистолетом, отправить в гор. Летичев для указания как преступникам, содержащимся в остроге по делу ограбления Поплинской и полковника Дембицкого, для опознания, яко сии были товарищами его и ближе знают, так равно всем тем, кои знали его, и затем предать земле.

Сим образом кончил жизнь свою славный злодеяниями Карманюк, наказанный три раза шпицрутенюм и три раза кнутом, столько же раз бежавший из каторжной работы, непокоивший многие годы здешнюю округу, имевший чрезвычайные и даже невероятные почти связи, соделавшийся, сказать можно, водрузителем всего зла и сим ввергнувший многих простолюдинов в пагубу и в самое даже суеверное всеобщее в его силах и могуществе мнение».

Барабаш вскочил и, подойдя к окну, сорвал брезентовую занавеску. Сквозь прутья решетки в лицо ударил холодный, терпкий запах осени, яблок, скошенной травы. Утопал в садах молчаливый и какой-то сонный Литин. Простолюдины еще не знали, какое горе свалилось на их головы. Скрипели журавли у колодцев, весело щебетали воробьи под крышей, и где-то на пруду гоготали гуси. В конюшне земства били копытами и ржали застоявшиеся лошади. На мгlistом горизонте синел густой, непроходимый лес. Он сизой стеной окружал город со всех сторон, словно сжимал в огромном железном кольце этот клейменный плетьюми и каторгой мир.

«Застоявшиеся лошади и густой лес. Лошади и лес!» — молнией блеснула мысль, и следом за ней возникло неожиданное решение. Матвий Барабаш бросился к сундуку, выхватил из него главные следственные документы, подготовленные для будущего суда над соучастниками Кармалюка, присоединил к ним доставленные только что посыльным бумаги о смерти атамана и принялся натягивать свой праздничный мундир, отделанный на рукавах и воротнике красным сукном. Спрятав бумаги на груди под рубашкой, рассовав по карманам все свое нехитрое имущество — бритву, зеркальце, носовые платки, — Матвий оглядел себя в зеркале и вышел в коридор. Как и всегда, он наложил на дверь восковую печать, приказал солдату стеречь канцелярию и быстро прошел в конюшню. Оседлав лучшего коня, Матвий вскочил в седло и рысью вылетел со двора. За плечами у него был карабин, у пояса пистолет. Щека снова была перевязана, на этот раз клетчатым платком. Солдат посмотрел ему вслед, подумал: «Верно, к знахарке... Зубы заговаривать... Вот бедняга...»

Выехав за околицу, Барабаш пустил коня вскачь, напрямик к лесу, в сторону села Головчинцев, с видневшимися вдали корявыми вербами. Встречный ветер свистел в ушах, конская грива взлетала до груди, хлестала по лицу. Он с разгона влетел в Головчинцы, и господская стража на плотине расступилась, увидав всадника в мундире, с красным воротником, с коротким карабином за плечами и пистолетом на боку.

В селе Матвий попридержал коня, поехал медленнее. На холме, в густом парке, виднелись белые колонны господского дома Ханенко, фыркала над прудом винокурня. Где-то тут, среди подслеповатых хаток стояло и

убогое жилище Устима Кармалюка. Канцелярист с отворачиванием посмотрел на господскую усадьбу и повернул коня на выезд из села. За корчмой он остановился, пораженный странной картиной.

Посреди тихой и безлюдной улицы не шел, а почти бежал седой человек в старом расстегнутом тулупе, а за ним едва поспевали двое дворовых с длинными кольями. Человек был бос, окровавленные ноги в синяках. Поравнявшись с крайней хатой, он радостно крикнул дворовым:

— Смотрите! Это ж земля нашего Опанаса. А вон и хата Устима Кармалюка. Ой, как же тополи выросли! А вы говорили, что я не узнаю. Поглядите, какое наше село Головчинцы! А вон там, за корчмой, и моя хата... Ничего, что старая, мне она доныне снится. Дети мои, жenuшка родная... Двадцать лет... Двадцать лет!..

Слезы катились по его черному, сморщенному лицу, но он их не вытирал, а все со страхом озирался вокруг.

— Что случилось? — строго спросил дворовых Ба-рабаш.

Те низко поклонились, и один пояснил:

— По этапу ведем... Беглый он... Из самой невенчанной губернии гонят его от села к селу... Там его поймали. Говорит, что Головчинцы его родное село... Ну вот, мы и ведем, выполняем закон. Узнавай, бродяга, где чья хата стоит, кто в ней живет... Показывай и свою хату... С ними, барин, надо строго обходиться. Канальи проклятие!

Услышав шум на улице, из соседнего двора вышла слепая бабка Горпина и, нащупывая палкой дорогу, заковыляла на людские голоса.

— Подайте Христа ради копеечку, — заголосила она. — Не сама ж я свои глазоньки загубила, люди добрые...

— Прочь с дороги, было! — прикрикнул на старуху дворовый. — Вот барин из полиции услышат твою брехню, так сразу в острог пойдешь...

— Берите меня, люди добрые, куда угодно, берите. В остроге хоть водицы подадут, сухарь бросят, — повеселела старуха.

— Не тронь ее, — отозвался второй дворовый, — она ума решилась.

А старик, которого гнали по этапу, уже развязал

узелок и подал старухе милостыню деньгами. Старуха ощупала пальцами три гроша и спросила:

— Кто ж ты будешь, человеке? За кого мне богу вестишь молиться?

— Молись, Горпина, за спасение души Юхима Шкарубы, это я и есть, — глухо проговорил седой.

— Свят, свят! — испуганно перекрестилась Горпина. — Зачем же ты пришел, холуй окаянный? Тебя уж и позабыли в селе, проклинали. Жена твоя, Палашка, с горя померла... Дочки замуж повыходили... А ты снова хочешь чужими руками барские печи топить? Не дожدهшься, подлюга!.. На! Забирай свои бесовские деньги, — крикнула старуха и швырнула в песок три медных гроша.

— Ой, боже мой, боже! — завопил Юхим Шкаруба и, даже не подняв деньги, спотыкаясь на ровной дороге, побежал к своей хате.

Матвий Барабаш хлестнул коня нагайкой и, проскочив поле, въехал в лес. В ушах у него все еще стоял отчаянный крик слепой старухи, перед глазами маячило искаженное страхом лицо беглого Юхима Шкарубы. Он припомнил его историю с женой и поморщился. Во всем виноват Ханенко. Он создал для своих крепостных еще на этом свете ад.

Из глубины леса на громкий выстрел Матвия явились повстанцы. Они провели канцеляриста волчьей тропой через чащи и болота к какому-то шалашу, где сидели Иван Дроздов и Захар Блажкун. Все уже знали о гибели атамана и были охвачены яростью. Неожиданное появление канцеляриста еще более обозлило их.

— Рехнулся ты, что ли? — схватил его за грудь Иван Дроздов, свирепо блеснув глазами. — На коне среди бела дня, при оружьи, — да прямо в лес? Что, тебе ведьма золы в голову насыпала?

— Режьте меня, бейте, а я не вернусь туда! — уперся Матвий. — Там тюрьма и преисподняя, я с ума сойду от всего этого. Через мои руки все слезы людские текут и кровь... Да все в сундук, в сундук... А оттуда в Сибирь!.. Я повешусь!.. Вот вам их последние экстракты, доносы. Тут списки всех, кого они ловят и будут судить!..

Он выхватил из-за пазухи бумаги и протянул Ивану Дроздову, но тот не взял их, а спокойно сказал:

— Знаем. Перепиши. Копию передашь потом. А сейчас садись на коня и мчись обратно в свою канцелярию. Здесь у нас и без тебя людей хватит. Понял? Ты нам нужен там, как воздух, как вода! Запомни это, Матвий... Вчера к вам в земство нанялся новый водовоз, кривой Карпо... Он наш... Посылай его за табаком, за водкой и вообще держи его под рукой... Через него всегда будешь слышать о нас...

— И больше таких глупостей не делай! — сурово прибавил Захар Блажкун. — Мы мстить за смерть атамана поднялись, а он надумал слезу пускать. Ишь какой рыцарь! Может, там исправник уже ищет тебя? Что скажешь ему, когда вернешься?

— К знахарке ездил... зуб заговаривать, — понуро ответил Матвий и тяжело вздохнул.

— Вот и поезжай к своей знахарке. Слышишь? — приказал Дроздов.

— Как же это? Погодите, братцы... Разве так можно? — растерянно заговорил канцелярист, озираясь по сторонам.

— Можно и надо, — решительно отрубил Дроздов и, наклонившись к уху Матвия, таинственно прошептал: — Завтра, когда они засыпят атамана землей, первым пойдет на виселицу Ханенко в Головчинцах. В ту же ночь пустим красного петуха в Деражне, в Каричинцах и Ходоках. Ты следи и нам давай знать. Так-то, Матвий. Как было при атамане, так и нынче будет. Так и знай!... А к знахарке съезди обязательно, не то накличешь беду и на нас и на себя.

— Хорошо, заеду! — сказал Матвий Барабаш и вскочил в седло.

Он вернулся в свою канцелярию поздно вечером и очень обрадовался, узнав, что его не искали. Земский исправник и все начальство были озабочены убийством Кармалюка. Они его и мертвого боялись. После опознания, тело атамана уложили в возок и среди ночи, под конвоем, вывезли в поле за кладбищем. Тут его и закопали без отпевания, сровняв могилу с землей.

Но даже после смерти Устима Кармалюка покой на Подолье не наступил. Иван Дроздов сказал правду. В ночь, когда полиция тайком схоронила Кармалюка, вспыхнуло имение в Головчинцах и Ханенко был повешен на железных воротах своей усадьбы. Нападение на головчинецкое имение учинил Иван Дроздов со всей ва-

тагой. Повстанцы налетели на господский двор с трех сторон и запалили все строения. Испуганного насмерть Ханенко кармалюковские молодцы нашли в каменном погребе и вытащили на пылающий двор, куда собралось уже все село. Когда барина подтащили к железным воротам, Иван Дроздов с отвращением взглянул на него и, отвернувшись, громко бросил притихшей толпе:

— Не я караю его, а вы, люди.— Собаке собачья смерть.

Ханенко оглядел Ивана Дроздова посоловевшими глазами, и ему почудилось, что перед ним снова стоит живой Устим Кармалюк. Барин пошатнулся и испуганно закричал:

— Это Кармалюк! Он жив!

Но этот крик потонул в разбушевавшемся людском море. Толпа, словно буря, загудела в один голос:

— Сме-е-ерть!

И покатилося над селом, над тихой рекой, словно вздох облегчения:

— Сме-е-ерть!

Иван Дроздов махнул рукой, и Тимко Гречка ловко закинул на ворота петлю и выбил из-под ног барина колоду, на которой тот стоял. Ханенко закачался и обвис, словно пустой мешок.

И люди в эту минуту стали внимательнее присматриваться к Ивану Дроздову, который уже садился на оседланного коня. В толпе послышался шепот.

— Поглядите! Ей-богу, он! ..

— Он!

Одни заметили, что у Ивана Дроздова даже шапка такая, как у их Кармалюка, другие увидели на нем такую же латаную свитку, какую когда-то носил атаман, третьим запомнились густые и русые казачьи усы, точно такие, как у Кармалюка.

И с той минуты полетела по всей округе радостная весть о том, что Устим Кармалюк жив, что хотя он и был убит, но воскрес и теперь снова летает по всему Подолью на страх господам, на радость бедным людям. Он жив! Разве можно убить Кармалюка? Да никакая пуля не возьмет его, она повернет назад и угодит в того, кто стрелял в атамана. . .

В ту же ночь экономию в Деражне вторично поджег Захар Блажкун со своей ватагой. Он влез на высокую арбу с сеном, стоявшую посреди господского двора, и,

сняв шапку, на все стороны поклонился людям, сбежавшимся на пожар. В отблесках огня лицо Захара казалось худым, суровым, словно бронзовым. Только запавшие глаза люто блестели из-под нависших густых бровей. Он поднял руку и крикнул толпе:

— Люди добрые! Мы долго верили, что господа покаются... Но горбатого только могила исправит! А раз так, так хватит с господами нянчиться! Конец! Отныне я приказал своим молодцам резать и жечь всех господ.

Толпа одобрительно загудела:

— Слава богу!

Кто-то крикнул:

— Люди добрые! Кармалюк с нами заговорил!

— Господа врут, что он убит!...

Толпа бросилась к высокой арбе с сеном, чтобы приветствовать Захара, но его уж и след простыл. Он, верно, бросился искать деражнинского пана. Однако все, кто стоял впереди, запомнили глубокие глаза Захара Блажкуна, расстегнутую на волосатой груди сорочку с черными тесемками, поседевшие волосы, остриженные в скобку. Потом эти люди рассказывали по селам и ярмаркам, что своими глазами видели живого Устима Кармалюка, слышали его голос. Кармалюк жив и снова ходит по свету и насмерть бьется с господами... И уже никто не мог остановить людскую молву. Она, как пташка, вырвалась на волю и летала над лесами, полями, хуторами и селами.

В ту же ночь запылали господские имения в Каричинцах, Ходаках, и наконец под боком у губерниальной комиссии вспыхнуло имение галузинецкого арендатора. Гигантское зарево зловеще поднялось к небу и всю ночь покачивалось над подольскими лесами, освещая поникшие села.

Уже было осуждено по делу Кармалюка двадцать тысяч крепостных. Одних осудили и погнали на вечную каторгу в Сибирь, других еще ловили, вынуждая бежать куда глаза глядят. Но повстанческие отряды Кармалюка росли и крепили с каждым днем на глазах у всей полиции. К Ивану Дроздову приходили все новые и новые побратимы, неся на плечах самодельные пики, острые косы, железные вилы, а то и просто дубовые колья. И с того времени в песне об Устиме Кармалюке люди уже не пели слов: «Никого не убиваю, душу берегаю». И это было самым страшным для господ.

Иван Дроздов больше не просил господ по-хорошему относиться к крепостным. Как только он слышал о страшных надругательствах над крепостными, он прилетал со своими отрядами в имение, вешал господ, все господские имущество раздавал крепостным, а барский дом сжигал. Только не смог Иван Дроздов отбить у полиции Мирона Волошку и Илья Сотничука. Их, вместе со средним сыном атамана Остапом, держали в Папской башне Каменецкой крепости, а потом под усиленной охраной погнали на каторгу в Сибирь.

Не посчастливилось Ивану Дроздову и Захару Блажкуну и расправиться с Юзефом Рудковским. Он внезапно куда-то скрылся из имения, а потом получил из Петербурга в награду золотой перстень с брильянтом от царя и не медля умчался в Варшаву. Он бежал темной ночью, переодевшись бедным шинкарем.

На свободе осталась только Татьяна Зелинская, испуганная своим предательством.

Презрением и ненавистью окружили люди ее, а вместе с нею и Ганну. Покосившуюся хату на околице Карицинец каждый обходил десятой дорогой, а хозяек ее люди и на порог не пускали. Татьяна день и ночь ждала расплаты за свое предательство, ждала в гости Захара Блажкуна или Ивана Дроздова. Но у них хватало дел в господских усадьбах и потому они долго не приходили.

Василий Степанович Кучер

УСТИМ КАРМАЛЮК

Роман

Редактор

В. Максимов

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Т. Фатюхина

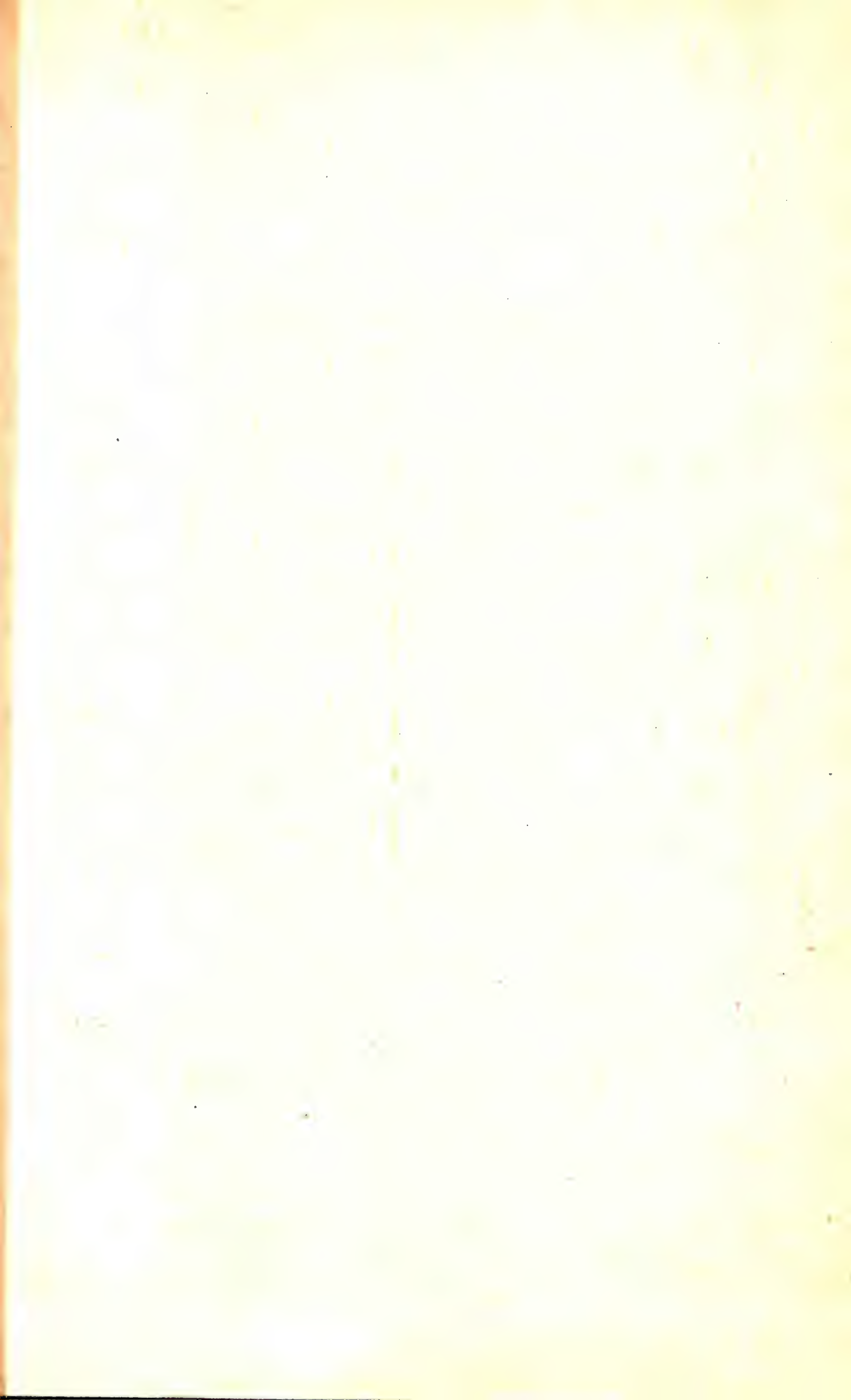
Корректоры

Л. Овчинникова,

Т. Филиппова

ИБ № 2889

Сдано в набор 24.12.82. Подписано в печать 21.06.83. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отг. 25,2. Уч.-изд. л. 26,73. Тираж 50 000 экз. Изд. № IV-1133. Заказ № 937. Цена 1 р. 90 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3



БАЦИМЪ КУУЧЕР



УСТЫМЪ КАРМАЮКЪ